ДЕНЬ *и* НОЧЬ

Литературный журнал для семейного чтения № 2 | 2022

Виктор Рогачёв | **Никольская церковь** | **2021**

Виктор Рогачёв | **Баргузинский залив** | **2020**

ДЕНЬ *и* НОЧЬ

Литературный журнал для семейного чтения №2 | 2022

В номере

Ди*Н* время

Юрий Ромашков
3 Победы и поражения Анатолия Кожевникова: *взгляд через мемуары и не только*

Анатолий Янжула
10 Найти свою родину

Ди*Н* стихи

Владимир Алейников
14 И вам не дано догадаться

Александр Костерев
16 Расставание до весны

Александр Орлов
18 Всего не расскажешь об этом

Виталий Пырх
89 Три стихотворения

Татьяна Панова
101 И каждый дождь, и каждый миг

Ильман Юсупов
108 Я вновь мечтаю зазвенеть строкою

Сергей Миронов
111 Благие вести межсезонья…

Евгений Харитонов
112 Рябиновые кисти

Мосты над облаками

Валентина Майстренко
19 От Саяна—до Синая и Сиона

Ди*Н* память

Пётр Коваленко
46 Последняя ягодка

Ди*Н* мемуары

Олег Нехаев
49 Из одного корня

Баадур Чхатарашвили
90 Какие наши годы?

Библиотека современного рассказа

Валерий Михайловский
57 Шальная война

Ася Умарова
65 Клавиши Падам

Марат Валеев
70 Трактат о бане

Сергей Леончук
114 Золотая лихорадка

Дмитрий Воронин
119 Честная служба

Ольга Харитонова
133 Не ешь меня

Ди*Н* симметрия

Константин Бальмонт
64 Из книги «Песня рабочего молота»

Андрей Белый
69 Из романа «Котик Летаев»

Эдуард Багрицкий
75 Из цикла «Тиль Уленшпигель»

Николай Бердяев
132 Предсмертные мысли Фауста

Александр Тарасов-Родионов
195 Из повести «Шоколад»

ДиН проза

Сергей Пылёв
76 Материсто

Елена Басалаева
140 Сказки девяностых

клуб читателей

Марина Саввиных
102 Огонь, вода и медь Нины Ягодинцевой

ДиН пародия

Евгений Минин
107 Что-то светлое в душе…

ДиН ревю

Вера Зубарева
169 Между Омегой, Альфой и Одессой: *Трамвайчик-2*

ДиН штудии

Джеке Маринай
170 Теория протонизма: *основа для совершенствования социальной функции литературы*

ДиН фантастика

Виктория Рефас
175 Звезда Давида

ДиН арт

Рустам Мавлиханов
179 Лили Марлен

196 ДиН авторы

ДиН галерея

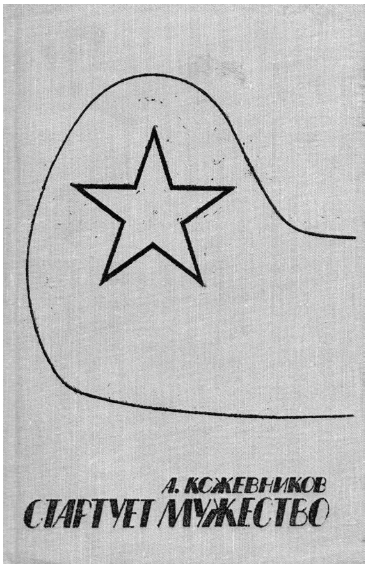
Художники земли красноярской

С 24 декабря 2021 года по 25 января 2022 года в Красноярском Доме художника проходила ежегодная отчётная краевая художественная выставка Красноярской региональной организации ВТОО «Союз художников России» «Художники земли красноярской. Живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство». Репродукции с картин, представленных в мартовском номере «ДиН», публикуются с любезного разрешения организаторов выставки.

Юрий Ромашков

Победы и поражения Анатолия Кожевникова:

взгляд через мемуары и не только



Книга Кожевникова А. Л. «Стартует мужество». 1980 г. Фонд ККМ

Вторая мировая война дала пищу множеству источников личного происхождения: мемуарам, дневникам, частной переписке,—так или иначе отражающих отношение современников к происходившим событиям. Мемуары, пожалуй, в этой группе занимают особую позицию. Являясь источником субъективным, хотя любой источник несёт на себе отпечаток субъективности, как результат творчества отдельно взятой личности, в мемуарах это находит наиболее яркое отражение. Поэтому каждый мемуарный источник должен быть подвергнут самой строгой проверке на достоверность[1]. В то же время важно учитывать, что в воспоминаниях ярко проявляется дуалистическая природа исторических источников. С одной стороны, мемуары фиксируют информацию о прошлом и, следовательно, являются его отражением, а с другой—представляют собой часть той эпохи, в которой они возникали, и того времени, когда они публиковались, становясь известными широкому кругу читателей и выполняя при этом свою социальную функцию[2]. В этом плане мемуары боевого лётчика-истребителя, Героя Советского Союза, почётного гражданина города Красноярска Анатолия Леонидовича Кожевникова «Стартует мужество» 1980 года издания представляют собой наглядный пример субъективного, но в то же время своеобразного взгляда на события 1930–1940-х годов, так как охватывают не только фронтовую жизнь героя. Разумеется, это не единственная книга аса. Ещё в 1959 году увидели свет «Записки истребителя», которые по своему содержанию мало отличаются от позднего издания «Стартует мужество». Несмотря на то что, как и многие источники подобного рода, эти книги у Кожевникова не лишены художественного вымысла, постараемся, читая их и привлекая другие материалы, составить представление о боевом пути лётчика.

Анатолий Леонидович Кожевников прошёл долгий боевой путь от младшего лейтенанта до заместителя командира 212-го гвардейского истребительного авиаполка (ГИАП) в звании майора. Он родился в 1917 году в деревне Базаиха ныне Красноярского края, в семье крестьянина. После окончания сельской начальной школы окончил семилетку и поступил в Красноярский сельскохозяйственный техникум на геотопографическое отделение[3]. Завершив своё обучение в техникуме, Анатолий работал в землеустройстве, а затем устроился топографом на строительстве Красноярского деревообделочного комбината, параллельно занимаясь в местном аэроклубе. «Теперь сразу же после работы мы спешили в аэроклуб. Изучали устройство самолёта и его двигателя, аэронавигацию и аэродинамику, топографию и наставление по производству полётов»[4],—вспоминал Анатолий Леонидович. В 1938 году он был призван на срочную службу в РККА и по комсомольскому набору направлен в 30-ю Читинскую военную авиационную школу пилотов, из которой

1. *Галиуллина Д. М.* Проблема изучения мемуаров в отечественной исторической мысли. // Учёные записки Казанского университета. Серия «Гуманитарные науки». 2021.
2. *Георгиева Н. Г.* Мемуары как феномен культуры и как исторический источник. // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия «История России». 2021.
3. *Коллектив авторов.* Присвоить звание Героя. Историко-публицистическое краеведческое издание, посвящённое 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Красноярск. 2015.
4. *Кожевников А. Л.* Стартует мужество. Красноярское книжное издательство. 1980.

в декабре 1939 года переведён в Батайск. Здесь он остался работать инструктором до самого начала войны, освоив истребитель И-16. Здесь же он встретил начало Великой Отечественной войны. «Страшное известие о нападении фашистской Германии на нашу страну застало меня в Батайской лётной школе, в которой я был инструктором»[5],— писал ас позднее. С июля 1941 года Кожевников находится на фронте. Большие потери первых дней войны вынуждают руководство привлекать в действующие части специалистов из преподавательского состава, зачастую с техникой из авиационных школ. Кожевников писал: «В первых числах июля пришёл приказ—вылетать на фронт. Лететь надо было на боевых самолётах, принадлежавших школе. Механики проверяют моторы, оружейники снаряжают патронные ящики, готовят оружие. Они делали эту работу множество раз, но сегодня выполняют её по-особенному»[6].

Свои первые боевые вылеты Анатолий Леонидович совершил в составе истребительной авиагруппы, сформированной из лётчиков-инструкторов Батайской школы, на Южном фронте, в основном занимаясь разведкой и штурмовкой наземных войск противника. В результате боёв в районе Ростова-на-Дону группа лишилась почти всей материальной части и личного состава. В марте 1942 года младший лейтенант Кожевников переведён в 438-й ИАП, получивший на вооружение английские истребители «Харрикейн», которые уже успели послужить в 416-м ИАПе. Полк короткое время входил в состав 266-й истребительной авиадивизии, а с августа того же года был включён в состав 267-й штурмовой авиадивизии. Отныне в задачу полка входило главным образом сопровождение штурмовиков Ил-2. Тем временем в южном секторе советско-германского фронта назревали трагические события. К концу мая советские войска потерпели поражение под Харьковом, были разбиты в Крыму. В результате противник вновь овладел наступательной инициативой. Нанеся поражение наступавшим частям РККА, немцы двадцать восьмого июня сами перешил в наступление. Началось осуществление операции «Блау». Мощные танковые и моторизованные соединения вермахта к третьему июля вошли в Воронеж и захватили переправы через Дон. Именно эти силы немцев и стали объектами для атак 267-й штурмовой авиадивизии. До прибытия 438-го ИАПа прикрытие Ил-2 осуществлял 897-й ИАП. И делал это, судя по документам, не всегда успешно. Например, в боевых вылетах пятого июля дивизия лишилась от атак истребителей противника и огня зениток шести штурмовиков. В том числе был сбит и погиб командир 683-го ШАП майор Бойков. Не лучше дело обстояло и на следующий день: по журналу боевых действий, шестого июля после нанесения ударов по танковым и пехотным частям противника не вернулись пять Ил-2[7]. Не исключено, что многие из этих самолётов стали жертвами атак немецких лётчиков из 3-й истребительной эскадры «Удет», оперировавшей на этом участке фронта и заявившей победы над советскими штурмовиками в эти дни[8]. Нельзя также не сказать, что в этот период войны Ил-2 выпускался в одноместной модификации, без заднего воздушного стрелка. Это обстоятельство делало самолёт уязвимым для атак истребителей люфтваффе с задней полусферы.

В августе 1942 года 897-й ИАП был сменен 438-м, и для Анатолия Кожевникова началась пора новых фронтовых испытаний. Но по-настоящему боевая работа полка пошла с сентября. Так, пятого числа был осуществлён удар по аэродрому Россошь, на котором было отмечено базирование самолётов противника. Журнал боевых действий отмечает, что налёт был осуществлён силами 438-го ИАП и 41-го ШАП. Удар наносили девять штурмовиков Ил-2 под прикрытием стольких же «Харрикейнов». Кожевников в своих воспоминаниях пишет, что во время налёта удалось уничтожить семнадцать самолётов противника и четыре сбить во время воздушного боя[9]. Но журнал боевых действий 267-й ШАД с ним не согласен, отмечая уничтожение шести и повреждение такого же количества немецких самолётов[10]. Однако не будем судить строго мемуариста, так как между событиями и написанием книги прошло довольно большое количество времени. В целом атака оказалась успешной и совершенно неожиданной для врага. Всё же противник показывал, что с его опытом и техникой придётся считаться. В «Стартует мужество» ас отмечает гибель своих однополчан: Заборовского, Хмылова. Был сбит Олейников. Действительно, согласно документам авиадивизии, потери соединения от атак истребителей люфтваффе с девятого по четырнадцатое сентября 1942 года составили пять Ил-2 и пять «Харрикейнов». Ещё двенадцать Ил-2 было сбито зенитной артиллерией[11]. Тем не менее, по докладам пилотов-штурмовиков, они поработали эффективно.

5. *Кожевников А.Л.* Записки истребителя. Москва. Воениздат. 1959.
6. Там же. С. 6.
7. ЦАМО. Ф. 20030. Оп. 1. Д. 15. Л. 3–4. Журнал боевых действий штаба 267-й штурмовой авиадивизии за 1942–1943 гг. https://pamyat-naroda.ru
8. Tony Wood's Combat Claims & Casualties Lists.
9. *Кожевников А.Л.* Стартует мужество. Красноярское книжное издательство. 1980. Ук. соч. С. 110.
10. ЦАМО. Ф. 20030. Оп. 1. Д. 15. Л. 26. Журнал боевых действий штаба 267-й штурмовой авиадивизии за 1942–1943 гг. https://pamyat-naroda.ru
11. Там же. Л. 33.

Например, за этот же период было доложено об уничтожении и повреждении пятидесяти пяти танков, ста повозок, 1625 человек живой силы, подавлении огня тридцати пяти орудий зенитной артиллерии и прочее. Любопытно, что штаб дивизии отнёсся к этим заявлениям критически. В его отчёте, в частности, отмечалось: «Большим злом нашей дивизии и вообще авиации является поверхностный и несерьёзный подход к результатам бомбардировочных действий. Результаты завышаются, в действительности наши действия на много раз менее эффективны, чем их показывают части»[12]. Далее приводился пример с завышенным числом уничтоженных немецких танков, с оговоркой: «Учитывая большую эффективность наземных войск в борьбе с танками, противник должен был остаться без танков, но оказывается, что это неправдоподобно»[13].

Так как удар по аэродрому Россошь был оценён как удачный, одиннадцатого сентября атаку было решено повторить. Анатолий Леонидович, рассказывая об этом, позволил себе некое художественное отступление, заявив, что вылет был осуществлён специально для уничтожения особой группы Геринга, которая действовала по заданию германского генерального штаба[14]. Обратимся к отчёту 267-й ШАД. Разумеется, ни о какой специальной группе асов в нём речи не идёт. Задача поставлена довольно лаконично: «11.09.42 г. в 09:00 лично подполковник Корпусов от командующего 2-й ВА (воздушной армии.—*Прим. авт.*), получил боевую задачу: с рассветом 12.09.42 г. уничтожить самолёты противника на аэродроме Россошь»[15]. Сам Кожевников и другие лётчики полка истребителей должны были подавить зенитные точки немцев. Задача была сопряжена с большим риском: истребители, не имея достаточного бронирования, вынуждены были действовать с малых высот по зенитным расчётам врага, фактически отвлекая огонь на себя. С заданием наши лётчики справились успешно: уничтожено четырнадцать самолётов, склад с горючим и десять автомашин. Советские лётчики потерь не понесли, лишь огнём ЗА был легко повреждён один Ил-2[16].

Тогда же, в сентябре, к Анатолию Кожевникову пришла первая победа над вражеским самолётом. Победа отмечена также над аэродромом Россошь двенадцатого сентября 1942 года. В том вылете Анатолий Леонидович снова прикрывал ударные самолёты Ил-2. В своих мемуарах Кожевников говорит о другом районе боя—селе Сторожевое. В обеих книгах аса бой более-менее описан одинаково: спасение отставшего Ил-2, нападение трёх Ме-109, уничтожение одного из них. Кстати, в этой схватке был сбит и сам Кожевников. Не совсем понятны детали. А точнее, из описания неясно, как наш ас остался один против трёх истребителей противника и что в это время делал его ведомый, да и вся группа, которые должны были защитить командира. После того, как Анатолий Леонидович смог посадить изрешечённый истребитель, счастье снова улыбнулось ему: при штурмовке наземных сил противника зенитным снарядом его самолёт был подбит. «Огромным усилием я вывел машину из глубокой спирали. О противозенитном манёвре нечего было и думать: подбитый самолёт мог лететь только по прямой»[17],—описывал этот бой Кожевников. В следующих схватках с врагом он пополнил счёт: асу были записаны как победы в группе два истребителя противника, опознанные как итальянские «Макки-200».

К ноябрю на советско-германском фронте наметились признаки перелома в пользу Красной Армии. Основные события происходили в районе Сталинграда, но и лётчики 438-го ИАП 2-й ВА Воронежского фронта также не оставались без дела. Кожевников и его товарищи совершали вылеты на сопровождение ударных машин, разведку и штурмовку войск противника. В конце года приказом от тридцать первого декабря 1942 года младший лейтенант Кожевников был награждён орденом Красной Звезды. В наградном листе подчёркивалось, что «товарищ Кожевников представляется к правительственной награде за проявленное мужество, доблесть и отвагу при выполнении боевых заданий командования в боях против немецко-фашистских захватчиков»[18].

В наступившем 1943 году 438-й ИАП ждали преобразования. Младший лейтенант Кожевников приказом от первого февраля 1943 года представлен к ордену Александра Невского[19]. Полк наконец сдал оставшиеся «Харрикейны» и убыл для получения отечественной матчасти в виде истребителей Як-7Б. На новом самолёте Кожевников восьмого мая 1943 года одержал новую победу, сбив немецкий разведчик «Юнкерс-88» над станцией Таловая. Завязался долгий поединок с экипажем разведчика. Анатолий Леонтьевич позднее рассказывал: «„Юнкерс“ сразу же ощетинился пулемётными очередями. В мою сторону

12. Там же. Л. 33.
13. Там же. Л. 33.
14. *Кожевников А. Л.* Стартует мужество. Красноярское книжное издательство. 1980. Ук. соч. С. 117.
15. ЦАМО. Ф. 20030. Оп. 1. Д. 15. Л. 35. Журнал боевых действий штаба 267-й штурмовой авиадивизии за 1942–1943 гг. https://pamyat-naroda.ru
16. Там же. Л. 36.
17. *Кожевников А. Л.* Стартует мужество. Красноярское книжное издательство. 1980. Ук. соч. С. 149.
18. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682525. Д. 398. https://pamyat-naroda.ru
19. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682526. Д. 836. https://pamyat-naroda.ru

А. Л. Кожевников с женой Тамарой Богдановной. 1969 г. Фонд ККМ

потянулись длинные синеватые трассы. Я ещё раз убедился в опытности экипажа, в том числе и его стрелков»[20]. Примечательно, но, выйдя победителем из поединка, лётчик даже имел возможность встретиться с попавшими в плен членами экипажа «Юнкерса», так как самолёт упал в тыловой зоне советских войск. Также стоит обратить внимание на сводки потерь люфтваффе, которые сообщают о потере Ju-88D-1 борт. №430587 из 2. (F)/22 на отрезке маршрута Купянск—Россошь—Воронеж. Все члены экипажа числятся пропавшими без вести. На следующий день лётчик был представлен к ордену Красного Знамени. В наградном документе итог поединка с вражеским разведчиком описан так: «Несмотря на сильный огонь со стороны экипажа Ю-88, тов. Кожевников вёл огонь по противнику с короткой дистанции, пока стервятника не вогнал в землю. Самолёт Кожевникова имеет пробоины на обеих покрышках и хвостовом оперении. Несмотря на то, что воздух с камер был спущен, он мастерски посадил свой самолёт на аэродром и спас дорогостоящую материальную часть»[21].

В последующем, в боях конца мая, самолёт Кожевникова снова был подбит истребителями люфтваффе. Точных донесений об этом бое нет, поэтому отметим лишь, что ас был вынужден лечь в госпиталь, из которого, впрочем, вскоре сбежал в свою часть. После излечения он уничтожает четвёртого июля 1943 года в одном бою два «Юнкерса-88». Из наградного документа: «04.07.1943 г. вылетел парой и встретил 6 Ю-88 и 6 Ме-109. Атаковал сверху из-за облачности Ю-88 и с первой атаки зажёг длинной очередью, который врезался в землю, после этого отразил атаки Ме-109 и атаковал второго Ю-88, который также упал южнее хутора Александровское. После этого атаковал Хе-126, ведущего разведку, который подбитый ушёл на свою территорию»[22]. Любопытно, но в мемуарах Кожевникова можно встретить описание ещё одного яркого боя, в котором ас заявил два «Мессершмитта-109», но в известном перечне его побед за 1943 год эти самолёты не значатся. Примерно в эти же дни ас был снова подбит, как он утверждает, своими же зенитными орудиями.

Подчеркнём, что он прибыл в свой полк накануне больших событий: 438-й ИАП, включённый в состав 205-й истребительной авиадивизии 2-й воздушной армии, готовился принять участие в Курской битве. В сражениях над южным фасом боевой счёт Кожевникова стал стремительно расти. Например, шестого июля в районе Дмитриевки им был сбит бомбардировщик «Юнкерс-88». Однако следующие схватки закончились поражением: Як Кожевникова был сбит, но лётчик смог посадить израненный истребитель на пшеничном поле. Невзирая на все трудности, советский ас восьмого июля снова был в воздухе. В районе Прохоровки произошло несколько воздушных боёв, в которых Анатолий Леонидович сбил истребитель Ме-109. К сожалению, часть схваток обернулась тяжёлыми потерями для лётчиков 2-й воздушной армии. Боевая работа истребителей этого соединения оказалась совершенно

20. *Кожевников А. Л.* Стартует мужество. Красноярское книжное издательство. 1980. Ук. соч. С. 169.

21. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. Д. 1311. https://pamyat-naroda.ru

22. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. Д. 702. https://pamyat-naroda.ru

неудовлетворительной: оно потеряло трёх командиров полков. В том числе в воздушном бою был сбит и погиб командир 438-го ИАП подполковник Яков Васильевич Уткин. Это был один из пионеров советской авиации. Достаточно сказать, что при нём происходило формирование Саратовской военной авиационной школы пилотов. Полком Яков Васильевич успел покомандовать чуть более месяца.

В своих воспоминаниях Кожевников описывает гибель командира полка в результате случайного столкновения с землёй во время преследования истребителя противника: «Какая нелепая гибель! Такой опытный лётчик—и не сумел рассчитать манёвр. Новичку и то непростительно»[23]. Но, судя по заявкам на победы немецких лётчиков-истребителей из 9-го штаффеля 52-й эскадры, Уткин был сбит либо лейтенантом Куртом Гюнтером, либо лейтенантом Вольфом-Дитером Штиблером[24]. Отметим, что тогда же был сбит и сам Кожевников. Его самолёт стал жертвой кого-то из вышеуказанных немецких лётчиков. Здесь снова выручило незаурядное лётное мастерство Анатолия Леонидовича, который смог посадить свой самолёт прямо на переднем крае. После этих событий, из-за потерь в личном составе и матчасти, для вылетов пришлось создавать сводную группу из экипажей сразу трёх эскадрилий. По мнению исследователя В. Г. Горбача: «По всей видимости, одной из причин тяжёлых потерь в командном составе стало усиление ожесточённости воздушных боёв. От ведущих групп вышестоящее командование жёстко требовало любыми средствами не допускать прицельной бомбардировки своих наземных войск. Недаром группы истребителей в этот период водили в бой не только опытные комэски, но и командиры полков»[25].

После оборонительных боёв на южном фасе Курской дуги 438-й ИАП был выведен в тыл на переформирование. Полку предстояло получить новую материальную часть в лице истребителей американского производства Bell P-39 «Аэрокобра». Переучивание личного состава проходило в запасном полку в городе Иваново. Боевая работа на новых машинах началась во время форсирования Днепра, где во время вылета на разведку «Аэрокобра» старшего лейтенанта Кожевникова получила попадание зенитного снаряда. Лётчику удалось довести самолёт до аэродрома Пятихатка и благополучно посадить. Здесь произошла встреча с девушкой—авиационным инженером Тамарой Богдановной Оденовой, которая стала его женой. «На стоянку зарулила пара самолётов. Это разведчики. Из кабины первого вышел комэск Кожевников. Он достаёт из кармана кисет и говорит технику: „Самолёт трясло, как в лихорадке. Наверное, угодил снаряд. Посмотри, Витя, хвостовую часть“. Сказал и пошёл в сторону землянки,

Эрих Хартманн

которая служит ему и жильём, и командным пунктом»[26],—так позднее описывала она эпизод первой встречи с будущим мужем. Тамара Богдановна в 1933 году, после окончания Военно-воздушной академии имени Жуковского, была направлена в научно-исследовательский институт в Москве с последующей службой в лётной школе, где преподавала теорию полёта и ряд других дисциплин. На фронт ушла добровольцем. Проходила службу в составе 5-й воздушной армии, куда был включён 438-й ИАП. Заметим также, что к этому периоду времени Анатолий Леонидович Кожевников был награждён вторым орденом Красного Знамени.

Первую победу на американском истребителе Кожевников одержал двадцать пятого октября, сбив бомбардировщик «Хейнкель-111», а затем, двенадцатого декабря, его жертвой стал немецкий пикирующий бомбардировщик «Юнкерс-87». В январе 1944 года 438-му ИАПу была объявлена благодарность командования за освобождение города Кировоград. Тогда же, в январе-феврале 1944 года, часть ведёт боевую работу в небе

23. *Кожевников А. Л.* Стартует мужество. Красноярское книжное издательство. 1980. Ук. соч. С. 209.
24. Tony Wood's Combat Claims & Casualties Lists.
25. *Горбач В. Г.* Над Огненной Дугой. Советская авиация в Курской битве. 2007.
26. *Кожевникова Т. Б., Попович М. Л.* Песнь высоты. Москва. ДОСААФ. 1980.

Украины, поддерживая войска 1-го и 2-го Украинских фронтов в Корсунь-Шевченковской операции. Роль авиации в этом сражении трудно было переоценить: в частности, перед советскими истребителями стояла задача прикрытия с воздуха наступающих наземных частей, сопровождения своих ударных машин, а также уничтожения транспортной авиации противника, которая осуществляла снабжение окружённой группировки вермахта. В сложных метеоусловиях 438-й ИАП вёл активную боевую работу. Сам мемуарист об этом периоде повествует довольно скупо ввиду того, что примечательных боёв не случалось. Тем не менее разберём серию схваток над просторами Украины, в которых 438-му ИАПу пришлось очень нелегко.

События развернулись двадцать шестого февраля, когда на задание под руководством лейтенанта Рыбакова ушла десятка «Аэрокобр». Ей была поставлена задача прикрытия разведывательного Ил-2 из состава 85-го ОКАЭ (отдельная корректировочная авиаэскадрилья.—*Прим. авт.*). В районе населённого пункта Фёдоровка советские истребители подверглись атаке шести Ме-109. Завязался продолжительный бой, в котором 438-й ИАП потерял три «Аэрокобры» сбитыми и одну подбитой—младший лейтенант Демченко совершил вынужденную посадку на своём аэродроме. Анатолий Кожевников также принял участие в схватке, прибыв к месту боя в составе пары в качестве усиления советского патруля. Именно он и наблюдал, как два Ме-109 атаковали очередную «Аэрокобру» и она беспорядочно упала в восьми километрах южнее Кировограда. К сожалению, в момент наблюдения за боем пара Кожевникова сама была атакована двумя Ме-109. В результате был подбит ведомый младший лейтенант Мотузко, который под прикрытием Кожевникова сумел совершить вынужденную посадку в двенадцати километрах южнее Кировограда. С немецкой стороны в этом бою отличился самый результативный ас истребительной авиации люфтваффе Эрих Хартманн, сбивший как минимум два советских истребителя. Примечательно, что Хартманн в составе группы уже в вечерние часы провёл ещё один бой против 438-го ИАП. Он снова окончился для наших лётчиков неудачно: было сбито две «Аэрокобры»—младшего лейтенанта Олейникова и лейтенанта Володажского. В дополнение была повреждена «Аэрокобра» из братского 129-го ГИАПа. Вообще, приходится признать, что двадцать шестого февраля в боях против немецкой JG-52 438-й ИАП работал крайне неудовлетворительно, потеряв

Анатолий Леонидович Кожевников, Герой Советского Союза, почётный гражданин г. Красноярска. 1974 г.

за день пять истребителей сбитыми и два повреждёнными.

До мая 1944 года уже капитан Кожевников одержал ещё шесть побед. Например, двадцать девятого марта, прикрывая наземные войска, он встретился с двумя Ме-109 и двумя ФВ-190 в районе Фалешти, которые штурмовали наши войска на дороге. В этом бою было сбито два Ме-109[27]. Один пошёл на счёт Анатолия Леонидовича. В журнале боевых действий 205-й истребительной авиадивизии, куда входил 438-й ИАП, отмечено, что «проведено два воздушных боя с участием 6 самолётов „Аэрокобра“, 2 Ме-109 и 4 ФВ-190. В воздушных боях сбито 2 Ме-109 и подбито 2 ФВ-190»[28].

Наиболее яркие события воздушной войны в конце мая—начале июня 1944 года происходили в районе румынского города Яссы. Немецко-румынские войска, стремясь разгромить советские части и отбросить их за реку Прут, тридцатого мая перешли в наступление. Наступающую группировку противника поддерживали истребители, бомбардировщики и штурмовики люфтваффе и королевские ВВС Румынии. Сам 438-й ИАП вёл боевую работу слаженно и организованно, но всё же не избежал потерь: четыре «Аэрокобры» были сбиты асами из JG-52, ещё одна совершила аварийную

27. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. Д. 5294. https://pamyat-naroda.ru
28. ЦАМО. Ф. 20527. Оп. 1. Д. 134. Журнал боевых действий 205-й истребительной авиадивизии за март 1944 г. https://pamyat-naroda.ru

посадку. У немцев в боях с 438-м ИАПом особенно отличился командир 1-го штаффеля лейтенант Вальтер Вольфрум, сбивший два истребителя полка. Интересно, что вечером группа советских истребителей, которую вёл Кожевников, провела свой очень непростой бой с отрядом немецких истребителей, куда входил ас люфтваффе Эрих Хартманн. Военные дороги двух незаурядных асов вновь пересеклись—теперь уже в небе Румынии. На следующий день полк провёл несколько схваток и понёс болезненную потерю: в бою с немецкими штурмовиками был сбит и погиб заместитель командира полка по воздушно-стрелковой подготовке Василий Васильевич Соколов. Вообще, стоит отметить высокую интенсивность использования авиации противоборствующими сторонами в этот период. Анатолий Леонидович вспоминал: «Последний вылет совершаем почти в темноте. Устали до предела, нет сил ни разобрать дневные бои, ни думать над тактическими приёмами врага, которые мы обычно анализировали в конце каждого дня. Одно желание—повалиться скорее на землю и уснуть»[29]. Сам Кожевников одержал в этот день победу, сбив пикировщик Ю-87.

С тринадцатого июля 1944 года полк принимал участие в Львовско-Сандомирской наступательной операции. Здесь его ждала очередная горькая утрата: погиб очередной командир—Александр Васильевич Оборин, который являлся другом и земляком Кожевникова. В своих мемуарах Анатолий Леонидович считает, что командир погиб, тараня вражеский самолёт. После гибели Оборина полк до середины августа 1944 года возглавлял Кожевников в звании майора. При этом ас продолжал лично выполнять боевые вылеты и руководить воздушными боями. В одном таком августовском бою «Аэрокобра» Кожевникова получила попадание в двигатель от очереди немецкого истребителя. Но американский самолёт был живуч, за что и нравился лётчикам, поэтому Анатолий Леонидович смог долететь до своего аэродрома и успешно приземлиться. Однако долго командовать полком ему не довелось. В конце августа лётчик ввиду большого переутомления был госпитализирован. Полк принял подполковник Иван Алексеевич Овчинников. Август был богат на события в жизни полка: за отличие в боях за овладение городами Перемышль и Ярослав приказом ВГК №0257 полку присвоено почётное наименование «Ярославский». А двадцать седьмого октября за образцовое выполнение боевых задач и проявленные при этом мужество и героизм приказом НКО СССР №0341 438-й ИАП был преобразован в 212-й гвардейский истребительный авиационный полк.

После возвращения в часть гвардии майор Анатолий Леонидович был назначен заместителем командира полка. Он продолжал лично выполнять боевые задания, увеличивая счёт личных побед. «Когда в бой группу ведёт товарищ Кожевников, она всегда выходит из боя с победой. От его меткой очереди не уходит противник живым. Проводит большую работу по укреплению воинской дисциплины в полку и сколачивание личного состава на успешное выполнение боевых заданий»[30],—отмечалось в наградных документах пилота. В 1945 году асом было сбито ещё пять самолётов люфтваффе. Всего за годы Великой Отечественной войны он совершил двести одиннадцать боевых вылетов, провёл шестьдесят два воздушных боя, в которых одержал, по разным данным, от двадцати трёх до двадцати пяти личных побед. Приказом от двенадцатого мая 1945 года лётчик был награждён четвёртым орденом Красного Знамени. Позднее, приказом от двадцать седьмого июня того же года, Кожевникову было присвоено звание Героя Советского Союза[31]. Также с 1949 по 1957 год он награждался вторым орденом Красной Звезды и медалью «За боевые заслуги». Кроме того, имел медали «За взятие Берлина» и «За освобождение Праги».

В мирное время Анатолий Леонидович не расстался с профессией лётчика, приступив к освоению реактивной техники. В 1950 году он окончил Военно-воздушную академию, служил инспектором истребительной авиации, затем командиром истребительной авиадивизии. В 1958 году окончил Военную академию Генерального штаба. В 1967 году получил звание почётного гражданина города Красноярска. С 1969 года он находился в составе командования Объединённых вооружённых сил Варшавского договора[32]. С 1974 года генерал-лейтенант авиации Кожевников—в отставке. Проживал в Москве. Умер в 2010 году, похоронен там же на Троекуровском кладбище. Анатолий Леонидович оставил большое мемуарное наследие. Известны его книги: «Стартует мужество», «Записки истребителя» и «Эскадрильи уходят на Запад». В некоторой мере каждая из его работ—это попытка обобщения полученного боевого опыта, а также желание рассказать о себе и своих боевых товарищах. Вместе с тем, как мы убедились выше, мемуары—источник, не всегда обладающий полнотой изложения, более направленный на то, чтобы читатель почувствовал дух ушедшей эпохи.

29. *Кожевников А. Л.* Стартует мужество. Красноярское книжное издательство. 1980. Ук. соч. С. 239.
30. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690306. Д. 2880. https://pamyat-naroda.ru
31. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686046. Д. 182. https://pamyat-naroda.ru
32. *Коллектив авторов.* Присвоить звание Героя. Историко-публицистическое краеведческое издание, посвящённое 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Ук. соч. С. 95.

Анатолий Янжула

Найти свою родину

Я ехал искать свою родину. С малого детства, как пошёл в школу, родина для меня прочно ассоциировалась с «Родной речью». Книжка о городах и сёлах, о детях и наших вождях — всё это казалось мне родиной. Поумнев, понял, что не всё так просто и однозначно. Понял, что родина у каждого должна быть своя, только его. А та общая, которая на всех, — это что-то другое. Что — я и сейчас ещё не конца понимаю.

И вот сегодня я еду искать свою родину. Настоящую. Вообще-то, как у всех нормальных людей, у меня должно быть две настоящих родины — родина отца и родина мамы. Отец мой с далёкой Украины, и я, ещё пацаном, был там. Всё увидел: и дедову хату под камышовой крышей, и колодец с журавлём, и шелковицу у ворот. И всё это осталось в памяти на всю оставшуюся жизнь.

А вот родину мамы я не видел. И вот самое постыдное во всём этом деле было то, что до маминой родины ехать-то всего ничего — часа три, не больше, но я еду туда уже почти пятьдесят лет.

Вот так-то. Сначала был глуп и беззаботен, и ничего не надо было, а потом некогда стало. Суета тенёта поставила.

Не видел я то место, где родились и выросли мой дед Григорий и бабушка Шура и где родилась моя мама. Косогор, на котором дед поставил дом, и Малый Кемчуг, в котором купались ребятишки и стирали бельё женщины, дедову пашню и пасеку. Всё это я представлял себе только по рассказам мамы. Душа требовала конкретности.

Стыд за беспамятность пришёл с годами. И, надо сказать, пришёл разом. Однажды, задумавшись, я так остро ощутил позади себя ускользающую пустоту и так зримо представил себе дом деда на косогоре, что решение ехать в Рыбную разом заслонило всё остальное как мелкое и не достойное внимания. От нетерпения не знал, как дождаться ближайшей субботы. Мама моё неожиданное желание не поняла.

— Что это вдруг?

— А вот, приспичило. Хочу твою Рыбную посмотреть.

— Не хотел, не хотел, да вдруг захотел?

— Вот захотел. А ты что, не хочешь?

— Ну как это — не хочешь? Хочу, конечно. Только, говорят, нет там уже ничего.

— И ты не найдёшь то место, где ваш дом стоял?

— Не знаю. Может, и не найду.

— Сердце подскажет, найдёшь.

— Дай-то Бог.

День не задался сразу, с утра. Солнце долго пряталось по-за тучами, лишь изредка косыми лучами выглядывая где-то у горизонта. Низкие тучи накатывали одна за другой, грозя прорваться хорошим дождём.

Поехали мы всей нашей семьёй: мы с женой Валентиной, мама, младшая дочь Лена и наш сын Лёша, уже отслуживший армию парень. Ну ладно, Лена ещё домашний ребёнок, а вот Лёшкина настойчивость ехать с нами в Рыбную меня удивила.

— И чего ты там хочешь увидеть? Вряд ли там что осталось.

— Да мне баба в детстве часто рассказывала о своей деревне. Хочу сам посмотреть, где было наше родовое имение. Может, чего интересного найду.

На моей чисто городской машине можно ездить только по асфальту. Зная это, я заранее договорился с Игорем, отставным офицером-танкистом, давно и по-доброму знакомым из Козульки, что он нас повезёт дальше. Козулька — небольшой районный центр со станцией на Транссибе. По сибирским меркам — просто большая деревня.

Игорь уже ждал нас, покуривая на скамейке у своего дома.

— Здоро́во, Игорь. Знакомься, это моя мама, Лидия Григорьевна, урождённая Пуртова, моя жена Валентина, сын Лёша и дочь Лена. Семья в полном составе. Мама будет нашим экскурсоводом по деревне Рыбная.

— Да уж, с меня экскурсовод. Сто лет там не была.

— Ничего, Лидия Григорьевна. Вот приедем, поставим вас посреди деревни, всё сразу и вспомните, — оглядел всю нашу компанию. — Ну что, путешественники, готовы?

— Мы-то готовы. Погода не готова.

— Да чихать нам на погоду. Мою «буханку» дождём не напугаешь.

— Так туда что, совсем нет дороги?

— Да как вам сказать, — Игорь придавил сапогом окурок. — Лесная дорога. Да не волнуйтесь вы, доедем. Ну что, рассаживайтесь.

«Буханка» УАЗ-фургон, видавший виды, со следами былых побед над козульскими дорогами, стоял, скромно упёршись фарами в ворота дома Игоря. Расселись по жёстким скамейкам, поехали.

Асфальт отмахнули быстро, и вот Игорь, притормозив у сворота в сторону леса, съехал на грунтовку. Да, дорогой это можно было назвать только с большой натяжкой. Качало, как в штормовом море.

Для УАЗа это была родная стихия, и, солидно похрюкивая выхлопной, он уверенно двигался вперёд. Бултыхались мы так около часа.

— Ну вот, скоро и Рыбная.

— Мама, ну что, узнаёшь знакомые места?

— Нет. Вообще ничего знакомого. Лес кругом… Раньше при подъезде к деревне поля были, покосы… Где-то здесь, налево от дороги, была наша пасека, пашня, летняя изба. Ничего уже нет. Дурниной всё заросло.

Вдали показались длинный загон из жердей и небольшой вагончик в глубине перелеска.

— А это что за абориген?

— Фермер… Скот разводит. Да, похоже, плохи у него дела. Поначалу большое стадо было, а сейчас так, поштучно. Ну, вот и ваша Рыбная.

Справа, в глубине зарослей кустарника, показался небольшой старый дом с пустыми проёмами окон. Дальше сплошные заросли. Проехав немного, Игорь остановился, заглушил мотор.

— Ну что, Лидия Григорьевна, показывайте свою деревню Рыбную. Кто где жил, чем занимались, где на праздники хороводы водили.

— Да какие уж тут хороводы…—мама стояла посреди узкой дороги, которая, видимо, была когда-то улицей, и недоуменно оглядывалась.— Я вообще не пойму, где это место в деревне было.

— Ты же говорила, что ваш дом был на краю деревни, на холме, рядом был овражек.

— Говорила… Нет тут никаких холмов, овражков.

— Ну, пойдём дальше, посмотрим, может, и сориентируешься, где овражки и холмы.

Мы пошли по дороге. Дальше домов не было. В зарослях травы и кустов виднелись остатки заборов, куски стен сараев. Метров через пятьдесят, правее, показался ручей глубиной с ладошку и шириной метров пять. Мама остановилась, огляделась.

— Так это же речка, Малый Кемчуг! Мы здесь купались.

— Купались? Ты ничего не путаешь? Как здесь можно купаться?

— И рыбу ловили…

Сзади подошёл Игорь:

— Всё правильно, это Малый Кемчуг.

— Господи…—мама смотрела испуганными глазами на этот ручей.—Это же была речка… настоящая. Куда она делась?

— Время её съело, Лидия Григорьевна. Время… Всё когда-то кончается. Малый Кемчуг сейчас весь такой.

Мы, не переходя ручей, свернули влево, где виднелись крыши нескольких домов.

— Там была охотничья база какого-то завода, кажется, «Сибтяжмаша». Вот несколько домов и уцелели.

«Уцелели»—мягко сказано. Правда, окна и двери ещё были, но внутри живым и не пахло. От печек—только остатки битого кирпича, а от мебели—останки нар из горбыля, что были сбиты от стены до стены.

— Ну что, ты ориентируешься, в какой части деревни мы находимся? В какую сторону идти к твоему дому?

— Нет…—мама растерянно крутила головой.— Нет, ребята, ничего не узнаю. Если от речки, где мы купались, влево, так тут должна быть широкая улица к центру деревни. А какая здесь улица?..

Дальше идти не было смысла, так как там были сплошные заросли кустарника. Кроме этих уцелевших трёх домов, больше жилья не было.

— Вы знаете, вот мы как только въехали, так справа один дом стоял. Вот он мне что-то напоминает. Давайте вернёмся, я его ещё раз посмотрю. Как будто я его помню…

Неторопливо, оглядываясь по сторонам в надежде увидеть ещё что-то, мы пошли обратно. Игорь двинулся к машине, а мы остановились у того дома, который увидели первым. Мама, раздвинув высокую траву, подошла ближе, заглянула в окно, зияющее чёрным провалом, дошла до угла, где, судя по обломкам, должны быть сени.

— А вы знаете, это дом моей тётки, сестры отца. Точно! Я вспомнила!—мама зашла за угол дома.— Вот здесь у них было высокое крыльцо… дальше, во дворе, стояли сараи для скотины… а вот здесь были ворота!

Мы следом за ней тоже заглянули в провал крайнего окна. Внутри не было ничего. Ни пола, ни перегородок, ни печи. Сплошная чёрная яма. Мама подошла к тому месту, где, по её воспоминаниям, должны быть ворота, долго смотрела куда-то вдаль.

Мы замерли, стараясь не мешать её воспоминаниям. Мы понимали, что сейчас она видела широкую улицу, солнечный летний день, народ, идущий по своим делам, себя семилетней девочкой, стоящей у калитки дома своей тётки.

— А раз здесь были ворота… значит…—она резко развернулась.—Значит, наш дом должен стоять вот там,—и показала на заросли напротив.

Где «там», мы не поняли. «Там» не было ничего, кроме высоченной травы и высохших кустов. А мама с недоумением продолжала:

— Но наш дом стоял на бугре, а перед ним был овражек. А вот где бугор и где овражек?

Да, ни бугров, ни оврагов там явно не просматривалось. Но мамина решительность взбодрила, и было видно, что она не ошибается. А значит… А значит, надо действовать.

— Вот мы сейчас и сходим туда, где ты показываешь. Может, чего и найдём. Идём, Лёша, бугор искать.

Пройдя немного в сторону тех зарослей, Лёша обратил внимание на какие-то крепкие выпуклости на дороге. Разгребая ногой засохшую грязь, мы увидели, что это, оказывается, сучки толстенных брёвен.

— Интересно,— бормотал про себя Лёша, расчищая небольшой квадрат этого бревенчатого настила.— Так они что, дорогу из брёвен делали?

— Мама, а что здесь за дорога была?

Мама подошла ближе, остановилась рядом, оглядываясь по сторонам.

— Так вот здесь вроде и был тот овражек, о котором я говорила.

— Ну так вот и завалили твой овражек этими брёвнами,— Лёша очистил руки о траву.— Был овражек — стала дорога. Бабуля, ты постой здесь, а мы сходим туда, где, ты говорила, должен ваш бугорок быть.

Лёшу уже охватил азарт краеведения, и он напролом врубился в дебри кустарника и высоченной травы. Я за ним. Мы пробились вперёд метров на тридцать, но никаких остатков жилья не увидели. Да, действительно, мы шли немного в гору, и это была просто возвышенность, но точно никак не «бугор», о котором говорила мама. Я уже решил, что надо возвращаться обратно, как Лёша вдруг остановился.

— Смотри, а ведь это кирпичная кладка,— Лёша быстро разгрёб руками мусор и остатки травы.— И мне кажется, это была печка!

Выдирая траву, мы расчистили метра три в квадрате, и ясно проступил нижний ряд, размером примерно в печь.

— Ну вот, здесь, скорее всего, и был дом нашей бабули. Ну что, зовём её?

— Да погоди, дай самому осмыслить. Давай ещё пошарим, может, чего найдём интересного.

Мы расчистили площадь побольше, но ничего «интересного» не попалось. Мусор был явно бытовой, и в том, что здесь стоял дом, сомнений уже не было. Но вот чей это был дом, моего деда Григория или кого из его соседей, мы не знали.

— Пап, а давай, как говорил твой друг Игорь, поставим бабулю на это место, и она сама определит, пуртовский это дом был или нет. Пойдём, поможем ей сюда пробраться.

С трудом, расчищая прорубленную в бурьяне «просеку», мы помогли маме добраться до расчищенной площадки.

— Ну вот, мама, стой, осматривайся. По нашему предположению, это остатки печи вашей избы.

Мы помогли маме встать повыше, на печной фундамент, отошли чуть в сторону.

— Смотри, мама, вспоминай…

Мама, приложив руку ко лбу, медленно поворачиваясь в разные стороны, долго смотрела вдаль. Что она там видела? Что осталось от её детских воспоминаний?

Ей было девять лет, когда им пришлось тёмной ночью бежать из родной деревни, бежать, бросив всё, чем жили, чем кормились, чем дышали. А бежать пришлось потому, что добрые люди шепнули деду Григорию, что завтра его и его брата Ефима будут «раскулачивать» и высылать на Север.

Дед к тому времени, понимая, что колхоз — это всерьёз и надолго, отдав все своё имущество в «коллективное хозяйство», тоже вступил туда. Другого выхода просто не было. Позже дед цитировал мне злободневную на то время частушку: «…„Так-так“,— сказал батрак, заплакал и пошёл в колхоз».

И вот, несмотря на то, что они с братом Ефимом уже были колхозниками, видимо, для выполнения плана, было решено «раскулачить» и их, как бывших зажиточных крестьян. Глухой ночью, покидав в телеги всё, что можно было взять с собой, они уехали. Уехали в никуда. Позже, продав коней и телеги, перебрались в Анжеро-Судженск, где таких бедолаг набралось уже прилично. Прожив там около года, вернулись в Красноярск. Никто их не искал, не хватал и не ловил. К тому времени в газете «Правда» уже была напечатана статья Сталина «Головокружение от успехов» об ошибках в коллективизации, и страсти поутихли. Но в родную деревню братья уже не поехали. Отвернуло на всю оставшуюся жизнь.

Вот такая грустная предыстория нашего родового имения, на обломках которого мы стояли. Мама, видимо, прокрутив в памяти грустный чёрно-белый фильм своего детства, увидела в нём и высокое крыльцо своего дома, и дом свей тёти напротив, и глубокий овражек, и «бугор», на котором стоял их дом.

— Да, это то место… Здесь мы жили.

По её щекам тихо катились слёзы, а мы стояли молча, думая каждый о своём.

А думать было о чём. В Сибири не было явных «кулаков» и угнетённых бедняков. Просто были люди, кто умел и хотел работать, и те, кто довольствовался малым. Для нормальной жизни было всё: в тайге — зверь, а это мясо и пушнина, в реке — рыба, да и земли хватало всем. Мало тебе земельного надела — раскорчёвывай тайгу. У деда Григория с его братом Ефимом уже был свой «мини-колхоз» — общее, на две семьи, хозяйство. А это значит — общий земельный надел, общие

сельхозорудия, общая пасека. На пашне построили небольшую летнюю избу, чтобы на время страды не тратить время на дорогу, на пасеке—омшаник для хранения пчёл зимой, в тайге—небольшая избушка с лабазом, где хранились пушнина и запас еды. Идеальная схема для проживания в суровых условиях Сибири.

Зачем было ломать продуманный веками образ жизни? Кому от этого стало лучше? Оставшиеся в опустевших деревнях любители лежать на печи, потеряв возможность за пару месяцев в страду заработать у крепких хозяев еды на весь год, быстро разбежались кто куда. И всё! Деревни погибали в муках, разрушая фундамент государства.

Длинно вздохнув, мама вытерла слёзы.
— Ну вот и повидались... Говорили, в избе после нашего побега председатель колхоза приказал сделать курятник. В большом и светлом доме—курятник!

Мы вышли на дорогу, остановились и долго стояли молча, глядя на то место, где когда-то на высоком холме стоял большой и красивый дом. Мама углом платка вытерла слёзы, вздохнула.
— И что у него, убогого, было в голове? Мстил, наверное, что не смог нас добить. Да Бог его, дурака, быстро наказал. Позже наши деревенские рассказывали, что, пьяный, он замёрз у ворот своего дома,—махнула рукой.—Ладно, пойдём. Прошлого уже не воротить... Жизнь всех расставила по своим местам.

Игорь ждал нас у машины.
— Ну, что, Лидия Григорьевна, вспомнили место, где был ваш дом?
— Да, нашли место, где он стоял. Нет там уж ни холма никакого, ни оврага. Время разгладило все холмы.

Да уж... Время всё ставит на свои места. И всё—и всех. И холмы разглаживает, и людей по судьбам расставляет. Не зря же говорят: время—лечит. Ну что, экскурсия в прошлое закончена, возвращаемся в настоящее. По коням.

Долго ехали молча. Даже хохотушка и говорушка Лена, несмотря на своё малолетство, видимо, поняла, что не так всё просто в этой жизни, тоже сидела молча, поглядывая в окно. Игорь, объехав необъятную по размерам лужу, остановился.
— Ну что приуныли? А у меня для вас хороший подарок есть. Я думаю, он вам точно настроение поднимет. Негоже с нашей, да и с вашей козульской земли в унынии уезжать. Грибочков хотите со своей родины привезти?

Народ оживился:
— Ну кто же от грибочков откажется? Показывай.
— Лидия Григорьевна, вы говорили, где-то здесь примерно, в этом районе, была ваша пасека. Далеко от дороги?
— Да как вам сказать? Раньше всё близко было, а сейчас с каждым годом метр всё длинней. Недалеко, думаю. Омшаник с дороги просматривался.
— Вот сейчас я вас завезу на одну полянку, оглядывайтесь, может, что знакомое и увидите.

«Уазик», хрюкнув коробкой и взревев мотором, врубился в сторону от дороги. Виляя между берёзками, Игорь поехал в сторону перелеска. Интересно, и что там за подарок? Лес как лес. Проехали совсем немного, и Игорь остановил машину.
— Ну, вот ваша поляна, а я дальше пройду, посмотрю, что там. Успехов вам.

Пока женщины разбирали сумки, доставая пакеты, я прошёл по краю перелеска. И практически сразу, через десяток шагов, наткнулся на семейку белых грибов.

Что было дальше, описать просто невозможно. Пройдя через кусты метров десять вперёд, я просто обомлел. Справа и слева я увидел перед собой целую поляну таких грибов. Они стояли почти сплошняком, большие и маленькие, кучками и по одному. Поляна коричневых головок. Вот это сюрприз! Вернулся к машине, подошёл к маме.
— Хочешь, клад покажу?

Мама, недоверчиво глянув, сомнительно покачала головой:
— В клады я давно уже не верю. Не темни: что за клад?
— Белых грибов хочешь? Все пойдём. Там на всех хватит.

Грибов хватило всем. Игорь, конечно, знал об этой поляне и великодушно отдал её нам. Убедившись, что мы нашли его подарок, он, тихо подойдя к нам, сел на пенёк, закурил и, посмеиваясь, смотрел, как мы на карачках ползали по поляне. Набрали много, заполнили всю имеющуюся тару. Грибы были отменные.
— Ну что, Лидия Григорьевна, места знакомы вам? Не здесь ли ваша пасека была?
— Да как тут узнаешь, где она была, та пасека? Меня же совсем ребёнком увезли отсюда,—мама, перебирая в пакете грибы, вздохнула.—Столько лет прошло. Всё тут изменилось. Поля лесом заросли, овраги землёй затянулись,—вздохнула.—Да чего сейчас уже вспоминать? Жизнь идёт, не спрашивая нас, чего мы хотим... У неё свои законы.

Надо просто жить...

Владимир Алейников

И вам не дано догадаться

• • •

Флоксы заполнили сад.
Это — исход карнавала.
Что ж, оглянусь наугад —
Юности как не бывало.

Молодость, пряча лицо,
Сразу за юностью скрылась.
Полночь. Пустое крыльцо.
Нет, ничего не забылось!

Прошлое встало впотьмах,
Словно толпа у причала.
Окна погасли в домах.
Помни, что это — начало.

Всё, с чем расстаться пришлось,
Всё, что в душе отзывалось,
К горлу опять поднялось —
Значит, вовек не терялось.

Роз лепестки и шипы,
Свет на мосту и в аллее,
Шорох сухой скорлупы —
Нет, ни о чём не жалею!

Ветрено. Гомон в порту.
Флаги над мачтами вьются.
Вот перешли за черту —
Нет, никому не вернуться!

Кончено. Поднятый трап.
Берег отринутый. Пена.
Дождика в море накрап.
Знали бы этому цену!

Пасмурно. Холод проймёт —
Муки предвестие новой.
Только на ве́ках — налёт,
Фосфорный, ртутно-лиловый.

• • •

Хрусталя фасеточный глаз,
Февраля прощальная песнь —
Извели бы горем не раз,
Но живу и радуюсь: есмь!

Измельчи ветвей филигрань,
Неуёмный ливневый гул,
Не затронь запретную грань —
От неё не первый уснул.

Ничего не видно вдали,
Где в песках оставил следы, —
И, согласно праву, внемли́
Пелене кромешной воды.

А бывало, тоже знавал,
Толкователь капель ночных,
Где звериный зрят карнавал
И находят чаек степных.

Этот хмель, вестимо, прошёл,
Истомил, как вишенный цвет, —
И от всех положенных зол
Исцеленья, видимо, нет.

Что же обруч тесен причин
И широк не чаемый круг? —
Без известных, значит, кручин
Ты и впрямь воспрянешь ли, друг.

До чего ж текстологам жаль
Разбираться в дивном бреду,
Где дружна с юдолью печаль,
А начало — где-то в саду!

Размышленья помни урок,
Расставанья слушай укор —
И забьётся в горле комок,
И постигнешь ангельский хор.

• • •

Смущаться посвящённым не впервой—
И вот уже багрянцем торопливым
По склонам всей гряды береговой,
По выступам, по скалам над заливом
Сквозит октябрь—и, высветясь за ним,
Уже сутулясь там, за перевалом,
Встаёт, упрямясь, призрак новых зим
С их опытом и холодом немалым.

Теперь мы ничего не говорим
О том, что летом, скомканным бесчасьем,
Лишь отсвет был нам нехотя дари́м
Того, что встарь захлёстывало счастьем,—
И вслед за ним, с полуденным теплом,
С дождём вечерним, с ветром полуночным,
Угадывался времени разлом,
Где связям вряд ли выстоять непрочным.

Нет никого, кто понял бы, зачем
Весь этот ужас, истово зовущий,
В пространство уводящий насовсем,
Хрипящий—но хранящий и поющий,
Довлеющий над нами потому,
Что слишком уж беспечными бывали
Слова, которым знаться ни к чему
С тем сном, который выразим едва ли.

• • •

Шумит над вами жёлтая листва,
Друзья мои,—и порознь вы, и вместе,
А всё-таки достаточно родства
И таинства—для горести и чести.

И празднества старинного черты,
Где радости нам выпало так много,
С годами точно светом налиты́,
И верю я, что это вот—от Бога.

Пред утренним туманом этажи
Нам брезжили в застойные годины,—
Кто пил, как мы,—попробуй завяжи,
Когда не всё ли, в общем-то, едино?

Кто выжил—цел,—но сколько вас в земле,
Друзья мои,—и с кем ни говорю я,
О вас—в толпе, в хандре, навеселе,
В беспамятстве оставленных—горюю.

И ветер налетающий, застыв,
Приветствую пред осенью свинцовой,
Немотствующий выстрадав мотив
Из лучших дней, приправленных перцовой.

Отшельничать мне, други, не впервой—
Впотьмах полынь в руках переминаю,
Седеющей качая головой,
Чтоб разом не сгустилась мгла ночная.

• • •

Неспешные такты мурлыча,
В погоду врастаешь тайком,
Как будто бы чуя добычу,
Доволен любым пустяком.

Пускай это луч над горою,
Пробиться успевший сюда,
Где всё, что пригодно для строя,
Со мною уже навсегда.

Пускай это бред звукоряда
В потёмках октябрьской воды—
Но лучшего мне и не надо,
И я заметаю следы.

И кто я?—попробуй проведай!
Добытчик того, что во мне,
За дружеской редкой беседой
Я вечно от всех в стороне.

И вам не дано догадаться,
Пока ещё почва жива,
Куда вам вовек не добраться—
Откуда берутся слова.

Так будь же великою, тайна,
Томись на виду меж людей!
А ты, заглянувший случайно,
Державинских жди лебедей.

• • •

Когда закручен лист жгутом—
И нет причины обольщаться
Всем тем, что сбудется потом,
И тени бросятся прощаться
Со всеми разом, наобум,
И, что-то важное решая,
Берутся вроде бы за ум,
Со светом встретиться мешая,—
Наверно, всё-таки пора
К тому, что медлит, приобщаться,
Чтоб там, где ждут ещё добра,
За нас не стали огорчаться.

И по-особому тепло,
Хотя и с дозою прохлады,—
И, может, изредка везло,
Но перебарщивать не надо
Ни с тем, что ночью леденит,
Ни с тем, что утром согревает,—
Пусть век наш тем и знаменит,
Что вдруг такое затевает,
Чему противится душа,
Чему препятствуют светила,—
А осень, право, хороша—
Всё поняла и всех простила.

Александр Костерев

Расставание до весны

Не параллельное

В параллельных мирах мы летим—горделивые птицы,
в параллельных мирах, где не встретиться и не проститься,
в параллельных мирах, постигая вселенский простор…
Параллельность миров разделяют заборы и стены
(сохранив своё «Я»—мы возводим преграды из тлена):
ни звонка, ни письма, ни привета, ни взгляда в упор…
Нам дороже Евклид, но правы Лобачевский и Риман,
наше первое «Ма!» от прощального неотличимо,
мы не ценим счастливых мгновений до крайней поры…
Параллельны миры… Мы, как линии, в них одиноки.
Не транжирьте любовь: быстротечны улыбки и вздохи,—
и, пожалуйста, будьте добры, берегите миры!

Оставляем тире…

Время года—зима, на висках—серебром иней…
О любви—ни полслова, потрачено и забыто…
Выхожу из окна в глубину твоих глаз синих,
а недолгому счастью—приятного аппетита…
Истончились нервишки, не станут крылом плечи,
подсчитаю морщинки на старом чужом теле…
В лепрозорий души заходить с каждым днём легче,
с бестолковым плакатом гордыни: «Ну что, съели?»
Затянуть бы лихую—не радует, не допито,
вспоминая о той (в бликах солнца и конопатой)…
На покрытых помётом и скорбью могильных плитах
оставляем тире. Между первой—последней датой…

Ёжик

Сколько трагичности в мире: туманы и реки…
Ёжики бродят в траве, в городах—человеки,
в тайной надежде отведать душистого чаю,
с другом/подругой вечерние звёзды считая…

Шишел не мышел—пророчат летучие мыши,
ухает филин, а страхи ночные всё ближе…
Слабо фонарик мерцает вдали светлячковый,
отданы: чувства, долги, ожиданья, швартовы…

Кто сбережёт нас в промозглой ночной канители,
ёжиков—стражей тончайших душевных материй?
Кто защитит от простуды, тумана, испуга?
Как хорошо, что мы живы и есть…
друг у друга…

Ходики

На стене, на гвоздике,
жили-были ходики:
жили-были,
жили-были
(точно ходики ходили),
жили-были,
жили-были
(горевали и любили,
провожали и встречали,
дни недели отмечали).
Досаждали только гири:
так тянули и давили,
возвращая к прошлому,—
ничего хорошего…
Как-то лопнула цепочка—
встали ходики, и точка:
неразлучны в мире
ходики и гири…
Вот превратности судьбы…
Жили-были,
жили бы…

Дом, который я строил

Дом, который я строил,
был, как водится, мал:
в нём я не был героем,
на Луну не летал,
колдовским баритоном
не тревожил сердец,
не бросал батальоны
под разящий свинец…

Но зато в этом доме,
без дверей и замков,
есть и солнце на склоне,
и погост стариков,
запах хлеба из печки,
нежность близкой руки
и резное крылечко
на четыре… строки.

Помилуй

Помилуй… Бог в улыбке и руке,
а не в иконах в красном уголке,
он, безусловно, прячется повсюду:
помоет губкой грязную посуду,
под вечер шьёт и штопает носки,
а что его шаги — они легки,
касания его подобны чуду…

У тихих вод заросшего пруда
желтеет одуванчик придорожный,
он тоже — Бог, и жизнь его проста,
а мы с тобой, выдумывая сложность,
ей воздвигаем гордый пьедестал…
А сколько жить — полгода ли, полста?

Под гнётом гирь торопятся часы…
Недолог век у капельки росы.
И по тропинке за крутым холмом
мы к первозданной тишине бредём…
Для грешника такая благодать —
со стороны за Богом наблюдать…

Качели

Скрип качелей:
— Не мы — не мы…
В опустевшем саду заброшенном…
Так натужно:
— Всего хорошего!
Расставание до весны…
Через лужиц зеркальный наст
звук шагов возвращает в прошлое…
На прощанье:
— Всего хорошего!
Ясно слышится:
— Бог подаст…
Не ноябрь, а наяд наряд,
с голью гоголь, скрипит качелями
о любви, в которую верили
в сверхпрозрачности ноября…
Сгинь, стыдливая нагота!
Подбираю слова корявые…
А качели губами ржавыми
всё скрипели:
— Не та — не та…

Карга

Подожди уходить, не спеши рьяно:
карнавал впереди — надевай маски…
Можешь Еву слепить из ребра? Рано,
потому что не Бог, лишь гончар-мастер…
Что ни глины комок — целый сонм гарпий,
в лучшем случае — ведьм, потаскух ночи…
Можешь Еву слепить из ребра? Рано,
то ли рёбра не те, то ли дух волчий.
Мелкий дождик косит… За косой — небо.
Не сойдётся с кредитом чужой дебет.
Тот, кто в прошлом лепил из ребра Еву,
и такую каргу, как она, слепит…
Повраждуем ещё, да не быть гневу,
гробовою доскою скрепи трепет…
Даже если не выйдет твоя Ева,
обращайся к Нему, Он ещё слепит…

Дворнику

Наш тихий задумчивый дворик
пугает загадочный дворник,
ведь каждое утро неспешно
вдоль дома он катит тележку,
в которую (будто в копилку)
и время кладёт, и бутылки…

Неделя идёт и другая,
и годы послушно мелькают,
а дворник (святой и безгрешный)
всё катит и катит тележку…

И многих не стало на свете:
и те исчезают, и эти, —
а дворник ползёт понемножку,
колёса стучат по дорожке…

Средь зодиакального круга
мы вряд ли отыщем друг друга,
мелькают века и планеты,
одно не меняется это:
загадочный дворник неспешно
всё катит вдоль дома тележку…

Александр Орлов

Всего не расскажешь об этом

Отповедь

Святому мученику
Христофору, чудотворцу

В обители я встретил полупса,
Похожего на рослого атлета.
Он задержал меня на полчаса
И требовал скорейшего ответа.

Он утверждал, что древний мармарит,
Что узнаю́т его совсем нечасто,
И на земле недолго прогостит,
И что уродлив только для контраста.

Я в страхе думал: что во мне не так?
Кто рядом—человек или собака?
И он ответил мне: «Ты холостяк,
И ты свободу любишь больше брака.

А если так, ты—одинокий зверь,
Поверь словам святого Христофора.
Что ты молчишь? Ответь же мне теперь,
Не прерывай гордыней разговора».

Но я молчал. Ответить что ему—
Что не взрастил я верности собачьей
И что кольцо я с Богом разожму
Моих потерь, прощаний и безбрачий?

● ● ●

Стал ты матёр и щетинист,
Выпьем за вековух!
Сказочный сокол Финист—
Мой закадычный друг.

С первым тебя морозом,
Зимы нас не щадят.
Помнишь, русоволосым
Был ты сто лет назад?

И раздавал всем клички,
Казалось, знал наперёд,
К райским замкам отмычки
Кто из нас подберёт.

Помни, за эти проказы
Держим ответ с тобой,
Стали мы грустноглазы,
Ты, как январь, седой.

● ● ●

Всё, что осталось в сердце, соберу,
Уйду гулять по снегу в староречье.
И взгляды устремятся в снежуру,
И свет звезды мне ляжет на предплечье.

Он сгинет прочь в потоках талых вод,
Лучом заденет берег и коряжник,
И только время, обречённый стражник,
Его проводит, превращая в лёд.

Останусь я один, и ширь небес
Ко мне молчаньем лунным обратится,
И сказ мой будет словно небылица,
Что подарил с рассветом Водокрес.

И с этим даром жить мне суждено,
Не замечать врагов и пустословья.
Я вечный свет зажёг там, где темно,
Всё как учила матушка Прасковья.

● ● ●

Арине Орловой

Меня ты любила щедро,
Кудесила на воде,
Ждала гадального ветра,
Каялась падшей звезде.

Всего не расскажешь об этом,
Доля твоя нелегка,
Живёшь по старым приметам,
Веришь в холостяка.

Сменили дожди метели,
С водой обвенчался лёд.
Думаю: неужели
Верит, любит и ждёт?

Земля в снеговых посылах,
Буду я встрече рад,
Кровь разморожу в жилах
В день водяных Коляд.

Валентина Майстренко

От Саяна—до Синая и Сиона

Святая земля глазами сибиряков

В городе святой Екатерины

Множество славных имён знает египетский Синай. Имя красавицы из Александрии, святой великомученицы Екатерины—одно из самых известных в мире. Наш синий Саян далеко-далеко, а мы уже у подножья горы Синай. В городке St. Catherine, в городе её имени. Русь православная с незапамятных времён держала связь с Синаем, первых посланцев направил сюда ещё креститель Руси князь Владимир. Две российские императрицы были у нас Екатеринами. Три крупных города в России носили имя святой—Екатеринбург, имя которому, после почти векового изгнания, не так давно вернули, Екатеринославль (он же Днепропетровск, а ныне—многострадальный украинский Днепр) и Екатеринодар (ныне Краснодар). В богатейшем монастырском музее мы увидим дарованные правителями России высокого мастерства большую кованую серебряную раку для мощей, прекрасные иконы и утварь, а на колокольне по сей день по праздникам звонят девять колоколов с земли русской. В 2002 году монастырь Святой Екатерины включён в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Екатерина жила и погибла в Александрии, но после казни ангелы не отдали тело великомученицы на поругание и тотчас же перенесли её почти за тысячу километров именно сюда, на Синайскую гряду. Но только через двести с лишним лет, уже в шестом веке, старцы Синайского монастыря, по извещению свыше, взошли на здешнюю гору более двух с половиной километров высотой и обрели нетленные мощи святой: отсечённую главу её и левую руку. С тех пор они хранятся в древней обители в храме Преображения Господня.

Эта величественная греческая церковь удивительна тем, что прямо за нею зеленеет куст дикого тёрна—неопалимой купины, по преданию, той самой, в которой явился Господь пророку Моисею, когда тот пас овец, и повелел ему вывести народ Израиля из Египта в обетованную Землю. В богатейшем монастырском музее есть красивая икона, где молодому златовласому Моисею явился этот горящий куст, хотя был он в ту пору уже немолод. Стоя перед ним, Моисей снимает обувь, не смея обутым касаться святой земли. Мы тоже постояли, сняв обувь, у куста и у колодца, где выросший среди египетской знати недавний полководец, а теперь простой пастух и будущий пророк, встретил невесту Сепфору, защитив её от нечестивцев. Так вот, говорят, что глубочайший корень этого куста уходит под часовню «Неопалимая купина» и под алтарь храма Преображения Господня, который навечно связан двумя именами: ветхозаветным именем пророка Моисея и новозаветным именем святой Екатерины.

Вся жизнь её озарена преображением. По крови она была гречанкой знатнейшего происхождения, отец был наместником римского императора. Обладая незаурядным умом, красотой и богатством, Екатерина отказала всем женихам, не найдя себе равного. И тут явился Тот, Кто покорил её сердце. Это был Распятый—тот самый Христос, который для премудрых эллинов, по словам апостола, был просто безумием. Как же уговаривал её сам мучитель, римский император Максимин, вернуться в языческую жизнь, не губить своей светлой красоты. И с каким поистине царским достоинством отвечала она ему, что не она одна, а многие из его царских палат пойдут вслед за нею. И это свершилось. Уверовав во Христа после проповедей Екатерины, ушли мучениками из богатых палат в небесные обители: жена императора Августа, любимый военачальник Порфирий и с ними двести воинов.

Как умоляли Екатерину знатные жёны её круга, узнав, что император готов сделать её императрицей, послушаться его, «взойти на трон» и насладиться всеми благами жизни. Но все уговоры были бессильны: Екатерина осталась верна единственному и любимому своему Избраннику—Христу, заплатив за это своею жизнью. Трогательна последняя молитва святой в житийном описании святителя Димитрия Ростовского: *«Господи Иисусе Христе, Боже мой! Благодарю Тебя за то, что Ты поставил на камне терпения ноги мои и направил стопы мои. Простри ныне пречистые длани Твои, некогда уязвленные на кресте, и приими душу мою, приносимую Тебе в жертву ради любви к Тебе. Вспомни, Господи, что я—плоть и кровь, и не попусти, чтобы лютые истязатели на Страшном суде соделали явными согрешения*

мои, в неведении соделанные; но омой их кровью, которую я изливаю за Тебя, и соделай, чтобы тело сие, израненное в муках ради Тебя и усекаемое мечем, было бы невидимо для врагов и гонителей моих. Призри с высоты Твоей, Господи, и на предстоящих людей сих и наставь их светом Твоего познания; и прошения тех, которые призовут чрез меня имя Твое святое, исполни на пользу, дабы всеми воспевалось величие Твое во веки».

В монастырь Святой Екатерины мы попали на второй день её памяти — восьмого декабря. Наш гид Акрам сказал, что литургия идёт обычно один час сорок минут. А после будет осмотр достопримечательностей монастыря, связанных, как всё здесь, с Ветхим Заветом и Новым. Мы зашли в храм — и будто попали на палубу громадного корабля. Он и вытянут-то по-корабельному. Там, где «штурвал», — огромное Христово распятие, нигде большего я не видела. Молчу о Голгофе.

Команда из греческих монахов в чёрных рясах, выстроившихся человек по двадцать по разные стороны Царских врат, воспевала по-гречески молитвы такими гортанно-грозными звучными голосами, что стены дрожали, как под напором мощных океанических волн. Мы ещё много услышим за нашу поездку по Святой земле истинно мужского пения, от которого отвыкли в наших приходских храмах. Да, это были воины Христовы, причём не робкого десятка. Народ «на палубе корабля» был с разных концов земли. В одном уголке сидели прямо на полу негритянки, в другом молились, «пав на лице», арабы, а может, латиноамериканцы; на коленях стояли, воздев руки, самые древние жители Египта — копты (после службы гид наш попросит копта показать крест, что выкалывают они на запястьях, чтобы никогда не отречься от Христа). По центру на стульчиках удобно расположились греки. Тут же, как мы появились, они стали вежливо предлагать нам пластмассовые стульчики. Но мы в большинстве своём решили: уж как-нибудь час сорок постоим и на ногах. И, даст Бог, причастимся.

Но прошёл час, завершился второй, пошёл третий... Непрерывно звучали песнопения, приходили и уходили толпы европейцев(-пеек) в джинсах, а начала литургии не предвиделось. Однако ж мы вместе с неграми, арабами, коптами-египтянами, греками терпеливо ждали. Стойкости нашей можно было позавидовать, но время шло, и гордость наша начала иссякать, многие стали озираться в поисках отвергнутых стульчиков и, как только кто-то покидал их, бросались к ним с великой радостью. Самые сметливые уже обрели точку опоры, устроившись на освободившихся стасидиях — высоких монастырских стульях с полусиденьями, почти таких же, как у преподобного Сергия в Троице-Сергиевой лавре. Проявляя чувство товарищества, сидели посменно.

По прошествии четырёх часов, когда силы были на исходе, наш многотерпеливый батюшка — отец Геннадий, обернувшись к нам, сказал тихо: «Ну вот, сейчас начнётся Божественная литургия». Ага, прикинули мы, значит, до конца службы осталось час сорок. Боже мой, уже прошло четыре часа, а впереди ещё целый час и сорок минут! Дело в том, что попали мы не на будничную литургию, а на праздник святой великомученицы Екатерины, который для полноты празднования перенесли с субботы на воскресенье.

Начиналась литургия. Заблистали золотыми облачениями епископы, архиепископы, митрополиты из Элима и Иерусалима. Стал подтягиваться новый народ. Вдруг из боковой двери впорхнула, как нарядная бабочка, юная длинноногая женщина в сопровождении красавца-мужа и, как я про себя его назвала, папы — благородно-седого господина в дорогом чёрном костюме. Она встала в первом ряду, демонстрируя великолепно уложенные, отливающие золотом волосы (православные гречанки, чтобы их отличали от правоверных мусульманок, не носят здесь покрова на голове), изящно поправила складочки коротенькой пышной юбочки, которая и так великолепно сидела на ней нежно-бирюзовым колокольчиком. Наверное, у неё сегодня именины, ибо чистая радость сквозила в каждом её движении. Поэтому и назовём её Катрин.

Судя по всему, её хорошо знали в монастыре. Седеющий сановитый монах из свиты, завидев Катрин, ласково улыбнулся и кивнул головой, она в ответ тоже кивнула головкой. Вероятнее всего, их семья — благотворители монастыря. Постояв немного, Катрин щёлкнула пальчиками, и тут же ей принесли кругленький стульчик прямо под цвет юбочки. Она села, снова изящно расправляя складочки. И тут чья-то рука похлопала её по плечику. Неунывающая наша паломница из Абакана, чей чемодан вместо Иерусалима отправили в Париж (через пять дней, правда, вернули), показала удивлённой Катрин за её плечико и сказала по-русски: глянь, мол, за тобой — батюшка, весь обзор ему закрыла! Катрин, ничего не понимая, оглянулась, увидела нашего долготерпеливого отца Геннадия, вскочила и, демонстрируя своё красивенькое личико всем «пассажирам корабля», вежливо наклонившись и положивши ручку на ручку, попросила благословения.

Так благодаря бдительной прихожанке из абаканского прихода отца Геннадия получила наша Катрин на празднике великомученицы Екатерины прямо у мощей своей святой покровительницы благословение от известного в России пастыря и богослова, чем, думаю, осталась весьма довольна, не подозревая, правда, о достоинствах русского батюшки. Иначе растолковать указания русской паломницы она и не могла. Она ведь не знает, что у нас принято в церквях всех новеньких

и не похожих на других постоянно наставлять по части поведения в храме, научать, направлять. И подумала, наверное: надо было сразу взять у этого батюшки благословение, как только зашла, так у них, русских, наверное, принято. Благословилась и снова уселась на стульчик. Всё было трогательно в ней. И когда в пик Божественной литургии зазвучало на греческом «Достойно есть…», Катрин сделала земной поклон и долго лежала, «упав на лице» пред Господом. Уж спутники её встали, а она всё не вставала…

Но вот литургия подошла к концу. Чаши с причастием вынесли прямо в толпу. Много чаш. Наши ряды смешались. Очаровательная Катрин, к которой уже начал было прибиваться один из наших путешественников, наверняка чтобы познакомиться поближе, затерялась в огромной толпе и исчезла навсегда. Господи, дай ей так же чисто, светло и радостно, как в сегодняшний день, нести веру по всей жизни. Кстати, имя великомученицы Екатерины с греческого означает «всегда чистая»…

Стою, сложив руки для причастия, очередь сама движет меня навстречу чаше. «Ортодокс? (Православная?)», — спрашивает, добро глядя на меня, монах-грек. «Валентина», — отвечаю я. Он улыбается моему ответу и причащает. На Синае. В монастыре Святой Екатерины. Ну не чудо ли?

Итак, вместо часа сорока службы получилось у нас пять часов двадцать минут! Потом долго гоняли именно нашу группу паломников по разным ответвлениям храма, обещая гиду Акраму, что быстренько выдадут нам колечки от самой святой Екатерины, пока не влились мы в общую толпу, не выстояли очередь и не припали к мощам великомученицы.

Как рассказал гид, хранятся они в алтаре храма. Главу невесты Христовой покрывает золотой венец, а на одном пальце надето драгоценное кольцо — в память таинственного обручения святой Екатерины с Небесным Женихом. Нашей многонациональной толпе их вынесли к выходу в ковчегах, не открывая. Хотя, в отличие от наших ковчегов, где мощи закрыты от рассмотрения покровом, греческие монахи, по вековой традиции, выставляют косточки в их чистом виде.

Немало были удивлены не очень бывалые паломники, когда накануне в городе Элиме, в старинном монастыре Великомученика Георгия Победоносца, после рассказа о святой жизни одного из настоятелей монастыря — игумена Григория — повели нас к его мощам, обретённым относительно недавно. Он ещё не прославлен во святых, но уже при жизни и по смерти не раз являл истинную святость. Приходим мы в крошечный левый придельчик храма Святого Георгия, выстраиваемся в очередь, чтобы приложиться к раке с мощами. А вместо неё видим в стеклянном гробу полуистлевшие останки в рясе, череп с уцелевшею рыжеватою бородою, ступни-кости в тапочках… Memento mori. Помни о смерти. Смерть рядом. Это первое, о чём тебе здесь напоминают. То же самое было и в костнице Екатерининского монастыря, расположившейся в полуподвальном помещении: стеклянные короба до потолка, полные костей и черепов молитвенников, почивших на этой земле. Думала, что только на Афоне останки монахов извлекают из земли и черепа выставляют на обозрение. Но тут их тоже видимо-невидимо. А по центру костницы под стеклом — останки отшельника-игумена, который умер на здешней горе, сидя на стуле. Так и сидит он на стуле четырнадцать веков уже в пределах монастырской костницы, облачённый в одежды. Право же, не знаю. Мы живём в такое время, что о смерти нам напоминают ежечасно и ежедневно, забыться и забыть о смерти уж точно никак не дают. А когда едешь в святые места, хочется воскреснуть душой, больше думать о воскресении, хочется тихого веяния благодати, которое коснулось когда-то пророка Илии. А получил-то он то первое Божественное откровение именно здесь, на горе Синай!

Всё-таки одна частичка мощей святой Екатерины постоянно выставлена в самом храме и хорошо видна под стеклом. Это большой палец левой руки. Так получилось, что наша группа застряла в очереди именно возле этой частицы, и благодаря этому каждый помолился святой Екатерине о своём вдоволь и не торопясь. Кстати, в древности считали, что большой палец левой руки помогает человеку понять свою миссию на земле. Поскольку в праздничный день в храме было очень многолюдно, к главе и левой руке великомученицы, упрятанным в ковчеги, нам давали приложиться на выходе ненадолго, но зато каждого (каждого!) одарили серебристым колечком от святой Екатерины. Сам Христос одарил когда-то перстнем свою избранницу и обручил её себе. И вот на свой праздник она уже нас одаряла-благословляла колечками. На каждом из них — сердечко, внутри сердечка — аббревиатура «А. К.» и надпись: «Агиос Катрин», то есть «святая Екатерина».

Что примечательно, почти во всех греческих монастырях, которых мы потом повидали немало на Святой земле, нас старались чем-то одарить. В том же элимском монастыре Святого Георгия не дали уйти, пока не угостили чаем с хрустящими палочками. А как трогательно подавали своё угощенье в беленьком зале, увешанном портретами наместников! В суровом горном монастыре Искушения Господня, уже на Святой земле, предложили елеопомазание маслом из лампадки и дали по кусочку просфоры. В монастыре Святого отшельника Герасима в долине реки Иордан поили соком красного винограда с сухарями…

Но вернёмся в монастырь святой Екатерины. На завтрак мы уже давно опоздали, на экскурсию уже

не было сил, оставили её на вечер. И направились сибирские «ортодоксы» в городок Святой Екатерины, чтобы заодно позавтракать-пообедать, передохнуть — и снова в монастырь. Впереди была бессонная ночь — ночь восхождения на Моисееву гору. Накануне наш святой праотец Моисей так нежно принял нас на своём источнике в Элиме, что до сих пор сожалеем, что долго в том источнике находиться было нельзя. Так рекомендовал наш гид Акрам: сила источника такова, сказал он, что пребывать в нём надо не более пятнадцати-двадцати минут.

Водоём был не только закрыт сверху куполом, но и устлан по дну и по верху каменным полом. Сам источник довольно глубокий и такой тёплый, что покидать его очень не хотелось. Но мы проявили послушание, и, может, за то нам была дана радость, та самая благодатная радость, которая исходит от настоящей святыни. Так что восхождение мы совершали, омывшись и набравшись сил в святом источнике Моисея. Кстати, имя его с египетского означает «вынутый из воды».

На Синайской гряде

Не верится, но мы — в египетском Святогорье. Светлая Синайская гряда, омываемая с двух сторон Красным морем, стеной идёт по южной части Синайского полуострова, разделяя Африку и Азию. Чувствуем себя здесь будто на другой планете, настолько у гор непривычный, неземной вид. Никакой зелени на вершинах, никакой зелени по склонам и даже внизу. Это вам не кудрявые Саяны, что окружают наши города. Точного нахождения той горы, на которую взошёл Моисей, чтобы на скрижалях получить Десять Божьих заповедей для своего народа и всего человечества, никто уже не укажет. В Библии Синай называют горой Божией, горой Хорив. Мы будем восходить по южному склону Синая, который уже со второго века стали почитать как библейскую гору и как гору Моисея.

В четвёртом веке стараниями византийской царицы Елены здесь появилась первая часовенка. В шестом веке стоял уже Синайский монастырь. С одиннадцатого века обитель стала называться монастырём великомученицы Екатерины. С тех древнейших времён вот уже шестнадцать веков совершают христиане паломничество к Божьей горе двумя тропами — крутой и более пологой. Нам предстоит идти пологой.

…На гору Моисееву поднимаемся с молитвою ко Христу. Узкая горная, уходящая в небо дорога соединила эти имена Ветхого и Нового Заветов. Мы идём к истокам. Щуплый, лёгкий на шаг проводник из местных Ахмед возглавляет наше шествие. Ночь. Звёзд почти не видишь среди тёмных очертаний гор, потому что смотришь на тропинку, чтобы не сорваться с неё. Внизу таинственно темнеют пропасти. Но, устремившись по тропинке, о них не думаешь, главное — не оступиться и не отстать. Ярко светятся, высвечивая каменные уступы, натянутые на лбы фонарики. Этот ручеёк из огоньков катится не с горы, а вопреки законам физики поднимается всё выше и выше.

Передо мною уже много огоньков — значит, отстаю. Но оттого, что нас много, оттого, что кто-то постоянно обгоняет, а кто-то идёт за тобой, успокаивающее ощущение, что ты внутри ручейка и он тебя обязательно вынесет на эту желанную вершину. Путь нам предстоит нелёгкий, долгий, четырёхчасовой, поэтому и взываем время от времени о помощи маршеобразным пением паломников:

> Господи Иисусе Христе,
> Сыне Божий, помилуй мя, грешнаго…

И снова с первой строки и с именем Христовым. На себе проверено: помогает.

Восхождение наше началось после часа ночи. Где-то пасут отары овец, подумала я с удивлением, когда мы были ещё у торговых палаток внизу. Удивляться было чему. Синай, по крайней мере, в декабре, поражает отсутствием зелени на склонах. Лишь в некоторых впадинах можно увидеть редкие мелкие колючие кустики. Где тут овец пасти? И всё-таки у подножья горы в полуночном воздухе снова крепко запахло скотом, загонами. Продолжаем путь наверх — и вот он, ответ. В тесном загончике стоят, лежат, отдыхают, томятся двугорбые верблюды. Они пожёвывают нечто со спокойствием и достоинством египетских кошек. Пусть простят меня верблюды за сравнение с такой мелкой тварью, но Египет точно — родина кошек, потому что, на мой взгляд, только здесь они такие неспешные, крупные, упитанные, независимые и исполненные достоинства. Такой белый кот встретил нас на довольно большой высоте на обратном пути, сидел важно на большом камне и требовал, чтобы его кормили. Что оставалось людям? Только подчиниться.

Только поравнялись с загоном, молодой бедуин подводит к нам огромного верблюда под уздцы. Мы дружно отказываемся от услуги. Но на каждом повороте, где хоть маломальская площадка у тропы, жители городка Святой Екатерины снова и снова предлагают нам своих питомцев в качестве транспортного средства. Потом не раз обгоняли нас соблазнительно восседающие меж двух верблюжьих горбов иностранцы. Но мы упорно двигаемся на своих двоих. Вижу, как трудно идущей рядом спутнице из Енисейска: недавно сломана нога, дыхание захватывает. Шаг её становится всё тяжелее. И хотя она рвётся всей душой туда, на вершину высотой почти в два километра триста метров, ноги совсем не слушаются. И вдруг, завидев этот её шаг через силу, из темноты на обочине выделяется молодой египтянин, словно по мановению волшебной палочки оказывается с нею

рядом, ловко подхватывает за локоть. «Вам помочь, мадам?» — говорит он очень хорошо по-русски. «Мадам» облегчённо опирается на его руку, и они шествуют уже вдвоём по тропинке, словно любящие сын и мать. Тут же уже к другой обессилевшей спутнице метнулся ещё один помощник, вот уж и они идут вместе рука об руку… Я не удивляюсь их появлению. Удивляюсь тому, как бедуины чисто, без акцента, спрашивают по-русски: помочь ли?

Обгоняю их. Ручеёк из фонариков-светлячков поднимается в темноте всё выше и выше. Белеет лишь тропа под ногами. Скоро — последняя остановка. Неожиданно на фоне ночного неба, обгоняя нас, появляется большой, как гора, верблюд. А на его неимоверной высоте, ухватившись за первый горб, восседает наша Галина Васильевна, не пожелавшая возвращаться в уютный отель. Видать, ноги совсем отказали, и тогда она прибегла к последнему средству передвижения. При виде этого экзотичного зрелища мы зашумели радостно. Но наездница наша скрылась уже в темноте, опередив группу.

Перед подъёмом нас предупредили: не садитесь на камни (что иногда встречались на пути, уложенные вдоль тропы вроде бордюров) — могут опрокинуться. И второй запрет был: смотрите только на тропу и не бросайте взоров по сторонам, может закружиться голова и ещё много чего плохого может быть. Так вот. Уже потом Галина Васильевна рассказывала, как страшно ей было сидеть так высоко на этом без конца колеблющемся живом «сиденье», видеть тропинку, провалы пропастей вокруг: ведь упадёшь с такой высоты — костей не соберёшь. Но вера в промысел Божий, в неслучайное своё присутствие на Синае помогли ей не только взобраться на эту живую двугорбую «гору», но и успешно одолеть путь по горной тропе. К последнему приюту она прибыла раньше нас.

Такие безумные, с точки зрения обывателя, ночные восхождения зачастую отнюдь не молодых иностранцев на Моисееву гору — хоть маленькая возможность для местных жителей заработать немного долларов. Надёжная точка опоры для нас при восхождении — посохи, лёгкие, крепкие, почти изящные полированные посохи из финиковой пальмы. Их мы купили у местного жителя за два доллара штука на территории монастыря. Тоже какой-никакой доход главе семейства. Статья дохода — и продажа сувениров у подножья Синая: трогательных белоснежных платочков с цветным печатным изображением «агиос Катрин», медальончиков и колечек от святой Екатерины, тёплых пончо, палантинов, шарфов, которые, чем выше мы поднимаемся, тем меньше греют. Там, на вершине, где бывают минусовые температуры, спасают от холода только толстые одеяла, накинутые на куртки. Их можно взять напрокат тоже за два доллара, что я и делаю, когда мы останавливаемся в последнем приюте для странников перед штурмом самой главной вершины.

Приюты — это сборные кафе-палатки. Мы останавливались на пути четырежды. С радостью садились на холодные скамейки, покрытые домоткаными, похожими на наши, дорожками и коврами, согревались отменным горячим кофе за два доллара, предлагали нам и чай по той же цене. В «дверном» проёме сверкали алмазами звёзды. Под шатром рядом с нами, сибиряками, оказывались то спортивного вида весёлые американки, то шумные латиносы, то арабы, то греки — этакое сиюминутное общечеловеческое единение на маленьком пятачке Синайской гряды.

Собранные святым праотцем Моисеем, его священною Книгою о начале начал времён Ветхого Завета, когда этот Завет был юн, взбудораженные от кофе, от нелёгкого восхождения, от покорённых вершин, от предстоящей главной вершины, мы были похожи друг на друга. И в темноте этой египетской ночи были едины. Местные жители-египтяне, которым туристы помогают выживать, тоже были душою вместе с нами, ибо глубоко почитают пророка Мусу.

Но не всё, оказывается, доступно египетским верблюдам. Например, завершающие восхождение «семьсот ступеней покаяния» — те, что ведут на самую вершину горы. Они идут чуть ли не вертикально до заветной верхней площадки, на которой мы надеемся встретить рассвет. Это действительно ступени, отполированные уже до блеска людскими ногами, иные — очень даже высокие и скользкие. И это — наш последний штурм. По ступеням надо подняться обязательно, независимо от того, как бьётся сердце, как идут ноги и какая, должно быть, страшная пропасть под тобой. И вновь отрывисто, уже про себя (нет сил выдыхать звук), уже продвигаясь ползком (невозможно одолеть эти ступени в вертикальном положении), шёпотом молим:

> Господи Иисусе Христе,
> Сыне Божий, помилуй мя, грешнаго…

Думаю о том, что когда Моисей восходил на Божью гору, до первого пришествия Христа в этот мир было ещё так далеко. Но их встреча была тогда, и были они совсем рядом: сам Господь, что в трёх лицах ждал на Синае своего избранника, и Моисей-боговидец, так его ещё называют. Сколько гор нам встретилось потом на пути от Саяна до Синая и Сиона! На высокую Фаворскую гору мы уже не восходили с посохами, ибо это требовало времени, а его, как известно, современному человеку, где бы он ни был и что бы он ни делал, не хватает. Поднялись на микроавтобусах в обитель Преображения Господня, любовно обустроенную русскими монахинями, украшенную всё больше жёлтыми, солнечными цветами. Поклонились камню, который помнит Христа, явившего себя

в небесной славе. Место Преображения Господня, огороженное низенькой оградой, всё было усыпано упавшими под снеговыми ударами апельсинами и мандаринами. Оранжевая от них земля сияла вместе с оранжевыми цветами.

Каждый год на православный праздник Преображения Господня на Фаворскую гору нисходит светлое сияющее облако в виде креста. С той же неизменностью, как зажигается нерукотворный огонь на Пасху в Иерусалиме, в часовне Воскресения Христова. Самое интересное, когда отправились мы в первый день в путешествие по Синаю, вдруг увидели из окна автобуса сияющий на небе крест, словно пожелание нам на все дни путешествия иметь фаворский свет в душах. Так вот там, на горе Фавор, рядом с Учителем в сиянии небесной славы, ученики увидели ветхозаветных пророков. Рядом со Христом стоял Моисей и беседовал с Ним.

Вот как о том размышляют в наших православных календарях: «*Моисей первым видел тот же Божественный Свет на горе Синай, где получил заповеди Божии, и на Фаворе ученики увидели этот Свет и услышали дальнейшее изложение воли Отца Небесного, который в немногих словах засвидетельствовал о Христе как о Своём возлюбленном Сыне и повелел новую заповедь: „Его слушайте“. Явившись на Фаворе, Моисей подтвердил тем самым конец Ветхого и начало Нового Завета, склонив перед Христом голову, как некогда на Синае перед Богом*».

Спустя четыре тысячи лет мы поднялись на вершину Моисеевой горы. Вступили на неё, когда, не разродившись рассветом, ещё темнела кромка неба. На пике горы́ на разных площадках, где ниже, где выше, толпилась завёрнутая в пледы и одеяла многонациональная людская толпа, слева виднелся запертый скромный храм Святой Троицы. Все ждали солнца, обернувшись лицами к востоку. И вот тьма дрогнула, на безвидном громадном небе, похожем на ночное море, появился золотой поддон, пробился один луч, другой, третий. Воссияв, лучи вдруг враз обернулись алой зарёй, и тут же из глубины «морской» небесной глади вышло солнце. Весь мир был словно на ладони Божьей. И мы тоже оказались на Его ладони. Гряда Синайских гор, горстка людей на вершине Моисеевой горы и этот восход. Мы пришли к тем истокам, когда Завет Господа с нами был юн, когда нам, человекам, были дарованы во спасение Десять Его заповедей.

В необъяснимой радости возвращаемся обратно, светимся, сияем от этой радости. Спускаемся уже не в темноте. Но эти «семьсот ступеней покаяния» и в спуске нелегки, иной раз хоть снова на четвереньки становись. Исхитрились — спустились. Идём дальше, а на месте нашего последнего приюта — камни да мусор. Уехало кафе вместе с верблюдами и осликами. И сидит на какой-то приступочке — кто же? — дорогая наша Галина Васильевна. Глаза, громадные, голубые, сияют небесным светом. Верблюд довёз её тогда по темноте до последней «станции» да и пошёл себе с хозяином обратно. А ей ничего не оставалось, как терпеливо нас ждать. Бросились мы её обнимать, чтобы передать благодать, принесённую оттуда, с вершины. А она — плакать от радости.

Спуск продолжился. На обратной дороге нам показали куда более высокую гору, самую высокую на гряде, где обретены были останки святой великомученицы Екатерины. И… место в самой низине, где забывшие единого Бога соплеменники в ожидании Моисея принялись опять молиться своим языческим богам — кумирам и приносить им жертвы. Ах, сколько таких низин в нашей жизни! Казалось бы, вот уж покорили вершину. И снова — в низине.

Но в тот день мы ликовали, мы парили ещё в высотах Синая. С каким наслаждением, положив посохи, уселись отдохнуть у мощных крепостных стен Екатерининского монастыря, который и мусульмане не посмели разрушить. Кажется, мы — внизу, а на самом-то деле на полтора километра выше уровня моря. Поодаль верблюды тоже отдыхают. Ослики куда-то везут поклажу. Декабрьское египетское солнышко греет для нас по-весеннему. Горы в его сиянии беленькие, живописные, тёплые. Вот он какой, Синай… Радостно, как после долгих праведных трудов.

Отъединившиеся уже душою от нас взбудораженные иностранцы тоже в радости спускаются в долину. Встаём и вслед за ними выходим на широкую дорогу, что идёт мимо стен монастыря. А тут — машины с полицейскими: одна, вторая, третья… Настороженное, тревожное движение во всём. Война в Египте. Привнесённая извне коварная война между гражданами одного государства. Она напоминала о себе, когда мы ехали сюда через блокпосты. Осенью в Сибири как-то мимо нас пролетели сообщения о том, что монастырь Святой Екатерины намеревались вообще закрыть для паломников и туристов. Веками это место считалось образцом мирного сосуществования мусульман и христиан. Наш гид в первую очередь рассказал нам, что в монастырской библиотеке бережно хранится охранная грамота самого пророка Мухаммеда, которого православные монахи здесь приняли и укрывали от врагов. И вот вражда на Синае, убийства христиан-коптов — самых древних коренных жителей Египта. Бандформирования джихадистов наводят вокруг ужас, отпугивают туристов, без которых беднякам не прокормить ни верблюдов своих, ни свои семьи. Каждый день идут столкновения между экстремистами-исламистами и армейскими подразделениями.

Этот день, девятое декабря 2013-го, так и запомнился: нашей ликующей победой и тревогой, витающей у монастырских стен. Надо признать, что наличие блокпостов никак не мешало нашему

продвижению по Синайскому полуострову. Военные нас пропускали без проблем, думаю, благодаря нашему гиду Акраму. Он давно уже возит экскурсии, и военные патрули его хорошо знают. Египтянин Акрам — это одна из радостей, дарованных нам в путешествии по Синаю. В глазах его — тысячелетняя печаль и мудрость древнего народа, много чего повидавшего за время своего существования. И рассказы Акрама тоже мудры, но… не печальны, а радостны. Он из тех редких людей, что непременно в любом, самом тяжёлом разговоре выведут к свету.

Наш друг Акрам

Мама у нас для малыша, говорил мусульманин Акрам, — это детский сад и школа. Мама — это всё. Всё от неё исходит. Ох, как интересно, глубоко и мудро он нам рассказывал, почему девушка перед замужеством должна быть чиста, почему она должна вынашивать и рожать всех дарованных Богом ребятишек в чистоте. Сейчас в семейной жизни внедряются новые традиции, говорил Акрам, но разве это хорошо, если новые традиции хуже старых? Нельзя убивать старые традиции в угоду новым. Вот такой сопровождал нас гид — молодой консерватор с тремя высшими образованиями и с прекрасными горящими глазами поэта. Акрам рассказал и о том, почему он выучил русский язык. Потому что ещё в школе он много интересного узнал о строительстве русскими в Египте Асуанской плотины. Тогда египетским ребятишкам прививали самые добрые чувства к советским гидростроителям. Именно история строительства трёхкилометровой Асуанской плотины, которую называли чудом инженерной мысли и дружбы народов, для пытливого мальчишки стала толчком для того, чтобы узнать о России побольше.

Я вспомнила, как задушевно пел Марк Бернес песню: «Напиши мне, мама, в Египет, как там Волга моя живёт». Акрам с радостной готовностью выслушал несколько строк из этой песни:

Жар пустыни нам щёки щиплет,
И песок забивает рот.
Напиши мне, мама, в Египет,
Как там Волга моя живёт.

А какие дальше слова, я не знала. Приехала — нашла и обрадовалась. Отправила Акраму, который живёт на берегу Нила:

Не спешу я пока обратно,
Чтобы память о нас хранил
Этот жёлтый и непонятный,
Не похожий на Волгу Нил.

Будет море, мы это знаем.
Будет небо в морской пыли…
И летят сюда вслед за нами
Наши русские журавли.

А дальше ещё круче — упоминается наша Сибирь, которая бурно осваивалась в те же годы, когда строилась в Египте плотина:

Мне бы лучше в Сибирь путёвку,
Но учти: когда выйдет срок,
Вдруг на Марс начнётся вербовка?
Я поехал бы на годок.

Здесь как будто весь воздух выпит,
Нету дождика третий год.
Напиши мне, мама, в Египет,
Как там Волга моя живёт.

О дождях рассказал Акрам невероятное: какие тут три года?! На Синае дождей не бывает по пятнадцать-тридцать лет! Потому и строят здания на полуострове не выше третьего этажа, что очень мало здесь воды. В городке Святой Екатерины мы жили вообще в одноэтажных, крылышками выстроенных бунгало на два номера с двумя выходами в номере: через дверь и… через окно. От ночного горного холода нас спасал нагреватель такой мощности, что до сих пор вспоминается эта наша блаженная Сахара.

Так вот, невероятно, но факт: вечером перед отъездом мы, не торопясь, возвращались впотьмах из местного ресторана, который обильно попотчевал нас местными и европейскими блюдами. Тишина стояла в городке оглушительная, звёзды в небе соревновались по излучению с фонарями. И вдруг на меня упала крупная капля дождя. «Дождик…» — удивлённо сказала я. Все рассмеялись: ага, наверное, тот, что выпадает раз в пятнадцать лет.

Стали мы уже расходиться по своим номерам, и вдруг капли заторопились, зачастили и стали падать на нас всё быстрее. Пришлось моим оппонентам признать: в городке Святой Екатерины пошёл дождь! Под дождик мы, как правило, уезжали в России из святых мест и принимали его всегда за благословение свыше. И тут, на Синае, почти не знающем дождей, русским дождиком благословили нас святые христианские подвижники земли египетской. Впереди было Красное море.

Теперь понимаю: именно из-за того, что в этой части Синая не строят домов выше третьего этажа, так было много неба и света над дивным белокаменным городком Элимом, близ которого мы окунались в Моисеев источник, и над маленьким приморским местечком вблизи города Таба с изящно выстроенными корпусами, втиснувшимися в малое пространство между морем и горами. Добавьте сюда отсутствие рекламных щитов, загораживающих всё и вся, и вы поймёте, что Египет в этой части — это страна гор и неба, такая, какой она была и тогда, когда нам даны были Десять заповедей на горе Хорив. Много гор встречалось

нам на нашем пути, но не было подобных тем, что стоят Синайской грядой. «Они — будто море застывшее», — сказал, в который раз удивляясь им, отец Геннадий Фаст — наш поводырь и пастырь, который взялся нас, тридцать пять душ, повести, как Моисей, по пути исхода израильтян из египетского плена в Землю обетованную.

А дождик окреп. И когда мы уже отдыхали на побережье, уверенно заморосил, будто где-то в осенних полях под Дивеево. Красное море потемнело и перестало удивлять своими загадочно-синими, фиолетовыми, нежно-сиреневыми и голубыми красками. Приморский город, что белел на противоположном иорданском берегу, уже не казался заморским сказочным Бел-городом. Солнце исчезло и забрало с собою бóльшую часть красок мира, на богатство которых мы только недавно взирали с неимоверным восторгом. Горы, нависшие над отелем, изменили свой нежно-розово-сиреневый цвет и смотрелись уже простыми тёмными камнями не из Синайской, а из нашей, Саянской, гряды.

Наступила осень, обычная русская осень, что покрывает наши родные земли в конце сентября. Несмотря на зеленеющие кипарисы и пальмы, кактусы и фикусы, на кустарники, увешанные весёлыми гирляндами розовых, белых, сиреневых, оранжевых цветов. Мы, конечно же, приуныли, особенно красноярцы, пережившие как никогда холодное, мрачное лето 2013 года. Стосковавшиеся по солнцу, как жаждали мы согреться в ласковых благодатных лучах Синая и Святой земли! Да… Мы ещё не знали, что нас ждёт впереди, в Израиле!

Ах, как прозорлив был наш мудрый гид Акрам, как прозорлив, когда, отправляя нас в израильскую землю, на прощание многажды повторял: «Желаю вам крепости духа! Крепкого духа вам!» Чисто русское долгое расставание с обниманием — и остаётся дорогой наш Акрам по ту сторону границы. А мы уже переходим Чермное (Красное) море. По обе стороны перехода плещут почти у ног морские волны. Идём будто по морю, так оно близко с обеих сторон, но на самом деле — по хорошо оборудованному переходу, в отличие от израильтян, которые, устремившись в Землю обетованную, прошли по дну расступившегося моря. И всё-таки. Всё то же море плещет вокруг нас, и небо то же, и земля…

Потом, уже дома, я прочитаю, что творилось в оставленном нами Синае: «*Непогода бушует по всему региону. Снег выпал даже в Египте. Многие местные жители снега не видели никогда. В этой стране даже небольшой дождь считается редкостью, а снег — и вовсе явление небывалое. Последний раз снегопад… наблюдали более 100 лет назад*». Синай остался за нами весь в снегу.

У Мёртвого моря

На израильской стороне встречает нас уже другой гид и сразу же извиняется за сорванный верхний люк в автобусе, наспех заделанный фанерой, облепленный силиконовой «жвачкой». От него мы узнали, что в районе Мёртвого моря, куда пролегал наш маршрут, пронёсся жестокий ураган. Осторожный гид посоветовал не совать туда носа, но наш духовный водитель и пастырь по размышлении принял решение: ехать!

Едем. Но где ж она, обетованная Земля, «кипящая млеком и мёдом»? Однообразные горы вроде кусков нарезанной халвы разной величины. И в этой горной пустыне нет той несказанной красоты пустыни Арави, которая встретила нас, когда мы сразу же отправились из Тель-Авива на Синай по пути Святого семейства, убегающего с Младенцем Христом от царя-душегуба Ирода в Египет. Изредка встречаются, радуя глаз, обихоженные рощицы финиковой пальмы, которые насадили израильские колхозники, а ещё теплицы, их строят во спасение не от холода, а от солнца, чтобы уберечь влагу.

Вернувшись на землю далёких предков в 1948 году, евреи, нажившие немало мудрости в предсказанном Христом почти двухтысячелетнем изгнании, взяли всё лучшее на вооружение, в том числе и социалистические наработки СССР. О том, как прижились коммуны-кибуцы на израильской земле, немало написано. Из всего написанного следует: кое-какой кровью добытый собственный опыт вполне может пригодиться и нам для того, чтобы наконец-то обустроить Россию. А пока в Сибири, в соседнем с моим домом овощном павильончике, продают сибирякам картошку из Израиля — из страны, где земля на вес золота. Израиль даже закупает землю. Уже по возвращении, в канун Нового 2014 года, с изумлением прочла я о том, что мэр Тель-Авива заказал участки земли в Сибири, и скоро их доставят в Израиль[1].

…Впереди реют мачты каких-то промышленных разработок. Мы приближаемся к Мёртвому морю. Ощущение, что подъезжаем к большому предприятию. Вот уже видны нарезанные для добычи участки Мёртвого моря, белеют отели с жаждущими излечиться в его водах. Едем к прибрежной зоне. Радуга! Я увидела её сразу при въезде. И с нею вмиг засияли слова Господни из Священного Писания: «*Радугу дарю вам. Это завет между Мною и вами*». Эти слова были сказаны после страшного потопа, когда увязшие окончательно в грехах все города и веси Земли были смыты водою, и уцелело на всей планете Земля лишь одно семейство праведного Ноя.

Радуга вскоре исчезла. Урагана не было, но дул пронзительно холодный ветер. Гид оповещает, что мы спускаемся всё ниже и ниже всемирной отметки уровня Мирового океана. Значит, ближе

1. http://www.regnum.ru/news/polit/1751239.html#zagolovok2 (ИА Regnum)

к пропастям ада. Когда нам торжественно объявляют, что мы спустились уже на глубину четыреста метров под уровнем Мирового океана, автобус останавливается. Морские воды светятся вдали яркой искусственной бирюзой, а мы уже стоим под скалой, с виду глиняной, и наш батюшка читает нам, как стало Мёртвым это море.

…И сказал Лот наседавшей на него толпе возбуждённых жителей Содома, жаждущих поиметь у себя в постелях для утех гостей Лота: «Лучше отдам вам своих дочерей, только их не трогайте». По законам гостеприимства он защищал странников до последнего, даже готов был пожертвовать дочерьми. Но то были не простые гости, а грозные ангелы Божии, приказавшие Лоту бежать с семейством, ибо жители этих цветущих городов сами подписали себе смертный приговор.

Апостол так объясняет в своём Послании к римлянам, что с этим народом произошло: «*Они заменили истину Божию ложью, и поклонялись, и служили твари вместо Творца, Который благословен во веки, аминь. Потому предал их Бог постыдным страстям: женщины их заменили естественное употребление противоестественным; подобно и мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга, мужчины на мужчинах делая срам и получая в самих себе должное возмездие за своё заблуждение*».

Сколько так называемых цивилизованных стран подписали смертный приговор себе уже в наши дни, узаконив содомский грех? И что ждёт их? Прибрежные города Содом и Гоморра сгорели в огне и сере, уйдя в преисподнюю, оставив навеки мёртвыми эти некогда цветущие берега. Куски соли белеют на срезах горных отвесов цвета глины. Задрав головы, мы смотрим на главный соляной столб — жену Лота, которая, покидая своё прекрасное обустроенное жилище, ослушалась ангелов и поглядела в сторону родного города.

Соляной, изогнутый в виде человеческой фигуры столб оброс каменьями, вырос за эти тысячелетия. Но не пал, стоит в назидание всем нам… Некоторые толкователи этого эпизода из Священного Писания считают, что жалко было Лотовой жене бросать своё красивое жилище, и она ослушалась запрета, как Ева, и обернулась, чтобы глянуть с сожалением в своё прошлое ещё хоть раз. А можно и по-другому истолковать: жена Лота нарушила приказ, глянула с высоты назад из женского любопытства (ах, это женское желание запретного плода!) и окаменела от ужаса, от увиденного ею…

Первый русский описатель Святой земли игумен Даниил, побывавший здесь в 1104–1107 годах, писал в своём «Хожении»: «*Мёртвое море безжизненно… Если внесёт Иордан своим течением в это море рыбу, то она и часа не может живой быть… Много смолы лежит по берегам. Смрад исходит от моря, как от горячей серы. Под этим морем находится ад мучения*». Снова бросаю взгляд на Мёртвое море, от которого веет сернистым запахом. Почему оно мне так знакомо? Задаю себе этот вопрос и наконец понимаю почему. Эти безжизненные, без растительности, пространства, и эти почти белые горы, и эта яркая бирюзовая водная гладь — большая копия рудников в посёлке моего детства, где ссыльные добывали огнеупорную глину, наворачивая огромные горы из неё. Горы шли грядой, смыкаясь в кольца, а внутри каждого кольца непременно оставалось рукотворное озерцо с пронзительно-голубой мёртвой водой. Нам говорили, что цвет такой из-за медного купороса. Родители запрещали детям купаться в этих озёрцах и стращали тем, что, если залезешь туда, уже не вылезешь из-за скользких глиняных берегов. Время от времени проносился по посёлку слух, что кто-то из ребятни ослушался и утонул в озерце, не выбрался на берег… В стародавние времена в Мёртвом море тоже не было принято купаться.

Мы стоим уже у самого его берега. Берег как берег. Ничего особенного. Радуга снова призывно вспыхивает за морем. Господь снова вступает с нами в таинственный разговор… Можно идти купаться, но мне не хочется. Кое-кто из наших пошёл. Многие смеются, входя в воды самого солёного моря в мире. Ты входишь в него, а оно тебя выталкивает. Ты ложишься, а оно тебя не принимает в свои глубины, так и лежишь на поверхности. И вправду смешная игра. Мёртвое море израильтяне давно уже превратили в выгодный бизнес-проект. Выкачивают его богатства, превращая в товар.

Ещё в 1582 году посланные на Святую землю самим русским царём Иоанном Грозным московские купцы Трифон Коробейников и Юрий Греков подметили: «*А море то невелико, обходу круг того моря пять дней… И ту смолу емлют и мажут виноград, на котором червь появится, и тою смолою те черви уморяют. А серу емлют и продают купцам. А купцы тою серою конопатят корабли, которые ходят по Чермному морю*».

Ныне с Мёртвого моря тоже много чего «емлют». Но самый известный товар в мире — косметика Мёртвого моря. В здешний магазин туристов и паломников ведут прежде всего. От изобилия косметики глаза разбегаются, а из-за цен округляются. Но женщины охотно оставляют свои трудовые доллары, потому что всё равно дешевле, чем у нас, ну и потому что надеются: станут они все от этой продукции моложе и красивее. В магазине суетно. Я выхожу и снова стою на берегу знакомого с детства моря. Пробую воду рукою, и действительно — она словно масло. Распрямляюсь, вытираю масленые руки. Боже мой, а за морем сияет уже двойная радуга! Господь ждёт нас, зовёт

нас. Что ж мы медлим? Надо ехать. Где ты, Земля обетованная?

Палестинское танго

В пять вечера в декабре здесь уже темнеет. Белые камни вдоль дороги в свете фар напоминают наши сибирские сугробы. Наконец въезжаем в Иерусалим и глазам своим не верим. Город и на самом деле лежит в снегу: сугробы белеют по обочинам дороги, кое-где видны даже махонькие смешные снежные бабы. Снег облюбовал крепкие зелёные ветки деревьев, украсив их белыми полянками. Островки безопасности врезаются в дороги пушистыми белоснежными клинками. Уверившись, что за окном автобуса на самом деле снег, сибиряки развеселились не на шутку. Поднялся шум-гам, взрывая тишину, которая пришла по дороге, когда при подъезде к Иерусалиму паломник из Абакана по просьбе батюшки спел без всякого сопровождения знаменитый хит ирландцев, который подарил нам много лет назад Борис Гребенщиков:

> Под небом голубым есть город золотой
> С прозрачными воротами и яркою звездой.
> А в городе том сад: всё травы да цветы.
> Гуляют там животные невиданной красы…

Иерусалим — единственный город в мире, который имеет аналог на Небесах. Песня эта — о Небесном Иерусалиме. Но почему-то появляются слёзы, как от какой-то сокрытой глубоко печали. Но мы едем мимо реального заснеженного Иерусалима в сторону Вифлеема — в Палестинскую автономию, где ждёт нас отель «Звезда». Город появляется скоро. Вытянувшись поперёк, сереет стена, отделяющая палестинских арабов от израильтян. Проезжаем в проём. Автобус с трудом поднимается в гору. В свете фар крупные снежинки исполняют немыслимо изящный танец, словно танцуют под нежное и печальное «Палестинское танго», которое некогда было очень популярно у нас в стране.

Так, под праздничное кружение снежинок, и въезжаем в город, навеки связанный с Рождеством Христовым. Вифлеем встречает нас светящимися гирляндами и звёздочками на столбах. Для нас пятиконечные звёзды — страшный символ распятой безбожниками и залитой кровью России, хотя в годы Отечественной войны народ обернул эти звёзды в символ победы над пришедшей с оружием с запада фашистской нечистью. Для жителей Вифлеема — это просто символ Рождества Христова. Всё вокруг говорит о том, что мы попали на праздник. В вестибюле гостиницы нас встречают хозяева отеля — арабы. В холле — не родные нам традиционные искусственные западные рождественские веночки с зеленью под хвою, Долго пытаемся в холодных номерах заставить кондиционеры, привыкшие разгонять жару, работать на тепло. Может, с непривычки, но делают кондиционеры это нехотя, согреваемся окончательно только тогда, когда после многообразного щедрого ужина залезаем под двойные верблюжьи одеяла. Здравствуй, наша первая ночь в Вифлееме!

Наутро выглядываю в бескрайнее панорамное окошко гостиницы, а там над заснеженными крышами церквей огромное количество крестов. В обширной столовой на восьмом этаже со сплошными окнами от пола чуть ли не до потолка с трёх сторон — панорама всего Вифлеема. Палестинская арабская автономия предстаёт перед нами этаким почти сказочным христианским царством-государством. Выходим на улицу. Снег хрустит под ногами. В морозном воздухе витает запах кофе и праздника. Улитая сплошь красными шарами ёлка при входе в храм Рождества Христова снова напоминает нам о том, что до католического его празднования не так уж далеко. И уж совсем становится празднично на душе, когда, пройдя по пустому верхнему приделу храма, мы спускаемся по крутой каменной лестнице глубоко вниз и попадаем в ту самую пещеру с каменными сводами, в которой, не найдя иного пристанища, остановились пришедшие на перепись населения в Иерусалим Мария и Иосиф. Здесь появился на свет Младенец Христос.

Живший в Палестине во втором веке выходец из Сихема (нынешний Неаполь) Иустин Философ так описывает это событие: «*Ночью, на пути в Вифлеем, пришло Марии время родить. Иосиф поместил Её в пещере, в которой держали скот, а сам отправился искать повитух. И вдруг произошло нечто странное. Иосиф шёл, но не двигался. Глядел на небо и видел, что остановился небесный свод. Всё остановилось и на земле. Животные перестали жевать. Пастух, поднявший кнут, замер. Вкушавшие при дороге пищу не донесли руки к устам своим. В это мгновение родился Сын Божий… Повитуха пошла с Иосифом, и они увидели: некое ясное облако озарило пещеру, воссиял свет великий…*»

Это осиянное божественным явлением место отмечено четырнадцатиконечной звездой, перед которой каждый из нас пал на колени, а потом и пал ниц, ловя и целуя лучи звезды. Так склонялись перед Младенцем когда-то пастушки, на поле которых нам не удалось попасть из-за непогоды, так склоняли головы почтенные цари-волхвы, принёсшие свои дары Царю Небесному. Сколько миллионов людей за эти две тысячи лет вот так очищали себя у Вифлеемской звезды, по-детски радуясь превечному рождению Младенца! Сколько войн пронеслось с тех пор на вифлеемской земле и просто на земле. Сколько храмов, поставленных во славу Христа на местах, связанных с его именем, разрушено. И только храм Рождества Христова цел — единственный из всех. Как поставила его в четвёртом веке, благоукрасив красивой мозаикой,

фрагменты которой сохранились и по сей день, православная византийская царица Елена, так и стоит он, единственный из всех четырёх, которые возвела она за время пребывания на Святой земле.

В самой базилике, заливаемой сверху водой, сыро и неуютно. Из-за межконфессиональных распрей никак не могут отремонтировать крышу. Непогода смела людскую толпу, и мы неторопливо обходим все приделы. Кстати, войти в центральную дверь можно только в глубоком поклоне. Дверной проём невероятно низок с давних времён. Сделано это для того, чтобы всякого рода захватчики прекратили въезжать в храм на конях. К слову, о захватчиках. На одной из громадных колонн есть отверстия, куда всякий приходящий норовит вложить свои персты. По преданию, когда очередные захватчики ворвались в Божий храм, из этой колонны вылетел улей пчёл, жаля их беспощадно. Пчёлам-защитницам слава! А вот чего добиваются сибирские паломники, норовя попасть пальцами в отверстия бывшего улья, о том они и сами не знают. А всё равно радостно! Долго ходим по храму, особенно умиляясь улыбке Матери Божией с чудотворной иконы Вифлеемской. Единственное место, где Она улыбается. И с лёгким сердцем, сопровождаемые этой улыбкой, покидаем базилику.

Как только оказываемся на улице, поступает приказ от батюшки закупить ботинки. Ибо надежда на то, что выпал тот самый однодневный снег Ближнего Востока, который тут же и растает, развеялась. Крыши домов и храмов в снегу. Снег сбивается в кашицу под нашими ногами, которые собирались в лёгоньких туфельках и кроссовочках обойти Святую землю. Думаю, нашествие русских женщин-паломниц на местный небольшой обувной магазин надолго запомнит тамошний продавец-араб. Все шумные восточные базары померкли перед этим. Кто-то тянул руки с долларами и башмаками, не церемонясь с выбором. Кто-то требовал достать модель из-под стекла, кому-то нужны ботинки большего размера, кому-то — меньшего. И все говорили одновременно, обращаясь к нему, единственному.

Бедный молодой продавец поначалу растерялся. Потом стал выбирать, как старец выбирает из толпы пришедших к нему за советом. Кого-то он долго, несмотря на уговоры, не отоваривал, для кого-то мгновенно отпирал витрину, кого-то обслуживал по первой же просьбе, кого-то — после многократного взывания. И вот уже одна уходит с покупкой, вторая, третья, а покупательницам несть числа. Что терпеливый продавец рассказывал вечером дома об этом нашествии русских, неведомо, но в том, что в итоге он был счастлив, заимев в один день такую грандиозную выручку, нет сомнения.

Тщательно продуманный план паломничества по Святой земле рухнул. Самый Главный Режиссёр внёс свои поправки в наш сценарий. Потом, дома уже, прочитала я заметку о тех днях:

«Ближний Восток в плену

В Израиле в центральных и южных районах власти ввели режим чрезвычайной ситуации: дороги заметены снегом, все основные трассы перекрыты, в том числе автострада Тель-Авив — Иерусалим. В столице государства выпало более полуметра осадков. Для города, где не знают, что такое „зимняя резина“, это настоящая катастрофа».

Днём нам позвонил гид и сказал, что автобус выехать к нам не может, в заснеженных районах объявлено чрезвычайное положение. Что было делать бедным паломникам в этом холодном, не желающем нагреваться от кондиционеров отеле с замечательным именем «Звезда»? Ничего, кроме того, чтобы опять устремиться к Вифлеемской звезде. Батюшка принял решение: завтра причащаемся на самой ранней литургии, прямо в Рождественском вертепе.

Приходим в базилику в ранние утренние сумерки, а в вертепе уже звучат греческие песнопения. От гортанного мужского пения дрожат каменные своды. Над Вифлеемскою звездою сооружён походный алтарь. Трогательно белеют в сумраке выставленные отдельно ясли, обычные ясли для корма скота, в такие вот и положили Младенца. Своды пещеры украшает яркая куполообразная рождественская икона, где рядом с ликами Младенца, святой Девы Марии и праведного Иосифа прямо в центре красуется мордочка осла. Мог ли знать тот ослик, что был свидетелем появления Спасителя на свет, что удостоится такой чести и будет воспет в веках вместе с дивно кротким беленьким ягнёнком? Конечно же, не мог, но живою невинной душою радовался этому событию наверняка. И мы стоим и радуемся. Но вот угадываются уже слова Спасителя о Его теле и крови, которые отдаются нам, немощным, в спасение и очищение. Начинается причастие. Первое наше причастие на Святой земле. Именно в Вифлееме. Не по нашей паломнической программе, а по промыслу Божьему.

Греческие монахи уносят свою походную икону с белым осликом. Служба окончена. А мы, как и в первый день, поём под сводами пещеры рождественский тропарь: *«Рождество Твое, Христе Боже наш, возсия мирови свет разума…»* Мы празднуем Рождество Христово, и свет этого праздника вместе со светом Вифлеемской звезды сияет в наших сердцах. А праздник здесь всегда, с первого дня рождения Божественного Младенца. Сирийцы устанавливают над вертепом уже новый походный алтарь для новой Божественной литургии. Выходим на улицу, где тоже царит рождественская атмосфера. Для арабских мальчишек время чрезвычайного положения, когда даже отменили занятия в школе, — сказка наяву. Они с ума сходят

от этого снега, шумят, радуются, бросаются снежками. «Рюсски?» — кричит нам один из них, и тут же в нашу сторону летит снежок, даже в батюшку, да всё мимо.

При подходе к гостинице встречаем группу молодёжи, лица с печатью интеллекта, возможно, арабы из приезжих. Один из них, взглянув на нас, бросает на английском нечто вроде того, что этот snow, то бишь снег, от вас. Ничего не остаётся, как с поклоном признать: «Наш! Так примите же от чистого сердца наш сибирский подарок». Батюшка предупреждал нас, чтобы на улицах в спор не вступали, с улыбкой принимали любые слова, а при очень уж враждебных, словно не замечая их, шли себе дальше. Но, право же, никакой враждебности в тех голосах, что звучали в наш адрес, не было, так что мы поступили в полном соответствии с наказом. В гостинице нас, которые так сердечно молились с тремя священниками о даровании благоприятной погоды, ждало радостное сообщение: после обеда за нами сможет выехать автобус, и мы отправимся в Иерусалим.

Всякий раз, проезжая кордон, минуя серый невысокий забор, отделяющий Палестину от остального мира, мы видели нарисованные несмываемой краской прямо на заборе выразительные огромные глаза, полные боли и какого-то странного, неотмирного света. Эти огромные глаза смотрели на нас сквозь тюремную решётку, тоже нарисованную. Рядом с ними изображён бегущий лев, на животе которого написано по-английски: «Money» — деньги, нажива, барыш… Золотой лев сменил золотого тельца? Вот такая «картина маслом», как говорит мой любимой герой — советский милиционер, недавний фронтовик Гоцман из замечательного телесериала «Ликвидация».

Что за протест таится в этих рисунках, нетрудно догадаться. Росписи эти никто не замазывает, проявляя терпимость. Так же и национальность в Израиле не фиксируют, даже в паспортах, чтобы не делить население на арабов и евреев, но неминуемое деление это существует в жизни, и никуда от него не уйти. В первый день пребывания в Вифлееме, направляясь под вечер второй раз в храм Рождества Христова, мы увидели в его дворе странную картину: солдат с автоматами в руках. Один из них развернулся и вдруг прицелился в нас. Потом отвернулся, стал брать на мушку другие цели. Похоже, это было нечто вроде уроков военной подготовки. Но холодок от этого прицела остался, словно предвестие грядущих сражений. И как тут не вспомнить эти слова: «Просите мира Иерусалиму!» Просите мира Вифлеему! Просите мира Святой земле!

В снегах Иерусалима

Всё смешалось «в доме Облонских». Из Сибири идут эсэмэски: «А у нас тепло, сухо и ни одной снежинки». Это в декабре-то. А мы бродим чуть ли не по колено в снегах И*еруса*лима. И кажется уже, что корень у названия этого города — «рус» — Русь, хотя общеизвестно, что имя города с иврита означает «Город мира»; есть и другие толкования, но это наиболее применимое. Мы стоим среди засыпанных снегом высоких арабских гробниц у старинных городских стен, отстроенных турками-оккупантами, и наш гид показывает нам издали Львиные ворота. Через них въехал Господь на ослике в неделю вайий (пальм), ставшую у нас в России Вербным воскресеньем. Ликующий народ устлал путь Его пальмовыми ветвями. Наш путь тоже устлан — ветвями деревьев, сломанных ураганом и снегом. Паломники называются так потому, что привозили со Святой земли пальмовые ветви. Пальм на нашем пути не было, и я подняла с земли веточку кипариса. Она и по сей день лежит, ароматная, зелёная, напоминая о дне первой встречи с городом Христа.

Чувствую, что от снежной каши, от этого снежного болота, в плен которому мы попали, ноги совсем мокрые. Соседки мои тоже топчутся, подрагивая от сырости, которая методично проникает в обувь, независимо от того, насколько она добротна. Что ей вифлеемские ботиночки? На улице плюс два. Дует пронзительный ветер. Забегая вперёд, скажу: поиск более надёжных для такой ситуации резиновых сапог не увенчался успехом. Неизвестно откуда взявшийся снежок ударяет мне в грудь, снежки летят и поверх наших голов. Наш израильский гид, вмиг изменив интонацию, кричит грозным голосом, взирая на небо, на иврите. Хулиганистых мальчишек не видно — наверное, притаились прямо на узкой крыше городской стены. Мы идём в арабские кварталы, в старый Иерусалим — к Крестному пути Господа…

Как зябко в сером, бессолнечном Иерусалиме! Вот она, мокрая узенькая каменная иерусалимская улица Via Dolorosa. Путь скорби. Отправная точка Крестного пути — там, где остатки претории. В бывшей резиденции римских оккупантов — магазинчик с объявлением на английском о том, что входа на лифостротон нет, будьте любезны, вернитесь назад. Именно здесь витал смятенный дух Пилата Понтийского, имя которого христиане всей Земли произносят каждый день в Символе веры, здесь боролись его чувства: презрения и недоверия к еврейской элите, требующей казни узника, интереса к этому странному и явно не замешанному ни в каких преступлениях Проповеднику. Отстранился от всех ради собственного благополучия. Умыл руки. Именно здесь впервые засвистел бич, рассекая тело Господне под крики одурманенного народа: «Распни Его, распни!» И даже не устрашили никого Христовы слова, что кровь эта будет на их детях.

Не с первого раза удалось нам попасть в темницу, где сидели перед казнью преступники — отъявленные убийцы и разбойники, а с ними и Господь. Спустились на изрядную глубину в каменную камеру помилованного вместо Христа разбойника Вараввы — а там внутри вдобавок вырыта ещё и яма, глубиной уходящая чуть ли не в преисподнюю, решётки вокруг крепкие, вовек не убежать. Надёжные тюрьмы строили израильтяне. А может, римские завоеватели? С невиновным Узником из Назарета поступили лояльнее: тюремная камера, где провёл последние часы земной жизни Спаситель, не так глубока, маленькая пещера (снова пещера, уже последняя в жизни!) — с сиденьем и круглой выемкой в стене вроде окошка, через которое можно просунуть посудину с пищей. Смотрю в это «оконное» отверстие: с пещеры овчей началась Его земная жизнь и снова пещерой, но уже тюремной, завершилась. И не было на Нём никакого греха. На выходе не могу оторвать глаз от никогда не виденной иконы. На ней — Христос в узах. Покупаю у монаха-грека эту иконку для знакомого мне узника, невинно томящегося в тюрьме. Помоги, Господи, ему выстоять!

Ноги оледенели в мокрых ботинках. Мы так много говорили в дороге о комфорте, который расслабляет и уничтожает в человеке человека, что этот дискомфорт на Крестном пути кажется нам подарком Божиим. Ну немножечко хоть пострадайте, потрудитесь ради Христа, так много претерпевшего и пострадавшего! Идём последним Его страдальческим путём на Голгофу. Римским легионерам, наверное, была тесна эта кривая улочка. Стоило ей расшириться, как тут же появились торговые лавки: с крестами, иконами, платками, сладостями, орехами, фруктовыми соками. И чем шире становилась улица, тем больше было товара и магазинов.

Тающий снег льётся с крыш на голову, шум стоит, гам: кричат арабы-торговцы, бренчат коляски на резиновом ходу, бибикают машины, требуя дороги, — как только они влезли сюда? Наверное, такой же невообразимый шум, ещё покруче, стоял в преддверии Пасхи еврейской, когда вели на казнь Сына Божия и Сына человеческого. Несмотря на все неисчислимые помехи, пытаемся вырваться из этого шума. Спасаясь от него, поём нашу паломническую:

> Господи Иисусе Христе,
> Сыне Божий, помилуй мя, грешнаго…

Ещё одна остановка на Пути скорби. На каменной стене табличка — здесь Христос упал под неимоверной тяжестью креста. Здесь Вероника, сердце которой разрывалось от жалости, подала Ему плат, и Он вытер свой лик, запечатлённый теперь в иконах как лик Спаса Нерукотворного. Известна история, связанная с князем Авгарем, исцелившимся от полотенца — убруса, на котором был нерукотворный лик Спасителя. В скромном католическом храме святой жены-мироносицы Вероники, увешанном трогательными иконами наивного письма, образ Спаса Нерукотворного — главный, он — первообраз, потому что он с Пути скорби. Немолодая монахиня тихонечко готовит к продаже новые иконки, покрывая лаком рамочки. Здешние храмы располагаются как по горизонтали, так и по вертикали. Молимся, спустившись глубоко вниз, у расположенного по центру небольшого столика, покрытого белым платком, плачем, как Господь и велел жёнам-мироносицам, — о себе и о детях наших…

Ещё один поворот — и ещё одна остановка на Крестном пути. Перед нами церковь Симона Киринеянина, который взвалил на себя Крест Господень, когда Христос упал под его тяжестью, и понёс. Вот и мы каждый в какой-то момент жизни назвались христианами, взяли крест и пошли за Христом. Только бы не повернули назад, только бы не отреклись.

…Мы уже в новой части Иерусалима. Дорога становится круче и скоро выводит нас на Александровское подворье. Вот и оправдался этот корень «рус» в названии Иерусалима. Зашли и… попали в Россию. Появлением такого чуда на Крестном пути мы обязаны государю императору Александру Второму. Он начал строительство Русского подворья в Иерусалиме в 1860-м, вложив и свои средства, поскольку число паломников на Святой земле в то время достигало десяти-двенадцати тысяч человек в год.

Со временем русская территория стала самой большой из всех иностранных представительств в Иерусалиме. Но «вихри враждебные» докатились и сюда: с Первой мировой войной, с падением Российской империи подворье осталось без своих хозяев. Спустя век после его основания ярый безбожник, он же правитель громадной страны, Хрущёв повелел продать бóльшую часть территории Русской миссии в Иерусалиме, точнее, променял её на апельсины. Эту беззаконную «апельсиновую сделку», может, когда-нибудь и оспорят. Но первый на Святой земле русский храм во имя Александра Невского, слава Богу, не отнят. Здесь нас приветливо встречают красивые юные монашки в белых апостольниках. Русская речь, спокойное сияние их чистоты, живописные полотна с изображением Крестного пути Господа, идущие поверх стен, родные иконы святых, белизна и величие храма — всё это как ласковое прикосновение Родины.

В католичестве канонизировано четырнадцать остановок на Крестном пути, пять из них увековечены храмами согласно христианским преданиям и легендам. Стоят на них и греческие православные, и католические храмы, есть армянский и эфиопский. И только один русский православный

храм — на этом Пути скорби. Он стоит там, где была последняя остановка перед Голгофой, — у Судных врат. Здесь Христу ещё раз зачитали смертный приговор. Через эти ворота легионеры и палачи повели приговорённых на казнь, и ничто и никто уже не мог отменить смертного приговора. После Судного порога была только Голгофа.

Главная святыня русского храма и всего Крестного пути дарована нам самим Господом. Именно на Русском подворье в восьмидесятые годы девятнадцатого века во время археологических раскопок был обретён порог Судных врат. То, что это тот самый порог, что стоял в Иерусалиме две тысячи лет назад, подтвердили авторитетные археологи мира. Отполированный миллионами ног, он помнит, как прошёл через него сам Спаситель. И теперь эта святыня, уцелевшая, несмотря на все лихолетья, лежит у Царских врат на возвышении в оберегающем стеклянном футляре, а за нею по центру, в основании большого распятия Христа, белеет камень с горы Голгофа…

Как и с чем прикасаться ко всему этому? Прикасаемся, доверяя сердца Господу… Как удивительно и трогательно то, что Судный порог дарован свыше именно России. Да будут чистыми её суды! Может, и вправду, как предсказывали старцы, спасительно засияет моя Родина для всего мира, который всегда пытался и сейчас пытается забросать её камнями? «*Когда окончатся страдания твои, правда твоя пойдёт с тобой, и слава Господня будет сопровождать тебя. Приидут народы к свету твоему, и цари — к восходящему над тобой сиянию. Тогда возведи окрест очи твои и виждь: се бо придут к тебе от запада, и севера, и моря, и востока чада твоя, в тебе благословяща Христа вовеки!*» — так писал о России в изгнании святой исповедник святитель Иоанн Шанхайский, познавший, что такое быть гонимым за имя Христово.

Именно с Русского подворья с романовскими вензелями на входе не оставляло ощущение, что Иерусалим — это город, навеки связанный с династией Романовых. Сам храм назван в честь святого покровителя императора Александра Третьего, название подворья тоже связано с его именем. После гибели венценосного отца он продолжил строительство на Святой земле. Сколько славных имён увековечено на стенах храма! Это члены Императорского православного Палестинского общества. После убийства революционерами-террористами председателя общества, вдохновителя и благотворителя русских археологических раскопок, великого князя Сергея Александровича Романова здесь зажглась неугасимая лампада. Её зажгла и передала на подворье вместе с иконой Сергия Радонежского вдова князя, великая княгиня Елизавета Фёдоровна. Стоим возле, радуясь. И икона жива, и лампада вновь горит.

Прославленная во святых как преподобномученица, лежит сейчас великая княгиня Елизавета Фёдоровна не так далеко отсюда, в Гефсиманском саду. Ежегодно в канун Светлого Воскресения Христова, в последнюю седмицу Великого поста, на Великий четверг, после чтения двенадцати Евангелий, именно сюда, на Русское подворье, по Крестному пути к Судному порогу, направляется из Гефсиманского русского монастыря крестный ход. Горят свечи и фонари, весь путь монахини устилают цветами…

Покидаем этот кусочек России на Святой земле с надеждой вернуться ещё. Идём по иерусалимской улочке дальше. Идём, а глаза вдруг застилают слёзы. Художник Илья Ефимович Репин, который тоже благоукрашал Русское подворье, написал в 1898-м: «*Во всём Иерусалиме есть что-то трогающее до слёз. Этого во всём мире нет*». Как точно. Идём по снегу, по сбитым ветром зелёным веткам деревьев. Идём к храму Воскресения Христова, который на Западе предпочитают называть чаще всего храмом Гроба Господня. И мы повторяем это вслед за ними. Но в царские времена доминировало первое название со словом «Воскресение». Идти тут всего несколько десятков метров. Входим в заснеженный прямоугольный двор, базилика словно обхватила его своими крылами. Отовсюду тянутся руки торговцев с множеством распятий: купите!

Воскресение Христово видевши…

…И вот она — гора Голгофа. Потом уже мне показали место, где, по Священному Преданию, жёны-мироносицы стояли за оцеплением римских легионеров. Я взглянула с того места на Распятие, что сияло под стеклянным куполом на вершине высокой белой горы. Как высоко и далеко был от них Господь, умирающий в страшных муках за них, за всех нас! И бессильны они были уже протянуть руку с платком, чтобы вытереть кровавые Его раны. Туринская плащаница, запечатлевшая умершего Христа, свидетельствует, что тело Его было истерзано множеством ранений. Страшный тёмный Камень бичевания свидетельствует о том же. Поднимаемся вверх к горе по крутой лестнице. Он умирал на Кресте, а кровь Его стекала к подножью Голгофы. Оно необычное, подножье этой горы, словно рассечённое. Когда Спаситель родился — мир замер, а как только оборвалась Его земная жизнь — весь мир содрогнулся, и камни даже расселись, распались.

> Прибит на Крест моей неправдой,
> Чем оправдаюсь пред Тобой?
> Моя поруганная Радость,
> Моя распятая Любовь!..
> *(иеромонах Роман [Матюшин])*

Молча становимся на колени, перед тем как припасть к плите, на которой Спасителя прибивали

ко Кресту, вбивая грубые гвозди в руки, в ноги. Не вставая с колен, двигаемся к основанию Голгофы — этому центру всего мира. Он тут. Именно тут Центр мира. Это чувствуешь сердцем. И, словно в подтверждение тому, вливаются и вливаются новые людские потоки. В этом людском голгофском море все рядом: чопорные светловолосые европейцы (немцы, наверное); сверкающие белка́ми глаз на тёмных лицах, растворившихся в сумраке храма, африканцы; энергичные, живые латиноамериканцы; организованные, собранные китайцы и корейцы и мы (со стороны себя не увидишь) — посланцы Страны белых снегов…

«Вот бы сюда всех неверующих привозить, — сказала мне после одна наша паломница. — Христос был! В это поверишь сразу же, как только увидишь здесь столько людей со всего мира…» И стоим мы все вместе посреди земли у горы Голгофы. Как оказались мы здесь, не сговариваясь? Нет, не мы оказались. Это Он привёл нас сюда с самых разных континентов, чтобы мы почувствовали, что такое людское братство. И как оно прекрасно, когда в сердце каждого — Христос!

Есть множество трогательных мест в этом преогромном храме. Одно из них внизу. Это место, где встретил Господь свою Матерь. Что пережила Она, голубка чистая, на этом Крестном пути? Мы часто носимся со своими испытаниями, переживаниями, не понимая, для чего они нам даны, и всем нам они кажутся такими тяжёлыми. Как-то я задумалась над тем, что пришлось пережить на жизненном пути Ей, Матери Божией, «честнейшей херувимов и славнейшей серафимов», и стало больно за Неё. Ранняя потеря родителей, клеветнические измышления о её неверности и нечистоте при зачатии Младенца, страх потерять Его, бегство с Ним из родной земли в Египет от кровавого царя Ирода, гибель родных по крови и близких по сердцу людей — священника Захарии и жены его Елисаветы, лютая казнь их единственного сына и сродного Ей по крови Иоанна Крестителя… И казнь Сына, ни в чём не виновного. А после — позор на её голову, ибо в людских глазах Она — мать преступника. Позорнее смерти, чем смерть на кресте, не было для иудеев.

Последняя их встреча на Его пути на Голгофу… Вот Он стоит, Он ещё жив, но скоро жизнь эту отнимут. Что было на Её сердце материнском? О чём вопрошало оно? Голос сердца Её услышал святой Роман Сладкопевец, дерзнувший написать «Плач Пресвятой Богородицы»:

Куда Ты идёшь, Чадо?
Для чего совершаешь скорое Своё течение?..
Не идти ли и Мне с Тобою?..
Дай мне слово, Слове, — не пройди мимо меня молча…
Идёшь Ты… и никто Тебе не соболезнует.
Не сопутствует Пётр, говоривший Тебе:
«Я не отрекусь от тебя никогда. Хоть мне и умереть».
Оставил Тебя Фома, вопиявший:
«С Тобою мы умрём все».
И где теперь все прочие, домашние и сыны Твои,
Имеющие судить двенадцать колен Твоих Израилевых.
Нет никого из всех сих:
За всех же единый токмо Ты умираешь…

Из Евангелия мы знаем, что Господь откликнулся на этот плач, усыновив Ей любимого ученика своего Иоанна Богослова, а вместе с ним и всех нас.

Но даже мёртвой Богородицу ненавидели, пытались во время похорон перевернуть гроб. И это было здесь, в Иерусалиме. Позже мы побываем в Гефсиманском саду на месте Её погребения, в нижнем приделе храма. То было, наверное, тишайшее место из всех, где нам довелось побывать. Таинственно Она была взята из гробной пещеры на Небо, но здесь царили Её удивительная тишина, Её ровное сияние души, Её материнская любовь.

…Спустившись вниз, припадаем к Камню помазания, где бездыханное остывающее тело Сына Божия помазывали маслами. Ароматная плита благоухает и дарит неожиданный покой. Вспомнила, как после возвращения со Святой земли Виктор Петрович Астафьев рассказывал удивлённо, показывая покалеченную на фронте руку: «Я приложился рукой к Камню помазания, а он тёплый». Раза два повторил, какой же он тёплый, словно боялся, что не поверим. Ночью за Божественной литургией я помянула здесь славного нашего писателя-земляка вместе с верною супругою его Марией.

К Гробу Господню, который находится в нижнем приделе, такой же живой людской поток, что и наверху — к горе Голгофе. Здесь и Гроб, здесь и место Воскресения. Встаём в очередь к самой знаменитой и скромной часовне Воскресения Христова, которую называют ещё кувуклией и из которой исходит на каждую православную Пасху нетварный Благодатный огонь. Очередь идёт быстро, задерживаться там не дают и на минутку. Это самая последняя пещера в земной жизни Христа, уже посмертная, дарованная Ему богатым тайным учеником Иосифом Аримафейским. Могила, которая стала ложем Воскресения. Нас пустили сразу троих. Прикладываемся к пустому ложу Христову, выходим. И уже на выходе подступает вдруг неожиданное чувство: Христос воскрес! Пасхальная радость наполняет душу. Тут же, возле кувуклии, поём один за другим пасхальные тропари, христосуемся, целуемся: «Христос воскрес! Воистину воскрес!» Так в один день встретили мы два праздника: Рождество Христово и Воскресение Христово. Такое бывает только на Святой земле.

Несмотря на ранний подъём, полностью промокшие ноги и озноб, бодро возвращаемся в Вифлеем с одной целью: отужинать и хоть ненадолго

передохнуть. Ночью у нас причастие в храме Воскресения Христова, если не подведёт погода и сможет выехать автобус. К ночи (молились же, просили посильную погоду!) автобус приходит за нами и везёт в Иерусалим на ночную Божественную литургию. Останавливается он на почтительном расстоянии от базилики. Идём пешком, балансируя на ледяной корке, чтоб не расшибиться, да ещё пытаемся разглядеть ночной Иерусалим. А он загадочный и красивый. Служба в кувуклии—часовне Воскресения Христова—идёт стремительно. На греческих и на русских священниках—белые пасхальные облачения. Пасха. Снова Пасха. Причастие. И снова ощущение самого нашего главного праздника. «Христос Воскресе!»—звучит с разных сторон. Воистину воскресе!

Поутру едем из Вифлеема в Вифанию. Какие чудные евангельские названия у этих городов! Если «Вифлеем» в переводе означает «Дом хлеба», и на самом деле рождённый здесь Христос отдал нам себя «в снедь», то «Вифания» в переводе значит «Дом бедных». Городок упрятался за Елеонской (Масличной) горой в двух километрах от Иерусалима. В евангельские времена был чуть подальше. Именно здесь провёл Христос последнюю мирную ночь. Отсюда вышел на моление в Гефсиманском саду.

Гид объясняет нам, что арабы, живущие здесь, очень бедны и у них за небольшую цену можно купить сувениры и кое-что из одежды. Автобус останавливается у торговых палаток. Товару много, начиная с магнитиков с видами Иерусалима и кончая большими чемоданами. Торговцы настойчивы. Уважив их, поднимаемся вверх по мощёной дороге. «Дом бедных» в этой городской черте поражает чистотой и белизной. Снега здесь будто и не было. Вверх ведёт безупречная дорога, сплошь покрытая громадными тёсаными белыми камнями с довольно высокими парапетами справа; белая дорога, белые дома. Вот и главная вифанская святыня—место, где был похоронен друг Христа, Лазарь. В Евангелии говорится о том, что, увидев горе сестёр своего умершего друга, Христос заплакал. Вифания знает слёзы Христа… «Дом бедных», который не раз с любовью принимал Спасителя, приютил Его перед арестом и казнью и проводил в последний Крестный путь.

Общеизвестно, что раньше иудеи хоронили в пещерах. При этих словах мне представлялись пещеры с виду вроде наших, что в окрестностях Красноярска. Стоит гора, а прямо в ней прямым большим углублением—пещера. Но гробница Лазаря, в которую мы стали спускаться, извиваясь, уводит нас всё глубже и глубже вниз. И что поразительно—она тоже белая, точнее, цвета топлёного молока, как и всё вокруг, почти праздничная. Но вдруг пахну́ло холодом и сыростью подземелья; перед нами совсем маленький лаз, в который тучному человеку трудно проникнуть. Изрядно согнувшись, проходим сквозь него; вот и гробница—довольно глубокая каменная яма, та, где лежал и уже разлагался умерший Лазарь. «Да он уже смердит!»—останавливали Христа плачущие сёстры Лазаря, понимая, что брату уже ничем не помочь. Но Господь, не слушая их, спускался и спускался всё ближе к телу усопшего. И здесь, именно на этом вот месте, у этой гробовой ямы, произошло чудо. По властному приказу Господа мёртвый стал подниматься и ожил.

Здесь, в Вифании, в этой гробной пещере, Христос сотворил столь зримое чудо ради того, чтобы мы поняли, что всем нам, живущим на земле, предстоит воскреснуть телами. Воскреснуть, как воскрес Лазарь—и немало послужил потом во славу Божью, став архиепископом и осветив христианством остров Кипр. Как сказал недавно замечательный профессор-проповедник, мы почему-то забываем говорить людям, что у нас самая радостная, самая утешительная религия. Мы—создания Божии. Мы неповторимы. И мы воскреснем.

Вечером, когда мы ужинали в отеле «Звезда» и за громадными окнами была уже великолепная ночная панорама города Вифлеема, к нам пожаловала гостья из Вифании—инокиня, принявшая имя одной из сестёр Лазаря—труженицы Марфы. Она приехала к своему родственнику по крови—к отцу Геннадию Фасту, к матушке его—Лидии, к их детям—Давиду и Кристине. Но если быть более точными, она приехала ко всем нам. Со всеми обнялась, каждому улыбнулась эта молодая православная монахиня с добрейшим лицом. Она приедет к нам ещё раз в Иерусалим, чтобы попрощаться.

Благодаря этой встрече узнали мы историю почти житийную: как немецкая девочка, выросшая в Германии и не знающая русского языка, уверовала в Бога, как мало было ей протестантской веры, как она убегала в церковь, как пришла в православие и выучила русский язык. И вот сейчас служит на Святой земле и сама уже преподаёт русский язык и опекает сирот. Более того, она—директор созданной в Вифании Русской православной церковью за рубежом общеобразовательной школы, где учатся четыреста арабских девочек—и христианок, и мусульманок. Кое-кто из наших побывает даже на их школьном празднике.

А Вифания так и осталась перед глазами—в белых воскресных одеждах.

Едем мы на Иордан!

Из иерусалимских и вифлеемских снегов едем в Иорданскую долину, и чем ближе к долине спускаемся, тем теплее и теплее. Обетованная Земля улыбается нам. Вызревшие мандарины и апельсины уже не под снегом, его тут нет. А едем мы на Иордан! Именно в ту часть течения реки, где

произошла встреча Христа и Иоанна Крестителя, где безгрешный Господь смиренно подставил свою главу проповеднику покаяния для крещения водою. И произошло физическое чудо: воды Иордана потекли вспять, в противоположную сторону — к истокам.

Долгое время это место было недоступно из-за пограничных конфликтов Израиля с Иорданией, поэтому купание в священных водах реки Иордан было обустроено для паломников в верхнем её течении. Мы потом побывали там, где есть обустроенные раздевалки, входы-выходы и прочее. И там омылись благодатно в спокойных светлых струях. Но главной стала эта первая наша встреча с рекой Иордан.

От недавних бурь и снегопадов вода жёлтая (видать, ещё и от поднявшейся со дна глины) и какая-то взбудораженная. Зелёные вётлы свисают по берегам, как и над нашими речками. Нас сразу предупредили: не вздумайте заплывать на противоположный берег, там уже Иордания, пограничные конфликты нам не нужны. Облачаемся в белые крещальные рубашки, купленные в арабском магазинчике в Вифании, с таким знакомым изображением Крещения Господня Иоанном.

С иорданской стороны нас с любопытством рассматривает группка молодёжи. Они в лёгких курточках — зима! А нам-то — лето! Кое-кто из нас и в тридцатиградусный крещенский мороз в сибирскую иордань погружался. Празднично звучит тропарь: «Во Иордане крещающуся Тебе, Господи, Троическое явися поклонение…» И вот уже все в священных водах Иордана. Вода после снегопада холодная. Но и это сибирякам не помеха, погружаемся с головой по три раза во имя Отца и Сына и Святаго Духа. И вдруг, к великой нашей радости, какая-то птица прочерчивает воздух. Голубь! Иорданский голубь! В виде голубя сошёл, явился Дух Святой во время Крещения Господня, и был голос Отца, и было Богоявление. Праздник Крещения Господня так и называют — Богоявлением. Какою радостью вошёл в наши сердца в тот день Господь! И эта радость была тоже Бога явлением.

Пока переодеваемся у камышей, к берегу Иордана подходит группа американцев. Одна из них, хрупкая, в кирпичного цвета курточке и джинсиках, отделилась от компании, подошла к нам и спросила на родном английском: «Холодная вода?» — «Нет! — дружно закричали мы. — Хорошая!» — «Не бойтесь!» — стали подбадривать её голоса из нашей весёлой толпы. Американка почти что улыбнулась, осторожненько подошла к спуску, потрогала воду рукой и с опаской плеснула несколько раз себе в лицо. Распрямившись, вытерла его аккуратно платочком и, опустив голову, как-то грустно и виновато минуя нас, направилась к своим.

А мы были в полёте, как птицы небесные. Зрелище, наверное, представляли экзотичное. Представьте себе: тридцать шесть человек в белых рубахах и трое бородатых батюшек, ликуя, окунаются с головой в жёлтые, встревоженные бурей и снегопадом воды Иордана. И выходят радостные, как будто с торжественного приёма после вручения наград. Представляю, как было многолюдно здесь в те давние времена. *«Тогда Иерусалим и вся Иудея и вся окрестность Иорданская выходили к нему и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои»*, — так сказано в Евангелии. Наверное, всю воду взбаламутили, принимая крещение от Иоанна. И была она такая же жёлтая, как сейчас. Ох и многолюдно было. И так же радостно.

А Иордан отблагодарил нас за нашу самоотверженность. Следующее наше купание на старом обустроенном участке реки было уже иным, более спокойным. И река тоже была иная — спокойная, воды её были прозрачны, чисты и омывали нас неторопливо, но так же благодатно. И так же, как в прошлый раз, звучал праздничный тропарь. Так дважды отпраздновали мы на Святой земле Крещение Господне.

А сегодня, когда я пишу эти строки в Красноярске, этот праздник отмечает весь православный крещёный мир. Енисей, как известно, из-за гидростанции зимой не замерзает. А традиционную иордань у нас на речке Базаихе запретило рубить мчс из-за тонкого льда. Покинули нынче нас сибирские морозы. Но плещется праздник иорданскими светлыми струями в каждом Божием храме, где поют: *«Пускай радуется вся земля, пускай веселится небо, пускай взыграет весь мир, реки пусть восплещут, источники и озёра, бездны и моря пускай радуются все вместе!»* И плещется Иордан повсюду.

Скорбями берётся Царство Небесное

Комфорт — погибель наша. О том мы говорили в путешествии не раз. Но, честное слово, я была удивлена, когда нам предложили в Иудейской каменной пустыне подняться на не такую уж высокую гору Искушения на… фуникулёре. На это мы, конечно, не согласились. Поднимаемся молча, пешим ходом, кое-кто с посохами, обретёнными и опробованными на горе Синай. И маршево звучат в такт шагам неслышные слова молитвы:

> Господи Иисусе Христе,
> Сыне Божий, помилуй мя, грешнаго…

В этих каменных джунглях сорок дней молился и постился Сын Божий, здесь искушал Его сам дьявол богатствами мира и властью над миром. Здесь отринул Иисус — Сын человеческий все мирские блага. Краткое восхождение завершается. Греческий монастырь, вросший в скалу, гостеприимно распахивает перед русскими паломниками

ворота. Снова начинается подъём, но уже внутри храма. И вот мы уже на самой высокой точке горы, в верхнем крошечном приделе, похожем на вершину смотровой башни. Смотрим из окошечка далеко вниз. Отсюда виден древний город Иерихон. Всё-таки высока гора Каранталь — гора Сорокадневного Искушения. Падаем на колени перед образом Господним. Каждый молится о своём, но душа, виноватая пред Ним, плачет. Он отринул всё, и даже жизнь, чтобы умереть за нас. А мы? Что мы сделали ради Христа?..

Господи, «окормиши мя, и очищуся, омыеши мя, и паче снега убелюся»… Слёзы сами собой льются и льются по щекам. Спускаемся в тишине по крутой каменной лестнице в нижний притвор, чтобы идти обратной дорогой. Но греки-монахи по-братски останавливают нас, чтобы батюшка помазал каждого елеем из лампадки, одаривают каждого освящённым кусочком хлебца и скромной чёрно-белой открыткой с трагически прекрасным образом Христа — таким Он ходил среди этой каменной пустынной Иудеи. Этими своими простыми действиями и нежным, внимательным отношением монахи задерживают нас, чтобы мы побыли ещё немного в этих святых стенах, просят поберечь душу, остановиться, не бежать спешно в мир, где тебя уже на спуске ловят арабские мальчишки с мешочками засахаренных орехов: «Ван доллар», — а торговцы сладостями уже издали машут рукой, предлагая финики: «Файв долларс».

Но что сделаешь с миром, если мы из мира, а не из монастыря? Он властно войдёт, блестя «стекляшками», дарящими удовольствие и тот самый комфорт, от которого мы ненадолго отреклись ради восхождения на гору Искушения. И никуда от мира не денешься, если ты в нём живёшь. И как беречь душу, то чувство, дарованное ей в этом вросшем в скалу скромном греческом монастыре на месте искушения самого Господа?

С горы Искушения начался путь Господа в Иерусалим, на гору Елеонскую. И мы уже на этой горе в Иерусалиме. Здесь до сих пор зеленеет известный всему миру Гефсиманский сад. Идём по нему с ощущением ирреальности происходящего. Вековые и тысячелетние оливы с причудливо переплетённым стволами чуть припорошены снегом. Мы идём к русской территории в Гефсиманском саду. Храм Вознесения Господня окружён русскими могилами, занесёнными белым снегом Родины. Светлой памяти архимандрит Антонин (Капустин), немало потрудившийся на Русскую Палестину, лежит где-то поодаль от храма, тоже занесённый снегом. И ирреальный евангельский мир становится совсем реальным. Кажется, что мы на обычном русском кладбище. У самой тропинки на углу храма резко выделяется одинокая могила схиигумена Парфения, тридцать лет отслужившего в Русской миссии в Иерусалиме. Надпись свидетельствует: погиб в ночь на пятнадцатое июня 1909 года от рук злодеев. И в Гефсиманском саду пролилась русская кровь за Христа.

Вот Камень Моления о чаше, где молился Господь до кровавого пота, и где определён был Ему путь только на Голгофу, и где Он принял его. Здесь, в Гефсиманском гроте, ждали его ученики, они спали, не в силах совладать со сном. А вот здесь под покровом ночи отдал Господа в руки римских воинов предатель Иуда. Говорят, несколько старых, переплетённых корнями оливковых деревьев были свидетелями той гефсиманской евангельской ночи. По подсчётам специалистов, им не менее двух тысяч лет, значит, они ровесники Первого пришествия Христова в этот мир и видели всё, что происходило в ту холодную ночь — ночь предательства Иуды.

У часовни Вознесения Господня нищий требовательно просит подаяния на… немецком языке: «Gib mir einen Euro!» А хозяйничают в ней и владеют ею мусульмане, для которых Христос — только пророк Иса. Смотритель, внутренне, наверное, возмущённый, что мы пророка возвели в Творца, гонит нас с огромной скоростью. Едва успеваем приложиться к Стопе Господа, запечатлённой на камне. Говорят, что прежде часовня эта не имела крова и можно было из неё увидеть небо, куда вознёсся Господь. Вознесение — праздник, который всегда будоражит душу. Ведь Христос вознёсся и исчез из виду во плоти. С какими же страшными ранами вернулся Посланец Отца Небесного с земли, от нас, от человеков. И не избежать ран всем, идущим за Христом узким путём. «В мире скорбные будете», — предупреждал Господь.

Часовня Первого и Второго обретения Честной главы Иоанна Предтечи с углублённым и идущим под пол ложем для главы свидетельствует о том же — о готовности отдать свою жизнь за Христа. По одному становимся на колени, вкладываем голову, словно под отсечение. Когда будет трудно, вспомним это мгновение как обещание не жалеть жизни своей ради Христа. Как не пожалела своей жизни во дни страшных испытаний, выпавших на долю России, великая княгиня Елизавета Фёдоровна Романова, она же урождённая немецкая принцесса Гессен-Дармштадтская, она же — внучка легендарной английской королевы Виктории, она же — верная жена великого князя Сергея Александровича Романова, убитого революционером-террористом прямо в Кремле, она же — создательница уникальной православной Марфо-Мариинской обители милосердия на Ордынке в Москве, которая сейчас возрождается, она же — мученица за Христа, живьём сброшенная большевистскими палачами в шурф алапаевской шахты.

Я была на Урале, на месте гибели преподобномученицы княгини Елисаветы Фёдоровны, верной ей до смерти крестовой сестры Варвары Яковлевой

и молодых князей Романовых. Бывшая глубокая шахтная яма зеленела травою, усыпанной цветами, и напоминала живописную чашу. Кругом стояли, сияя древесным золотом и белым камнем, строения новенького женского монастыря. Была я и в пристройке-притворе алапаевского Свято-Троицкого храма, где несколько дней стояли гробы с телами невинно убиенных, вытащенные из шахты белогвардейцами, отбившими у красных город Алапаевск. Серые стены с вьющимся плющом и по сей день напоены благодатью. Может, ради святых мощей мучениц дал Господь на некоторое время власть белой гвардии. Они успели поднять из шахты убиенных, отпеть их и отправить длиннейшей дорогой (через Красноярск!) на Харбин.

Только недавно я узнала, что встретил этот трагический груз из России уроженец красноярской земли, руководитель Русской духовной миссии в Китае митрополит Иннокентий (Фигуровский). Гробы уже сочились от разлагающихся тел, один только гроб с телом Елизаветы Фёдоровны был сух, а когда его вскрыли, с удивлением увидели, что она лежит невредимая, только потемнели ссадины у виска и у губ. Там, в Харбине, похоронили молодых князей Романовых, а гробы с телами княгини и верной её келейницы держали под полом Покровского храма, чтобы позднее переправить их в Австралию, а оттуда на Святую землю.

Однажды ещё не крещённая в православие красавица-аристократка Елизавета Романова сказала, стоя рядом с мужем в Гефсиманском саду: «Как бы я хотела быть похороненной здесь». Шёл 1888 год, шло освящение только что построенного русского храма во имя святой равноапостольной Марии Магдалины. И Господь услышал и исполнил желание любимицы своей. Но для этого ей пришлось засвидетельствовать свою любовь к Господу всей жизнью и кровью. Где-то тут недалеко должна быть могила игумена Серафима, который исполнил Божье задание и доставил княгинюшку из Алапаевска прямо в Гефсиманский сад, на участок Русской духовной миссии в Иерусалиме.

В русском храме равноапостольной Марии Магдалины пустынно. Монахиня открыла его дверь ради нас. Она оказалась знакомой нашим паломницам из Абакана, пошли объятья, расспросы. Сразу же запели тропарь мученицам. Я стою у гробницы с чувством глубокой вины и прошу прощения у моей любимой великой княгини Елизаветы Фёдоровны за то, что так обошлись с нею в моей тоже любимой, многострадальной и истерзанной России. А она, которая полюбила русскую страну с её дивной православной верой всей душой, тихо лежит под белой парчой, как под белым снегом, будто царевна из русской сказки, на ногах видны парчовые белые туфельки. Над беломраморной усыпальницей знакомое её фото, где она ещё вместе с мужем, рядом — поржавевший крест, тот самый, из шурфа шахты, с образом Спаса Нерукотворного, что подарен был ей императором Александром Третьим. С этим крестом она и погибла…

Как кратко это долгожданное свидание. Все уже ушли, надо догонять. Припадаю ещё раз к родной для меня святой, спешу к верной её келейнице Варваре с просьбой, чтоб помолились они о том, чтобы хватило мне сил на жизненном пути явить верность Богу, Родине, ближним. Бегу по тропинкам Гефсиманского сада. А он всё ещё в снегу! И в который раз кажется, что ты дома, в России.

Российская наша родная держава

Господь сказал своим ученикам: «После воскресения Моего Я встречу вас в Галилее». Долгожданная Галилея… Мы отправляемся туда, где прошла бóльшая часть Его жизни, где пройдено Им столько дорог вдоль берегов моря, с которых были призваны первыми к апостольскому служению простые галилейские рыбаки. Утро восемнадцатого декабря. Мы — в порту города Тиверия и уже на борту корабля. Волны качают его сильнее и сильнее. Но все взоры наши устремлены на рею, по которой поднимается государственный флаг России. Только полотнище достигло своего пика и затрепетало на ветру рядом с флагом Израиля, во всю мощь грянул наш российский гимн. Огромное Галилейское озеро, которое называют ещё Тивериадским, а ещё Генисаретским, огласила торжественная, с детства знакомая мелодия. Слёзы неожиданно навернулись на глаза. Как далеко мы от России, и вдруг она оказалась совсем рядом. Смотрю, а у высокого тиверийца, который поднимал флаг, тоже глаза влажные. Из наших иммигрантов, наверное.

От южных морей до полярного края
Раскинулись наши леса и поля.
Одна ты на свете! Одна ты такая —
Хранимая Богом родная земля!
Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!

Не зря Галилейское море называют морем. Волны вздымаются всё выше и выше. Корабль раскачивается всё сильнее и сильнее. А наш гимн звучит, летит над водами Святой земли. И мы, с трудом вспоминая слова, поём свой государственный гимн.

Вопрос, на который не требуется ответа: должен ли русский паломник знать слова гимна своей родной страны? Я и сейчас благодарна хозяевам корабля — двум высоким и симпатичным тиверийцам уже в возрасте, которые с нашего гимна начали эту экскурсионную поездку по морю, навеки связанному с Христом и Евангелием. В тот день оно, без

сомнения, было морем, так что местные рыбаки, с которыми рядом жил Христос, были люди не робкого десятка. Экскурсия с обозрением берегов была недлинной, кстати, и стоимость её была не так уж велика — десять долларов. А ознаменовалась она ещё одним маленьким и трогательным событием, опять же связанным с Россией.

Накануне под вечер в Назарете приходит мне на сотовый сообщение: «Не забудь завтра помянуть Ивана Всеволодовича». Да, десять лет прошло со дня кончины замечательного дирижёра, народного артиста России, создателя и художественного руководителя Красноярского государственного академического симфонического оркестра. А с нами как раз в поездке — первая скрипка оркестра Валерий Ефремов и его жена Лилия, виолончелистка, которые работали многие годы под руководством Ивана Всеволодовича, до самой его кончины. Я — к Ефремовым, Лилия сбегала к отцу Геннадию, сообщила. И вот представьте себе: волнующееся Галилейское море, корабль качает из стороны в сторону. После гимна служим молебен, а по окончании его отец Геннадий сообщает всем об Иване Всеволодовиче. И вот уже летят над волнами имена знаменитого московского проповедника отца Всеволода Шпиллера и сына его, Ивана Всеволодовича. Служим литию и все вместе поём «Вечную память». Ну кого ещё так красиво поминали?!

Вечером заехали совсем ненадолго в навеки связанный с именем Христа город Назарет, который сразил нас своей безудержной удалью. По главной улице носились в красных колпаках Санта-Клауса взрослые и ребятишки. Сам Санта-Клаус вышагивал, возвышаясь над публикой, на высоченных ходулях. Мы быстро поднимались в гору, устремляясь к храму Благовещения, к источнику Божией Матери под чёткую барабанную дробь, будто воинское подразделение. Барабанные удары неслись со сцены под открытым небом, оглушая весь город. Это рок-музыканты время от времени пробовали свои инструменты на звучание, репетируя перед концертом. Город готовился к Рождеству Христову.

Так из рождественского Вифлеема мы попали в ещё более рождественский Назарет, прямо на генеральную репетицию предстоящего праздника. На главной площади в воздухе пахло попкорном, как в наших кинотеатрах. Глобализация! Высокая искусственная ёлка, вся разукрашенная шарами, высилась во дворе храма. Стеклянные стены какого-то культурного центра, пристроенные к нему, сияли огнями. Налепленные повсюду фигурки Санта-Клауса, звёздочки и снежинки — точно как у нас, увы, никакого отличия. Глобализация!

Церковь Благовещения и Архангела Гавриила при источнике Девы Марии встретила нас тишиной. Сумрачно. В простом металлическом бачке можно было через краник набрать святейшей воды, которая поила всю округу и в евангельские времена. Сам источник Божией Матери светится светлыми струями в глубине колодца. Батюшка сказал, что ещё не так давно воду паломники черпали из колодца вёдрами. Теперь же действовало вот такое сверхскромное усовершенствование. Да и сам храм был скромен и беден, притаился на вершине Назарета, упрятавшись подальше от шумного «праздника жизни». Припав к источнику и выслушав только начало вечерней молитвы на греческом, мы поспешили обратно к автобусу, с трудом пробираясь через людскую толпу и взирая на выставленные в витринах магазинов красивейшие, выполненные в полный человеческий рост вертепы с юной Девой Марией, с почтенным старцем Иосифом и Божественным Младенцем. Галилея встречала Рождество Христово. И это был тот самый город Назарет, где Христа за его проповеди хотели сбросить с обрыва. Типичное отношение к пророку в родном его Отечестве.

Сильно болела рука, напоминая о переломе, в автобусе я приложила к запястью платочек, смоченный назаретской водой. Платочек враз стал горячим, и боль утихла. Ночью снова спасалась я «назаретским платочком», и снова он помогал, вытягивая из меня боль. А когда уже по темноте добрались до гостиницы в самой Тиверии, то есть Тиберии, названной так в честь римского императора, владевшего и Галилеей, то снова оказались на празднике. Но уже на другом. Шумная толпа чернокожих африканцев и африканок из Нигерии в одинаковых очень нарядных длинных одеждах морской расцветки, заполучив ключи от номеров, направилась в конференц-зал и приступила к вечерней молитве.

Как задорно и радостно славили они Христа! А до чего были зажигательными их танцы, к которым они и нас пригласили, увидев, как мы смотрим на них через стеклянную дверь. Так хотелось пуститься в пляс с чернокожими братьями-христианами! Но... Мой-то пляс будет простою пляской. А у них-то пляска молитвенная, моей ментальности недоступная. Так что ничего не оставалось, как отказаться от приглашения. А нигерийцы продолжали своё божественное веселье. Молитвы у них играют, как молодое вино. И страдают они сейчас и погибают за свою веру, как первохристиане.

«И некоторых из вас умертвят, — предупреждал Господь. — И будете ненавидимы всеми за имя Мое». Вот типичное сообщение из Нигерии, где, по некоторым данным, было убито за три года более трёх тысяч христиан: «*Группа исламистских боевиков, одетых в армейскую форму, штурмовала христианскую деревню в штате Борно в субботу, открыв беспорядочную стрельбу и убив по меньшей мере 106 мужчин. Лица мужского пола и были целью нападения. Боевики ворвались в деревню на грузовиках и нескольких автомобилях в то время, когда все мужчины собрались на деревенской*

площади. Расстреляв их, боевики начали рейд по домам в поисках тех, кто пытался спрятаться…» Но не боятся таких сводок те, кто в такой радости славил Господа в Тиверии, и этой первохристианской радости у них никто не отнимет.

Мы же, прожив в снегах целое тысячелетие во Христе, привыкли славить Господа и обращаться к Нему иначе. После ужина молились прямо под открытым ночным небом Тиверии, передавая молитвослов из рук в руки. И звучали наши моления — с неизменной печалью: *«Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи Человеколюбче. Благотворящим благосотвори. Братьям и сродникам нашим даруй яже ко спасению прощения и жизнь вечную. В немощах сущия посети и исцеление даруй. Иже на море управи. Путешествующим спутешествуй…»*

И Господь управлял. В этих благословенных галилейских бесснежных местах мы сразу же согрелись от солнышка. От одного только вида Галилейского моря теплело на душе. Утром, выглянув в окошко, я наконец увидела тиверийцев. Все они куда-то спешили. Вот один, высокий, в чёрной кипочке, прошёл, второй высокий в кипочке, третий высокий в кипочке, четвёртый, пятый! Потом по описаниям в Интернете я определила: вроде такие чёрные бархатные кипы, только белые изнутри, носят евреи-ашкенази. Был день субботний — для иудеев день совместной молитвы. В здешних синагогах учил когда-то свой народ сам Христос. Не приняли.

К концу нашего путешествия по Галилее море замерло и удивляло своей тихостью и кротостью. И была в Тиверии прощальная мистическая трапеза на берегу, когда вкушали мы в кафе с видом на море «рыбу от апостола Петра». Речная рыба из Галилейского моря была именно такая, какую я люблю. Внешне и по вкусу она напоминает карпа или нашего туруханского карася, только более светленькая. Но само поедание Петровой рыбы было настолько неторопливо и спокойно, будто с присутствием апостолов Христовых, что… чувства этого не передать. Одно скажу: нас угощали не хозяева кафе, взявшие по двадцать долларов за всё про всё с салатами, пастами, кофе, финиками. Наверное, это была агапа — трапеза любви, подобная тем, когда сам Господь сидел за столом, а иногда и сам готовил рыбу для апостолов.

И на этом месте мы тоже побывали, где в третий раз явился Христос апостолам по своём воскресении. Сидели прямо на гальке на тихом берегу, глядя в водную даль. Сидели рядом с юными путешественницами из Германии. О чём думали только вступившие в смятенную нашу жизнь эти стильно одетые девочки? Может, просили Его укротить бурю страстей, что терзают душу, требуя своего, укротить, как когда-то Христос укрощал волны этого моря. А может, просили у Господа простого человеческого счастья. А мне так хотелось побыть подольше на Его родной земле, пройтись по ней пешком. Удивительное понятие «родная земля». Вспомнила слёзы пожилого тиверийского матроса при звуках гимна России и всем сердцем посочувствовала ему, тоскующему на родине предков по своей далёкой заснеженной родной русской земле. Уже дома не без чувства удовлетворения прочла информацию:

«Путин подписал закон о более широком использовании флага и гимна РФ

…Флаг Российской Федерации теперь будет использоваться при открытии памятников, установленных по решению государственных органов, при открытии торжественных собраний по поводу государственных праздников, в день начала учебного года в средних и специальных учебных заведениях. Гимн РФ может исполняться во время торжественных мероприятий, проводимых государственными органами, органами местного самоуправления, а также государственными и негосударственными организациями. Закон вступает в силу 1 сентября 2014 года».

Да любите друг друга!

Слава Богу, эти благословенные, исхоженные Христом места мы ещё не покидаем.

Наш автобус подъезжает к очередной горе, что окружают берега Галилейского моря. Она не высока и не крута. Спокойно поднимаемся по пологой широкой тропе наверх. Огороженный железным забором скромный католический храм, поставленный в честь важнейшего евангельского события — Нагорной проповеди, закрыт. А мы, приехавшие от Моисеевой горы, где были даны Десять заповедей, стоим на том самом «ровном месте» горы, где Христос провозгласил новые заповеди — заповеди блаженства, поднимающие человека на ещё бóльшую высоту. Мы — на горе Блаженств.

У неё действительно плоский верх. Внизу виднеются поля с сельхозугодьями и декабрьским сухостоем. Дорога, что идёт вдоль них, напоминает нашу русскую просёлочную дорогу. Мягко светит солнышко. Вслух читаем Евангелие. И дарованные Христом заповеди вновь звучат там, где они были сказаны впервые. Это уже заповеди любви. Ощущение на этой горе, будто ты дома. Сажусь на склоне на камень. Смотрю вниз: уйти бы по этой просёлочной дороге! Но всех уже зовут в автобус. А я, глядя с прощальною тоскою на тихую красоту Галилеи, думаю вот о чём: если бы все люди любили Христа, они давно уже проложили бы вдоль Галилейского моря дорогу, увитую цветущими кустами, украшенную скульптурными композициями со сценами из Евангелия, чтобы паломники со всей Земли могли бы пройти с Иисусовой молитвой вдоль берегов, исхоженных Господом.

И не умолкала бы тогда в этих местах Иисусова молитва во веки веков. Но люди не любят Христа…

Автобус мчится дальше по галилейской дороге, которая почти каждой стрелочкой на указателях напоминает нам о евангельских событиях. Проезжаем стрелочку с названием «Магдала» — та самая, откуда была родом Мария Магдалина. Помните её плач у пустой гробной пещеры: «*Унесли Господа моего, и не знаю, куда положили Его*»? Может, в благодарность за эту неистребимую верность к ней первой явился Господь по своём воскресении. И, первая свидетельница Христова воскресения, стала Мария из Магдалы равной апостолам, уверенно входила в императорские дворцы, не пугаясь их земного величия, ибо с нею входила сама Истина, сам Господь.

Не хочу вдаваться в споры о Марии Магдалине, об утвердившейся (особенно на Западе) традиции считать её великой блудницей. В Евангелии о ней сказано иначе: что Господь исцелил её, изгнав из неё семь бесов. Всё. И не надо придумывать и приписывать ученикам и ученицам Христовым того, о чём нет ни слова в Евангелии.

Мы на подворье русского Горненского женского монастыря в Тиверии. В самом монастыре в Иерусалиме мы тоже были, но совсем недолго. Добирались от далеко остановившегося автобуса пешком в самый тяжёлый день после снегопада. Шли по ледяной бугристой дороге, спотыкаясь о сломанные ветви деревьев, рискуя разбиться вдребезги. Храм во имя иконы Казанской Божией Матери был закрыт, только один послушник, по-моему, волжанин из Саратова, крепкий белесоватый мужик, упрямо отбрасывал снег лопатой. К нам вышла всего лишь одна монахиня, чтобы собрать записочки, ненадолго открыла храм. Она была явно обеспокоена, мы тогда ещё не понимали до конца чем. Теперь понимаем. В эти же дни в Интернете появилось вот это тревожное сообщение:

«*Горненский женский монастырь в Иерусалиме просит о помощи*

Сильнейший снегопад нанёс серьёзный ущерб обители: нарушено энерго- и водоснабжение, разрушены крыши многих построек, дрова и дизельное топливо на исходе. Соответствующие городские службы на обращения Русской духовной миссии в Иерусалиме не реагируют. Постепенно территория монастыря силами сестёр и трудников приводится в порядок. Но требуется немалое вложение денег для приобретения дополнительного дизельного генератора и ликвидации последствий урагана и беспрецедентного снегопада. Сёстры будут молиться у Живоносного Гроба Господня за оказавших монастырю материальную и молитвенную помощь. Перечислить пожертвования можно здесь…»

Здесь, в Тиверии, снегом и не пахнет. Купаемся в тёплых лучах солнца.

В монастырском саду с финиковыми пальмами, с видом на Галилейское море (прямо внизу его каменистый берег), с монастырскими курочками-хохлатками в чёрных пёрышках (одетыми в одной цветовой гамме с монахинями) целых три источника Марии Магдалины. В одном все дружно промывали глаза, изъеденные цивилизацией, в других омывали тела. Один из источников очень согревал, потому что тёплый в любую погоду. Все будто прикипели к этой благодати. И не было человека, который бы не улыбался здесь. Умилительно было видеть в саду насаженные в пеньках цветочки. Один, маленький и аленький, был копией того, что у меня на подоконнике, — как робкое напоминание о родине.

Перед отъездом столпились в иконной лавке. Нас много, а обслуживает всего одна юная инокиня в чёрном облачении. Красивое её лицо было ещё прекраснее оттого, что светилось изнутри ровным тихим сияньем. Спросила её, откуда она, — оказалось, из Днепропетровска (бывшего Екатеринославля!). Когда-то я была там, когда он был нашим городом, теперь отошёл к Украине. Распадается единый наш славянский мир. Горестно от всего этого. Но взглянешь на красивую девочку с именем Виктория (Победительница), которая служит Христу за тысячи и тысячи километров от родной украинской земли, в родной Его Галилее, и радостно станет на сердце. Значит, не совсем обезумел наш мир, когда такие невесты приходят в дом Божий.

Хотя израильский гид говорил нам, что в греческих православных монастырях Святой земли монахов становится всё меньше и меньше. Наверное, число монашеских обителей соразмерно мере любви на нашей земле. А там, где любовь, там — Христос. Часто вспоминаю обитель преподобного Герасима Иорданского. Когда мы вошли в храм, удивлению моему не была предела: молодой чернобородый монах тихо сидел на скамеечке и ласково гладил доверчивую белую собаку. Но ведь собак не пускают в храмы! А эта чувствовала себя в церковных стенах как дома и очень походила на ребёнка, который люби́м: само спокойствие и умиротворение. Увидев меня, подошла, ткнулась лбом в руку, поздоровалась. Нежно, ласково, без суеты и заискивания. Под сумеречными сводами церкви переплетались ветки деревьев, по которым порхали, щебеча, птицы. На высоте в клетке без конца цокал задумчивый попугай. Мы сгрудились возле него, восхищённо рассматривая отсюда пределы всего райского царства.

Послушав немного говоруна, отец Геннадий перекрестил птицу и тут же отвернулся, чтобы идти дальше. Попугай, торжественно вытянувшийся в струнку во время благословения, завидев

спину батюшки, заволновался, захлопал крыльями, зацокал, словно потрясённо вопрошая: «Ты почему отвернулся от меня? Ты куда?» Услышав беспокойное щёлканье птицы, батюшка обернулся, даже рассмеялся при виде такого переполоха и вдруг по-детски защёлкал в ответ, попугай ответил. Так, к вящему удовольствию попугая, они попереговаривались с минутку, и уж только после этого хозяин отпустил гостя, тем более что к клетке уже подошли другие паломники, и надо было хоть немного внимания уделить им.

Если б я была меценатом вроде той гречанки Катрин, что была на Божественной литургии на Синае, я б непременно стала опекать именно этот монастырь — монастырь Святого Герасима в Иорданской долине. Здесь тебя встретят лев, который когда-то возил святому отшельнику воду из Иордана, и ослик, из-за которого добродушный Герасим поссорился со львом. Ослик удрал с проходящим караваном, а через годик явился — не запылился, и пришлось Герасиму, который заподозрил льва в том, что тот сожрал ослика, просить прощения у своего друга. Лев и похоронил своего друга-отшельника. И вот встречает теперь паломников в бронзе вместе с осликом.

Не принимайте всё это за сказки. Уроженец Мир Ликийских, тех самых, прославленных Николаем Чудотворцем, отшельник Герасим скончался в 475 году. Но в не таком уж далёком девятнадцатом веке преподобному Серафиму из Саровской пустыни, что превращена была в двадцатом веке в ядерный полигон Арзамас-16, так же исправно служил дикий медведь, и меж ними было удивительное, поистине райское взаимопонимание.

Подъехали мы к Герасимову монастырю изрядно уставшие, когда было сумеречно и не узреть было уже всего живого богатства монастырского двора, но хорошо было видно, как на самой высоте, на фронтоне храма, распластал крылья орёл. А уж когда вступили в храмовые пределы, то тогда уж совсем пахну́ло теплом и раем, где люди и звери живут в полном согласии друг с другом.

Гордость монастыря — изумительной красоты и чистоты чудотворная икона Божией Матери «Млекопитательница», где кормит Она Божественного Младенца грудью. Эта икона, явив чудотворения здесь, словно подтверждает предание о том, что именно на этом месте, в пещере (она теперь — нижний придел храма), останавливалось во время бегства в Египет Святое семейство. Более того, считается, что именно здесь сделал первые в жизни шаги Иисус Христос. Вот почему так много младенческой чистоты и добра в этой обители.

Пленённые гостеприимством нынешних отшельников, угощаясь соком крепким красного винограда и сухарями (не сухариками, а именно большими сухарями), бродили мы по церковному притвору, наполненному живностью, как самые любимые и званые гости. И казалось, будто сам Герасим ходит тут где-то рядом и улыбается: «Ну что, братцы, нравится, когда к вам с любовью? И им тоже нравится, зверью-то». Вспомнилось, как наш добрый гид Акрам рассказывал о верблюдах как о собратьях, обладающих удивительными достоинствами, говорил о том, как учат они людей терпению, смирению, трудолюбию. Какие мы все разные, человеки, и отличаемся друг от друга, наверное, мерой любви, которая либо есть в нас, либо совсем угасла. Мы находились в дивном оазисе среди Иорданской долины. И не было никакой усталости. Только радость.

Свет Сионской горницы

Накануне последнего дня пребывания на Святой земле паломники разбились на несколько групп. Одна из них, на зависть мне, отправилась в Хеврон, к Мамврийскому дубу. Но я выбираю Иерусалим. Холодный, мокрый от тающего снега, так и не сбросивший его, снежный Иерусалим… И сейчас, как и до поездки на Святую землю, эти простые строчки из песни иеромонаха Романа (Матюшина) ранят душу:

Иерусалим, Иерусалим — горькая моя мечта.
Иерусалим, Иерусалим — город моего Христа…

Снова, уже без гида, идём мы по Крестному Его пути, снова мы у Гроба Его — у часовни Его Воскресения. Расстаёмся… Всё с тем же ощущением, что Центр мира здесь. И ещё с одним ощущением. Более девятисот лет назад на Святой земле побывал русский паломник игумен Даниил, о котором я уже упоминала. *«Сын далёкого Севера, я вступил в Иерусалим как в свою родину…»* — писал он. Точнее не скажешь.

На брусчатой улице, по которой под ярким солнцем бежали поистине весенние ручьи, выставили столики, и мы сели отведать на прощание фалафелек. Я их присмотрела ещё в Египте, эти кругленькие обжаренные шарики, начинённые всяческой зеленью. Оказалось, что они из нута (его у нас называют ещё турецким горохом). Египтяне на Синае подавали нам фалафели в чистом виде. А иерусалимские арабы прячут их в карман разрезанной пополам пресной лепёшки, добавят свежей капусты, перца, капельку майонеза, и постное блюдо готово к употреблению. Вместо кофе решила я взять чай по-арабски: с большой живой веточкой зелёной мяты, которая красиво светилась на солнце сквозь прозрачную кружку.

Подкрепившись и согревшись от яркого солнышка, направляемся в иудейскую часть Иерусалима. Чем дальше отходим от шумных арабских улиц, тем тише становится вокруг. Извилистые улочки и проулочки загорожены с двух сторон древними высочайшими каменными стенами. И когда мы, поплутав немного и сверившись

сначала с навигатором на планшетнике, а потом и с редкими прохожими, выходим на дорогу к Стене Плача, наступает непривычная тишина. С гордым достоинством проходят в этой тишине мимо нас ортодоксы. Не наши, а иудейские. В основном низкорослые, все в чёрном. Развевающиеся длинные пейсы, чёрные шляпы-котелки на головах, чёрные пальто и брюки. «Они вроде ваших старообрядцев,— пояснял нам накануне израильский гид,— не стали менять европейскую одежду девятнадцатого века и перешли в ней в двадцать первый век».

Чем дальше мы уходим от арабского квартала, тем чаще встречаем еврейских юношей и девушек в красивой военной форме цвета кофе с молоком и светлых оливок. Это солдаты израильской армии. В отличие от наших солдат, они расхаживают по городским кварталам вооружёнными. В руке — мороженка. За плечом — автомат. Начинаем спускаться вниз по ступенькам к Стене Плача — вооружённых солдат становится всё больше и больше. С удивлением вижу сидящую на ступеньках красивую, не очень старую женщину, она просит подаяния. Чуть выше — инвалид в коляске с той же мольбой.

Территория перед Стеной Плача чётко перерезана продольным забором, слева заходят мужчины, справа — женщины. Две тысячи лет назад здесь, на Храмовой горе, стоял единственный в Израиле храм. Это глядя на него, Христос заплакал и сказал: «*Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе! Сколько раз хотел Я собрать детей твоих, подобно тому, как птица собирает птенцов своих под крылья, но вы не хотели этого…*» Через тридцать семь лет после распятия Господа свершилось предсказанное Им падение Иерусалима и гибель Израиля как государства.

Тот иудейский храм был связан со многими святыми для нас именами. Храм тот принял Деву Марию, посвящённую Богу крошечную трёхлетнюю девочку, которая смогла так стремительно подняться по огромным ступенькам, что поразила взрослых. Об этом наш праздник Введения Пресвятой Богородицы. Вот здесь где-то и вели Её для посвящения Богу родители Иоаким и Анна.

Храм этот помнил Иисуса Младенцем, помнил Симеона Богоприимца, который так долго ждал Мессию и, увидев на руках Девы Марии, узнал Его и принял на свои руки как долгожданного Спасителя. Так посланцы Ветхого Завета, исполнив свою миссию, передали её будущим христианам — Завету Новому. Об этом наш праздник Сретенья.

Храм этот помнил Иисуса Отроком, собиравшим вокруг себя круг слушателей, удивлявшихся мудрости Его речей. Помнил Учителем, принёсшим Израилю и всему миру заповеди Нового Завета, и гневным Хозяином Дома Божия, изгнавшим торгующих и продающих в нём. Храм этот был свидетелем убийства отца Иоанна Предтечи — священника Захарии. И был свидетелем коварных речей и затей жаждущих распять Христа первосвященников…

Как пояснил нам батюшка, Стена Плача — это даже не стена храма, а чудом уцелевший кусок ближней к нему ограды, который достроили в высоту и ширину. «Грех нам к Стене идти,— сказала решительно одна из паломниц.— Они же Спасителя распяли, самого Господа! У кого теперь просят они спасения и благ, плача возле этой Стены?» Тут была дилемма, как и на Мёртвом море. Тут уж каждый лично решал, идти или не идти к этой стене, омытой и омываемой слезами иудеев. Я не пошла. Видела, как к этой иудейской святыне устремляется много молодых, среди них и вооружённые солдаты, и калеки на колясках, и юные девушки. Возвращаясь, нельзя поворачиваться к Стене спиной, поэтому все пятятся, идут задом наперёд, потом благоговейно кланяются и уходят. Святыни нужны народу. Даже тому, который не принял Мессию, Спасителя, когда Он пришёл. Не принял Истину и ждёт того, кто назовёт себя таковым и приблизит конец света. И… второе пришествие Христа на нашу землю.

Стена Плача позади. Идём в сторону гробницы израильского царя Давида. Над нею расположена Сионская горница, та самая комната, где была Тайная вечеря, где Христос впервые сказал звучащие теперь во всех православных храмах слова: «*Придите, ядите. Сие есть тело Мое… и сие есть кровь Моя…*» Удивляться соседству гробницы знаменитого израильского царя и комнате над нею не стоит. Только что мы заходили в закрытый храм во имя родителей Девы Марии — праведных Иоакима и Анны, расположенный у начала Крестного пути. Старинный жилой дом, обычный подъезд, при входе направо — закрытый железной клетью церковный вход, украшенный рождественскими веночками, а прямо на площадке — квартиры. Пытаясь разглядеть через решётку внутренность церкви, мы громко заговорили. На шум открылась дверь одной из квартир и вышла хозяйка — руки в боки. Наверное, хотела выгнать, но, увидев с нами батюшку, постояла немножко и ушла.

У царя Давида мы уже побывали накануне. Поздно под вечер вошли в заснеженный двор с величественным золотистым бюстом, живописно украшенным островками снега. По ветхозаветному преданию, Давид, родившийся тоже в Вифлееме, был светловолосым и синеглазым, как и Матерь Божия, которая происхождением была из дома Давидова. Вот как писал о Ней в четвёртом веке святой Епифаний: «*Она была роста мерного, немного выше среднего; цвет Её лица был как цвет зерна пшеничного; волосы у Неё были светло-русые и несколько златовидные; глаза ясные, взгляд проницательный, с зрачками как бы цвета*

маслины; брови немного наклонённые и довольно чёрные; нос продолговатый; уста подобные цвету розы, исполненные сладких речей; лицо не круглое и не острое, но несколько продолговатое; руки и пальцы длинные. В Ней во всём была простота и совершенное смирение…» По свидетельствам современников, весь образ Её был исполнен дивной красоты.

Красив царь Давид даже в памятнике, хоть лик его и немножко повреждён. Корона на голове, похожий на наши гусли псалтирион за спиной, тот самый музыкальный инструмент, который дал его молитвенным песням название «псалмы». Врачующие душу псалмы живы. Три тысячи лет прошло, как ушёл царь Давид к праотцам, а память о нём жива у иудеев, христиан, мусульман. Да ещё и в современных песнопениях воспевают его в далёкой России:

Дай же, Господи, душе моей покаяние Давидово
по молитвам Богородицы, по молитвам всех святых…
(иеромонах Роман [Матюшин])

Вместе с нами поспешили к Давидовой гробнице молодые ортодоксы с болтающимися пейсами — маленькие, щупленькие, с задиристо сдвинутыми на макушки шляпами-котелками. Вход отдельный: для женщин — слева, для мужчин — справа. Что там творилось, на мужской половине, не знаем, но только, как влетели туда молодые ортодоксы в чёрном, послышались такие воинственные удары барабана, такие энергичные громкие выкрики, что мы были просто сражены этим напором. Перегородка не глухая, всё летело в нашу половину, где, не будь мужской половины, торжествовала бы блаженная тишина.

Представьте себе. Слева — очень высокая Давидова гробница, напротив — книжный шкаф. Меж ними скамеечка. На скамеечке сидят две живописно одетые в длинные затейливые юбочки малышки и читают под руководством мамочек. На мамочках юбочек нет, на них униформа человечества на всех континентах — джинсы. Старшая девочка, явно дошкольного возраста, не без труда держит в руках большую книгу на иврите (без картинок!). Она столь серьёзно погружена в чтение, что едва глянула на нас, хотя мы в большинстве своём тоже были в длинных живописных юбочках, как у неё.

Господи! Ведь всё свершилось, о чём говорилось в Давидовых псалмах: и о Деве Марии, и о пришествии Христа, который кровью своею соделал нам спасение «посреди земли». Но пришёл — и не узнали Его. Убили, как сына хозяина виноградника из евангельской притчи. Не приведи, Господи, не узнавать Тебя, когда Ты к нам приходишь! Помолившись дивному царю Давиду, объединяющему и по смерти столько народов, мы вышли во внутренний дворик. На улице уже было темно. Хотели попасть в Сионскую горницу, поднялись по крутой лестнице, но дверь была заперта. Дворик с кипарисами по углам, если поднять вверх голову, напоминал знаменитые петербургские колодцы. Вверху тихо мерцал квадрат неба — не чёрного, живого. Здесь, на горе Сион, снова соединились в этих древних строениях дарованные нам Богом два Завета — Ветхий и Новый, два крыла нашей христианской веры.

Никак не хотелось уходить с этой вершины земного Иерусалима — места, овеянного духом Тайной вечери, прощанием Христа со своими учениками, которые, за исключением юного Иоанна, вскоре отрекутся от него «страха ради иудейска». А потом апостольством и кровью искупят свою вину. Когда средь бела дня в Гефсиманском саду нам показали пещеру, где дремали ученики во время Христова Моления о чаше, вдруг где-то недалеко закукарекал петух, напомнил нам об апостоле Петре, который был более чем уверен, что он-то от Христа никогда не отречётся. Тогда Господь и сказал ему о петухе, который дважды не пропоёт, как Пётр трижды отречётся. Что и произошло в ночь пленения Господа…

Внезапно появился рыжий кот, замер на скамейке в ожидании. Ну что ж, надо было кормить. Котов, видно, тут не жалуют. При входе на вершину Сиона мы видели, как какой-то работник свирепо гнал тоже рыженькую худенькую кошечку прочь от святого места. Самая младшая из нас, студентка Леночка из Абакана, начала шарить в сумочке и с радостью вытащила плавленый треугольный сырок. Кот смахнул его в мгновенье ока. Он был хорош собой, но не шёл ни в какое сравнение с тем, которого мы встретили на горе Фавор. Тот тоже был белый, округлый, самоуверенный, с франтоватым жёлтым бантиком на шее, наверное, дальний родственник египетским. Он увязался за нами, не боясь того, что монахини Преображенской обители с лязгом закрыли за ним железные двери в обитель. Леночка (опять же она!) принялась его кормить, восклицая при этом, как же он обратно попадёт. Но, глядя на него, можно было не сомневаться, что попадёт.

Кормили его в ожидании микроавтобуса всем скопом. А он всё никак не мог наесться. Одним словом, баловень. Откушав, он гордо удалился, вспрыгнув на высокую стену сада, оттуда уже сияя своим бантиком на шее. Уж как пить дать знает все ходы и выходы в обитель. Сионскому рыжему котику совсем мало от нас перепало. Но он, радуясь, видно, тому, что не гонят, умиротворённо сидел на скамеечке и благосклонно взирал на большую толпу людей, которая и после молитвы всё стояла и стояла и никак не могла покинуть этот дворик, где впервые прозвучали из уст Христа каждый день теперь звучащие в мире слова о теле, ломимом за нас, и о крови Нового Завета, за нас проливаемой…

…То было вчера. А сегодня остаются последние часы пребывания на Святой земле, и мы снова здесь. Сколько гор нам встретилось на пути от Саяна до Синая и Сиона! И вот, преодолев это пространство, мы стоим на последней в нашем путешествии горе. С детства не раз читала в книгах о русском гимне «Коль славен наш Господь в Сионе». Не знала я, что окажусь на этой горе, но несколько лет назад отыскала слова гимна:

Коль славен наш Господь в Сионе,
Не может изъяснить язык.
Велик Он в Небесах на троне,
В былинках на земле велик…

И правда, здесь, на Сионе, ощущаешь как живое дыхание огромного звёздного неба и самой маленькой былинки. Поднимаемся вверх по знакомой лестнице. Сионская горница открыта! И пуста. Довольно высокие своды. Не горница, а пустующий храм. Несомненно, за эти две тысячи лет, когда в Иерусалиме царили то римляне, то византийцы, то египтяне, то арабы, то англичане, она много перестраивалась и перекраивалась, но по-прежнему светит всему миру. Пока мы дышим древними стенами, заходит со своим падре огромная жизнерадостная толпа, с виду—латиноамериканцы. Они выстраиваются у окошка византийского кроя и начинают молиться, перемежая молитвы и чтение очень красивыми песнопениями, напоминающими народные испанские песни. А мы усаживаемся наверху небольшой лестничной площадки, чтобы послушать их.

Смотрю—ко мне пробирается худенькая рыженькая кошечка. Клан иерусалимских рыжих кошек точно облюбовал нас. Уж не та ли, которую так жестоко гнали из этих мест в прошлый раз и на которую я с такою жалостью взирала? Ей-то ничего не надо, кроме ласкового прикосновения. Почувствовав мою руку, кошечка замурлыкала, словно принялась подпевать, потом улеглась на мою сумку с надписью «Ierusalem», так ей, видно, было теплее, не привыкла к холоду, который не покидал город, и замурлыкала ещё громче. Но, увы, нам пришлось скоро расстаться. Послушав жизнерадостных южноамериканцев, мы направились к росписи Тайной вечери, чтобы под нею служить свою службу.

И торжественно зазвучало в Сионской горнице Евангелие уже на славянском церковном языке. Наши певчие трогательно и нежно стали выводить: «Господи, помилуй»,—когда на том крыле горницы молитвы уже затихли. Заслышав нас, падре и его подопечные заоглядывались приветливо и доброжелательно. Как потом удалось выяснить в мимолётном разговоре, прибегая к разным языкам мира, с нашей тихой и чистой молитвой мы попали в самую точку. И так это получилось естественно и прекрасно. Как-то и не вспомнилось, что Иуда здесь метался, спешил, бежал с вечери вон к первосвященникам, чтобы подороже запродать Христа. Первый христопродавец мелькнул на Сионе безотрадной тенью и исчез.

Пред тем как уйти, американцы остановились на какое-то мгновение, батюшки обменялись рукопожатиями. «Какая страна? Россия?»—полуутвердительно спросила симпатичная белозубая женщина на английском. Мы закивали головами: «А вы откуда?»—«Никарагуа!»,—ещё ярче улыбнувшись, сказала она в ответ. Так встретились на горе Сион и на краткий миг объединились христиане Восточной Сибири и Центральной Америки. А кто нас объединял на этой дороге от Саян до Синая и Сиона с людьми с разных континентов? Тот, Кто велел накрыть пасхальный стол в Сионской горнице города Иерусалима для двенадцати апостолов и христиан всего мира.

Так получилось, что в последний вечер на Святой земле праздник нам устроила та самая неугомонная Валентина из Абакана, чей чемодан побывал в Париже. После того как она прошла ещё раз по Крестному пути, ей стало плохо, и мы отправили её в нашу гостиницу «Меридиан» на такси при живейшем участии случайной прохожей—жительницы Иерусалима, которая очень даже хорошо говорила по-русски. Русский язык в городе с корнем «рус» весьма распространён.

Так вот, абаканская наша паломница пришла в себя, достала из своего «парижского» чемодана замечательный наряд цвета коралла. И, совладав со слабостью (всё-таки русские женщины—самые мужественные в мире!), за прощальным ужином вдруг объявляет всем, что у неё сегодня самый главный праздник в жизни—день святого крещения. И вино, купленное ею в Кане Галилейской, она дарует всем нам! Официанты в чёрном, что весьма непривычно для нашего глаза, отыскивают для нас глубокую чашу-пиалу, мы наполняем её доверху канским вином. И пошла она по кругу, как наша русская братина. Началась агапа—трапеза любви, столь любимая нашим батюшкой, отцом Геннадием, за её древнее первохристианское происхождение.

Вино Каны Галилейской не сравнимо по вкусу, пожалуй, ни с каким вином. С ним можно сравнить по неизречимой сладости разве что вино из обители Герасима Иорданского в махоньких бутылочках, которое сами насельники и делают. В Кану Галилейскую мы попали в ночи. Ночь была волшебна и загадочна. Может, потому, что мы так и не увидели города, лежащего в темноте. Взобравшись на очередную довольно крутую гору, прочли Евангелие прямо у закрытых дверей храма и дружно ввалились в сияющий огнями и так хорошо знакомый паломникам всего мира, побывавшим на Святой земле, магазин «У Георгия», хозяин которого дорожит качеством своей продукции. По крайней мере, так нам сказал израильский гид.

Это красивый магазин, обход которого начался с дегустации вин самых разных сортов и зрелости и с лицезрения невероятно радостных, ярких, оригинальных, вырезанных по дереву и поверху расписных икон греческих мастеров.

На одной из них в виде яркого древа были изображены Христос и двенадцать апостолов. Среди них и Симон Кананит, что был женихом на той знаменитой свадьбе в Кане Галилейской, где Господь по просьбе Матери превратил простую воду в невероятно вкусное вино. Общеизвестно, что жених последовал за Христом. И меня как-то чисто по-женски, наверное, беспокоила судьба невесты. Жених поступил, конечно, по-евангельски: всё оставил ради Христа и по ревности служения получил даже потом прозвище Зилот, что и значит «ревностный». И всё-таки у Господа всегда всё устроено так разумно и спасительно не для одного человека, а для всех.

Что же сталось с невестой, когда Симон ушёл? И именно в Кане Галилейской я услышала от отца Геннадия вполне утешительный для меня ответ. Возможно, что она тоже пошла за Христом, ибо были женщины, которые следовали за Ним, за Учителем, те самые мироносицы, которые шли за Ним до конца, до самой Голгофы. И даже в Вечный город Рим пришла по Аппиевой дороге мироносица Мария Магдалина, чтобы сказать самому императору Тиберию: «Христос воскрес!» Кто знает, может, спутницей её была Симонова невеста?

Кана Галилейская особенно мне дорога потому, что я была у Чёрного моря, на абхазской земле, там, где провёл последние годы жизни апостол Симон, была в его пещере, в которой он жил отшельником. Была в храме, наречённом во имя Симона Кананита, который, по преданию, стоит на его мощах. Симона распяли за проповедь Евангелия местные жители. Пройдёт время, и они примут православную веру, и будет создано великое Абхазское царство с ожерельем православных храмов на морском берегу, и построят они дивный город Анакопею с величественной цитаделью Божией Матери на самой высокой вершине. И будет это царство прекрасно, пока не сомнут его и не опустошат воинственные турки, насильно обратившие местных жителей-абхазов в мусульманство.

Вернул в эти места православие после добровольного присоединения Абхазии к России русский царь Александр Второй, в первую очередь восстановивший руины, что стояли на святых мощах апостола и мученика Симона Кананита. А царь Александр Третий заложил на вершине горы Афон вместе с цесаревичем Николаем и всей семьёй камень в основание храма величественнейшего имперского монастыря во имя Симона Кананита. Так на стыке девятнадцатого и двадцатого веков на издревле православной абхазской земле родился современнейший по всем техническим и земледельческим достижениям русский монашеский город Новый Афон.

Но православие на этой земле вновь было смято, на сей раз опустошителями-большевиками для утверждения новейшей веры — атеизма. И монахи повторили мученический путь молитвенника и покровителя этих мест апостола Симона Кананита — отдали жизнь за Христа. Местные жители рассказывали, что, когда началась перестройка-перестрелка и некогда православная Грузия пошла войной на некогда православную Абхазию, сколько ни целились агрессоры, ни одна бомба не упала на Симонов монастырь, где разместился госпиталь для раненых. Именно здесь пролегла линия обороны. Как часто надо уметь держать оборону. Это я к тому, что в любые времена для того, чтобы быть христианином, надо иметь большое мужество.

Но вернёмся в тот последний вечер в Иерусалиме. Самое интересное, что своды ресторана «Меридиан» сделаны под старину и подобны сводам Вифлеемской пещеры и других пещер, связанных с Христовым именем. А потому рождалось физическое ощущение причастности к прошлому Святой земли, будто мы вернулись в апостольские времена. За трапезой, прежде чем пригубить чашу, которую я с трудом удерживала двумя руками, каждый должен был сказать речь не только о нашей виновнице торжества, но и о поездке от Саяна до Синая и Сиона. И было сказано нашими паломниками в тот вечер много замечательных слов. И эти мои записки — написаны тоже словно с братиною в руках.

На прощание хочу рассказать одну маленькую притчу, которая хоть немного объясняет, зачем люди ездят на Святую землю. У одного человека спросили: «Зачем ты уходишь молиться в пустыню? Неужели там лучше, чем дома?» — «Нет, не лучше», — ответил человек. «Там что, другая молитва?» — допытывались у него. «Нет, там молитва такая же», — отвечал он. «Так почему ты тогда уходишь в эту пустыню?» — с изумлением спросили его. «Там я не такой, как дома», — ответил человек…

Пётр Коваленко

Последняя ягодка

● ● ●

Снова солнце скрылось за горою,
Молча тонут в речке облака.
И звенит натянутой струною
О подойник струйка молока.

На пруду пролётный гусь гогочет,
Ойкнула гармошка во садах…
И пульсирует дыханье ночи
Дрожью у влюблённых на губах.

Октябрь

Откипели страсти,
Как опавшие листья,
Никого не волнуют,
Никого не зовут.
Даже нежной рябины
Пунцовые кисти
Прежних чувств ни в тебе,
Ни во мне не зажгут.
Продувает октябрь
Поредевшие просеки,
Щедро стелет под ноги
Золотые ковры.
И признаться пора:
С уходящею осенью
Догорают и наши
С тобою костры.
Жизнь течёт, как река,
Ей назад нет возврата.
То бунтует по поймам,
То оденется льдом…
Так и все мы,
Подобно судьбе листопада,
В наречённое время
Из жизни уйдём.
А пока наливаются
Соком рябины,
Тянет ниточку
Бабьего лета паук.
Я моим поцелуем
Разглажу морщины
И согреюсь теплом
Твоих ласковых рук.

● ● ●

И снова май.
В серебряных накрапах
Блестят берёзы, медная стерня…
Из края в край —
Земной особый запах
Бензина и нагретого зерна…
Такие дни считают по минутам,
У них размах орлиный и полёт…
И кажется: баранку солнце крутит,
И что ни ветка — солнышко цветёт.
В полях, в садах и взрослые, и дети,
У всех сегодня праздник — сев идёт.
И незаметно в жизнь к нам входит лето,
Как в лето осень страдная войдёт.

Лена

Есть станция Лена…
Не где-то,
А в нашем сибирском краю.
В сугробы, как в доху, одета.
Я здесь на платформе стою.
Тайга подступила к окошкам —
Рогами бодает стекло.
Засыпаны снегом дорожки —
Всю ночь тут, как видно, мело.
А рядом — лучистые рельсы,
Седой неуёмный вокзал.
Проездом из дальнего рейса
Сюда я случайно попал.
Да, спутала, видно, дорожки
Метели седая возня.
Тайга подступает к окошкам,
Тайга окружает меня.
Звонок — я бегу по ступенькам.
Качается в дымке вокзал.
Наверно, вот так Евтушенко
Сюда из Москвы приезжал.
А утром на станцию Лена
Летит телеграмма моя:
«Проехал. Вернусь непременно
В таёжные эти края».

На вечерней тропе

Я вышел на тропинку поздно вечером.
Знать, заплутал, гоняясь за лисой.
Сугробы, как церковные подсвечники,
Курились, подожжённые пургой.
Куда идти? Где есть жильё поближе?
Откройся мне, тропинка, не мани,
Пусть не мои ты целовала лыжи
И губы целовала не мои.
Но где-то есть в тайге мои дорожки.
И пусть не я, а кто-нибудь другой,
Метелицей застигнутый прохожий,
Свернёт на огонёк вечерний мой.
Там есть запас и топлива, и спичек,
Табак, и снедь, и скромная постель.
И тропки наши, как на перекличке,
Аукнутся в стозвонную метель.
Дойду и я—я в это твёрдо верю—
Тропинкою до чьих-нибудь ворот.
Доверчиво мне распахнутся двери,
И, может, кто-то сердце распахнёт.

● ● ●

На зорьке по травушкам-росам,
Промокший, хоть выжми, насквозь,
Дотопал к родному покосу,
Озябший, счастливый до слёз.

Поправил отцовскую косу.
Раздвинулись плечи: «А ну!»
И с песней пошёл по прокосу
Навстречу глазастому дню.

● ● ●

На перелёт, мой друг,
На перелёт!
Пусть снова сердце
Радостно забьётся,
Когда над плёсом
Шилохвост взовьётся
И королевским
В лодку упадёт.
И эхо медным шаром
Вдоль болот
Покатится,
Как резвый гром, играя,
И новая вспорхнёт
Над поймой стая,
И распахнёт рассветный небосвод.
И солнце,
Раздвигая камыши,
Поднимет гордо
Золотые вёсла.
Не опоздай на зорьку,
Поспеши!
Жизнь коротка,
И поздно будет после.

Где ты?

Где ты, радость моя синеглазая,
Белокрылая чайка моя?
Затерялась средь плёсов Хакасии,
В необъятных полях ковыля?
Или вьюги холодного Севера
Укачали тебя, как дитя?
Увлеклась и другому поверила—
И забыла совсем про меня.
Лезут звёзды в палатку лохматые,
Как замёрзшей дворняжки щенки.
В Эвенкии, тайгою богатой,
Сны твои, как снега, глубоки.
Может быть, шелест вьюги за пологом
Всколыхнёт твою душу до дна…
И поплачешь, и вспомнишь, как дорого
За ошибки мы платим сполна.
А года всё проносятся мимо,
Не унять их упрямую прыть.
Как отрадно быть в жизни любимым
И как больно отвергнутым быть!

Крутоярские зори

Ветер высек искры из сугробов,
Заклубился белый-белый дым.
Месяц—жеребёнок крутолобый—
Поскакал по крышам голубым.
Загудели звонкие антенны,
Загребая пальцами эфир.
И в обнимку с Шукшиным Есенин
Входит в наш разноголосый мир.
Мир дерзаний, диспутов и танцев…
Всё так близко.
Всё так вдалеке…
А у клуба пареньки-«афганцы»
Под баян поют о Ермаке.

Страда

И день, и ночь
Гудят, гудят моторы,
Не спят дороги,
И не спят поля.
И, у штурвалов примостившись, зори
Торопят ночи в заросль ковыля.
Здесь тыла нет—
Кругом передовая,
Мы все—солдаты матушки-страды.
И ты не спишь,
И я недосыпаю.
Ночей бессонных много впереди!
Но будет день,
Как яркая страница.
Мы на меже,
Где солнце через край…
Отпразднуем отжинки по обычаю,
Разрезав первый пышный каравай.

* * *

Над Причулымьем—птичий пересвист,
Пронизан лес зелёною порошей.
И каждая травинка, каждый лист
Поют друг другу, хлопая в ладоши.

Курчавятся зелёные луга,
Недалеко уже до сенокоса.
И по лугам зелёная река
В зелёный край
Зелёный чёлн уносит.

Проворный шмель на проводах весны
За весь оркестр усердно, как смычками,
Звенит весь день на струнах тишины
Зелёными мохнатыми усами.

И тень его на розовом цветке
Рассыпала зелёные горошки.
И разбежались в лето налегке
Во все края зелёные дорожки.

* * *

Всю ночь валила лёгкая пороша,
Дымилась белым паром поутру.
Чуть свет встаю я, сердце растревожив,
Двустволку неизменную беру…
Смолой и снегом
Пахнет синий воздух,
Мороз, крепчая, колет сухостой…
Рассвет к ногам в сугроб бросает звёзды
Уверенно размашистой рукой.

* * *

Всё тише, тише…
Замирает эхо
Вечернего дуплета в тростнике.
И, будто ночи
Расставляя вехи,
Плывёт рыбак
На утлом челноке.
Куда его
В такую темень гонит?
Ведь рыбарю и ночью не до сна.
А в тёмных волнах тонет, и не тонет,
И бьётся в сетке рыбицей луна.

Последняя ягодка

Последнюю ягодку в позднем саду
Срываю озябшей рукою.
Не знаю, что будет в грядущем году,
С какой повстречаюсь судьбою.
Приду ли к тебе я знакомой тропой,
Росистой и пахнущей мёдом?
А может, не я—уже кто-то другой
Тебя осчастливит приходом?
И спелые ягоды брызнут в ладонь
Июльским живительным соком…
А будет ли счастлив
И вспомнит ли он
Ушедших из жизни до срока?
Последнюю ягодку в позднем саду
Сорвал я озябшей рукою…
Прости,
Если больше к тебе не приду.
Прощай!
Я был счастлив с тобою.

Майский гром

Люблю грозу в начале мая…
Ф. Тютчев

И грянул гром…
Прямой наводкой
Со всех позиций и стволов.
И хлынул дождь.
А где же лодка?
Ни пристани,
Ни берегов…
Плыву по руслам переулков
Без паруса и без весла.
А гром раскатисто и гулко
Танцует польку у села.
Бросает пригоршнями стрелы,
Ломает копья на лету.
А ребятишки—
Ах, пострелы!—
Арканят змеем высоту.
И ливня синие волокна
Вбивают в землю босиком…
Они, до ниточки промокнув,
Завяжут молнию узлом.

Олег Нехаев

Из одного корня

Красноярск. Больница

Он лежал в одноместной палате. Мне нужно было всего-навсего передать ему письмо из Енисейска, откуда я возвращался из командировки. На конверте значилось: «Писателю Астафьеву».

В папке у меня лежало несколько фотографий огнебородых старообрядцев с Бирюсы. Увидев их, Виктор Петрович оживился. Стал расспрашивать. Так сам собой завязался разговор со знаменитым писателем.

Для него я был совершенно чужим человеком. Но наше общение длилось уже несколько часов и не прекращалось. Он смотрел на мои снимки кедрового стланика, утренней реки в белёсом тумане… Смотрел и рассказывал о тайге так, будто знал в ней каждую травинку, каждое дерево, зверя и птицу. Пояснял, что считает ущербными тех, чьи познания о природе ограничиваются лишь «травой и лесом». По его мнению, человек обязан смотреть на мир шире. Быть самодостаточным. Всегда уметь обеспечивать себя необходимым, чтобы оставаться независимым. Каждый должен собой представлять маленькое государство. И тут он вновь вспомнил старообрядцев, которые воспринимали жизнь как особый дар свыше.

— А если не дорожишь этим даром,—сказал Астафьев,—то такая неблагодарность, как мне думается, является самым тяжким грехом перед Богом. Но сам я это понял не сразу. Один раз даже не выдержал и дал слабину… Вышло так, что на войне и той сумел выжить. Хотя дважды был контуженный и трижды раненный. И всё равно с собой справился. А после… Наступило такое время, что не мог прокормить свою семью и собрался застрелиться… Дочка маленькая у нас умерла. Я взял ружьё и… Было такое… Возникло ощущение полной безысходности… Нахлынуло на меня, что никуда я не гожусь, к чёртовой матери… Всё! Кончились тогда мои силы…

Астафьев замолчал. Внутри меня начала твориться какая-то сумятица. Напрочь обескуражило его страшное, неожиданное откровение. Когда он продолжил, я содрогнулся. Думал, что эта тягостная, давящая тишина уже никогда не закончится:

— Как-то я всё-таки взял и выкарабкался. И вот только тогда, когда смог… смог сам обеспечить своих близких, стал о себе говорить: «Я—мужик». Потому что настоящий сибиряк, когда требовалось, всегда становился под комель, под самую тяжёлую часть бревна. А баба—под вершину. А сейчас не так. Быстро начали стираться, становиться невыразительными черты лица нашей Сибири как нации. Исчезает её колоритный язык. Характер теряем.

Астафьев подсел к столу, на котором лежали горсткой кедровые орехи. Сгрёб их. Положил в кулёчек. И продолжил:

— Я ведь застал здесь ещё другое отношение к жизни. Бывал в таких деревнях, например, в Балахтинском районе, где обходились без замков на дверях. Трепетно оберегали родники. Луговину всегда в чистоте содержали. Не воровали… Знаю, что кое-где в нашей глухомани, особенно среди старообрядцев, ещё сохранилось такое. Там, слава Богу, законы не колебнулись и традиции остались. Вот с таких сибиряков, может, и начнётся нравственное возрождение России. Они многое сумели сохранить в себе истинного. То, что мы растеряли…

Пришла медсестра делать уколы. Я спохватился, чтобы уйти. Астафьев категорично замахал рукой:

— Подожди!

В палату вновь зашёл, когда медсестра закончила свои процедуры. Астафьев, увидев, что я включил диктофон, взволнованно приподнялся. Почувствовалось, что ему самому было очень важно о чём-то рассказать.

— Мне как-то не довелось говорить об этом раньше, но я ведь тоже из рода старообрядцев. Из тех, которые когда-то вольно жили на Русском Севере. Что там произошло тогда—неизвестно. Но больше века назад мой прадед пришёл оттуда в Сибирь вместе с бабкой. Почти пять тысяч вёрст пешком они прошагали в поисках лучшей доли. И чем-то им, видно, приглянулись эти места на Енисее. Так вот здесь и остались.

Мы ещё долго говорили с Астафьевым. Передо мной был человек, проживший невероятную жизнь. Сумевший осмыслить каждый свой шаг и поступок.

Вот так в тот день судьба одарила меня удивительным общением, к которому я мысленно возвращаюсь до сих пор.

Когда Астафьева не стало, его вдова Мария Семёновна нашла в столе законченную «Автобиографию». Мне было доверено право выбрать общероссийское издание для её публикации. Начал читать—и будто где-то рядом зазвучал голос Астафьева:

«По деревенскому преданию, мой прадед Яков Максимович Астафьев (Мазов) пришёл в Сибирь из Каргопольского уезда Архангельской губернии, со слепою бабушкой, как поводырь. Происходил он из старообрядческой семьи, не пил горькую, не курил, молился наособицу, был от рождения башковит и в преклонном возрасте тучен телом.

...Будучи ещё подростком, прадед мой подался в верховские енисейские сёла, где нанимался работником на водяные мельницы... На капиталы, нажитые трудом праведным, Яков Максимович построил мельницу на речке Бадалык за городом Красноярском...»

Затесь первая (затесями в Сибири называют таёжные зарубки на деревьях, чтобы отыскать обратный путь). Недели две назад известный журналист, с которым я давно знаком, опубликовал заметку о случайно найденной старинной иконе с изображением восьмиконечного креста. Его публичный вывод был поразительным: икона эта—не православная и принадлежала раньше каким-нибудь сектантам, скорее всего—староверам. Мои возражения он отверг напрочь, совершенно не поняв, что выставил напоказ не только своё незнание истории России, но и себя самого в обличье «Ивана, не помнящего родства».

Есть ещё и ерши...

Енисей—река могучая, величественная и уникальная. В одно и то же время в её верховьях можно увидеть верблюдов в пустынных местах, а в низовьях—белых медведей на льдинах. Есть и ещё одна удивительная особенность. На берегах этой реки и её притоков живут самые непримиримые старообрядцы-беспоповцы. Живут в глухомани. Подальше от соблазнов. Есть там и те, которые совсем не общаются с миром.

Старообрядцев в этом крае—тысячи. Но никто не знает, сколько их точно. И все они—русские люди. Но только другие русские.

Для них никогда не звонит колокол. У них нет церквей и священнослужителей. Их общение с Богом идёт напрямую, без посредников. Пойдя иным духовным путём после раскола, вызванного реформой в семнадцатом веке, беспоповцы не создали себе новых вождей. Власть им оказалась не нужной. В их посёлках нет ни участковых милиционеров, ни сельсоветов, но есть порядок, которому позавидуешь. Всем управляет община.

Из-за своей длительной обособленности они стали фактически особенным народом России. Не познавшим деления на «красных» и «белых», на коммунистов и беспартийных, на либералов и демократов, на...

Они—уникальный российский генофонд. У них во многом другая, чем у нас, система нравственных координат, потому что «не все на Руси караси, есть ещё и ерши». Знать бы только этим ершам, когда щука зубы меняет...

Затесь вторая. Академика Дмитрия Сергеевича Лихачёва многие называли и называют «совестью нации». Однажды, когда спросили о его родословной, он рассказал, что она связана со старообрядчеством, которое он считал «удивительным явлением русской жизни и русской культуры». А его приверженцев—«нравственно стойкими людьми».

В завещании Дмитрий Лихачёв попросил установить на его могиле восьмиконечный старообрядческий крест. Когда его не стало, так всё и сделали.

С Божьей печатью

Река Тасеева. Поселение Бурный

Откуда он взялся, я так и не понял. Зашли во двор—никого. И вдруг как из-под земли вырос: ни дать ни взять—вылитый старичок-лесовичок. Приземистый. На голове, словно шляпка подберёзовика, рыжеватый накомарник. Рубаха с прорехами. Смотрит—как на базаре покупает: с хитрецой и лукавинкой.

Я ему сразу за здравие, а он—спиной ко мне. Голову вниз опустил и из-за плеча словом ощетинился:

— Чё пожаловал-та?

Во мне чайничек обиды так сразу и вскипел. По двум рекам, через пороги, я добирался две недели на резиновой лодке до этого поселения. И теперь мне—от ворот поворот. Так это ещё не всё. За полчаса до этого, на берегу реки, разыскал меня его сын Димка и сходу стал зазывать:

— Тятя к себе приглашает. Небось, проголодались?

Я, как смог, начал отнекиваться. Мол, некогда, нужно ещё вон ту чудо-мельницу успеть посмотреть—и указал на деревянное колесо над бурной речкой. А он мне:

— Без хозяина туда нельзя.

— А кто же хозяин?

— Да тятя наш.

Вот так я попал к старообрядцу-мельнику, который, как и полагается, живёт на самом отшибе деревни.

Пробую со второго захода познакомиться со старичком-лесовичком. Молчит.

Жена его с порога на него буркнула, а мне:

— Лаптев его зовут, Леонид Кириллович.

Лаптев. Это о нём мне ещё за добрую сотню километров до его обители старообрядцы

рассказывали всякие истории. Будто расхаживает он по деревне в дерюге. С валенком на одной ноге, с сапогом—на другой и в шапке задом наперёд. Идёт—и встречных разговорами на душевную прочность проверяет. Совесть к обличению побуждает. Да ещё и мысли всякие крамольные без оглядки высказывает.

Кто-то о нём прямо так и сказал: «Блаженный—что с него возьмёшь?»

Юродивых на Руси церковь, как известно, причисляла к людям «сознательно отрешившимся от обычного употребления разума». Однако как бы к ним ни относились, но этих праведников в лохмотьях не трогали. Считали их помеченными Божьей печатью.

И были среди них как настоящие безумцы, так и те, кто только надевал подобающую личину, чтобы уберечься от дыбы и каторги. Храм Василия Блаженного как раз и донёс через века народную память об одном из таких юродивых.

— Вот если бы ты мне верёвку привёз,—подаёт голос Лаптев,—тогда дело бы было. А так—что́ с тобой о мельнице разговаривать?..

— ?!

— А ты не смотри на меня худо. Дурак я и есть дурак. Речку вот и ту в честь меня прозвали.

Насчёт названия—чистая правда. Дом Лаптева стоит на берегу Дураковки. Даже на некоторых картах это наименование прописано. Только уже знаю я, что своим крещением речка обязана близлежащему порогу с дурным нравом, а вовсе не мельнику…

— Ох, беда-то. Вишь, живём жалеючи,—начинает причитать Лаптев.—Даром что мельница есть. А квашню состряпать не из чего, чтоб хлеб испечь. Робить не могу, старый стал. Коня нет. Всё на корове приходится возить. И дрова, и сено, и назём. В избу зайди—нищета…

Я качаю головой.

— Эка, не верит. Ну говорю ж—дурак. И сынов-дураков народил.

Сбоку раздаётся защищающий шепоток жены:

— Такой дурак—на худой кобыле не объедешь.

Неожиданно замечаю, что позади меня на крылечке, как на галёрке, расположились все лаптевские домочадцы. А сам Лаптев, получается, перед нами как на паперти.

— Худо. Ох, худо! Непогода совсем одолела. Как думашь, вёдро скоро будет?—спрашивает Лаптев, показывая рукой на появляющиеся сине-чёрные тучи.

И в этом его движении, в повороте головы я, наконец, с облегчением нахожу отгадку мучавшему всё время меня вопросу: где мы с ним могли встречаться раньше?

На картине Сурикова «Боярыня Морозова» душевным всплеском истинной веры переполнены две фигуры. В центре—раскольница в розвальнях, а в правом углу—юродивый, сидящий на снегу, рядом с плошкой для медяков.

Как же похож Лаптев на этого блаженного, осеняющего двуперстием закованную в кандалы боярыню-старообрядку!

Примечательно, что знаменитый красноярец Суриков, скрупулёзно добиваясь документальной точности, писал своего героя с натуры, заставляя позировать его босоногим на обжигающем морозце. Не исключено, что в этом сходстве с живописным персонажем прослеживается одна и та же родовая ветвь Лаптевых. А вот насчёт портрета боярыни Морозовой известно точно, что для него позировала старообрядка из Рогожской слободы. Суриков увидел её страстную, непримиримую. Такую, как описывал боярыню сам знаменитый протопоп Аввакум: «Персты рук твоих тонкостны, очи твои молниеносны, и кидаешься ты на врагов аки лев».

…Неожиданно получаю от Лаптева приглашение заглянуть в избу. Посредине—огромная русская печь. По бокам—лежанки. В уголке—икона. Всё. Полнейший аскетизм. Больше взгляду остановиться не на чем.

Но эта жизнь при лучине, отрешённость от мира—сознательный выбор Лаптева. Он относится к числу самых набожных староверов, которые в уходе от соблазнов видят своё спасение.

Затесь третья. Ещё вчера ходили в крестный ход по солнцу, а сегодня потребовали двигаться против. Вчера крестились двумя перстами, а сегодня сказали, что нужно щепотью. Приказали менять и другие «ошибочные обряды», которые были незыблемыми веками. Вот из-за такой реформы, если объяснять просто, и произошёл чудовищный русский раскол в семнадцатом веке. Против выступили многие во главе с протопопом Аввакумом. А внедрителем нововведений стали царь и патриарх Никон. Последние захотели единообразия в обрядах с другими странами, чтобы стать для них Третьим Римом. «Обличителя неправд» Аввакума ссылали, мучали, унижали, били кнутом, а затем живым сожгли на костре вместе с ближайшими подвижниками. Над соратницей боярыней Морозовой и её приближёнными издевались, держали в темнице, а потом уморили голодом. Но непокорных оказалось слишком и слишком много. И по всей стране начались жесточайшие репрессии. Власть не считала число погибших.

Обгоревшие крылья

Пока топаем с Лаптевым на мельницу, спрашиваю о его отношении к тем редким единоверцам, которые не устояли и начали получать в миру пенсии.

— Не добре это. Грех. За таких поклон не ложат. Но кажен про себя живёт.

Спрашиваю не случайно. Жена его перед этим с сожалением шепнёт о постигшей на днях беде: «Сын-то Андрей пособие начал от власти брать».

Лаптев об этом молчит. Ну и я больное не трогаю. Тем более что он и так чем-то недоволен. Второй раз как будто про себя говорит, да не замечает, что вслух получается:

— Уйду я… О душе надо думать. Совсем страх потеряли. Для чего живут?

Лаптев идёт прихрамывая. Покалеченная рука подвисает, обнажая шрамы. Двадцать лет назад на берегу Дураковки изувечил его медведь. Позднее здесь же он поставит свою мельницу.

На угоре Лаптев показывает «чудную штуку» — каменный круг. Это — важнейшая деталь — жёрнов-бегунок, который, как говорится в Библии, никто не смеет взять, «ибо таковой берёт в залог душу». Он его «вручную выдалбливал две зимы из скальной глыбы».

Почти вся мельница построена из дерева. Плотины нет. Дураковка — речка быстрая, и силы течения хватает, чтобы крутить лопасти колеса. А когда молоть нечего — вся конструкция поднимается воротом над водой.

Великая простота заключена в этой мельнице. И чувствую, как Лаптев хочет выплеснуть свою гордость, похвалиться умением, да сдерживает себя. Смирéн должен быть старообрядец.

Поразительно, но делал он свою мельницу без всяких чертежей, по памяти.

— Видел я её в Дубчесе, в детстве, когда там старцы жили, — поясняет Лаптев и неожиданно начинает говорить резко и отрывисто, как топором рубит: — Ох, была там мельница! Красива. Шестистенна. Отец Симеон, мой дядя, делал. Мастер — не чета мне. А потом нечистики заявились. Нас в обход пустили. А сами позади с огнём. И давай всё жечь, рушить. Зарево стояло…

Лаптев уже не старичок-лесовичок. Бунтарь с поднятой головой.

— Зачем жечь? Зачем?! Красота така. Всё огнём погубили. И дома рублены, и постройки. И ветряну мельницу… Это подумать надо… Это ж трудов столько!

Лаптев задыхается от воспоминаний, как от горького дыма. Глаза начинают поблёскивать.

— Десятки людей без крова оставили. Нечистики. Без души. Ну скажи?! Вот курица бегат — нет у неё души. Корова — бездушна. А, человек? Это… Это ж — творенье Божье… А они разор устроили…

Он замолкает и долго-долго стоит неподвижно.

Мельничное колесо медленно вращает отбелённый солнцем вал, смазанный чёрным дёгтем.

То, о чём рассказал Лаптев, случилось в 1951 году на притоке Енисея — Дубчесе.

Прослышав о том, что в таёжной глухомани, за четыре сотни километров от ближайших селений, преспокойно живёт большая община староверов, туда из Красноярска направились особисты с вооружённым отрядом. Схваченных людей посадили на сделанные плоты и под конвоем вывезли в сталинскую действительность.

Для детей и женщин этот путь закончился выселками. Для мужчин — лагерями, из которых мало кто вернулся обратно. Всего тогда пострадало около сотни староверов.

Таёжных отшельников, не общавшихся с миром, обвинили в абсурдном: в антисоветской агитации и активной подрывной деятельности. Главой «контрреволюционной организации» был назван отец Симеон — Сафон Яковлевич Лаптев. Среди старообрядцев он славился своей праведностью и душевной чистотой. А ещё, как никто другой, умел делать мельницы. Он умер в лагере, отказавшись принимать пищу. В деле сохранился снимок, где он сидит во дворе красноярской тюрьмы, с перевязанной головой, вместе с единоверцем.

Лёньке Лаптеву в 1951 году было десять лет. Зарево над рекой и обгорающие крылья ветряка он видел своими глазами.

Расставаясь со мной, скажет:

— Вы там в миру телявизоры всё слушаете. Так и не заметите, как ляктронна душа вместо настоящей станет… Но это ваше дело. А вот верёвку ты, Христа ради, пришли с оказией. Сети совсем худые стали…

Прощались мы с ним на пригорке. Таёжная даль открылась — завораживающая. С левого берега — взбаламошенная Дураковка. С противоположного — тихая речка Родина. Посредине — стремительный, труднопроходимый порог Бурный. А вокруг — неоглядная тайга.

Через два года я привезу ему верёвку. Но его не застану. Леонид Лаптев бросит всё и уйдёт в скит на Дубчесе. Сколько раз люди ворчали на него, пока он был в Бурном! А как не стало, будто лишились чего-то важного и праведного.

Затесь четвёртая. Однажды мне повезло, и православный подвижник, писатель Валентин Распутин, вопреки своим правилам, взял меня в поездку по его родным сибирским местам. Мы стояли на берегу Ангары возле Усть-Уды и вдруг вспомнили, что когда-то именно через эти места везли в ссылку протопопа Аввакума. Распутин задумался, а потом сказал: «Если бы колесо истории повернулось к тому времени, я бы наверняка оказался среди раскольников, — и пояснил: — Люди эти были настоящей крепости. А мы сейчас стали слабаками и живём будто в торгашеской лавке».

Грехам не потворствуют

Со старообрядцами-беспоповцами судьба меня сводила много раз. В Туве, в Эвенкии, в Енисейском, Мотыгинском, Богучанском, Абанском, Ирбейском, Тасеевском и Кежемском районах

огромного Красноярского края. Везде они — особенные и разные.

Существующее представление об их нелюдимости, о том, что чужаку даже воды напиться не дадут, на практике проявляется очень редко. Обычно они приветливы и готовы помочь чем могут. Правда, при одном условии — если вы будете открыты к ним душой. Но в любом случае на своей территории они не терпят пьяных, курящих, матерщинников и воров. Грехам не потворствуют. И человеку из другой жизни с ними зачастую приходиться трудно. Цивилизованные привычки дают о себе знать.

В Шивере меня пригласили на ночлег и предложили оставить лодку с поклажей на берегу. Мне не хотелось обидеть гостеприимного старообрядца, но всю ночь я спал как перепуганный заяц. Отплывал я довольный и удивлённый сохранностью всего того, что оставил без присмотра.

Несколько раз я видел, как те, с кем общался накануне, вдруг преображались. Женщины и девушки представали в красивых сарафанах, мужчины — в цветастых косоворотках, подпоясанных пояском. Думал, что в честь праздника. Оказалось, в честь небритого журналиста-гостя.

У них до сих пор сохраняется возвышенное отношение к образованности. Вернее, к знаниям. Причём это их давняя традиция. Ещё в те времена, когда Россия была почти поголовно неграмотной, среди старообрядцев считалось нормой умение читать и считать. Сегодня там, где у них нет школ, некоторые отправляют детей учиться в интернаты. Отправляют скрепя сердце. Потому что им предстоит впервые соприкоснуться с телевизорами и компьютерами.

Ещё одна особенность. У них трепетное отношение к человеку, к памяти предков. Родословную знают по седьмое колено. К детям обращаются по именам ласково и с подчёркнутым достоинством. Никаких пренебрежительных «санек», «ванек», «танек», «ирок» здесь вы не услышите.

Отличительная особенность мужчин-старообрядцев — бороды. Сбрить допускается единственный раз в жизни. Во время службы в армии или на войне. Доблесть защищать Родину — выше греха «бритой рожи». Но в последние годы тех, у кого нет среднего образования, служить не берут. В их поселениях проблема со школами-десятилетками. И это не их вина.

Чем питаются? Что выращивают в своём подворье, на огороде, то и едят. Прибавкой является добыча с рыбалки и охоты. Но жировать им не приходится. Много строгих постов, когда нельзя ничего есть молочного и мясного. Потому всегда заготавливают много ягод, грибов и различных солений. Чай и кофе не пьют. В ходу травяные настои и квас. Привозные магазинные продукты употребляют, но очень и очень выборочно. Не прикасаются к тем, где упаковка с особой маркировкой, в которой видят «число зверя». Водка под запретом. Но трезвенниками они не являются. Хмельная медовуха есть почти в каждом доме.

Монахи не случайно ходят в чёрных одеждах. Потому что, когда не молятся, они с утра до ночи — чернорабочие. Старообрядцы в этом очень похожи на них. Трудяги невероятные. Техники не чураются. Умельцев и изобретателей — пруд пруди в каждом селении. В Прилуках, например, сделан желобной родниковый водопровод. В Бурном, где крутой берег, воду из реки поднимают по тросу. В нескольких поселениях мастера делают большие катера, на которых плавают по Ангаре и Енисею.

С землёй обращаются так, как будто знают какой-то секрет. В северном Приангарье выращивают большие сладкие арбузы и дыни. В доме у всех чисто и опрятно. Почти каждая женщина — прекрасная рукодельница и стряпуха. Если одарят вас гостеприимством — будет сытно, вкусно и радостно.

...Мы часто говорим о наших чуть ли не национальных недостатках: что бываем ленивы, много выпиваем и сквернословим. Но почему-то старообрядцам такие пороки не свойственны. И при этом мы с ними одного корня.

Затесь пятая. В 1863 году в Польше начался мятеж против России. Под знамёна бунтарей встали не только поляки, но и итальянцы, венгры, французы. Пожар восстания разгорелся и перекинулся на белорусские земли, где было много поселений старообрядцев. Поляки задействовали призыв «За нашу и вашу свободу!», чтобы привлечь на свою сторону «российских рабов». Но старообрядцы без раздумий начали сражаться с «шайкой бандитов». Отечество не предали. Известный писатель и чиновник по особым поручениям Мельников-Печерский, до этого ярый «искоренитель раскольников», решительно потребовал от правительства предоставления им гражданских прав. Но его требования быстро забыли. А старообрядцы так и оставались униженными и бесправными.

...А сыны мои испужались смерти

Река Чуна. Поселение Прилуки

Может, помните рыжебородого старовера с картины «Утро стрелецкой казни»? Того самого, который пронзает взглядом «нововерца» Петра? Так вот, Карп Иванович Кочев — из этого рода-племени:
— Приехали как-то к нам чалдоны. Неверующие, значит, по-нашему, — рассказывает он мне. — И спрашивают: что вы все бороды красным красите? А мы отродясь такие, говорю, всегда — огнебородые.

Большое семейство Кочевых живёт в Прилуках. Маленькую деревушку специально спрятали от мира за бурными чунскими стремнинами. Наземных дорог из мира сюда нет. Кстати, в мой приезд

на их календаре шёл 7514 год от сотворения мира. Старое летоисчисление у них не меняется, а вот сама жизнь — с переменами. Народу в Прилуках стало за последние годы вполовину меньше.

Вначале такую текучесть мне пытались объяснить таёжным пожаром, который оставил их без зверя и пушнины, грибов и ягод. Но потом Карп Иванович сообщил о настоящем бедствии:
— У меня у самого два сына в мир ушли. Один в Киеве обитает. Второй — в Канске.
— Веру они сохранили?
— Какая там вера! Где была она — теперь дыра на том месте…
— А кто ж виноват?
— Кто?! Отец за сына отвечает. Я виноват! На работу всё время цыганским кнутом мы их гнали. А когда здесь лес сплавляли… Они и пошли матросами на катера. А потом… уплыли. Оба. И от нас. И от веры нашей.

Историки раскола почти всегда замалчивают этот факт. Но два сына протопопа Аввакума предали отца в самом начале и дали подписку «не быть раскольниками». Он сам об этом написал: «Ивана и Прокопья велено ж повесить, да оне бедные… испужався смерти, повинились».

Спрашиваю Карпа Кочева:
— А в городе можно остаться старообрядцем?
— В Писании говорится, что и посреди града будут спасаемы… Молись… Постись… — он горестно вздохнул. А затем со всего маха рубанул рукой воздух. — Только всё равно можешь пропасть! Я-то сам как: глаза не успел открыть, а уже на соседа косо смотрю… С греха утро начинаю… А вот не осуди никого за всю свою жизнь — и спасёшься!

Проза Достоевского здесь считывается с реальности, как с подстрочника. Имена у героев другие, а психологизм отношений тот же. Помните его знаменитое: «Тут дьявол с Богом борется, а поле битвы — сердца людей».

Раньше — старостой в Прилуках был Карп Иванович, «а теперь сын Афонька». Тоже «избранный обществом». Только принципиальная разница в том, что для Афанасия это ещё и светская должность, с небольшой зарплатой от районной администрации. А ведь совсем недавно старообрядцы избегали власти, как чёрт ладана.

За время вековых гонений они лучше всего приготовились к смерти за свои убеждения, чем к свободе. И это не просто слова. Были зафиксированы около сорока тысяч самосожжений в церквях, когда их силой пытались принудить стать «никонианами». Но к новым реалиям они оказались совершенно не готовы. Соблазны рынка обернулись дьявольским наваждением. И если даже для крепких, закалённых вековыми гонениями старообрядцев новый российский капитализм стал нравственным бедствием, то что же говорить о нас, мирянах?

Взаимовыгодный всплеск общения с «порочным миром» начался с малого. А сегодня старообрядцы торгуют многим: берестяными туесками, кадушками, срубами для дач, картошкой, мёдом, рыбой, мясом… Заготавливают и сплавляют лес. И всё это делают качественно. Другая Россия здесь сохраняется до сих пор. И они по-прежнему считают, что духовное превыше материального. Но молодое поколение всё больше и больше поглядывает в сторону компьютерных технологий и новой социальности. Старики не приемлют нашествие «западного», но что они могут сделать? Разве что вспомнить давние слова протопопа Аввакума: «Ох, бедная Русь, чего-то тебе захотелось латинских обычаев и немецких поступков?..»

Затесь шестая. Двадцатый век начался с потрясений. Требование перемен витало в воздухе. Единственными охранителями устоев, на которых с древних времён держалась Русь, оказались старообрядцы. Когда царь Николай Второй окончательно понял, что империя рушится, а «народ отпал от веры», решился на отчаянный шаг и восстановил их в правах. Это освобождение длилось историческое мгновенье. До начала Октябрьской революции. Но именно в этот период и произошёл экономический взлёт Российской империи. И собственниками подавляющего большинства успешных промышленных предприятий страны являлись в то время старообрядцы.

Не тяжельше пёрышка

Речка Хаинда. Приангарье

На снимке — мой добродушный знакомый, старообрядец-отшельник Пётр Харин. Его предки ушли из мира. А он ещё дальше. От своих. От единоверцев. Когда будет отплывать на рыбалку, спрошу о его жизни в одиночестве. Он глубоко вздохнёт и скажет:
— Двадцать лет уже сам себя здесь мыслями мучаю…

Лодку-обласок он сделал сам. Из одного бревна осины, диаметром сантиметров сорок. Технология изготовления удивительная.

Вначале через тонкий продолговатый проём выдалбливаются внутренности бревна.
— Работать приходится очень осторожно, — поясняет Харин. — Каждое движение нужно выверять. Дерево — не глина. Лишку топором дашь — назад не прилепишь. А бортики и днище должны быть тоненькие, чтобы обласок не тяжельше пёрышка получился.

А потом с помощью огня и распорок дерево раскрывается, как гороховый стручок:
— Осина — податливая, — говорит, улыбаясь, Харин. — При желании из цельной лесины можно не только лодку, а и плаху в метр шириной вытянуть.

Прост с виду этот обласок, да совершенен. Всё лишнее убрано мастерством и опытом поколений. Остались лишь чистейшая красота да здоровый рационализм. Когда-то окружение Петра Первого долго думало, чем бы поразить голландцев, чтобы те поняли, что́ такое настоящее русское мастерство. Иностранцы вовсю до этого хвастались своими деревянными башмаками. А царь сразил их наповал, подарив им наш обласок.

Философия Харина проста: жить по совести, в ладу с самим собой. И люди тянутся к нему. Гости здесь редкие. Зимой и в половодье месяцами может никто не заглядывать. Но кто раз у него побывал — мимо уже не проплывает. Потому что редкая добросердечность — сродни святости. А простота его поступков — убедительнее нравоучений. И, находясь с ним рядом, подспудно ловишь себя на мысли: а ты бы так смог? И чаще всего отвечаешь: нет.

Мы вместе с ним увидели на реке разноцветный балаган. Туристы сплавлялись на разукрашенном катамаране. К берегу они пристали в километре от избушки Харина. Поплыл Пётр Абрамович рыбу половить и заглянул к путешественникам. А у тех — уха с одной вермишелью. Харин отдал им только что выловленных ельчиков и окуньков. Да ещё и богатое место указал.

— Вы, — говорит, — вон по той речушке пройдитесь и в бочажках харюзков на обед поудите. Много их там стоит. Да жирные такие…

Узнал я о такой благотворительности Харина только тогда, когда увидел этих самых рыбаков с двумя вёдрами крупной рыбы. Проходя мимо меня, они не скрывали своего восторга:

— Молодец дед! Такое место нам указал! Завтра утром последних выловим и отчалим.

Улучив момент, высказываю Харину своё недоумение:

— Разве так можно, Пётр Абрамович?! Вы же фактически припасы свои раздаёте. Потом из-за этой доброты зимой голодным сидеть будете.

— Бывает, что и сижу, — отвечает. — Но только как душа подскажет, так и поступаю. Вот в позапрошлом году на этой самой Хаинде, по осени, я много харюзов наловил. Целую бочку засолил. Тоже думал, что зимой с рыбой буду. А медведь выждал момент, пришёл незваным гостем и всё съел. Добро нужно делать, когда есть возможность. От жадности богатым не станешь.

В другой раз в осеннюю холодину к нему рыбак Фёдор заехал со своей бедой. Весь мокрый, перепуганный.

— Выручай, — говорит. — На камень налетел. Всё, что было в лодке, — в воду ухнуло.

Пётр Абрамович пошёл в дом и стал собирать котомку. Снабдил пострадавшего одеждой, продуктами, да ещё и снасти дал, чтобы тот с рыбой домой вернулся.

— Скажи, чем я тебя могу отблагодарить? — запричитал несказанно довольный Фёдор. — Что тебе надо привезти? Заказывай!

Пётр Абрамович рассмеялся и на полном серьёзе ответил:

— Есть одно такое дело. Можешь помочь. Вот когда меня в аду будут жарить… Так ты не забудь в кострище дровишки подбрасывать. Хорошо?! Поможешь мне сполна за мои грехи ответить. Вот этим и отблагодаришь.

С Фёдором я встретился возле Осинового порога. О Харине он отзывался как о блаженном. Но при этом не скрывал, что сам на хлеб зарабатывал браконьерством.

Разговор о человечности мы продолжим с Хариным следующим днём. Задолго до рассвета. Солнце ещё только собиралось показаться из-за горы, а в печурке уже трещали дрова, и огненные отсветы прыгали по янтарным брёвнам. Тепло не спеша выпроваживало утреннюю зябкость. Пётр Абрамович готовил тесто на рыбный пирог.

— За квашнёй надо ухаживать, как за ребёнком. Недоглядишь — на сторону уйдёт или не поднимется. А в итоге — без хлеба останешься.

Поняв, что в этой прелюдии — отзвук вчерашнего разговора, спрашиваю:

— Добро без отклика — это зло?

— Нужно уметь прощать людей, — отвечает он мне, прекращая на время все дела. — Без любви и дары, и помощь — благодатью не станут. Ни для других, ни для себя самого. Вот и у меня не всегда всё получается…

Перед моим отъездом Харин вдруг сообщил неожиданное:

— Я в монастырь старообрядцев плавал, на Енисей. Присматривал на будущее, куда можно мою немощную старость пристроить… Но не приглянулась мне северная обитель… Вроде всё там есть. И река… И тайга… А душа не приняла. Свободы — нет… Видно, возле Хаинды суждено мне свой век доживать.

— Но здесь, случись что, даже воды подать будет некому!

— А ты на мои мысли внимания не обращай, — успокоил он меня. — Я с ними здесь всё время, как медведь в берлоге: с одного бока на другой переворачиваюсь… А вообще-то я — не угрюмый. Просто о душе приходится всё время думать. О самом ценном и дорогом, что есть у человека. Но это — тайное… Грехов много. Молюсь редко… Но, может, Господь и приведёт к чему-то… Веришь, я раньше был очень хорошим охотником. А сейчас ружьё в руки не беру. Зачем кого-то убивать, когда радость в жизни приносит только живое?!

Затесь седьмая. Совсем недавно в архиве Виктора Астафьева обнаружил его записи о войне. О том, как солдаты преодолевали страх смерти:

«Нельзя сказать, что все на передовой молились. Во-первых, это трудно увидеть. Многие вроде меня стеснялись. Как стеснялись признаться в любви и сказать кому-то нежные слова. Так мы были воспитаны... Только староверы никого не боялись. На них рукой сразу махнули: работяги, на себе тащат всё—пусть молятся».

Оскорблённые насилием...

Факт, почти не известный, но в советское время, в 1971 году, Русская православная церковь на Поместном соборе отменила клятвы «...на старые обряды и на придерживающихся их». Русские древние рукописи признали праведными. Реформа оказалась бессмысленной. Гонения—напрасными. Собор судьбоносно заявил *«считать эти клятвы яко не бывшие»*.

Значит, восстановлена историческая справедливость?

Теперь уже непредосудительно креститься и «по-новому», и «по-старому». Как и ходить в крестный ход: по солнцу и против него. Можно и так, и эдак. Но разговариваю с двумя иерархами РПЦ, говорят: оправдания старообрядцам нет, всё равно раскольники они. Потому что «не проявили в своё время необходимой кротости». И формально это верно. А если подходить с нравственной позиции? Ведь в старообрядцах проявился наш национальный характер: стойкость и праведность. Кстати, несмотря на все притеснения, их сегодня насчитывается более двух миллионов человек по всему миру.

Только нельзя идеализировать старообрядцев, как это делают некоторые современные исследователи. В прошедших столкновениях с обеих сторон было пролито столько крови, что виноватые—есть. А совсем правых—уже не найти.

И если бы тогда верх взял Аввакум, пощады противникам не было бы от него: «Всех что собак перепластал бы в один день. Сперва Никона—собаку рассёк бы начетверо, а потом и никониан...»

В учебниках об этом не пишется. Но русские бунты под предводительством Степана Разина, Кондратия Булавина, Емельяна Пугачёва, сотрясавшие всю Россию, были пропитаны не только смутой, но и во многом идеологией старообрядцев. И никогда до этого не было такого масштабного противостояния между народом и властью.

Но главное во всём этом: кто затеял тот страшный раскол всей России?

В начале уже нынешнего века Русская православная церковь за границей (РПЦЗ), после долгих лет разрыва отношений с РПЦ, пошла на единение и стала её неотъемлемой самоуправляемой частью, а чуть ранее она покаялась перед старообрядцами: «Простите, братия и сёстры наши, прегрешения, причинённые вам ненавистью. Не считайте нас сообщниками в грехах наших предшественников... Мы кланяемся вам в ноги и препоручаем себя вашим молитвам. Простите оскорбивших вас безразсудным насилием...»

В 2004 году Архиерейский собор Русской православной церкви намекнул о подвижке к единению со старообрядцами—правда, сделал это казённым языком: «Считать важным развитие добрых взаимоотношений и сотрудничества...»

Каким будет следующий шаг навстречу?

Затесь последняя. Это была бы сенсация, если бы мы знали свою историю. Но недавняя новость о том, что президент России Владимир Путин побывал в Рогожской слободе, прошла незамеченной. А ведь случилось невероятное. Впервые за почти четыре столетия глава страны приехал к тем, кого долгое время причисляли к еретикам, врагам и изгоям. Он приехал в духовный центр старообрядцев. К нашим исконно русским людям. Подарил им старинное житие и, приняв в дар древнюю икону, заверил, что в Кремле она займёт достойное место, и добавил принципиально важное: «Старообрядцев всегда отличала любовь к России. И я уверен, что они, как и в прежние времена, всегда будут с народом и государством».

Валерий Михайловский

Шальная война

1.

Ещё вчера по улицам носились горячие песчаные вихри. За окном серо-жёлтая мгла закрывала небо и всё вокруг; даже мечети — самого высокого здания в городе — не стало видно. Но сегодня всё переменилось: над жёлтой от нанесённого песка улицей — синее-синее небо без единой тучки. Ахмет, потягиваясь после сладкого сна, подошёл к окну. Сегодня выходной, в школу спешить не нужно. Он пялился в окно, прижимаясь носом к холодному стеклу. Ему хотелось увидеть всю улицу в одну сторону, потом в другую, отчего его нос, приплюснутый стеклом, выгибался то влево, то вправо. Из-за мечети уже появилось яркое солнце, и улица разделилась на две неровные части по всей её длине: на узкую светлую — под самым домом Ахмета, и противоположную — затемнённую.

Убаюкивающее завывание песчаной бури сменилось тишиной уже после полуночи, и сегодня Ахмет проснулся раньше обычного. Проснулся от тишины.

— Стихло, слава Аллаху, — сказала мама Ахмета.

Она подошла к сыну, глянула на улицу сквозь стекло, протёрла пробившийся сквозь щели песок на подоконнике, открыла створки окна настежь. Какой-то непривычный гул привлёк слух Фатимы. Она высунулась в окно и увидела в конце улицы, за посёлком, пыльную тучу.

— Тагир! — крикнула она, повернувшись в комнату. — Посмотри: там какая-то туча.

В комнату вошёл одетый в домашнюю пижаму отец Ахмета. Он сначала прислушался, остановившись посредине комнаты, потом осторожным движением подвинул жену, выглянул на улицу.

— Большая колонна машин, — сказал глухо Тагир, — американцы, наверное, — продолжил спокойно.

И, как бы в подтверждение его слов, затрещали далёкие короткие строчки автоматов, прогремело два орудийных выстрела. Потом ещё автоматные очереди, снова гром орудий, но уже ближе.

Небольшой посёлок недолго сопротивлялся, и колонна из десятка танков и нескольких пехотных машин, практически не останавливаясь, вошла в селение, поднимая клубы принесённых недавним суховеем песка и пыли.

— Отойдите от окна, — по-военному скомандовал отец Ахмета.

Он взял за плечи свою жену и сына и отвёл в глубь комнаты.

Уже больше двух недель заокеанские поборники демократических перемен, со скошенными до боли глазами на подземные нефтяные моря Ирака, штурмуют города и селения, продвигаясь в глубь страны. Отец Ахмета ничуть не удивился такому повороту событий. Не удивился он и тому, что не последовало сопротивления американским войскам. Из городка регулярные войска Саддама ушли накануне, уверяя население, что готовится специальная операция по нанесению урона оккупантам в другом месте, а здесь принимать бой — только силы распылять.

Баррикады на въезде в городок строили местные ополченцы, но их смяли быстро, на ходу. Часть же защитников города просто побросала оружие и разбежалась, не выдержав огневого напора наступающих войск, часть погибла на месте. Расстрелянные в упор танковыми орудиями, ополченцы даже опомниться не успели. Силы были явно неравны.

— К окну не подходи, Ахмет, — отец повернулся к сыну, потом быстро закрыл створки.

— Почему?

— Там стреляют, — Тагир рукой показал в окно, — шальная пуля может залететь.

— Шальная пуля, — передразнил отца Ахмет и засмеялся.

Уже совсем близко затараторили очередями автоматы. Ухнуло орудие так, что окна задребезжали, дом вздрогнул.

Ахмет закрыл глаза, испуганно съёжился. «Шальная пуля», — промелькнуло в голове. Он испугался. В его тихом городке ещё никогда так не грохотало. Отец обнял его.

— Бояться не нужно, главное — к окнам не подходить, — ещё раз повторил отец. — Играй в этом углу. И да хранит тебя Аллах.

Тагир вышел в другую комнату, набрал номер телефона. На работе не отвечали. Телефон директора школы тоже молчал. Экран включённого телевизора рябило. Радио, заглушаемое оккупационной армией, визжало и хрипело на разные лады.

— Я в школу, — сказал Тагир жене, обняв её за плечи. — Да хранит нас Аллах.

В подвале школы, где Тагир работал учителем, уже давно хранилось оружие на случай предстоящей войны. Ещё один схрон устроили на пустыре за спортивной площадкой, где под большими каменными глыбами зияли пустоты. Вход замаскировали, «посадив» сухой куст. Большинство учителей, как и он, решили не воевать. «Ради чего воевать?—думал он.—Саддам струсил, спрятался. Болтать он мастер, а как прижали, так в кусты». Так думали многие. Тагир накинул лёгкую куртку.

— Будь осторожным,—тихо сказала Фатима.

— Меня не тронут—я в гражданской одежде.

Тагир вышел во двор, обогнул дом. Школа дымила разбитыми окнами, сквозь чёрные клубы дыма прорывалось пламя. Из одного окна, потом и из другого беспорядочно затараторил автомат. На площади перед школой толпились люди, истошно кричала какая-то женщина. Тагир увидел, как развернулась башня танка, наведя ствол в сторону разрушенной наполовину школы. Ухнуло орудие, стена обрушилась, и с новой силой вздыбилось пламя над пыльными клубами, разбежавшимися в разные стороны. Смолкли автоматные очереди из школьных окон. На время установилась тишина, как показалось Тагиру—зловещая. Сердце защемило. Он видел, как американские танки, разворачиваясь на месте, смяли клумбы, снесли спортивный турник, уничтожили тяжёлыми гусеницами изгородь из декоративного кустарника. Дети сами сажали кусты, ухаживали, поливали. Был там и кустик Ахмета. Как раз именно тот куст попал под железо. Тагира передёрнуло, словно от тяжкого предчувствия.

Пыль немного рассеялась, к Тагиру подбежали трое американских солдат. Один с размаху ударил прикладом в плечо, другой резко развернул, дёрнув куртку сильной рукой, бросил его к стене лицом. Грубо обшаривая одежду, солдаты больно тыкали прикладом или стволом автомата где-то между рёбер, что-то кричали прямо в ухо. Тагир не сопротивлялся. Да и как может сопротивляться безоружный человек трём вооружённым до зубов, обученным солдатам?

Горькая обида и стыд, беззащитность и щемящее бессилие перед грубой наглостью и беспардонностью солдат, пришедших на его землю якобы для его же свободы, не давали возможности сосредоточиться. «Не увидели бы ученики»,—промелькнуло в голове. Он оглянулся и тут же получил удар прикладом в лицо от темнокожего янки. Солдаты, перекинувшись репликами и обыскав, оставили Тагира, стоящего лицом к стене, а сами побежали в сторону идущего одинокого старика. Та же унизительная процедура. Тагир сделал шаг в сторону старика, но его остановил солдат, нацелив автоматный ствол. Сердце гулко колотилось, в висках зашумело до боли, и он сделал ещё шаг. Ствол автомата в руках солдата опустился, вздрогнул, и рядом под ногами вздыбилась сухая земля, порхнув пылью. Тагир замер и только теперь понял всю опасность своего положения. Вспомнил о сыне, о жене.

Солдат что-то кричал, помахивая автоматом, давая понять, что ему лучше удалиться. А те двое обыскивали старика, тыкая его стволом автомата. Тагир видел, как изгибался тот от боли. Старик повернулся и крикнул:

— Уходи, Тагир, не связывайся…

И тут же голову старика встряхнул удар. Он присел на колено, затем встал, отвернувшись к стене. Такого унижения он ещё не испытывал.

— Не прикасайтесь к старику, нечестивые! Аллах покарает вас!—крикнул Тагир.

И снова под ногами взвизгнули пули.

Он шёл домой, низко уронив голову. Тяжёлые думы возвращали его к стоящему лицом к стене уважаемому Мухамеду, известному в посёлке аксакалу, служащему в мечети сторожем и садовником уже много лет. Говорят, и отец его, и дед ухаживали за зелёными газонами. Все деревья вдоль каменной изгороди посажены его руками, руками его отца и деда. Многих путников спасала от иссушающей жары тень выращенных деревьев. Два сына этого святого человека погибли в бессмысленную войну с соседним Ираном. Однако старый Мухамед в каждой молитве просил у Всевышнего здоровья и благополучия Саддаму и неистово молился за спасение душ убиенных сыновей своих.

Тагир поравнялся с мечетью, нырнув в спасительную тень, снова вспомнил старика, стиснув от бессилия кулаки.

Свернув на свою улицу, Тагир ещё издалека увидел на площади, где-то напротив своего дома, два остановившихся танка и бронемашину. Несколько солдат, останавливая одиноких прохожих, быстро их обыскивали, и те уходили, понурив головы. Здесь, на площади, где народу сновало побольше, откровенной грубости солдаты себе не позволяли. Тагир перешёл на противоположную сторону улицы, где ещё сохранялась укоротившаяся тень. Окончательно испортившееся настроение нагоняли унылые воспоминания о недавней службе в армии.

Где она, эта «народная» и «непобедимая» армия? Где те танки и самолёты, которыми так гордился «мудрый» и «великий» Саддам?

Конечно, ему никогда не забыть тех марш-бросков под палящим солнцем, того тычка в зубы, той наглой улыбки офицера, так внешне похожего на Саддама. Саддамовские усы носили в то время все офицеры от самого низшего чина до генералов. Так было модно. В моду вошли и саддамовские потешки, когда за малейшую провинность солдат заставляли до потери сознания ползать по горячему песку, не давая пить, или не позволяли спать провинившемуся. И когда тот начинал валиться

от усталости, получал палкой по пяткам или по пальцам. И он терпел, как и многие, те лишения и оскорбления. Но от своего офицера. Но как же больно терпеть унижения от оккупанта, цинично заявлявшего ещё вчера, что он освободит его Родину от кровавого тирана. А звал ли я вас наводить порядок в моём доме? И почему вы думаете, что ваша рука на моём горле приятней?

Тагир замедлил шаг. Он и не заметил, как вышел на площадь. Что-то заставило его оглянуться. На другой стороне площади американский солдат, закованный в броню, стоя на бронемашине, прицеливался из винтовки в сторону его дома. Он боковым зрением заметил, как в окне что-то заблестело.

— Не стрелять!—крикнул он, срывая голос.—Не стрелять!

Тагир побежал в сторону солдата, отчаянно махая руками, затем развернулся в сторону открытого окна. Его Ахметка стоял у окна и каким-то блестящим предметом отражал солнечные зайчики.

— Уйди от окна!—кричал уже в падении Тагир.

Как некстати запнулся он за вывороченный булыжник.

Он не услышал выстрела.

Он не почувствовал боли от удара о камень.

Он ничего не успел увидеть.

Отдалённые голоса вернули его в действительность.

Но вот голоса стали отчётливей, и он увидел свою жену с распущенными волосами и с сыном на руках. Пошатываясь и не понимая произошедшего, он бросился навстречу, снова упал. Кровь липкой струйкой противно текла по лицу, закрывая глаза. Подоспели несколько человек. Кто-то помог Тагиру удержаться на ногах. Он подбежал к жене и взял на руки обмякшего Ахмета.

— Папа, мне больно, шальная пуля…—шептал он.

— Потерпи, сынок, сейчас отправим тебя в госпиталь к дяде Амиру. Он спасёт тебя,—Тагир склонился над сыном, поцеловал его.

Кровь с его виска капала на волосы сына, стекала струйкой по подбородку и смешивалась с сыновьей кровью где-то у правого плеча мальчика.

— Машина нужна! Саид, заводи свою!—крикнул сосед Тагира, услышавший его слова.

Народ заволновался, заголосила Фатима и бросилась через площадь к бронемашинам. Солдаты соскочили с машин, выстроившись неприступной серой стеной.

— Вот этот рыжий стрелял, я видел,—кричал мужчина в белой футболке.

Фатима бросилась на него, замахнувшись своим маленьким женским кулачком. Рыжий трусливо съёжился, приподняв плечи и прикрывшись рукой. Рядом стоявший товарищ выскочил навстречу женщине и ударом приклада уложил её на мостовую.

— Don’t come up! Не подходить!—крикнул он в толпу.

Толпа остановилась, замерла. Солдаты ощетинились автоматами.

— Back forward! Назад!—закричал опешивший рыжий и с перепугу дал автоматную очередь под ноги остановившейся толпе.

Несколько человек упали, подкошенные рикошетами. Солдаты, пользуясь замешательством, чётко по команде забрались в стоявшие за их спинами боевые машины.

Взревели мощные двигатели, и колонна, поднимая пыль, тронулась с места. «Победители» растворились в пыли. «Побеждённые» остались на площади маленького городка.

В микроавтобус сначала усадили Фатиму, на руки ей уложили слабеющего Ахмета. Всё происходило словно во сне. Голоса окружающих людей мальчик слышал плохо, будто издалека. Временами вокруг всё затихало, потом снова появлялись голоса, шум двигателя. Очнулся снова Ахмет уже от покачивания машины. Рядом в микроавтобусе находилось ещё несколько окровавленных человек. Кровь, кровь, кровь…

— Папа,—прошептал Ахмет.

— Папа остался там, дома,—все не могут поместиться в машине,—шептала Фатима.—Он будет молиться. Аллах поможет. Аллах любит детей.

— Я не хотел… Я не послушал тебя… Нельзя подходить к окну… шальная пуля,—бредил мальчик.

II.

Тагир пытался связаться со своим братом Амиром, работающим хирургом в госпитале, но напрасно: связи с госпиталем, что находился в соседнем городе, не было. Не смог он связаться и вечером. Через созданные оккупантами блокпосты днём проскочить невозможно, ночью машины из городка тоже не выпускали: комендантский час. Неизвестность не давала сомкнуть глаз. Ночь показалась долгой и бесконечной. Казалось, утро так и не наступит. Тагир ходил из угла в угол, через каждые несколько минут подходил к окну, вглядываясь в темноту. Электричество к вечеру починили, но он не включал свет и мерил в темноте километры своего бесцельного пути.

На следующий день прорваться в госпиталь тоже не удалось. Прошёл слух, что на блокпосту произошло какое-то чрезвычайное происшествие и дорога заблокирована. Пытавшихся проехать в обход по пескам американцы без предупреждения расстреливали из орудий.

Жить в неведении свыше всяких сил. Мольбы и молитвы, обращённые к Аллаху, больше не унимали душевную боль.

— Пешком пойду,—сказал Тагир своему соседу.—Не могу больше терпеть. Я должен знать, что с моим сыном.

— Это самоубийство. Ты потерял много крови, ты можешь нарваться на засаду, на патруль. Пощады от этих «освободителей» не жди. Сам знаешь.

— Пойду. На всё воля Аллаха.

— Ты не спал сутки…

— Я когда-то служил в армии Саддама. Я ещё не такое переносил. Там и по трое суток спать не давали.

Солнце клонилось к закату, теряя свою яркость, и последние лучи его, скользя по пескам, уже не жгли, а нежно касались всего в округе, отбрасывая длинные тени. Тагир сначала направился на пустырь, что за школой, где под сухим, посаженным для маскировки кустом было спрятано оружие. «Зачем мне оружие? Я ведь не воевать иду».

Он понимал, что, взяв оружие, он может ввязаться в бой, а это неизбежный конец. Умирать ему нельзя. Он нужен своему сыну, своей Фатиме живым. Они нуждаются в его помощи.

Уже в сумерках Тагир направился на север. Он шёл по низине, пригибаясь, прячась за одинокие камни. Услышав шум моторов, Тагир прижался к земле, но поздно: его заметили.

— Стой! Кто идёт?— на английском крикнули в сумерках.

Тагир не отвечал. Он знал, что трусливые американцы побоятся его преследовать, тем более в наступающей темноте, но свинцовым огоньком угостят с удовольствием.

Он скатился по осыпающемуся песку и залёг в углубление под большим камнем. Глубоко под камень уходила суживающаяся щель. В таких местах водятся змеи, и, вспомнив армейскую науку, он снял ботинок с ноги, надел его на руку. Просунув защищённую руку в углубление, с шумом поскрёб по нависающему камню. Так проделал ещё и ещё. И не зря: из-под камня выползла огромная гюрза и, изгибаясь, уползла восвояси. Он отвоевал себе небольшое пространство в этом мире, суженном лихолетьем до размеров гроба.

Застрочили автоматы, песок вокруг вздыбился пылью, взвизгнули пули. «Пуль не жалеют. Щедрые»,— подумал Тагир. Ухнуло орудие. Большой обломок камня рухнул сверху, завалив выход из его убежища. Тагир успел убрать ноги, свернувшись клубком. Ещё несколько раз выстрелили из орудия или гранатомёта. Пули визжали вокруг, густо фаршируя песок свинцом. Быстро стемнело, и стрельба прекратилась. Мощные фонари резали темноту, но лучи скользили поверху. Низина лучами не просвечивалась.

Тагир с трудом отодвинул свалившийся камень, бесшумно выскользнул из своего укрытия, какое-то время прополз по ещё тёплому песку, затем поднялся и пошёл, сгибаясь скорее по привычке, чем по необходимости.

Он сначала шёл, пробуксовывая в песке, спотыкаясь о камни, затем повернул влево в надежде выйти на дорогу. До самого города ему не встретилась ни одна машина: комендантский час соблюдался неукоснительно.

В том месте, где дорога делала крутые повороты, обходя небольшие каменные возвышенности, он в лунном свете увидел двух мужчин. Они что-то делали у обочины, разговаривая полушёпотом на родном языке. Прятаться было поздно, да и почему он должен избегать встречи со своими? Будь что будет. И он подошёл почти вплотную.

— Кто идёт?— спросили его.

Автоматы, ещё секунду назад торчавшие за их спинами, щёлкнули затворами.

— Я иду в город. Туда увезли моего раненого сына. Наш посёлок оцеплен, никого не выпускают. Мой сын там, в госпитале,— Тагир махнул рукой в сторону уходящей в темноту дороги.

Он вкратце поведал о своей беде.

Автоматы опустились стволами в землю.

— Не один ты такой. У него,— повёл в сторону седобородого молодой человек, одетый в спортивный костюм,— вся семья погибла.

Немного помолчали. Тот, что постарше, внимательно разглядывал Тагира, его пыльную рубашку, повязку с присохшей кровью на голове, брюки, ещё не потерявшие некогда наглаженную стрелку, лёгкие летние туфли.

— Кем работаешь?— спросил сипло.

— Учителем. Меня Тагиром зовут.

— Закури, учитель,— с почтением сказал молодой, протягивая сигарету.

— Я не курю, спасибо.

Новые знакомые Тагира прикурили, прикрывая огонёк ладонями, как поступают, укрывая огонь от ветра. Курили, пряча сигареты в полусжатом кулаке, оглядываясь время от времени по сторонам.

— Я в мечеть ходил,— после паузы продолжил старший.— Домой возвращаюсь— дома нет. Зачем разрушать дом, где оставались одни женщины? Теперь у меня нет ни жены, ни дочери, ни моей сестры. Почему должны погибать женщины и дети? Ради чего? Я не хочу менять жизнь своих родных на какую-то свободу. А будет ли она, эта свобода?— хриплым голосом поведал о своём горе седобородый, тот, что стоял сбоку.

— Посмотри на него: он поседел за одну ночь.

— Мне когда-то отец говорил: бойся, Хасан, дураков и трусов. Один не ведает, что делает, по глупости, другими не разум руководит, а страх. Они снесли мой дом потому, что он стоит на перекрёстке и «может угрожать безопасности»,— забыв об осторожности, Хасан, жестикулируя руками, заговорил громко.— Они поступили как трусы… Женщин испугались…

Тагиру вспомнился тот рыжий янки, вжавший трусливо голову от взмаха женской руки.

Все трое, словно по команде, завертели головами, всматриваясь в темноту.

— Я пойду,— тихо сказал Тагир.

— Иди. Никому ни слова о нас,— прохрипел Хасан.

— Понятно.

Только теперь у обочины прямо под ногами Тагир увидел вырытые ямы и всё понял: минируют дорогу. Ночь помогала им.

Луна давала только то количество света, которое необходимо, чтобы не сбиться в пути. Дорога очерчивалась тенями от сваленных камней по обочинам, изгибалась змеёй, уходила в посеребрённую даль, сливаясь там, впереди, с бесконечной ночью. Холодно мигали застывшие в тишине звёзды, нагоняя грусть и ноющую душевную боль. Тагир оглянулся, словно запоминал приметы этого места среди пустыни, поднял руку, прощаясь с ночными собеседниками. Лицо Хасана, обрамлённое серебром, терялось в темноте. Чуть ссутулившись, опираясь автоматом на придорожный булыжник, он долго стоял неподвижно. Тагир ещё там, на площади, понял, что свобода, пришедшая из-за океана, несёт на своих полосато-звёздных плечах страдания и лишения для многих. «У меня ещё есть надежда…» — подумал он, вспоминая слова седого Хасана.

— Надумаешь к нам — мы в тех скалах,— уже вдогонку тихо сказал молодой и махнул рукой назад.— Американцы боятся таких мест. Только днём нас не найдёшь.

— Да, я знаю, как найти, эти места мне знакомы,— Тагир шагнул в темноту.

— Да поможет тебе Аллах.

Хасан молчал, поглощённый своим горем, своими тяжёлыми думами.

Уже за полночь Тагир подобрался к городу. Он осторожно прижимался к стенам крайних домов, находя в их тени защиту. Город он знал как свои пять пальцев, и даже отсутствие света не было ему помехой. Тёмные улицы непривычно пустынны. Только на въезде, на перекрёстке, ярко горели походные фонари и фары боевых машин. Шагающие солдаты то возникали чёрными истуканами, то так же внезапно проваливались в темноту. «Наверное, блокпост»,— Тагир свернул в знакомый тёмный проулок. Его никто не заметил. Многоэтажные безглазые дома, заслонявшие луну, добавляли прохладной ночи темноты и мрачности. Ни одно окно не озарялось светом, казалось, что город умер.

Постучав в знакомую дверь, Тагир осмотрелся по сторонам. Подождал. За дверью спросили:

— Кто?

— Это я — Тагир, открой, брат,— он удивился своему глухому голосу.

Его знобило — не то от ночного холода, не то от непомерной усталости и напряжения. Дверь тут же отворилась. Амир стоял с керосиновой лампой в руке.

— Что случилось? О Аллах! Ты ранен. Заходи, брат, заходи,— Амир взял его за руку, завёл в квартиру и продолжил:— У нас сегодня выключили свет. Ты как оказался здесь в такой час? — и, не дождавшись ответа, спросил тревожно:— А где Фатима, Ахмет?

Вопрос брата острым ножом резанул сознание Тагира. В горле пересохло.

— Я позавчера отправил их к тебе в госпиталь,— прошептал Тагир. Он понял, что произошло что-то непоправимое.— Значит, ты их не видел?

Глубоко за сердцем противный холодок сбил дыхание и пополз к горлу. В голове образовалась серая пустота, мысли остановились. Недоброе предчувствие холодной змеёй заползло в самую душу.

— Нет,— донёсся до его помутневшего сознания глухой и жестокий звук. Голос брата показался чужим.

— Может, они поступили не в твою смену? — Тагира не покидала последняя надежда.

— Этого не могло случиться. Я сейчас не выхожу из госпиталя. Вот только домой пришёл. Сейчас столько раненых… Работаем круглосуточно. Что случилось с ними? Да рассказывай же! — Амир смотрел на побледневшее лицо брата.

В блёклом свете керосиновой лампы его восковое лицо казалось неживым. Только запёкшаяся, просочившаяся сквозь повязку кровь и побуревшие кровавые подтёки коричнево-грязно распятнали его лик. Глубоко запавшие глаза уставились вдаль сквозь стены и кромешную темень, не замечая ни брата, ни этого мигающего огонька, ни этих монстров-теней, качающихся на стенах.

— Позавчера Ахметку ранил американец. Я отправил его с Фатимой на машине Саида к тебе в госпиталь. Там было ещё несколько раненых,— Тагир сделал паузу. Воспоминания разбередили рану, голос задрожал.— Они могли попасть в другую больницу? — цеплялся за последнюю соломинку раздавленный горем Тагир.

— Всё может быть. Сейчас все больницы принимают раненых. Но ночью нам их не найти. Вымойся, переоденься и ложись отдохнуть. И мне нужно немного поспать. Я ведь двое суток за операционным столом… А завтра с помощью Аллаха искать будем,— Амир протянул руку за снятой рубашкой.

— Только пусть Айгуль не стирает: там кровь Ахметки.

— Я скажу. Мою наденешь.

— Аллах накажет этих американцев за всё горе, что мы терпим,— сказала тихо Айгуль.

Никто и не заметил её, тихо вытиравшую в темноте слёзы.

III.

Ничего не снилось Тагиру. Он провалился в бездну, он забылся тем глубоким сном, который бывает только у смертельно уставшего и смертельно

оскорблённого человека. Такой сон спасителен и очищающ, он заканчивается быстро и удесятеряет силы. И только смертельно раненные уже не могут проснуться и возносятся ко Всевышнему праведниками ли, мучениками ли тихо, не имея сил прервать его.
— Вставай, брат. Отдохнул хоть немного?
— Слава Аллаху!—он не встал—вскочил с кровати.—Поехали, Амир, искать Фатиму и Ахметку.
— Одевайся,—протянул свою одежду Амир.—Сначала позавтракаем и поедем: я уже машину из гаража пригнал.

Тагир молча ел ту еду, что подала Айгуль, но если бы кто-то спросил, что подавалось на завтрак, то он бы ни за что не вспомнил. Он односложно отвечал на вопросы, но не смог бы вспомнить, о чём шла речь.

Тагир всю дорогу сидел, понурив голову, и молчал, иногда покачивая головой в знак согласия на предложения брата:
— Сначала заедем ко мне в госпиталь. Во-первых, ещё раз просмотрим все списки поступивших за последние сутки. Необходимо убедиться, что у нас их нет. А во-вторых, мне нужно предупредить начальство. Потом начнём с дальней больницы в пригороде и пойдём к центру.

Тагир кивнул головой.
— Если и там не найдём… Придётся справиться, ты уж извини, брат… в морге.

Амир, понимая, что всё могло случиться, решил уже сейчас психологически подготовить брата, хотя у самого при слове «морг» голос дрогнул. К удивлению Амира, Тагир кивнул головой в знак согласия, не проявив никаких эмоций.

В приёмном отделении среди тридцати двух раненых, поступивших за последние двое суток, ни Фатимы, ни Ахмета не числилось. Не поступали в госпиталь и другие раненые из его селения.
— Если хочешь, можешь пройти со мной в отделение. Я хоть на ходу, мельком должен осмотреть своих тяжёлых больных.

Тагир снова покорно кивнул, послушно пошёл за братом. Запах—вот что поразило его больше всего. Запах болезни и смерти. Этот спрессованный зловонный дух заполнял всё пространство, и было очевидно, что, впитавшись в одежду, будет ещё долго преследовать любого, рискнувшего появиться здесь.

На ходу молодая медсестра как-то обыденно успела доложить Амиру, что два человека умерли ночью. Голос её плавал в гулком, переполненном ранеными коридоре. Столько боли и горя так близко Тагир ещё не видел. И те двое стариков, потащивших укутанное в грязное тряпьё тело, и этот мужчина с трубками, торчащими из живота, и ребёнок с широко открытыми глазами, заполненными слезами боли,—всё это навалилось на него тяжёлым грузом.

— А тот безнадёжный, раненный в грудь, попросил кушать и пожаловался, что постель жёсткая,—долетело до Тагира.
— Значит, будет жить,—сказал Амир,—и он ещё будет спать на мягких перинах.

То, что увидел Тагир в палате, произвело на него странное впечатление: он долго ещё не мог поверить, что всё это существует на самом деле, что он не спит, что он видит своими глазами эту огромную палату, переполненную горем и страданиями. Будто попал он в другой мир, мир кошмаров и страшных видений. Стонали стены, потолок, стонал пол и всё, что нагромоздилось в этом зловонном пространстве большого зала. Койки почти соприкасались. Проходы между ними были настолько узкие, что едва позволяли протиснуться врачу или медсестре. Сказать, что палата была переполненная,—значит, сказать только полправды.

Одна койка пустовала, ещё на одной—лежал человек, накрытый с головой белым когда-то покрывалом с побуревшими следами крови и ещё какими-то разноцветными пятнами. «Двое умерли ночью»,—вспомнились слова медсестры. Комок сдавил горло, сладковато-приторный зловонный запах не давал дышать, в глазах поплыло, койки завертелись вокруг.

Очнулся Тагир уже во врачебном кабинете. Он лежал на ободранном диванчике, не понимая, как попал сюда. Рядом сидела та медсестра в белом халате. Тагир сначала увидел её большие грустные глаза. Её губы шевелились, но слов он не слышал. Она встала, и подвинутый ею стул скрипнул. Кабинет наполнился звуками.
— Где я?—услышал он свой слабый голос.
— В ординаторской. Так я сделаю вам чай?—вопросительно посмотрела она. И Тагиру показалось, что она уже задавала ему этот вопрос.
— Да, пожалуйста, если вам не трудно.

Горячий чай окончательно вернул его к действительности. От запаха, хоть не такого резкого, как там, в палатах, снова подступила дурнота, и Тагир повернул голову влево, вправо. Дверь была закрыта. В кабинете, кроме диванчика, на котором он лежал, стояли два стареньких письменных стола, на стенах висели какие-то плакаты.
— Ваш брат на операции. Поступил тяжелораненый. Он просил подождать,—угадала она беспокойство Тагира.
— Вы извините меня. Нервы…—Тагир потрогал повязку, наложенную братом ночью.
— Я всё знаю, мне рассказал ваш брат. Я пока перевяжу вас. Лежите, лежите.

Её руки быстро управлялись с привычной работой. Тагир отметил, как ловко, не причиняя боли, она, подхватывая то пинцет, то ножницы, обрабатывала рану, промокала тампоном просочившуюся сукровицу. Бинт в её руках разматывался легко и ложился виток за витком.

— Всё, отдохните. Доктор скоро освободится,— медсестра поправила повязку.

Что-то родное почудилось в этих женских руках. Тагир пристально посмотрел ей в глаза.

И глаза…

— Спасибо. Как вас зовут? У вас такие нежные руки, как…— он запнулся.

— Гюльшат,— женщина опустила ресницы.

— Меня зовут Тагиром. Я ищу свою жену и сына. Они уехали в ваш госпиталь… Мой Ахметка ранен.

— Я знаю… Доктор рассказал мне… Сейчас так много людей теряется. Но вы своих обязательно найдёте. Аллах поможет вам. Моего мужа схватили американцы, увезли куда-то. Не нужно было ему сопротивляться. Говорят, в тюрьму посадят, в ту, куда раньше при Саддаме уже попадал. Три года тогда отсидел за свой язык,— Гюльшат взяла марлевую салфетку, промокнула заблестевшие слёзы.

Потом Гюльшат ушла. Какое-то время в ординаторской он оставался один. Тагир лёжа рассматривал развешанные медицинские плакаты. Зазвонил телефон. Спрашивали хирурга.

— Он на операции,— ответил Тагир.

— Значит, операция ещё не закончилась?

— Нет, позвоните, пожалуйста, позже.

Голос женщины на том конце провода дрожал от волнения.

— Да, я позвоню потом. Дай силы ему, Аллах!

Кому просила дать силы женщина? Хирургу? Раненому? «Дай им силы, Аллах… и удачи»,— подумал Тагир.

Когда тоненькая ниточка удерживает жизнь, когда жизнь борется со смертью, только удача, только помощь Всевышнего может благополучно решить этот спор.

Как много, а иногда как мало требуется для спасения жизни. Тагир мерил шагами врачебный кабинет. Конечно же, его Ахмет и Фатима попали в другую больницу. Ахметке сделали операцию, и он теперь ждёт своего отца. Он обязательно сегодня найдёт своего сына. Вот только освободится Амир, и они объедут все больницы, они найдут. Тагир остановился возле стола. Рядом с телефоном лежал список всех больниц города с телефонами. Он даже взял трубку и начал набирать номер… «Нет, по телефону могут дать не ту информацию, они могут что-то перепутать, могут не понять меня… Нужно ехать…»

За спиной хлопнула дверь. На пороге стоял Амир. На осунувшемся лице глубже обозначились морщины, глаза провалились.

— Умер,— тихо сказал он.— Мы ничего не смогли сделать: всё в руках Аллаха.

У Тагира оборвалось внутри. Даже руки задрожали. Недобрый знак.

Амир тяжело сел, облокотившись на стол, обнял голову, застыв на какое-то время.

— Поехали,— он пружинисто встал, и стал снимать халат.

— Звонили,— еле выдавил Тагир.

Брат не ответил.

В детскую больницу Ахмет с Фатимой не поступали, не нашли их и в других больницах.

Переживший все потрясения последних двух суток, Тагир уже без боязненного трепета перешагнул порог морга. Он не замечал запаха смерти, отнявшего, казалось, весь кислород без остатка в этом сыром полуподвальном помещении с заплесневелыми стенами. С указанием мельчайших подробностей он отвечал на вопросы человека в глянцевом фартуке с красными, воспалёнными от недосыпания и едкого смрада глазами. Большие несуразные очки не могли спрятать той тихой печали, которая легко угадывалась при первом же взгляде.

После короткой беседы глаза за этими огромными очками увлажнились, уставились в стол и больше не встретились ни разу с глазами Тагира.

Рассудок Тагира прояснился, и он внимательно рассматривал предоставленные вещи усопших, уложенные в отдельные пакеты. Часто именно одежда или предметы, найденные на месте происшествия, помогали установить личность погибшего.

Тагир уже знал самое страшное. Но его уже ничего не пугало. Осталось найти своих родных. Осталось предать тела земле, согласно вековым обычаям.

Тагир бережно уложил найденный комнатный тапочек жены, лоскут халата, обрывки рубашки своего сыночка.

— Я могу это забрать?

— Да. Конечно,— ответил сиплый голос.— Но вам предстоит ещё одно тяжёлое испытание,— голос прокашлялся,— вам нужно опознать останки…

— Я готов,— твёрдо произнёс Тагир.

Уже на следующий день к вечеру на глаза Тагиру попались газеты. Он перевернул страницу первой попавшей и прочитал: «…американскими солдатами уничтожен микроавтобус с номерными знаками… не остановившийся у блокпоста пос… в котором находились мирные жители. Погибли девять человек… Все лица гражданские… Среди них один ребёнок и одна женщина…»

«Саид не виноват, он спешил в госпиталь с ранеными»,— прошептал Тагир.

«Американскими солдатами расстреляна машина с журналистами телекомпании „Аль-Рабийя“ при невыясненных обстоятельствах. Погибли два журналиста телекомпании».

«В результате открытой американскими солдатами беспорядочной стрельбы из автоматического оружия погибли несколько мирных жителей».

«Убит журналист американским снайпером. Журналист стоял у окна гостиницы с фотоаппаратом в руках».

«Американцы обстреляли из самолётов свадьбу в отдалённом ауле… Погибли десятки мирных жителей, в том числе и невеста с женихом…»

«В городе Байджик погибла иракская семья. В результате случайно сброшенной американской авиабомбы дом полностью разрушен и погибли все находившиеся в доме, в том числе и трое детей. Американцы объясняют случившееся ошибкой…»

Тагир тяжело поднялся, бросил газеты на журнальный столик и направился к выходу.

— Ты куда на ночь собрался?—спросила тихо Айгуль.
— Я похоронил Ахметку и Фатиму. Мне теперь не по пути с солнцем. Луна и звёзды мои попутчики… А днём я их не найду.
— Кого?—не понял Амир.
— Тех, кто поможет мне найти и покарать убийц.

«В Ираке совершён очередной террористический акт, один из самых мощных за последнее время, в результате погибли одиннадцать американских пехотинцев, десять тяжело ранены… Сработало взрывное устройство на обочине дороги в момент прохождения колонны…»

И тут же американский пресс-секретарь: «Мы скорбим… они погибли не напрасно…»

Д*и*Н симметрия

Константин Бальмонт

Из книги «Песня рабочего молота»

Вольный стих

К иваново-вознесенским рабочим

Какое гордое счастье знать, что ты нужен людям,
Чуять, что можешь пропеть стих, доходящий в сердца.
Сёстры! Вас вижу я, сёстры. Огнём причащаться будем.
Кубок пьянящей свободы, братья, испьём до конца!

Силою мысливших смело, свершеньем солдат и рабочих
Вольными быть нам велит великая в мире страна.
Цепи звенели веками. Цепи изношены. Прочь их.
Чашу пьянящего счастья, братья, осушим до дна!

Смелые сёстры, люблю вас! В ветре вы—птицы живые.
Крылья свободы шуршат шорохом первых дождей.
Слава тебе и величье, благодатная в странах Россия,
Многовершинное древо с перекличкой и гудом ветвей!

Женщина

Московской работнице

Женщина—с нами, когда мы рождаемся,
Женщина—с нами в последний наш час.
Женщина—знамя, когда мы сражаемся,
Женщина—радость раскрывшихся глаз.

Первая наша влюблённость и счастие,
В лучшем стремлении—первый привет.
В битве за право—огонь соучастия,
Женщина—музыка. Женщина—свет.

Слава крестьянину

Когда ручей бежит с утёсов,
Звенит в стремнине песней он.
Где утро начал Ломоносов,
Там полдень Солнцем озарён.

Созвучья первых русских песен
Сложил крестьянин, а не князь.
И пусть удел крестьянский тесен,
Народ хранит с землёю связь.

И колос ржи, и дуб могучий,
Чьё тело входит в корабли,
И нежный сад, и лес над кручей—
Растут из матери-земли.

И та страна, где миллионам
Подруга первая—соха,
Невестой, в празднестве зелёном,
Весной дождётся жениха.

Земля и Воля—эта свадьба,
И будет—это суждено—
Любой мужицкий двор—усадьба,
Где мысль—как веское зерно.

Народный ум не насмерть ранен,
Придёт конец и мутной мгле,
И звучным голосом крестьянин
Воскличет к матери-земле.

1922

Ася Умарова

Клавиши Падам

Знаешь, когда Падам получала письмо от троюродного брата из Бельгии, то она, мило улыбаясь, пряча поспешно объёмные пластмассовые красные бигуди под белым платком, выбегала босиком, попеременно приподнимая то одну ногу от холода на голубом кафеле, то вторую, кутаясь в незастёгнутую синюю тужурку, навстречу почтальону. А почтальон размашисто отбивался ногами, руками, портфелем, пытаясь всячески отогнать овчарку Падам, и чуть не сваливался в иссохший куст сирени, покрывшейся инеем.

— Рекс на добрых людей не лает, он только на злых людей лает,— расплывалась в улыбке Падам.

Злые получались все, кроме неё.

Получив заветный конверт, она заваривала турецкий кофе и разливала в чашечку размером с напёрсток. Садилась на табуретку и изучала тщательно конверт, пытаясь подсветить дневным светом и прочесть письмо, не открывая. Ножиком аккуратно среза́ла верхний угол конверта, сжимала по бокам так, что он округлялся, как рот. Словно она доктор и собиралась дать микстуру. Бережно доставала четырёхстраничные листки, раскладывала по несколько раз и принималась трясти конверт, будто бы пыталась выбить из него что-нибудь ещё. Снова оглядывала письмо изнутри. Но там ничего не было, кроме пустоты, привезённой из Бельгии. В отражении турки её карие глаза изучали серое небо за окном, а нижнюю губу она недовольно поджимала в сторону, пытаясь изобразить трубочку. Раньше, в первых двух письмах, троюродный брат присылал деньги, но в последующих они отсутствовали.

Она безразлично скомкала письмо, и бумага яростно зашуршала и заскулила, словно Рекс на гостей. В письме троюродный брат рассказывал, что семью хотят выселить из страны за неимением доказательств, которые помогли бы сдаться и получить гражданство. Он просил подговорить родственников написать письма для подтверждения о якобы существующей на него кровной мести, из-за которой он не может вернуться домой. Но Падам не могла знать обо всём этом, так как это письмо выбросила в мусорное ведро. И, напевая под нос что-то вроде «тром-пом-пом-пом-пом, тром-пом-пом», прыгая на месте, движениями рук изображая колёса поезда, направилась в спальню, разбрасывая хаотично бигуди.

Падам работала библиотекарем в отделе детской литературы в Доме культуры, некогда разбомблённом в войну. Поклонница Че Гевары, полотен Фриды Кало, могла с лёгкостью отличить картины Мане от Моне, восхищалась боями Мухаммеда Али, а вечера в однокомнатном коттедже, выделенном в советское время как лучшему молодому специалисту, наполняла шипящими, словно дождь, пластинками с американской музыкой шестидесятых, играющими на потрёпанном временем проигрывателе. На любопытное окружающих: «Как дела?»—отвечала по-чеховски: «Ангел мой, вашими молитвами». А иногда долго рассматривала муху на окне в кабинете библиотеки. Мы, зная её, продолжали ждать, рассматривая разноцветных пластмассовых рыбок, висящих над её столом, которые напоминали леденцы.

— Вы знаете,—говорила Падам, не отрывая взгляд от окна,— вот я смотрю на эту муху и думаю: какая же ты всё-таки, муха, счастливая. Муха, ты не должна думать о том, что нужно заплатить за газ, за свет, за воду, погасить кредит, и тебе наверняка Маржан с улицы Первомайская не должна семнадцать тысяч рублей вот уже три года. Муха, какая же ты всё-таки счастливая: ты не должна беспокоиться о седеющих волосах на голове, на покраску которой уходит три тюбика краски из-за чрезмерной густоты моих волос… Наверное, поэтому меня мама прозвала Анджелой Дэвис. И тебе не платят семь тысяч рублей в месяц, на которые ты должна всё это оплатить и ещё прожить. Муха, ну какая же ты всё-таки счастливая…

Раздавался шлепок мухобойки. Удар как месть.

Но, оказавшись на встрече с однокурсниками в Грозном за чашечкой чая в подвальном кафе, где верхушки зданий растрепала война, она превращалась в пресыщенную богатством даму. Стоило кому-то из подруг похвастаться, что подарили золотой браслет, Падам тихо восклицала:

— Хм… всего лишь?..

Хвастались кожаными сапогами за двадцать тысяч рублей. Все ахнули! А Падам изобразила трубочку губами и только вставила:

— Да?.. Всего лишь?

И даже когда однокурсница из Москвы тихо прошептала, что бывший муж перед разводом подарил двухэтажный дом, и все запищали от восторга, Падам, откусывая жадно большой кусок наполеона, протянула:

— М-м-м… и всё? Всего лишь?!

У Падам было много подруг, но с каждой они расходились. Одной подруге, Пэкэй, не нравилось то, что Падам не вставляла фразы: «А потом я пошла молиться… И когда я собиралась молиться…»

— Я верующий человек, а не религиозный,— утверждала Падам.

Нет, она не говорила это всё перед людьми, только когда одна в своей комнате, перед искусственными разноцветными рыбками. И вообще, ей нравилось повторять слова Иосифа Бродского, что человек — это сумма поступков, а не то, во что он верит или на что уповает.

Падам часто устраивала пикники для детей у озера, осенённого тремя старыми дубами и двумя ивами. Но брала не всех. Я учился тогда в третьем классе, и, собственно, после рассказов об этих турпоходах захотелось быть в этой тусовке Падам. Когда в очередной раз мои родители решили, что надо ворота сделать не с улицы, а со стороны огорода, и перекраивали сваркой забор, я решительно направился к Падам уговорить взять в поход, и так как нервничал, то употреблял беспорядочно слова.

— Оло-ло-о-о! Оло-ло-о-о! Не на поход, а в поход… Не на выходные, а в выходные,— подправляла Падам сбившиеся каштановые локоны с лица, болтая ногами то вперёд, то в стороны.

Казалось, что она нервничает и хочет придумать причину, чтобы не брать, но наконец её нашла:

— Ты слишком мал!

— Я очень большой, Падам. Несколько раз мама оставляла до восьми вечера во дворе играть и даже доверила помогать с готовкой торта на день рождения дяди. Я за три месяца прочитал двенадцать книг и ещё прочту…

— Нет, нет и ещё раз нет,— крутила она в руках виниловую пластинку Элвиса Пресли «That's all right»[1], — никогда не возьму. Ты чересчур маленький. И брать такую ответственность я не собираюсь. Оло-ло-о-о-о! Ты маленький. Нет, нет и ещё раз нет. Милана принесёт пирог, Зелим — рис и помидоры, Ризван… огурцы…

— А я принесу несушку! — перекричал я гавкающего на меня Рекса.

— Отлично! — захлопала в ладоши Падам.— Мы устроим шашлычный день. Супер! Су-у-упер!

И я, словно оказавшись героем книги «Алиса в Стране чудес», благодаря нашей несушке по кличке Шарлотта неожиданно подрос и возвысился над Падам до нужных размеров. Так и надо этой Шарлотте, она пару раз клюнула мою руку, когда приходил за яйцами. Но когда мы возвращались с барбекю по пыльной дороге, невероятно счастливые, где отовсюду пахло ромашками, издалека навстречу нам мчалась чёрная «Волга», на крыше которой были рулоны обоев, а из окон торчали деревянные плинтусы. Я так и знал, что и в это лето не обойдётся без ремонта. Не успел дым пыли рассеяться, мы с детьми и Падам откашлялись, как переднее стекло опустилось, и мой папа закричал:

— Падам! Как же ты нас всех достала с этими барбекю! Дурачишь детей. Дома не сидишь. Когда же ты успокоишься?!

Папа продолжал что-то выкрикивать, не выходя из «Волги», в то время как Падам, в огромных чёрных солнечных очках на пол-лица, как у черепашки Тортилы, в чёрной обуви на высокой платформе, в белом широком платье с короткими рукавами, раздувшемся, словно парус, придерживая магнитофончик, из которого доносилось тихое «Barbie Girl»[2] группы «Aqua», не сбавляла шаг и делала вид, что ничего не происходит.

Она, как и в случае обнаружения конверта без денег, поджала нижнюю губу в сторону и изображала трубочку. Она даже не повернулась в его сторону, пока я и остальные дети, испуганные, с опущенными головами, шли за ней, поправляя на головах огромные кораблики, сделанные из газет «Ленинан некъ»[3], которые достала Падам из чулана. В руках мы держали полевые букеты, которые она попросила отдать мамам, чтобы нас непременно отпустили в следующий раз. И мы поплыли дальше.

Под левой бровью у Падам глубокий шрам. Странно, но когда военные в войну проводили обыски в её доме, то им показалось, что она настоящая снайперша. Но Падам просто в детстве была очень впечатлительной. И кто-то из одноклассников сказал, что если взобраться на крышу, разогнаться и поднять руку вверх, то можно взлететь в небо. Но нужен специальный синий костюм с красными полосками. Падам сшила синий костюм с короткой юбкой, залезла на крышу благодаря высокой груше, которая росла у сарая. Зажмурила глаза, подняла кулак вверх и полетела, только не в небо, а свалилась в груду арматуры и ненужного железного хлама, который сосед собирался сдать в металлолом и заработать много денег. Но вместо полёта в небо волшебство приковало тогда её к постели, и пришлось пару месяцев побыть на земле.

Падам часто играла в одну игру. Вернее, эта игра появилась во время войны. Когда сильно бомбили, то приходилось покидать дом и спускаться в соседний подвал. Падам представляла: а что, если она последний раз видит дом целым и на него

1. «Всё в порядке» *(англ.)*.
2. «Девочка Барби» *(англ.)*.
3. «Путь Ленина» *(чеч.)*.

обрушится настоящая бомба? Хм… интересно, а что она хотела бы взять с собой, если бы можно было бы прихватить только один предмет, который она считает невероятно дорогим и ценным? Иногда она забирала паспорт, иногда проигрыватель или пластинки американского джаза, разноцветных искусственных рыбок или турку, кошелёк… Однажды она спустилась в подвал с литровой законсервированной банкой, переполненной её мечтами. Падам под Новый год написала на маленьких листочках сто желаний, скрутила каждый в трубочку и наполнила пустоту банки. Сначала все смеялись над Падам, но потом обзавидовались её мечтам, словно их присутствие в банке гарантировало, что они непременно сбудутся.

Странно… После войны она стала думать и переживать не о том, что дома может не стать, а о том, что она может перестать вообще существовать. Да, она исчезнет навсегда, а всё это останется… То есть это будет игра наоборот. Это настолько её впечатлило и растрогало, что она уселась на ступеньки и не пошла на работу. Рекс лаял на всех прохожих в тот день. А она тихо повторяла сквозь слёзы:
— Рекс на добрых людей не лает, он только на злых людей лает.

Её заржавевший и покосившийся низкий забор покачивался от ветра, а на нём надпись Падам, ещё с войны: «Лучше ужасный конец, чем ужас без конца».

Когда к Падам приходили племянники, то я часто видел, как один бегал по крыше, другой взбирался на её любимое абрикосовое дерево, а остальные носились с её пластинками Элвиса во дворе, изображая гитары. И, наконец, звучал спасительный сигнал с оранжевой «пятёрки», словно кто-то бросал оранжевый спасательный круг, её брата Щавэда, и племянники, утомлённые и пресыщенные свободой у Падам, уезжали домой.
— Как хорошо, что ушёл этот шум,— со вздохом говорила Падам о племянниках, от всего сердца посылая воздушные поцелуи вслед исчезающей машине.

Когда Падам ушла на пенсию, то открыла аптеку в Грозном. Это была наспех сколоченная пластмассовыми белыми листами коробка на деревянном, приподнятом кирпичами полу. Аптека находилась рядом с клёном у Старого рынка, где мыли разноцветные ковры на асфальте. И когда поднимался сильный ветер, то ковры, как в сказке про Аладдина, вздымались вверх, аптека Падам тоже приподнималась и с грохотом сваливалась вниз в тот момент, когда она на стульчике пыталась красить губы в малиновый цвет. Так сносило аптеку много раз. Падам просверлила несколько отверстий у подножия пластмассовых стен и верёвкой привязала к кирпичам.

Брат Падам жил недалеко от их улицы. Она называла его Щавэд, так как имя Рашид ей казалось невероятно скучным. Каждый раз, когда Щавэд приходил к ней, то в ответ на её стенания о домашних проблемах, долгах и о том, как тяжело справляться одной, он, внимательно дослушав, мерил под виноградным навесом асфальт шагами.
— А… ну… раз, два, три,— маршировал Щавэд в сторону Падам. Просил её отойти назад.— А теперь… раз, два, три.

Когда-то Падам заикнулась, что хотела бы построить летнюю кухню, и тогда Щавэд отмерил иллюзорно эти метры. На этом вся бойкость и напор помощи закончились. И с тех пор, когда она говорила об увольнении с работы или отсутствии лицензии на открытие аптеки, он мерил пространство:
— А ну… раз, два, три! Отойди! Раз, два, три…

Падам ещё любила выносить пять деревянных вешалок, на которых висели платья её мамы и четырёх сестёр, без вести пропавших в войну. Она цепляла вешалки с платьями на абрикосовое дерево, включала пять фонариков под платьями, так что платья светились. Наверное, Падам это давало ощущения теплоты и присутствия этих людей. Она наливала чай с чабрецом и разговаривала про себя с этими платьями, как будто они были живы. А потом складывала их бережно в сундук. Она стирала их и гладила, как будто бы их кто-то носил.

А потом Падам неожиданно куда-то исчезла, а в доме поселились какие-то новые люди, которые приехали из города Шали. Они разровняли экскаватором дом, виноградный навес, будку, в которой когда-то была аптека, и даже снесли ворота с надписью: «Лучше ужасный конец, чем ужас без конца». Кто-то сказал, что она уехала к троюродному брату в Бельгию. Папа ещё вспоминал, как она в анкете на вопрос: «Блондин или брюнет?»— отвечала: «Да хоть лысый, лишь бы был».
— Просто она вцепилась в эту карьеру,— говорил папа, когда Падам шла с работы, счастливая, придерживая пластинки с американским джазом шестидесятых, её белое платье раздувалось, словно парус, обувь на высокой сплошной платформе, а навстречу бежал её Рекс и лаял на всех прохожих.
— Рекс на добрых людей не лает, он только на злых людей лает.

До библиотеки Падам работала на ферме и вышла замуж за мужчину, которого звали Япон. Фраза на чеченском языке «Японе яхна» звучит как «вышла замуж за Япона» и как «поехала в Японию». Тогда было модно называть детей Германами и Японами. Молва о замужестве стремительно прошлась по ферме. Разъярённые доярки тогда поехали разбираться к самому директору совхоза: как это так?! Они по десять и по пятнадцать лет работают на ферме, а Падам только недавно устроилась на работу, и её отправляют в командировку в Японию. За какие заслуги? За какой многолетний труд? Директор быстро смекнул, в чём дело:

— Что вы все от меня-то хотите?! Так поезжайте в село, там на улице Шекспира живёт этот самый Япон. Может, он и вас возьмёт в жёны.

Про этого Япона можно было бы сказать, что он был величествен в своём молчании. Иногда, и даже очень редко, из его уст слетало: «Я этот... этот я». Но никогда так и не завершал фразу.

— А какая у него была успеваемость в школе? — поинтересовалась мама Падам, учительница по профессии, узнав, что родственники собираются просить руки дочери.

Она смотрела только на успеваемость потенциальных женихов Падам.

Не знаю почему, но с тех пор, как она переступила порог дома Япона, что-то невообразимое начало твориться в их доме. То телята сдохли, то овцы, то обрушился потолок на кухне. Шифер протекал, потолок оказался саманным, и поэтому он свалился на них, когда пили чай с абрикосовым вареньем. Ещё трактор их соседа случайно наехал на любимую клумбу матери Япона по имени Саждат и уничтожил все розы.

Саждат она называла тайно Ключницей. Из-за того, что все ключи от двух домов во дворе, сараев, кухни находились у неё. Когда она шла, то легко можно было узнать по своеобразному звуку звенящих ключей. С мужем Ключница не разговаривала уже двадцать лет, хотя они жили вместе. Говорят, что она чем-то расстроила мужа, и поэтому он не может до сих пор простить её.

Япона уволили с работы, и его никуда не брали. Их семья попадала то в больницу, то в аварию, то мучили головные боли, то высыпания на коже, то перегорали лампочки в комнатах. Но ответ пришёл всему происходящему не сразу. Падам не ожидала, что ответ внезапно настигнет. Она бежала весело домой с работы, не замечая, что происходит вокруг. Оказывается, несколько пожарных машин оцепили улицу. Люди с вёдрами пытались потушить пожар в хлеву. Хорошо, что овцы и коровы с утра паслись на поле и совершенно не подозревали, что происходит дома. А пожилые женщины сочувствовали Ключнице. Её тучная фигура стояла, как скала. Могучие руки она скрестила в ладонях за спиной. А муж её сидел тихо, опустив голову, рядом на деревянной скамейке, иногда поглядывая на происходящее. Она долго смотрела и не отвечала никому ни на сочувствия, ни на что и поджимала губы. И наконец из её глаз покатилась слеза.

— Как только эта невестка Падам переступила порог нашего дома, так весь достаток и покинул нас! — заявила она утвердительно, посмотрев на Падам, которая только начинала вникать в происходящее и активно облизывала вафельный рожок с мороженым.

Да Падам сама собиралась уйти от этого Япона. Он уехал в Гагру и всё время разрисовывал там стены. Когда ему ни позвонишь — то замок расписывает в спальне, то цветы на кухне, то Белоснежку и семь гномов в детском садике. И когда Ключница шла с мукой в сторону кухни, кто-то спросил, где же Япон и почему его не видно. Она повысила голос в ответ:

— Он звёзды... звёзды сейчас рисует в Гагре!

И пошла дальше. А Падам ринулась собирать вещи. Ведь не случается вот так, что неожиданно человек осознаёт, что всё закончилось. Всё начинается постепенно. И потом как прорываются восклицательные знаки, после бесконечных многоточий и запятых. И, погрузив чемоданы с вещами в оранжевую «пятёрку» Щавэда, Падам развернулась и ринулась в кухню Ключницы, откуда забрала четыре рожка с фисташковым мороженым, которые она собиралась съесть вечером за просмотром индийского фильма «Жажда мести».

А через два дня Падам вернулась снова к Ключнице и долго ходила по огороду, не могла найти три полотенца, которые повесила пару дней назад на бельевую верёвку. Оказывается, когда поднялся сильный ветер, то полотенца совершили небольшое путешествие до соседних теплиц.

А ещё под абрикосовым деревом, где висели подсвеченные пять платьев, стояло пианино без клавиш. Когда разворовывали Дом культуры в войну, она притащила это пианино, погрузив его с Щавэдом на оранжевую «пятёрку». Брат не мог понять, зачем ей пианино без клавиш. С пианино сняли все клавиши и украли. Но Падам объясняла, что ей жалко инструмент, так как он остался без главного и теперь точно никому не был нужен. И это очень несправедливо.

Единственный человек, с кем она продолжала переписываться и сохранять общение, кроме троюродного брата из Бельгии, это был киргизский друг из Бишкека, бывший одноклассник. В школе они основали рок-группу и играли для друзей, мечтали покорить мир. Падам музицировала на пианино, а он ритмичным постукиванием поддерживал фон на двух металлических вёдрах. Их группа называлась «Клавиши Падам». «Всё это... весьма не бессмысленно», — говорил их директор школы.

«Ничего, скоро мы выстрелим!» — писал киргизский друг многозначительно в письмах, адресованных шестидесятитрёхлетней Падам, усиливая сказанное восклицательными знаками, имея в виду прорыв в карьере в будущем знаменитой группы.

Падам действительно выстрелила отцовской охотничьей винтовкой поверх головы брата, когда снова пришла его жена жаловаться, что Щавэд пьёт. С тех пор он больше не выпил ни одной капли.

Последний раз Падам приходила к нам в четверг с пиалой, наполненной конфетами. У нас принято по четвергам раздавать что хочешь из еды в трёх семьях. Падам долго о чём-то говорила, вспоминая детские дискотеки и посиделки в библиотеке, вдруг как-то замялась и произнесла, улыбаясь:

— Говорят, в аду будет очень жарко. Интересно, как это я туда… со своим высоким давлением?

Мы не знали, что ответить.

Когда новые хозяева рубили абрикосовое дерево, то мне казалось, что вместе с ветками дрожат все эти платья. Но их не было. Одна из незнакомых женщин, которая сжигала будку Рекса, в какой-то момент напомнила Падам из-за широкого белого платья.

Она надевала летом только белые широкие платья с короткими рукавами. А на голове я часто замечал, когда она подметала во дворе, огромный кораблик на голове, сделанный из газеты «Ленинан некъ». И так как её забор был невысокий, то кораблик из газеты проплывал то в одну сторону, то в другую. И красовалась большая надпись на заборе: «Лучше ужасный конец, чем ужас без конца».

Говорят, что Падам уехала в Бельгию к троюродному брату с надеждой найти продюсера, чтобы возродить рок-группу «Клавиши Падам». Но при входе в аэропорт охранники спросили, что в бумажном стаканчике, а там было не что иное, как кофе. Она пошутила:

— Бомба! — и громко засмеялась.

Её задержали, потом отпустили, но самолёт вылетел без неё. Пришлось выбрать другой рейс, только на следующий день.

Просто… Я хотел сказать, что во втором классе всех заставили написать письмо Деду Морозу и попросить всё, чего хотим. А так как я не любил читать книги, а родители заставляли, то попросил Деда Мороза, чтобы в Дом культуры свалилась настоящая бомба и взорвала его, чтобы не приходить туда больше за книгами. И под Новый год в Дом культуры действительно упала настоящая бомба и всё там разнесла. Я всё время намеревался рассказать об этом Падам, так как чувствовал вину, но так и не решился. Но клавиши точно не я украл.

ДиН симметрия

Андрей Белый

Из романа «Котик Летаев»

(Вышел отдельным изданием в 1922 году)

Непробудности мне роились *до яви* —

— в кипениях я и жил и боролся! —

— непробудности, неподобные снам…

Нет, не сны они, а — сказал бы я —

— подсматривания себе за спину; и — желание тронуться с места; не носимости в вихрях бессмыслицы, развиваемой тысячекрыло, мгновенно и распадающейся в тысячи тысячекрыло летящих смерчей, — не такие носимости в «Я» (с внутри его лежащим пространством), а… — движение в *чём-то*: меня самого (мне пространство сложилось уж)… —

— Тронься — *начиналось, слагалось* — более всего за спиной: что-то такое; оно — не было мною, а было — такое огневое, красное: шаровое и жаровое; словом — старухинское: почему? Этого сказать я не мог.

Безо́бразие строилось в образ: и — строился образ.

Невыразимости, небывалости лежания сознания в теле, ощущение, что ты — и ты, и не ты, а какое-то набухание, переживалось теперь приблизительно так: —

— ты — не ты, потому, что рядом с тобою *старуха* — в тебя полувлипла: шаровая и жаровая; это она *набухает*; а ты — нет: ты — *так себе, ничего себе*, ни при чём себе… —

— Но всё начинало *старушиться*.

Я опять наливался старухой: наливается так дряблый зоб индюка — в ярко-красные пучности; протяжение, натяжение в окружающем, в глотающем, в лезущем — в суетном, в водоворотнопустом — оказывалось: незримо-лежащим, припавшим, сосущим; стоило тебе тронуться, как оно, лежащее рядом и откровенно старушечье, —

— опрометью кидалося прочь; на мгновение становилось мне зримо: —

— будто таяла сама тьма огневыми прорезями: молнийный многоног огнерогими стаями распространялся и бегал в исколотой, чёрной тверди… —

— тогда вспыхивал ярый шар и… —

— в красный мир колесящих карбункулов распадались темноты…

Марат Валеев

Трактат о бане

Валенки подшитые

В селе Пятерыжск на северо-востоке Казахстана, в котором наша семья прожила с середины пятидесятых до середины восьмидесятых, главной зимней обувью как у взрослых, так и у детей были валенки (мы их обычно называли пимы). Морозы в этих краях порой достигают до минус сорока градусов, а то и ниже, что и неудивительно: рядом Западная Сибирь. Причём у родителей валенки были двух видов: рабочие и выходные, в которых они ходили в сельский клуб на киносеансы или редкие концерты и в гости.

Это была самая оптимальная обувь для зимы: тёплая, не скользкая. Валенки изготовлялись в валяльном цеху Железинского райбыткомбината из так называемой давальческой шерсти, то есть заказчик привозил накопленную овечью шерсть и сдавал её в мастерскую, из которой и валялись (раскатывались, отсюда ещё одной название этой уникальной зимней обуви) катанки.

Уже будучи сотрудником районной газеты, я однажды пошёл в этот цех за репортажем о работе валяльщиков. И был неприятно поражён тем, как трудно в этом помещении дышать от большого количества войлочной взвеси в воздухе, назойливого запаха мокрой шерсти, хотя в нём и была вентиляция. Определённо, это производство относилось к вредным. И вот здесь сотворялись очень приличные валенки, которые заказывали жители не только Железинского, но и других районов Павлодарской и даже соседней Омской областей.

Однако, как бы ни были они хороши, подошвы у валенок, сожалению, со временем стирались и истончались, вплоть до появления в них дыр. И чтобы не допустить этого, истоптанные уже катанки, а то ещё и новые, подшивались вырезанными из голенищ старых накладками. После чего валенки могли послужить своему хозяину ещё не одну зиму.

Этим ответственным делом у нас занимался отец. У него всегда были наготове моток дратвы (специальной прочной нити, которая смолилась путём протаскивания её через кусок вара) и шило. Из моих детских впечатлений запомнилась одна жуткая картина, связанная как раз с подшивкой валенок.

Случилось это ещё в далёкие пятидесятые годы, зимой. Мы тогда жили в небольшой саманной мазанке на две комнаты. Дальняя была отведена под горницу, она же родительская спальня, а другая, с печкой, была и кухней, и детской. Детей тогда у родителей было двое — я да мой младший брат Ринат, и спали мы с ним на одной койке.

И вот однажды рано утром я просыпаюсь от запаха табачного дыма и поскрипывания табуретки. Отец, с папиросой в зубах, сидел у топящейся печи и при свете керосиновой лампы (в ту пору в селе была дизельная электростанция, и электричество она производила только с шести утра до двенадцати ночи) и перед уходом на работу подшивал чей-то валенок.

Я, не высовывая голову из-под одеяла, в щёлочку с интересом наблюдал за ним. Отец, засунув левую руку с дратвой глубоко в валенок, правой протыкал подошву и наживлённую к ней войлочную накладку, цеплял крючком шила дратву и продёргивал её наружу.

На плите дребезжала крышка закипающего чайника, мама хлопотала у стола, накрывая для отца завтрак. За моей спиной мирно посапывал братишка, на белёных стенах шевелились большие тени родители. А за заиндевелым окном было всё ещё темным-темно, и голая кленовая ветка, раскачиваемая ветром, иногда царапала стекло.

Эта умиротворяющая семейная идиллия вскоре сморила меня, и я стал засыпать. Как вдруг отец негромко вскрикнул и выругался.

— Ни булды, Хасян? (Что случилось?) (родители между собой всегда говорили по-татарски, пытались и с нами, но мы, понимая их, отвечали на русском, давало знать о себе постоянное общение с русскими ребятишками) — всполошилась мама и подскочила к отцу.

Я тоже живо выбрался из-под одеяла и сел, не отрывая глаз от происходящего и ещё не понимая, что же произошло.

— Кит миннян! (Отойди от меня!) — скомандовал матери отец (она, побледневшая, стояла рядом), на секунду замер, потом глубоко вздохнул и резко рванул правую руку в сторону.

Сморщился и вынул левую руку из валенка. Большой палец был весь в крови, она обильно, почти ручейком, закапала на пол. Мама вскрикнула и пошатнулась.

— Да ладно тебе,— буркнул отец, положил валенок на угол печки и, подойдя к рукомойнику, стал омывать окровавленный палец.

Оказалось, что он нечаянно подставил в валенке палец под шило и проткнул его. А шило ведь было с крючком, и вытащить его так просто, мягко говоря, было не так-то просто — только сильно рванув в сторону и вырвав клок мяса, что отец и сделал.

Мама метнулась в горницу, вернулась с белым чистым носовым платком. Она туго перемотала отцов палец, и платок тут же заалел, промокнув от крови. Я по-прежнему сидел молча, вытаращив глаза.

— Ну чего ты, чего? Испугался, что ли? Ерунда, мне не больно совсем. Спи давай, рано ещё,— отец потрепал мой чубчик здоровой рукой и… уселся пить чай.

А потом, сняв повязку и подождав, пока мама обильно польёт ранку йодом и снова перевяжет её, он отправился на работу — возить корма для коров на ферму.

Тогда мне всё это показалось необычайным, страшным. Но со временем, подрастая и наблюдая за отцом, я понял, что вот такие мужские поступки, связанные с преодолением боли, с жёсткой решимостью в необходимых случаях, для него дело привычное, о чём говорило обилие шрамов на его теле. Я и сам однажды ножом вскрыл себе сводившую меня с ума от боли опухоль на десне (дело было на даче, где ждать медицинскую помощь было неоткуда). И ничего, лишь прополоскал рану водкой — и выжил. Бывали и другие случаи, вспоминать о которых не хочется, да и не время.

Вернёмся к валенкам, они же пимы. Как только палец на руке отца немного зажил, он довёл работу с ними до конца, а потом взялся за другую. Так что наша семья, благодаря сноровке отца, всегда ходила зимой в хорошо подшитых валенках. А я вот не умею этого делать. Хотя уже и не надо…

А внизу — дядя Тапень!..

Зимние каникулы! Их мы ждали с не меньшим нетерпением, чем летние. Ведь зимних забав в деревне хоть отбавляй: тут тебе и катание на коньках на замёрзшем льду озера или осеннего разлива Ручьинки у Рощи, и подлёдная рыбалка, и поход на лыжах через Иртыш, и катание на санках с крутого старого иртышского берега — спуска к огородам.

Но поскольку зимой день короток, а после школы надо и родителям по хозяйству помочь, и хоть часть уроков сделать, на эти забавы времени абсолютно не оставалось: глядь в заиндевелое окно — а там уже багровый (к морозу) вечерний закат и быстро надвигающиеся ночные сумерки с яркими, слабо мерцающими звёздами в тёмном безоблачном небе. Так что на зимние игры оставалось разве что воскресенье.

А в каникулы — это ж две недели свободы! В шестидесятые Пятерыжск был особенно населён и детей было много, так что в зимние каникулы на льду пойменных озёр, на крутой укатанной береговой горке просто звон стоял от счастливых криков и смеха ребятишек.

Коньков настоящих тогда почти ни у кого не было, к валенкам туго приматывались деревянные бруски с прилаженными к ним проволочными полозками, вот на них-то мы и рассекали со скрежетом по льду на Малом взвозе или у Рощи, гоняя самодельными же деревянными клюшками шайбы (а вот шайба, помню, почти всегда была настоящей — где-то доставали).

Но больше всего детей — и мальчишек, и девчонок — суетилось на горке, уже названном спуске к огородам под берегом. Этот взвоз (как раз напротив дома Копейкиных дяди Тимоши и тёти Физы) был самым крутым — как помнится, с уклоном градусов в тридцать-сорок,— из всех имеющихся в деревне, и длиной в несколько десятков метров.

Он предназначался преимущественно для пешего спуска сельчан, как я уже говорил, к расположенным под берегом на чернозёмной луговине огородам, для выгона гусей и уток, телят на луговые пастбища летом и поения коров из бьющего внизу из песчаного обрыва большого ручья зимой.

На чём только мы не съезжали с этой горки, с радостным визгом от захватывающей скорости, от бьющего в лицо встречного ледяного ветра! Лучше всего, конечно, было скатываться на заводских санках — с алюминиевыми полозьями, с решётчатой крашеной седушкой!

Такие санки и скользили хорошо, и обратно вверх их затаскивать было легко (за день-то удавалось съезжать до десяти и больше раз, дождавшись своей очереди — да-да, именно очереди, потому как здесь действовал самый настоящий постоянно движущийся конвейер из двух-трёх десятков ребятишек: пока одни, плюхнувшись животом на санки или солидно усевшись на них, нередко — по двое, скатывались вниз, другие, краснощёкие, все изгвазданные в снегу, вереницей карабкались обочь спуска вверх, таща на верёвочных, ремённых или проволочных поводках санки.

У кого не было санок — те лихо скатывались вниз в корытах или тазиках, часто — вываливаясь из них и с хохотом кувыркаясь по накатанной колее. Катались также, стоя на самодельных самокатах из толстого, специального выгнутого в кузнице прутового железа.

Несколько раз видел, как взрослые парни (восьмиклассники для нас, учеников третьих-четвёртых классов, казались уже взрослыми — они были выпускниками) толпой с гоготом скатывались вниз на самых настоящих конных розвальнях с торчащими вверх специально подвязанными оглоблями!

Но верхом совершенства и предметом всеобщей зависти нам всем тогда казались санки, сотворённые с немецкой основательностью и добротностью дядей Адольфом Ляйрихом для своих сыновей Сашки и Вовки! Основой их было то же прутовое железо, овально выгнутое таким образом, что низ служил полозьями, а верх — рамой, на которой намертво было прикреплена толстая и достаточно широкая и длинная, гладко обструганная плаха-сиденье.

На этих санях, не мелко дребезжащих на ходу, как разбитые алюминиевые, а солидно покрякивающих и плавно покачивающихся на стремительном ходу, сразу могли уехать вниз несколько человек! Причём быстрее и куда дальше, чем на обычных санках.

И желающих прокатиться на ляйриховских санках, конечно, было хоть отбавляй! Надо сказать, что Сашка с Вовкой не жадничали и давали попользоваться своими санками хоть раз в день всем желающим.

Там, внизу, из снежных блоков был сооружён самодельный трамплин, предназначенный для лыжников-старшеклассников. Но иногда на него наезжали и безрассудные саночники, что заканчивалось обычно разбитыми носами и сломанными санками. Потому трамплин это мы всё же избегали.

Но однажды один из братьев Ляйрихов, то ли Сашка, то ли Вовка, один наехал на стремительно мчавшихся санях на это возвышение. И воспарил! Он, слившийся с седушкой, пролетел метров, наверное, с десять, с глухим стуком обрушился на веерно раскатанный многими санками и лыжами скат за трамплином и ещё по инерции проехал по нему пару десятков метров.

Мы думали — отбил всё себе, к чёртовой матери, надо идти поднимать его и нести домой. Но Сашка (или Вовка?) сам сполз с санок и, взяв их за ремённый поводок, слегка прихрамывая, потащил к подъёму в горку. К нему уже сбежал брат, и скоро они оба были вверху. И Вовка (или Сашка?!) возбуждённо рассказывал:
— Лечу я и вижу: дядя Тапень внизу подо мной! Корову гонит от ручья и мне прутом грозит: «Я те полетаю!»

Мы не видели ни дяди Тапеня (был у нас такой в деревне мужичок-казах с таким вот странным именем и не менее странной для казаха профессией — свинопас), ни его коровы. Но видели, как высоко летел на своих знаменитых санках один из братьев Ляйрихов. И мало ли что могло быть там, внизу?..

Эх, зимние школьные каникулы! Многое бы я отдал, чтобы хоть ещё раз ощутить на себе их непередаваемое очарование…

Трактат о бане

Бани есть у всех народов. Ну, если не у всех, то у многих. Но широко известны при этом в основном турецкие хамамы, финские сауны и русские бани. Нет, в обратном порядке, так будет справедливее. Что это такое — баня, нам доходчиво растолковывает всё знающая Википедия: «Баня в русском понимании — помещение, оборудованное для тёплого мытья человека (в технической форме парной бани) с одновременным действием воды и горячего воздуха (в турецких и римских банях) или воды и пара (в русской и финской бане). Часто в русское понятие бани вкладывается весь комплекс действий, осуществляемых человеком в жарких помещениях в лечебно-профилактических, реабилитационно-восстановительных, развлекательно-оздоровительных, культовых (ритуальных) и досуговых целях». Ну а я бы сказал проще: баня — это праздник для души и тела, и, полагаю, вряд ли кто возьмётся оспаривать эту истину.

Я почему-то помню первые свои помывки в бане с возраста, когда мне было лет десять, пожалуй. Мы тогда уже жили в Пятерыжске, бывшем казачьем форпосте на Иртыше, коренные обитатели которого, естественно, знали толк в парных. У нас своей бани не было, и родители ходили с нами, детьми, к соседу через дорогу, трактористу Михаилу Петровичу Кутышеву. Как мы там мылись, как выглядела баня — почему-то не запомнилось. Может быть, потому, что я ещё толком не распознал этого «праздника для души и тела» и походы в баню для меня и моих братишек были чем-то вроде обязательной повинности. Не то чтобы неприятной, но, на мой тогдашний взгляд, не особенно продуктивной. Поскольку потраченное на баню время можно было с большей пользой провести на улице, в играх со сверстниками.

А вот родители, особенно отец, всегда относились к банным дням с особым пиететом. И, уже помытые, распаренные, со светящимися умиротворёнными лицами, ещё долго заседали после помывки за столом у Кутышевых, в центре которого сипел испускающий блики большой никелированный самовар. Но пили взрослые, конечно же, не только чай: родители обязательно несли с собой бутылочку и что-нибудь из своей закуски для общего стола. И такие послебанные посиделки затягивались не на один час.

Потом мы стали ходить в баню к своим родственникам Саттаровым (сестре отца Сагадат-апа) — они купили дом у семьи моего одноклассника, Валерки Писегова, с баней. Она была небольшая совсем, по-моему, плетушка (это когда пространство между двумя сплетёнными из ивовых прутьев стенок засыпается землёй), но по жару — просто термоядерная, уши начинали сворачиваться в трубочку уже в предбаннике. Кто-то скажет: а зачем так измываться над собой? Так ведь и не каждый ходил мыться в такой жар, пропуская вперёд тех, кому это по нраву.

Обычно первыми шли большие любители попариться, как, например, мой отец. Тут я веду рассказ уже о ту пору, когда на нашу семью совхоз выделил аж четырёхкомнатную квартиру с отоплением от автономного котла, и мы сами построили у себя во дворе из саманного кирпича уже собственную баню.

Так вот, отец делал по несколько заходов в парную, хлеща себя веником с небывалым остервенением, при этом рыча и взвизгивая. Попарившись, он, багровый как рак и с прилипшими к телу берёзовыми листьями, вылетал из бани и падал в снег (зимой его обычно во дворе было много, и к хозяйственным постройкам расчищались лишь тропки), катался в нём и опять бежал в парилку. Домой он уже почти полз, настолько бывал обессилен, и долго потом отлёживался на диване, приходя в себя.

И уж после него в баню поочерёдно шли остальные члены семьи, кому такой сильный жар был не нужен. Но с годами и я распознал прелесть самоистязания веником в раскалённой парной, после которого наступает телесное и духовное обновление и тебя посещает истинная благодать. Заковыристо сказал, да? Но истинные любители попариться меня, надеюсь, поняли. И уже в шестнадцать-семнадцать лет я с удовольствием поддавал пару—по чуть-чуть, как учил меня отец, окатывая из ковша раскалённые камни, отзывающиеся громким шипением. И пара при этом в бане практически не было видно, кроме струящегося, почти прозрачного, как кисея, жаркого марева. Вот это и был правильный, почти сухой, он же целебный, пар, избавляющий от простудных, ревматоидных и прочих заболеваний, ну или хотя бы облегчающий их.

В армии, куда меня призвали в ноябре 1969 года, париться поначалу было негде. В нижнетагильской учебке, где я провёл первые полгода службы, мыться нас строем водили в одну из ближайших городских бань. Помню, как нас, призывников, перед первой помывкой предварительно всех остригли налысо, а после сразу переодели в новенькое обмундирование, и мы тут же на какое-то время перестали узнавать друг друга, поскольку стали выглядеть совершенно одинаково.

Париться тогда было некогда—нам давали время лишь на помывку, без прочих излишеств, и в парилку если удавалось заскочить, то лишь на несколько минут. Последующие полтора года армейской службы также не удавалось толком попариться—всё бегом, бегом: пока один взвод помылся, ополоснулся, уже следующий его подпирает... Да и парилки толковой не было в самодельной солдатской бане. И уже лишь дома, после увольнения в запас, я отвёл душу—за три или четыре захода в парилку исхлестал об себя весь берёзовый веник, лишь прутья от него остались!

Ну а дальше вновь потекла размеренная гражданская жизнь, с обязательными еженедельными помывками в бане. Это была или коммунальная в райцентре, где я через год после возращения из армии стал работать в районной газете, или дома у родителей, к которым я время от времени наведывался по выходным, или—реже—у кого-либо в гостях в многочисленных командировках по совхозам района.

При поступлении в университет в Алма-Ате живущий там к тому времени мой одноклассник Вовка Гончаров подговорил меня съездить в общественную баню суперкласса «Алма-Арасан». Ничего подобного в своей жизни я ещё не видел: это был самый настоящий дворец, выложенный из мрамора, гранита, с венчающим крышу голубым куполом. А внутри баня выглядела ещё роскошнее, она просто вся сияла, отделанная благородными материалами, разукрашенная панно, картинами...

Ну с чем можно было сравнить её внутренне убранство? Разве что с Московским метрополитеном (простите меня, неискушённого, за вольность такого сравнения, но вот так запомнилось). В «Арасане» можно было помыться и попариться в русской, турецкой банях, попотеть в финской сауне, охладить раскалённое паром тело в бассейне. Помню, как я, блаженствующий, лежал на тёплой воде спиной и смотрел в перевёрнутую чашу купола на потолке, из сквозного круглого отверстия которого внутрь бани, прямо на купающихся в бассейне, медленно падали снежинки (была то ли ранняя весна, то ли уже начало зимы, запамятовал)...

В процессе купания мы с Володей, завёрнутые в белые простыни, как римские патриции в тоги, выходили к кафе и с благостными розовыми лицами пили душистый чаёк из самовара, закусывая печеньем, конфетами. Негромко играла музыка, туда-сюда неспешно проходили такие же румяные «патриции». Отдохнув малость, мы снова шествовали в парную.

Я бы с удовольствием провёл в такой бане-дворце целый день. Но, увы, мыться в «Арасане» хотели многие, и потому сеансы были лимитированы—час, который стоил, кстати, очень неплохих по тем временам денег—двадцать с чем-то рублей! Правда, при желании можно было и задержаться, приплатив энную сумму администратору мимо кассы. Я уже не помню, воспользовались ли мы с Вовкой такой возможностью. Но то посещение благословенного «Арасана» я запомнил на всю жизнь, потому что больше никогда в банях такого класса не был.

А спустя несколько лет, в конце семидесятых, случилось неслыханное событие: в Пятерыжске, в

этом небольшом селе на сто с чем-то дворов, впервые за всю его многолетнюю историю построили общественную баню! Как обрадовались сельчане, особенно те, у кого не было собственных теломоек (во, неологизм придумал!). Да и те, у кого они были, тоже возрадовались. Знаете, протопить баню—это не такое простое дело. Надо и дров хороших запас для неё иметь, и воду всякий раз натаскивать: во вделанный в печь чан—для нагревания горячей и в бочку в предбаннике—для холодной. А после ещё и привести баню в порядок: помыть её, вычерпать сливную яму, если там много накопилось использованной, грязной воды.

А тут заплатил какие-то копейки—и иди, парься и мойся на здоровье, не жалея воды, да ещё и в компании односельчан, с кем можно потрепаться между делом, обсудить какие-то неотложные дела. Ну просто мужской клуб! Конечно же, и женщины мылись в этой бане, но, разумеется, в установленный день. Баня работала, если не ошибаюсь, несколько дней в неделю и успевала обслужить всех желающих. Я тоже помылся в ней пару раз и остался вполне доволен.

Пар, правда, был очень влажным—он извлекался не из каменки, а из нескольких труб с просверленными в них отверстиями. Открыл вентиль—и пар, зашипев, засвистев, быстро начинал заполнять парилку густым горячим туманом, обволакивая тела моющихся и заставляя их обильно потеть и тем самым, через раскрывшиеся поры, очищать кожные покровы.

Как бы то ни было, но пятерыжцы очень любили свою баню. К сожалению, просуществовала она недолго: с перестройкой в девяностые годы совхоз «Железинский», четвёртым отделением которого и был Пятерыжск, развалился, всё производство свернулось, а вместе с ним сгинули и все объекты соцкультбыта: клуб, детский сад, даже магазины, что уж тут говорить про баню. И снова мои односельчане моются в своих банях или у соседей. Ну да это не беда. Главное—им есть где помыться.

Следующий этап моей жизни, причём самый значительный, пришёлся на Крайний Север. Я двадцать два года прожил в Эвенкии, куда уехал в 1989 году по приглашению газеты «Советская Эвенкия». Здесь, недалеко от полярного круга, где морозы зимой достигают шестидесяти градусов, а сама зима длится полгода, существует настоящий культ бани. Где ещё в долгие зимние вечера отогреться душой и телом, как не в баньке? И потому в столице Эвенкии, посёлке городского типа на пять с небольшим тысяч человек, где есть две коммунальные бани, ещё «до кучи»—несколько десятков частных.

Обе общие бани (одна на берегу Тунгуски, другая у ручья Гремучий, между ними расстояние всего в несколько сот метров) имеют прекрасные парные, с сухим паром, который получаешь, подкидывая кипяток во вмурованные в печи обрезки здоровенных труб с раскалёнными внутри добела камнями. Мы с женой попеременно ходили в обе эти бани. С собой обязательно брали чаёк с брусникой, берёзовые веники покупали там.

Помню, как в первый год нашего пребывания в Эвенкии, в ноябре, когда уже ударили морозы за сорок (конкретно в тот день—минус сорок восемь), мы со Светланой в очередную субботу пошли в ту баню, которая поменьше,—на берегу ручья Гремучий. Оделись потеплей и—хруп-хруп-хруп по снегу, выдыхая клубы морозного пара, поспешили к ждущей нас, как мы думали, парной. Пришли, а там—замок висит и записка: «Баня не работает». Почему—объяснений никаких.

Что делать—идти домой, не помывшись? Но это было не в наших правилах, и мы потопали по этой жуткой стуже почти за километр на другой конец посёлка, к Нижней Тунгуске, где располагалась центральная баня. И ничего, дошли и хорошенько отогрелись в парной (каждый в своём отделении, конечно), помылись и, просветлённые и чистые, вернулись домой.

Но мне всё же больше нравились, да и нравятся, частные бани, в которых нет очередей, не надо толкаться локтями и прочими оголёнными частями тела у кранов с холодной и горячей водой, и на полкé в парной сам себе барин, и поддаёшь пару сколько тебе надо, а не прислушиваясь к пожеланиям соседей («Э-э, погоди, ещё прежний пар не разошёлся!»). До сих пор добрым словом поминаю крошечную баньку у нашего редакционного водителя Володи Антипина, срубленную из лиственницы. Она у него скромненько устроилась среди огуречных и помидорных грядок в огороде, у крутого, сплошь поросшего лиственницей и кустарником склона над бормочущим внизу ручьём Гремучий, стекающим в приток Тунгуски—Кочечум.

Банька размером где-то всего три на два метра. Но всё было при ней: и предбанник, и каменка, и полóк, и запас берёзовых веников. А малые размеры помогали ей в суровые эвенкийские морозы быстрее нагреваться, и пар здесь был просто термоядерным: аж уши в трубочку скручиваются!—говорят в таком случае. И всякий раз, когда Володя говорил как бы между прочим, что вот, баньку собирается истопить, я тут же, тоже как бы между прочим, спрашивал его: а что, хватит ли у него пару ещё на одну пару желающих попариться? И, конечно, пару на нас хватало. И ещё оставалось.

Построив новую, более просторную баню, буквально в десяти метрах от старой, Володя долго продолжал пользоваться прежней—видимо, и сам никак не хотел расставаться со старой, такой родной, обжитой, уютной, безотказной. А из новой он сделал... летнюю кухню!

Но чувствую, пора уже закругляться — ведь про баню, эту непременную спутницу жизни всякого чистоплотного человека, можно писать бесконечно. К сожалению, переехав в большой город, я практически лишился возможности регулярно посещать частные, да и вообще — даже коммунальные бани и обхожусь, как всякий горожанин, ванной и душем. Но это всё не то, не то. И потому, как только оказываюсь в селе у кого-то из родных, непременно прошу истопить баньку. Да их и просить не надо: все они знают, что я большой любитель попариться. Или, вернее будет сказать, — профессионал!

ДиН симметрия

Эдуард Багрицкий

Из цикла «Тиль Уленшпигель»

ТИЛЬ УЛЕНШПИГЕЛЬ

монолог

Я слишком слаб, чтоб латы боевые
Иль медный шлем надеть! Но я пройду
По всей стране свободным менестрелем.
Я у дверей харчевни запою
О Фландрии и о Брабанте милом.
Я мышью остроглазою пролезу
В испанский лагерь, ветерком провею
Там, где и мыши хитрой не пролезть.
Весёлые я выдумаю песни
В насмешку над испанцами, и каждый
Фламандец будет знать их наизусть.
Свинью я на заборе нарисую
И пса ободранного, а внизу
Я напишу: «Вот наш король и Альба».
Я проберусь шутом к фламандским графам,
И в час, когда приходит пир к концу,
И погасают уголья в камине,
И кубки опрокинуты, я тихо,
Перебирая струны, запою:
Вы, чьим мечом прославлен Гравелин,
Вы, добрые владетели поместий,
Где зреет розовый ячмень, зачем
Вы покорились мерзкому испанцу?
Настало время, и труба пропела,
От сытной пищи разжирели кони,
И дедовские боевые сёдла
Покрылись паутиной вековой.
И ваш садовник на шесте скрипучем
Взамен скворешни выставил шелом,
И в нём теперь скворцы птенцов выводят,
Прославленным мечом на кухне рубят
Дрова и колья, и копьём походным
Подпёрли стену у свиного хлева!
Так я пройду по Фландрии родной
С убогой лютней, с кистью живописца
И в остроухом колпаке шута.
Когда ж увижу я, что семена
Взросли, и колос влагою наполнен,
И жатва близко, и над тучной нивой
Дни равноденственные протекли,
Я лютню разобью об острый камень,
Я о колено кисть переломаю,
Я отшвырну свой шутовской колпак,
И впереди несущих гибель толп
Вождём я встану. И пойдут фламандцы
За Тилем Уленшпигелем вперёд!
И вот с костра я собираю пепел
Отца, и этот прах непримеренный
Я в ладонку зашью и на шнурке
Себе на грудь повешу! И когда
Хотя б на миг я позабуду долг
И увлекусь любовью или пьянством
Или усталость овладеет мной, —
Пусть пепел Клааса ударит в сердце —
И силой новою я преисполнюсь,
И новым пламенем воспламенюсь.
Живое сердце застучит грозней
В ответ удару мертвенного пепла.

1918, 1922, 1926

Сергей Пылёв

Xаристо

На Небе нет нуждающихся:
там все блага преизобилуют.
Из «Размышлений христианина
об Ангеле Хранителе
на каждый день месяца»
(по изданию 1890 г.)

Мы не грустим, даже когда нам с точки других народов явно плохо.
Но чтобы нам было самим плохо, этого добиться практически невозможно.
Сергей Пылёв

Виктор Прокофьевич сосредоточенно пригляделся: мимо его дома по набережной на фоне загустевшего сине-зелёными водорослями Воронежского моря, сейчас похожего на огромный луг с тяжёлым тухлым запахом, катился велосипедист—мужичок-худышечка лет несколько за шестьдесят, седенький, сильно ссутулившийся и через то похожий на горбуна. Эка, казалось бы, невидаль! Но была у этого путешественника одна серьёзная особенность, которую никак нельзя было не заметить: у его ве́лика отсутствовали обе педали. Так что он катил свою технику как мальчишечка самокат—размеренными толчками левой ноги. Шарк-шарк-шарк… Упорно так. Как ни в чём не бывало. Мы, мол, такие. Завсегда. Нам пальца в рот не суй.

Сей абсурдный способ передвижения невольно навёл Виктора Прокофьевича Степанова на стезю его привычных больных размышлений: годы его крайние, серьёзные, то есть пожито им от души, но ему так и не довелось увидеть, чтобы главный человек в нашей стране, так называемый «простой», жил нормально, в достаточном благополучии, а не наперекосяк, как обычно оборачивается для него здешнее пребывание.

Правда, был прецедент. В годы оные как-то власть замахнулась порадовать своих вассалов… Что тогда такое особенное на Никитку Хрущёва нашло?.. Откуда только объявилось в нём невиданное рвение сотворить из бродившего по Европе призрака коммунизма в конкретные двадцать лет самый что ни на есть настоящий, реальный, хлебосольный?

Вспоминать тошно. И забыть невозможно. Особенно горячечное заверение Никиты Сергеевича в канун коммунизма показать советскому народу—нет, не кузькину мать, а последнего попа! До сих пор особая невиданная бравурность того времени перед глазами стоит…

С младых ногтей ожидание построения коммунизма стало у Вити самой настоящей путеводной звездой: крепко, зачарованно уверовал он в «кукурузника»… А как не прийти в восторг перед грядущими светлыми горизонтами, которые тот распахнул шире небес?.. Ведь никто и предположить в те годы не мог, куда заведёт их этот разоблачитель культа личности. Неспроста какой-то там скульптор Никите Хрущёву посмертно на могильном надгробии голову сделал из белого мрамора и чёрного гранита: свет и тьма.

Поныне Виктор Прокофьевич, как найдёт на него тоска по несбывшемуся коммунизму, в сердцах обложится томами Маркса, Ленина да Сталина, Макиавелли, Кампанеллы или того же Платона—всем, что умные и не очень люди понаписали за века и тысячелетия о загадочном светлом будущем… И вчитывается обстоятельно, дотошно, со строгим разумением. Иногда до лихорадки! Упёрто надеясь уловить-таки ответ, на чём и где строительство коммунизма в СССР оскользнулось.

«Известное дело…—бывало, пошучивал на эту тему сосед Степанова по лестничной площадке Анатолий Голомёдов.—С призраками не шутят. Вон у нас под Воронежем, в Рамони, как-то приступили восстанавливать старинный замок принцессы Евгении Ольденбургской, урождённой княгини Романовской. Так тем людям, которые это важное дело начали, вскоре стали являться всякие разные призраки—в итоге почти все они как-то нехорошо, один за другим, вдруг померли… И так это весь тамошний народ привело в трепет, что работы пришлось остановить, и надолго».

За пристрастность Виктора Прокофьевича к высоким размышлениям сосед Анатолий всегда был к нему со всем уважением особо расположен. И как только в жизни российской очередная новость происходила, он тут же и объявлялся перед ним для её пунктуального разбора. А новости регулярно накатывали такие, что мозги враз клинит: то цены на харч невесть почему прыгнули, то лекарства вмиг стали такие, что не укупишь, за оплату ЖКХ половину пенсии отдай, с Украиной никак на мирные рубежи не выйдем, и вообще…

Совсем недавно они более чем встревоженно говорили за недавнее повышение пенсионного возраста. Сам Анатолий был молодым пенсионером, вовремя проскочившим мимо неожиданно грянувших возрастных перемен: ещё недавно слесарь-водопроводчик местного жэка, он второй месяц вдохновенно отмечал своё шестидесятилетие и первую пенсию. Так что обретался с утра до вечера во всей мужицкой простоте—смятых морщинистых трико и растянутой, провисшей майке, застиранно-серой. Только волосы на голове у Анатолия при всём его зрелом возрасте были без единой седой искры, свежо мерцая радужным антрацитовым блеском.

—Возможно, это и в самом деле неизбежность...—строго вздохнул Виктор Прокофьевич.—Во имя улучшения дальнейшей жизни нашего народа.

—Значит, по-твоему, если я сознательный гражданин, мне надо от пенсии отказаться и снова топать на работу в мой любимый жэк?—судорожно вскинулся Анатолий.—Тогда и ты, Прокопыч, отправляйся трудиться прям завтра с утра пораньше в свою рыбокоптильню! А чего? Ты в свои семьдесят два мужик вполне резвый. Потом же, был ударником коммунистического труда! Вкалывать тебе—манной кашей не корми!

Закрыв за соседом дверь, Степанов аккуратно попросил у Алевтины «капелек».

—Что-то сердце заискрило... Как короткое замыкание...

—Я сегодня в храме вечером буду...—робко проговорила Алевтина.—Так и закажу панихиду за твоё здравие... Или даже сорокоуст!..

И тут Виктор Прокофьевич, как это бывало не раз, когда дело доходило до храмовой темы, потянулся к книжному шкафу. Это грандиозное сооружение из маньчжурского тёмного ореха, увенчанное царской короной в цветах, в своё время досталось ему по наследству от деда-краснодеревщика—и было оно работы дореволюционной, рукодельно-старательной.

Он бережно вытянул из общей обоймы томов Платона, Аристотеля, Цицерона или того же Ленина вкупе с Гегелем тоненькую, старательно зачитанную брошюрку «Морального кодекса строителя коммунизма».

Тихо, нежно проговорил:

—Вот она, моя Библия... Я, Алечка, атеист коммунистической закваски, а ты... сорокоуст!

Виктор Прокофьевич усмехнулся. Правда, больше похоже было, что он нервно всхлипнул.

—Если бы не предательство Хрущёва, как бы мы славно жили при коммунизме! Взаимное уважение: человек человеку—друг, товарищ и брат; честность и правдивость, простота и скромность; непримиримость к несправедливости, нечестности и карьеризму... Золотые слова! Такие не стыдно на небесах во всю ширь начертать!

—Сто раз я всё это от тебя, дурака некрещёного, слышала...—одними губами усмехнулась Алевтина.—Только в этом твоём «Моральном кодексе» половина всех слов откуда? Из Нагорной проповеди Господа нашего Иисуса Христа. Недавно наш батюшка говорил в храме, что Путин тоже так считает... И даже главный коммунист Зюганов! Креститься тебе надо! Все твои нынешние переживания ерундой ненужной покажутся. Как на свет народишься!

Виктор Прокофьевич принял корвалол и смущённо зажмурился...

...Летняя утренняя Волга под Сталинградом с ярким парадно-белым корабликом на свежей и словно молодой после ночи воде. Он компактный, манёвренный и называется «речным трамваем». Витенька, будущий Виктор Прокофьевич, рыбокоптильщик морепродуктов воронежского холодильника №2–3, ударник коммунистического труда, сидит с родителями на второй застеклённой палубе в буфете, который ярко пахнет шампанским, пирожными и ветчиной. Он в матроске и кожаных сандалиях с дырочками. Отец, Прокофий Ильич, в белом летнем кителе с кортиком в чёрных лакированных ножнах, курит папиросу «Казбек» из твёрдой распахивающейся пачки, на которой на фоне белоснежных гор летит в чёрной бурке стремительный всадник. Отец только что выпил стакан шампанского и слегка вспотел. Мама, Татьяна Яковлевна, вглядывается вдаль через похожее на линзу толстое горячее стекло иллюминатора, словно пропитавшееся солнцем.

С верхней палубы в буфет, изогнувшись, заглянул экскурсовод.

—Товарищ военлёт, подходим! Уже хорошо видать!—восторженно крикнул он.

Над яркой солнечной Волгой на высоком постаменте с гранитным цоколем стоял двадцатидвухметровый генералиссимус в шинели и с непокрытой головой. Он был так велик, что облака вверху воспринимались всего лишь как дым от его знаменитой трубки. Чеканная тысячетонная медь величаво золотилась на солнце. Сталин со своей святогоровой высоты глядел вдаль с недоступной задумчивостью. Памятник казался живым, но это была непостижимая грандиозная жизнь, в которой человеческий век—лишь короткий миг. Памятник жил вечностью.

—Обратите внимание!—торжественно сказал экскурсовод.—Размеры скульптуры поражают своей колоссальностью! На погоне сталинской шинели может свободно разместиться автомобиль «Москвич»! Пуговицы величиной с офицерскую фуражку!

Он говорил так, словно доверительно приобщал экскурсантов к какой-то одному ему сполна открытой тайне. Это был не экскурсовод, а жрец.

Человек, которого связывало с фигурой на постаменте что-то сокровенное.

— Как задумчив облик вождя! — счастливым голосом прокричал экскурсовод. — Сколько глубоких мыслей на лице!

— Дяденька, а о чём думает товарищ Сталин? — пискнул Витенька.

— Он думает о твоём счастливом детстве! — вдохновенно улыбнулся экскурсовод. — И о том коммунизме, который будет построен в нашей великой стране по его заветному плану!

Он ласково обнял будущего рыбокоптильщика. Волжский ветер трепал ленты Витенькиной матроски. Они оба смотрели на памятник, и все пассажиры неотрывно глядели на этот медный утёс, постамент которого был в крапинках людских фигур, точно засижен мухами. Глядели так, как будто неожиданно увидели близкого, дорогого человека.

— Ур-р-ра! — вдруг крикнул кто-то с такой силой, чтобы наверняка докричаться на высоту памятника.

— Ура!!! — крикнули все остальные.

...Из путешествия во времени Виктора Прокофьевича вернул радостно знакомый звук — в стену его хрущёвки призывно постучал Анатолий. Это ещё издавна установилась у них такая дружеская «морзянка». С шестьдесят восьмого, когда их родители сюда из бараков переехали, а они с Анатолием подобную мето́ду связи завели с мальчишеским озорством.

В общем, как дойдёт у кого из них душевное напряжение до крайности, до надрыва, так вот тебе типа домашней «стены плача» — постучи, и тебе откроют...

— Чего тебе, дорогой? — энергично распахнул он дверь перед соседом, выставив вперёд добродушную улыбку.

— Пару слов сказать... Весьма продуманных и ответственных. Извини, я снова насчёт повышения пенсионного возраста... — многозначительно ёмко проговорил Анатолий. — Эх, Сталина на них нет!

Извиняюще вздохнув, Виктор Прокофьевич решительно шагнул на кухню и взял пару хрустальных увесистых рюмок.

— Предлагаю первый тост — за коммунизм! — ещё, как видно, не совсем покинув свой сон, торжественно объявил Виктор Прокофьевич. — Оказывается, ещё товарищ Сталин хотел построить его в нашей стране! Да не дали ему всякие там хрущёвы. Хочешь, я тебе в реальности изложу, как умирал наш Иосиф Виссарионович?..

Анатолий бдительно напрягся. Подпривстал.

— Мама покойная рассказывала... — Виктор Прокофьевич взволнованно прищурился. — Под большим секретом. Чего ни в каких книгах или самых секретных архивах по истории партии не сыскать. Итак, на дворе роковой мартовский день... Товарищ Сталин мылся в бане... И вдруг почувствовал себя плохо... — Виктор Прокофьевич недовольно оглянулся — к ним важно шла через зал Алевтина с тарелкой только что испечённых жарких котлет с тушёной капусткой. — Спасибо, добрая женщина... Но вернёмся к теме! Итак, товарищ Сталин мылся и вдруг... упал. Глаза Иосифа Виссарионовича закрылись, казалось бы, навсегда. А через стекло двери охране всё это было хорошо видно. Однако ломать её и срочно броситься на помощь они не решились. Кинулись искать Берию. Через час-другой у бани сошлись Лаврентий Палыч, Никитка Хрущёв, Микоян, Маленков, кто-то ещё. Но и всем скопом эти государственные люди робели войти. Точнее сказать, в штаны наложили. А товарищ Сталин всё лежит... А они мнутся, друг друга вперёд легонько подталкивают...

— Ну ты даёшь... стране угля! — с хрипотцой тяжело выговорил Анатолий.

Виктор Прокофьевич строго откинулся на спинку стула, руки опустил со сжатыми отяжелевшими кулаками — чувствовал особенность наступающего момента.

— И тут этот, Хрущёв, на четвереньки опустился... Выждал. Даже зачем-то принюхался. Пригляделся... Так и эдак. А далее лёг и пополз по-пластунски вперёд к Иосифу Виссарионовичу: медленно, неуклюже, с оглядкой, напряжённо прислушиваясь к каждому шороху. И наконец-таки достиг товарища Сталина. Ладошку к его лицу протянул... Каков момент! И вдруг оглянулся — бледный, потный, глазки бегают. «Дышит...» — прошептал-пролепетал голосом испуганного донельзя ребёнка. И тогда Сталин, не открывая глаз, сказал им свои последние в этой жизни слова. Тихо, очень тихо, но тем не менее достаточно отчётливо: «Без меня... пропадёте».

— Ах ты как!!! Ёк-моёк! — подхватился Анатолий — судорожно, вёртко. — Спасибо, Прокопыч! Вон оно что, оказывается... Да-а-а... Ладно. Пойду к себе. Хочется обо всём этом сугубо наедине поразмыслить. Если что, я — рядышком! В полной боевой! Артиллеристы, Сталин дал приказ!

— Из сотен тысяч батарей, за слёзы наших матерей, за нашу Родину — огонь! Огонь! — командирски усмехнулся Виктор Прокофьевич. — Что, Толенька, готов ли ты в бой после такого моего рассказа?

— Всегда готов! Спина только немного болит... Под лопаткой...

— В том месте, куда моджахед тебя камнем звезданул?

— Ага...

Анатолий накосо запрокинул назад голову, словно хотел увидеть, каковы же нынешние последствия того боевого ранения. Будто бы полученного им при штурме дворца Амина под Новый год в былом 1979-м.

Виктор Прокофьевич с серьёзной, строгой улыбкой прицельно наполнил рюмку Анатолия.

— На посошок? — нервно-весело отреагировал тот.
— Нет, дорогой. Всё проще... У меня к тебе просьба. Выпей и выполни её: никогда больше не рассказывать мне байки о твоих подвигах в Афгане. Ты, Толян, даже срочную не служил. Извернулся как-то.
— Типа того! — покаянно-весело вскрикнул Анатолий. — Понял, сэр! Есть... Ноу проблем!

Минут через двадцать Анатолий перезвонил на смартфон.
— Если он к тебе сейчас будет лезть с новой бутылкой, я уйду из дому! — ярко побледнела Алевтина, точно её впритык лунным светом озарило.
— Давай без крайностей. Не искри... — напрягся Виктор Прокофьевич и сосредоточенно постучал костяшкой указательного пальца по экрану гаджета.

Голос Анатолия коряво, но прорвался.
— Прокопыч! — шумно, суетно, как с разбегу, заговорил сосед. — Я в нашем магазине. Как от тебя вышел, так сразу пронзительно почувствовал: недопитие у меня. Болезненно-острое. Учитывая глубину твоего легендарного откровения о последних заветных словах товарища Сталина. Я в таком состоянии озвереть могу! Вот и заскочил за чекушкой... Не более того. Это у меня чётко отлажено... А тут, Прокопыч, а тут, в магазине, наш сосед посреди зала на полу мертвецки лежит! Вона как!
— Что за сосед?.. — сдавленно кашлянул Степанов.
— Из пятой квартиры! Михалыч!
— Пьяный?..
— Покойник, Прокопыч!
— Не дури!
— Существенно говорю! Уже трупные пятна по лицу пошли.
— Допился?..
— Оно как бы так, да не так... — потишел Анатолий. И вдруг строго, рассудительно добавил: — Ему полгода до «пензии» оставалось. Он её уже в кармане чувствовал, как там шуршат долгожданные десять тысяч. А теперь пролетел. С грянувшим с небес повышением, так сказать, «пензючьего» возраста! Похоже, инфаркт. Сейчас точно буду знать. Вон фельдшер скорой к нам бежит. Со всех ног! Да ещё чего-то матюкается на весь зал! Может, и его долгожданная пенсия ему кукиш показала?

Этой ночью Виктору Прокофьевичу упёрто не спалось.

Алевтина заботливо напоила его корвалолом, однако незримая стена между явью и забытьём оставалась непоколебима. Точно кто-то наказующе не пускал Виктора Прокофьевича в благодатную сферу сновидений.

Так всю июньскую ночь и просидел он на балконе, понурясь...

...Тут и вспомнился Степанову тот октябрь 1961-го гагаринского года, когда ему, ученику шестого класса, вместе со всем советским народом торжественно распахнулись ворота в счастливое коммунистическое будущее! А трамплином в эту эпоху благоденствия стал ныне всеми забытый двадцать второй съезд Коммунистической партии Советского Союза. Посейчас помнит Виктор Прокофьевич, как они всей семьёй следили за ходом съезда по телевизору. На столе, застланном маминой кружевной белой скатертью, глянцево-блескучей от крахмала, стоял телевизор «квн», который тогда расшифровывался гражданами так: «Купил. Включил. Не работает». С экраном чуть более пачки отцовских папирос «Казбек». Поэтому некоторые умельцы увеличивали изображение с помощью «аквариума» (стеклянной линзы, заполненной водой).

И вот из этого «квна» бойко звучал целыми днями песенно-азартный украинский голос Хрущёва: «Партия торжественно провозглашает: нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме!» Одним словом, впереди наш народ ждёт полная чаша счастья. Только-то и требуется от тебя на пути к нему, что воспитать высокое сознание общественного долга, а также жить по принципу: каждый за всех, все за одного, человек человеку друг, товарищ и брат. Плюс непримиримость к несправедливости, карьеризму и стяжательству...

«Наши цели ясны, задачи определены, за работу, товарищи!»

В ответ на певучий возглас Никиты Сергеевича все пять тысяч ликующих делегатов съезда с восторгом встают все разом, точно взлетев, а их продолжительные аплодисменты вскоре перерастают в бурные, несмолкающие овации. Но даже сквозь шквал этих густых, чуть ли не артиллерийских звуков отчётливо, ярко слышатся громкоголосые лозунги, которые выкрикивают явно к тому назначенные особые люди с особыми лужёными глотками: «Слава кпсс! Да здравствует коммунизм! Да здравствует Никита Сергеевич Хрущёв!!!»

Такому историческому съезду народ «приготовил» и исторические подарки: построил самую крупную в Европе Волгоградскую гэс и взорвал самую мощную в истории термоядерную «Царь-бомбу» на полигоне на Новой Земле.

Отец, уже военный пенсионер, смотрел новости съезда несколько настороженно, покряхтывая. А под конец так и вовсе вдруг выпил полстакана водки и ушёл курить в сад свой неизменный «Казбек». Это произошло после того, как первый секретарь Ленинградского обкома Иван Васильевич Спиридонов с суровой вдохновенностью предложил делегатам съезда принять решение об удалении тела Сталина из Мавзолея. Учитывая будто бы серьёзные нарушения Иосифом Виссарионовичем ленинских заветов, злоупотребление властью, массовые репрессии против честных советских людей и другие антипартийные

действия в период культа личности. А следом делегатка съезда, старая большевичка Дора Абрамовна Лазуркина с мистическим надрывом заявила, что накануне советовалась по этому вопросу… с самим Ильичём!!! И тот будто бы «стоял перед ней как живой» и говорил, что ему «неприятно лежать в гробу рядом со Сталиным, принёсшим столько бед партии»…

— Это с Ленина начались репрессии! — не своим голосом надрывно крикнул в дверь отец. — Не зря народ его Антихристом окрестил!

С того дня Прокофий Ильич, «сталинский сокол», фронтовик, надолго запил… А там его уже поблизости инфаркт ждал, который в народе называли по-простому, понятно — «разрыв сердца»…

Как бы то ни было, страна точно в лихорадке какой-то зажила: для прорыва в коммунизм предполагалось ни много ни мало двадцать лет. На фоне первого полёта в космос всё казалось возможным в великой Стране Советов! Виктор тогда вдохновенно высчитал, сколько лет ему будет, когда грянет эпохальный коммунизм! Тридцать два годка! Ничего. Нормально. Будет он ещё вовсе не старик.

Виктор Прокофьевич поныне помнит, как в октябре шестьдесят первого слова про партию, торжественно обещающую через двадцать лет построить в СССР основы коммунизма, мощно, зримо раскинулись на карнизе крыши строительного техникума на проспекте Революции, заменив бывший обыденный лозунг: «Храните деньги в сберегательной кассе».

Коммунизм — это когда всё бесплатно, у всех всё есть, все всем довольны. У каждой семьи собственная добротная квартира с холодильником и телевизором. Рабочий день — четыре часа. Деньги отменены. Все питаются в общественных столовых. В магазинах бери любые товары, сколько хочешь. Всё равно лишнего не понесёшь в мешке. Автомобили свободно стоят на парковках, уже заправленные и лучшими мастерами досмотренные безопасности ради, — бери любой и езжай куда душе угодно.

И Виктор поверил Хрущёву — восхищённо, самозабвенно, с азартом. Тем более что Никита Сергеевич был для него тогда почти свой: он мальчишкой почти вблизи видел его с плеча отца в апреле 1957-го на митинге на центральной площади, когда Хрущёв приезжал в Воронеж.

«Здравствуй, будущее!» — каждый день звучала тогда из радиоточек во всех квартирах песня Мурадели:

Мы будем жить при коммунизме!
Его рубеж не так далёк.
Трудом мы, подвигом приблизим
Великий день, заветный срок.

И потом, позже, эта вера так и не покинула Виктора Прокофьевича, прошла все испытания на прочность. Вокруг хохот и гогот — анекдоты про Хрущёва, про Брежнева, а Степанов каждого из них упёрто выгораживает, всякому их слову благородно верит: мол, на этот раз в Кремле сел настоящий человек!

Только почему-то в народе не было особого праздника в связи с тем, что бродивший некогда по Европе призрак коммунизма вот-вот материализуется в родном Советском Союзе.

…Хотя некоторые к его приходу и полной победе стали исполнительно готовиться заранее. Соседи Степановых, Уваровы, жившие этажом выше, принялись ежедневно демонстративно ходить с котелками и термосами в ближайшую студенческую столовую за тамошней прогорклой едой, чтобы освободить себя от домашнего кухонного рабства во имя ускорения созидания коммунизма…

А когда однажды директор школы Павел Герасимович Черных, он же преподаватель истории, вызвал Витю Степанова к доске рассказать о том, как воплощается в жизнь моральный кодекс строителя коммунизма, тот машинально назвал Хрущёва просто Хрущёвым. Директор тотчас бдительно и несколько испуганно поправил его с особым идеологическим нажимом:

— Не Хрущёв, а Первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза Никита Сергеевич Хрущёв!

И это не забылось… Когда Виктор оканчивал одиннадцатый класс, Павел Герасимович в его характеристике сурово прописал, что юноша мало интересуется общественно-политической жизнью страны и к построению светлого коммунистического будущего относится с обывательским интересом. У него нет в глазах пламени настоящего комсомольского задора.

Расставаясь навсегда со школой, Витя на выходе чуть было не сбил с ног директора.

— Здрасьте, Павел Герасимович… — ошарашенно выдохнул он. — Извините, пожалуйста…

— Здравствуй, Степанов, юноша младой! — колоратурным серебристым голосом проговорил-пропел директор.

— Павел Герасимович, что же вы мне такую характеристику написали? С ней только в тюрьму… — тихо сказал бывший ученик.

— Я однажды заметил, как ты на улице заинтересованно слушал политические анекдоты… И так прыскал, так покатывался от хохота в ответ на фиглярство антисоветчиков! — Павел Герасимович бдительно прищурился. — Так что ты ещё малой кровью, деточка, отделался…

Витя нахмурился. Тот случай и ему не забылся. Шёл он как-то в школу мимо густо-жёлтой пивной бочки, да шнурок развязался. Пока он с ним управился, мужики азартно гоготали над анекдотами какого-то парня с блатной золотой фиксой на зубе.

— Или вот ещё, дяденьки…Едет Хрущ по автостраде в США. И тут за ним погнались гангстеры. Как быть?! Никитка быстренько настрочил записку и выбросил в окно. Гангстеры как её прочитали, так тут же умчались прочь. И что же он им написал? А написал он, что эта дорога, по которой они едут, ведёт к коммунизму!
— Валяй ещё, малый! — забавлялась толпа, заряженная весёлым лёгким пивным градусом.
— За мной не заржавеет! — прищурился тот. — Ловите! Бабка спрашивает деда: «Дед, а дед, коммунизм учёные придумали или политики?» Тот затылок поскрёб: «Конечно, политики, бабка. Учёные, они бы на собаках сперва проверили…»

Тут и продавщица пива, накрахмаленно-белоснежная да румяная, не сдержалась — так и повалилась на бочку от хохота и объявила, что за такое удовольствие нальёт всей компании ещё по кружке «Жигулёвского» за свой счёт. Неразбавленного! Не успела водички добавить через эти самые анекдоты.
— А я всё равно верю в построение коммунизма, Павел Герасимович! И сейчас верю! — отчаянно вскрикнул Витя и заплакал.

Когда в 1964-м Никиту Сергеевича сняли со всех постов, вера в объявленное строительство коммунизма у Виктора действительно не поколебалась. Странное дело, даже окрепла. Он решил так: к власти пришли новые люди, со свежими силами. И чтобы доказать своё право быть в будущей коммунистической жизни нужным человеком, Виктор решил поступить в университет на физмат, стать большим учёным и создать для защиты коммунизма в СССР самую мощную в мире атомную бомбу.

Однако с характеристикой от Павла Герасимовича его не взяли ни в университет, ни в пединститут, ни в железнодорожный техникум. Бомбу пришлось делать другим…

А Виктор Степанов стал самым молодым коптильщиком рыбы в СССР. А потом и самым молодым ударником коммунистического труда. Его фото на фоне красного знамени разместили в главной партийной газете Воронежа — «Коммуне». С тех пор день ото дня в Викторе прорастала самая настоящая крепкая пролетарская косточка. Через несколько лет он вступил в КПСС. И заветные двери универа наконец распахнулись перед членом партии, строящей коммунизм…

А с третьего курса его отчислили… По состоянию здоровья. Неврастения. Он вообще чуть было не оказался в психушке, когда, наконец, допетрил, что коммунизм в СССР, не начавшись, накрылся медным тазом. А вместо него в заветном 1980-м народу для отвода глаз устроили Олимпийские игры. И когда «наш ласковый Миша», опоясанный олимпийскими кольцами, улетал над зачарованным стадионом в кущи волшебного леса под трогательную песню, Виктор, слыша слова: «Олимпийская сказка, прощай», — воспринимал их как прощание навсегда со своей мечтой о коммунизме.

Три месяца он пролежал в тёмной спальне, горстями поедая элениум и валериановые таблетки. Радио и телевизор не включали. Там по инерции по-прежнему пели про то, что «мы будем жить при коммунизме! Его рубеж не так далёк».

…Виктор Прокофьевич лихорадочно расчувствовался, мысленно оглянувшись на своё двадцатилетнее ожидание торжества всеобщего равенства и братства.
— Я в магазин… — вдруг глухо проговорил он.
— В домашних трико? — дёрнулась Алевтина.
— Тут два шага, Алечка… — судорожно кашлянул Виктор Прокофьевич. — И потом, все там меня знают. Никто не охнет, никто не ахнет.
— Алечкой ты меня сто лет не называл… Не подлизывайся!
— А ты не нагнетай обстановку.
— Всё ясно… — откинув голову, усмехнулась Алевтина. — Ты собрался за бутылкой. Поминки по коммунизму продолжаются? Это прямо твоя религия, атеист ты хренов… Какая там сегодня дата у этой дурацкой затеи твоего Хруща? Сорокалетие? Ладно, иди… — вдруг на удивление смирно, почти ласково проговорила она. — Только поллитровку не бери, пожалуйста. В твои годы это много будет.

У Виктора Прокофьевича в левом глазу слеза объявилась. И почему в левом? Одинокая, сиротская. И уныло застряла во впадинке холодным комочком.
— Откуда в тебе такая сговорчивость объявилась?.. — осторожно усмехнулся Виктор Прокофьевич.
— Запамятовал, дедушка?! — засмеялась Алевтина. — А где я родилась, этого ещё не забыл?
— Ну ты даёшь стране угля… — вскинулся Степанов, с бодрецой повёл плечами. — В селе Калиновка! Курской области.

Алевтина нежно взяла мужа за руку.
— А чем оно знаменито?..
— Включаю память…
— Итак?..
— Не спеши. Дай шестерёнкам в голове как следует провернуться.
— Особенно не напрягайся. А то, чего доброго, шарики за ролики заедут.
— Фу-ты ну-ты, ножки гнуты! — почти молодечески хватил себя по колену ладонью Виктор Прокофьевич. — Это же родина Никиты Хрущёва… Ты столько раз говорила, как там у вас всё было тогда, при его правлении, ладно обустроено, какие дороги! Какой клуб!
— И мои любимые конфеты «Чио-Чио-сан» всегда лежали в магазине! Колбаса краковская не переводилась! Масло сливочное вологодское!

Коммунизм у нас был самый настоящий, вами никем отродясь не виданный! — Алевтина плечом энергично повела, особенно так подмигнула: — А вот тебе секрет отчаянный! За него и сейчас срок получить можно! Я его всю жизнь в себе таила, милый Витенька! В общем, известный тебе товарищ Брежнев — тоже наш, калиновский!.. И жил с родителями в доме как раз напротив семьи Хрущёвых! Так они, Никитка и Лёнька, меж собой с самого детства враждовали, кому на улице верховодить!.. А насчёт Днепродзержинска Брежневу потом специально выправили в документах. А всем калиновцам повелели держать язык за зубами. Вот почему Леонид Ильич Никиткин коммунизм втихаря под сукно засунул!

— Приколы нашего городка?.. — усмехнулся Виктор Прокофьевич, мысленно поворачивая сказанное женой и так, и эдак. — Нет, это кто-то зловредно насочинял. Чтобы бросить тень на великую идею коммунизма!

— Иди, иди, идея, за своим треклятым пойлом... А то разберут! — хмыкнула Алевтина. — Кстати, в этом году Никите твоему сто двадцать пять лет исполнилось бы... И я с тобой своего исторического земляка возьму да помяну... Только смотри, Витенька, не запей. Помни про свои уважаемые лета.

— Не более двухсот граммов! — бодро, освобождённо засмеялся Виктор Прокофьевич и с силой огладил своё лицо ладонями сверху вниз, словно стараясь расправить на нём все морщины, так-таки набежавшие за его семьдесят с гаком лет.

Снял Виктор Прокофьевич с магазинной полки одну бутылку, потом другую, третью... Бдительно повертел, оценивая со знанием дела. Но ни одна что-то не впечатлила его. Не покидало ощущение, будто он тут, в магазине, как на минном поле: везде и всюду контрафактный товар и прочие наглые подделки. Травят народ, сволочи. А повод сегодняшний требует зелья высшего пилотажа. Как-никак Виктор Прокофьевич семерых вождей пережил! Нагляделся, наслушался от них такого, что на три жизни хватит отплёвываться.

Тут вдруг охранник магазинный откуда-то из закоулка азартно выскочил и на дороге перед ним, подбоченясь, стал. Неказистый, комар комаром, но с особым едким гонором во взгляде. Хотя возраста не намного моложе Виктора Прокофьевича. Так и кажется, что охранник этот глазами к нему уже за пазуху забрался. А может, и в душу сунется без спроса?..

— Чё тебе, дед? Что ты тут шастаешь, бутылки зазря лапаешь? — откашлялся сочно, густо. — Охрану нервируешь. Надо взять что-то — бери. Не маячь без толку.

— Да было бы что взять... — невозмутимо произнёс Виктор Прокофьевич и пошёл было прочь, чувствуя, как от бдительного, пронзительного взгляда этого резвого сторожа у него начинает болеть голова. Почти как в то время, когда ему «неврастению» приписали.

— Стой, дед! Уйдёшь, когда я твои карманы проверю! — вдруг до надрыва построжел, отчаянно просиял охранник. И влёт крикнул продавщицам: — Девки! Закрывайте магазин! Я вора, кажись, накрыл! А то сбегнет ненароком!

И тут между ним и Виктором Прокофьевичем вдруг тесно вписались трое парней: по всему видно, они пришли повторить. То есть по второму заходу сунулись в магазин. И, по всему, очевидно, что они ещё не раз за сегодняшний вечер сюда вернутся. Пусть не всей компанией, но у кого-то одного так-таки достанет сил. Одеты достаточно прилично, физиономии нормальные, но уже в режиме скорой выключки.

— Ты чего, опричник, пожилому человеку день портишь?! — проговорил один из них, положив охраннику руку на голову, словно припухшую вялой тусклой лысинкой.

Игриво блеснули нетрезвые тёмно-синие глаза парня. Он внимательно и с подчёркнутым уважением оглядел Виктора Прокофьевича:

— Батя, разреши тебе предложить бутылочку хорошего, нет, очень хорошего коньяка в качестве сатисфакции за этого сторожевого дебила?

— Благодарю. Только я и сам себе способен взять, — встряхнул плечами Виктор Прокофьевич.

— Не напрягайся, батя! — кашляюще засмеялся другой парень, точно из последних сил. Ухмылка его разъехалась во все стороны, как круги на воде. — Нам это ничего не стоит. От нас не убудет. А тебе — маленький праздник.

— Вам как всегда?! — радостно спросила шумную троицу кассир, откуда-то из-под ног доставая одну за другой несколько бутылок отменного крымского коньяка «Бахчисарай»: искристое густое ласковое золото самой что ни на есть высшей двенадцатилетней пробы-выдержки.

На улице, заметно трезвея на глазах, синеглазый вежливо, но хватко взял Виктора Прокофьевича за рукав. Тихо проговорил, пригнувшись с высоты своего приличного роста почти лицом к лицу:

— Прости, батя, ты при Сталине родился? При Иосифе Виссарионовиче?

— Да, молодой человек, — строго сосредоточился Виктор Прокофьевич.

— В общем, навидался ты всяких генсеков и президентов...

— Лично — никого...

— Я к тебе со всем уважением, батя. Ты мне показался правильным мужиком, — подчёркнуто внятно проговорил синеглазый. — Я давно хотел такого встретить. Знаешь, хожу и выглядываю. Особенно когда на грудь хорошо приму. Тогда у меня душа распахивается! И азарт появляется... Так вот, у меня есть для такого, как ты, правильного

мужика, повидавшего жизнь, один вопрос. Всех вопросов вопрос. Глубинный! Нутряной. Лично я глухо не знаю настоящий ответ на него. А вот твоё мнение мне важно! До задыха!
— Боюсь я, что ты насчёт меня ошибся адресом...— напряжённо вздохнул Виктор Прокофьевич, невольно опустил голову и увидел, что стоит на улице возле магазина в своих старых домашних тапочках, подошвы которых, чтобы не раззявливались при каждом шаге, приходилось время от времени подклеивать и небольшими саморезами впереди прихватывать. Он ещё потом их бархатным напильником аккуратно подтачивал, чтобы дома доски пола остриём не цепляли, скрежеща, напрягая нервы.
— Как хочешь отговаривайся, но я от тебя не отстану без ответа,— сердечно проговорил синеглазый.

Виктор Прокофьевич с любопытством посмотрел на него и вдруг рассмеялся — ни с того ни с сего как-то приятно потеплело у него на душе. Так давно не было...
— Говори свой вопрос.

Парень опустил ему на плечи обе свои тяжёлые, явно не интеллигентные руки. Кажется, от них потянуло запашком едкого сварочного дымка.
— Как тебя зовут?
— Зовут? Виктор Прокофьевич меня зовут... Степанов я.
— Так вот скажи мне, Виктор Прокофьевич Степанов, это верно, что в нашей стране когда-то собирались построить коммунизм? Для всех?! Кажется, при Хрущёве?

Виктор Прокофьевич почувствовал, что у него от волнения нервно задрожали губы.
— Именно так...— горячечно-глухо выговорил.— Было на то особое решение двадцать второго съезда КПСС. В том году, когда Гагарин в космос полетел.
— А почему я нигде вокруг себя не вижу в реальности этот коммунизм?! Жду ответ! С волнением.

Синеглазый чуть приотодвинул Виктора Прокофьевича от себя, наверное, чтобы лучше видеть его лицо, чтобы по нему, в дополнение к ожидаемым словам, глубже, пронзительней оценить суть предстоящего откровения.
— Руки убери...— дружелюбно вздохнул Виктор Прокофьевич.

Те немедленно оказались в карманах куртки, втиснувшись в соседство к бутылкам коньяка с поэтическим названием «Бахчисарай», по-нашему — «Дворец в саду».
— Да, коммунизм так и не построили... Горько, конечно. До невозможности...— тихо, невнятно проговорил Виктор Прокофьевич — А причину я до сих пор толком не знаю... Сталин в своё время примерно так сказал о коммунизме: это такое общество, где не должно существовать государственной власти. Может быть, в этом закавыка? Кто такое, сидя наверху, допустит? Какие-такие «сильные мира сего»?

Синеглазый стремительно, хватко обнял Виктора Прокофьевича:
— В точку сказано, батя! Значит, Сталин с головой был мужик. Но откуда же тогда у него кровавый тридцать седьмой, репрессии?
— Это от Владимира Ильича и его соратников наследие, дорогие мои ребятки... От них — концлагеря, расстрелы без суда и следствия... А насчёт Сталина... Отец рассказывал мне одну историю...— напрягся Степанов.— Ты в ней Иосифа Виссарионовича вину найдёшь? В общем, на дворе тридцать седьмой год... Село Лукачёвка. Утро. И батя мой, ещё пацанчик малой, слышит, как отец заходит и своей жене шепчет: «Мань, конюха Ваську Краснова забрали этой ночью...» — «Как так?.. А за что?..» — «Приехала чёрная машина, воронок, его посадили и увезли»... Прошло время, и всё наконец наружу выплыло. Васька этот, Кириллов, а по улице — Краснов, на конюшне с мужиками выпил бутылку доброго самогона. Захмелел и понёс: дескать, я в нашей стране есть самая главная фигура, потому что человек трудовой, считай, почти пролетарий! А кто такой Сталин? Поп недоучившийся! Так что моя трудовая власть — первая по классовому чину. Захочу — жену Сталина могу завалить хоть на сеновале, хоть в поле!.. Понимаете, как он выразился? А в нашей деревне у тех самых органов был информатор... Про то каждая собака знала. Его звали Николай Сергеевич, Николай Сергеевич Белкин — избач, при библиотеке состоял. Так вот, дошло до Белкина, как Васька по пьяни оскорбил мужскую честь и достоинство вождя народов! Не откладывая, Николай Сергеевич составил бумагу и подал её в НКВД. Ну и что? Да то! На раз-два Ваське припечатали десять лет. Сталина не спрашивая! И отправили куда-то в Магадан. Он не вернулся. И через десять лет. Был слух, что урки его порешили. Васька Краснов вроде и там себя выше всех пожелал поставить...
— Вона как, батя! — ахнул синеглазый.— Мне твои слова так дороги! Именно твои. Взгляд у тебя маститый! Ты точно духовный пастырь! В Бога веруешь?

Синеглазый хватко, яростно перекрестился. Да так размашисто, что люди, как раз тогда мимо них проходившие, испуганно откачнулись.
— Ну да, ну да...— аккуратно проговорил Виктор Прокофьевич и, чтобы не разочаровать парня, дрогнувшей рукой в свою очередь осенил себя. Достаточно, правда, неуклюже.
— Оно, дед, оно! — горячо вскричал синеглазый.— Я читал, будто Черчилль писал, что русские непобедимы, пока жива их вера православная! Сволочь он, но меня проняло. Даже вспотел я... Нет больше такого народа в мире, чтобы отличался нашим

умилением перед Сыном Божьим и Пресвятой Пречистой Богородицей…
— Всё ребятки, всё, мне пора… Оставим для трезвой головы эту деликатную тему…— вздохнул Виктор Прокофьевич и вдруг озарённо объявил каким-то даже не своим особенным голосом: — Правду мы всё равно разговорами не найдём! Правду умом не постичь. Только верою православной!..
— Век тебе благодарен буду за такое откровение! — радостно взревел синеглазый, лучисто засияв.— Батя, ты меня человеком утвердил!

Торопливо вернувшись, Виктор Прокофьевич в коридоре тихим сапом принялся аккуратно оттирать половой тряпкой подошвы своих домашних тапок, в которых по забывчивости только что шлёпал по улице и даже в магазин заперся.
— Сейчас по телеку такое сказали…— тихо проговорила Алевтина.
— На Марсе найдена жизнь?
— В этом году пенсия будет увеличена на тысячу рублей!.. Брехня, может?

Виктор Прокофьевич солидно задумался:
— В нынешних новостях надо правду между строк искать…
— Тысяча… Да что такое она сегодня?..— напряглась Алевтина, сощурясь так, будто лук чистила.— Один раз в магазин сходить!

Виктор Прокофьевич взволнованно обнял жену:
— Кстати, завтра мне уже можно идти на почту за пенсией. Десятое число будет, моё самое. Вот я там и погляжу на эту прибавку, есть она или нет. И порадуюсь ей вместе со всем нашим честны́м народом. Танцы-манцы с тобой устроим!

Вечером Виктор Прокофьевич как-то так допоздна засиделся у телевизора, будто впаялся в старое затёртое матерчатое кресло. Уже все «его» новостные передачи давным-давно прошли, однако он никак не спешил перебраться в постель. Всё ждал про ту тысячную прибавку что-нибудь ясное услышать. Не услышал.
— Ты как себя чувствуешь?..— осторожно подошла Алевтина.

Виктор Прокофьевич промолчал.
— Приболел, что ли?
— Ещё чего…

Он трудно, продолжительно вздохнул… И вдруг застенчиво сказал:
— А иконы у нас, Алечка, дома есть?..

Алевтина побледнела и насторожилась.
— А они тебе нужны?..— она робко перекрестилась.
— Я спросил, ты — ответь… Не задавай лишних вопросов. Ох и народ же вы странный, женщины!

Алевтина зачем-то подошла к окну и замерла, увидев напротив в пустоте над холмом полную, налитую светом Луну — небесный одуванчик: коснись — и рассыплется на мелкие парашютики.
— Вить, а почему у Земли нет второго спутника? А то небо какое-то одноглазое, одинокое…— усмехнулась она.
— Ты от главной темы не уходи…— опустил голову Виктор Прокофьевич.
— Иконы…— вдумчиво проговорила Алевтина.— Ты, может, надумал их выбросить? И заменить своим моральным кодексом строителя коммунизма? Щас, разбегусь я их тебе подать.
— Принеси, пожалуйста, если есть…

Алевтина порывисто вышла и также скоро вернулась, держа в руках с особым достоинством, гордостью выцветшие иконки из свечной лавки: Спас Нерукотворный, Казанская Божья Матерь и Николай Угодник, которого Алевтина часто с аккуратной нежностью называла «Угодничком». Были те иконы самые что ни на есть небольшие — такие проще от своего домашнего «воинствующего» атеиста прятать.
— Если ты их сейчас выкинешь, я в окно выброшусь…— отчаянно проговорила Алевтина.

Виктор Прокофьевич по-детски виновато посмотрел на жену. Угнулся как-то набок.
— Я хочу креститься…— тихо, тревожно отозвался.
— Что такое случилось, Вить?.. Мир пополам треснул?! — чудаковато привскрикнула Алевтина.

Застенчиво усмехнувшись и скрестив руки на затылке, Виктор Прокофьевич неторопливо, обстоятельно рассказал, как он недавно с молодёжью в магазине говорил о коммунизме, а они его слова не только не с дерзостью или насмешкой восприняли, а с настоящим благоговением, вдохновенно уверившись, что говорят с человеком глубоко верующим. И такой стыд его тогда вдруг пронял. Такая пронзила ошеломляющая вина за свой окаянный доморощенный атеизм.
— Ты знаешь, я там с ними при разговоре вдруг машинально… перекрестился. И так хорошо это вышло. Такое небывалое чувство тотчас объявилось во мне… Какая-то невиданная свобода. Никогда такой в себе не ощущал. Точно мой заветный коммунизм вдруг разом наступил! В душе! — Виктор Прокофьевич слёзно вздохнул.— И вот тебе моё резюме: хочу, мать, окреститься. На старости лет. А ещё меня как осенило: все беды нашей страны — через тот самый атеизм! Варварский… Когда храмы рушили, рукоположенных священников в проруби топили или на воротах церковных распинали… Вот и маемся теперь через это!
— Я тебе, миленький, во всём помогу. Всё подскажу, что и как надо правильно делать. Радость какая! Витенька…— чуть ли не обморочно прошептала Алевтина.— Да ты мне этим своим решением годков жизни несчётно прибавил! А то я всегда молилась украдкой, с трепетом оглядывалась на каждый твой шаг… И так переживала за твоё тупое безбожество… Дорогой мой! Наконец! Прости, Господи, нас грешных…

— Решено, Алечка...—растроганно покивал Виктор Прокофьевич и, приотвернувшись, большим пальцем торопливо прикончил слезу, припухшую в костистом подглазье.
— Так давай с тобой прямо сейчас молитвы начнём учить?—опустилась Валентина на корточки рядом с мужем.
— И начнём!—бодро сказал Виктор Прокофьевич.

...Вскоре он крестился. В любимом Алином храме, Никольском, который уже триста лет мощно стоял на одном из приречных воронежских холмов белоснежной стройной свечой: в последнюю войну, хотя и обустроили немцы на нём наблюдательный пункт, ни один осколок или пуля его не зацепили. Когда немцы бежали—город зажгли, а храм пламя миновало.

Самого обряда крещения Виктор Прокофьевич толком не запомнил. Как слепящий свет всё вокруг застил. Крестилось сразу человек пять. Стояли в шеренгу. Чуть ли даже не по росту. Первым был какой-то высокий поджарый мужчина лет пятидесяти в белом ярком костюме и с густыми императорскими усами на сухом длинном лице, лихо загнутыми вверх—ни дать ни взять настоящий дворянин, далее—эдакий богатырь с тяжёлой золотой цепью на шее, какая-то худенькая заплаканная девочка лет десяти в простеньком сарафанчике, похожая на его маму в детстве, потом же смущённо, робко теснились какие-то женщины с лихо орущими младенцами. И пред ними—весь какой-то нежно-счастливый, будто приготовившийся вот-вот взлететь в божественные дали, маленький, сухонький батюшка Иван. Кажется, он был готов их всех восторженно перецеловать.

А после таинства крещения совершалось миропомазание: у Виктора Прокофьевича дух перехватило, когда душистый маслянистый холодок коснулся его рта, лба, глаз, ушей, ладоней, груди... Как издалека услышал он напевные, проникновенные слова батюшки:
— Печать дара Духа Святого. Аминь.

А следом, в унисон им, невесть откуда вдруг строго и торжественно прозвучало: «В Царствии Небесном обретёшь равенство и братство...»

Из храма после крещения вышел Виктор Прокофьевич нетвёрдо, пошатываясь. Точно только народился и впервые увидел этот земной мир вокруг себя. Ещё шаг-другой—так оттолкнётся и, может быть, даже полетит. Аля, точно подозревая возможность такой оказии, как бы на всякий случай крепко держала мужа под руку. Обоим плакать хотелось. Виктор Прокофьевич нет-нет да и шмыгал носом. Густо так, ёмко. При всём при том Алевтина шла напряжённо и так, словно на цыпочках. Будто некая сила и её аккуратно, заботливо тянула вверх.

Алевтина сегодня наконец открыто выставила в зале на серванте свои ранее старательно припрятанные иконы,—и, правда, не без смущения, впервые помолилась пред ними, не таясь от мужа, с тихой радостью громко выговаривая милые слова:
— Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный...

Виктор Прокофьевич, став рядом с Алей, тоже перекрестился, часто искоса поглядывая на неё, чтобы не ошибиться в своём движении рукой, и застенчиво, почти про себя, шепотком вторил ей Иисусову молитву.

...А когда наступил тот январский день, суливший ни много ни мало тысячную прибавку к пенсии, отправился Виктор Прокофьевич на почту. Раннéй раннего лыжи навострил, но всё равно первым никак не оказался—многие пенсионеры в то утро сорвались с постелей досрочно, с эдаким коммерческим азартом. Само собой, в основном явные старики. Которым битых полчаса надо всякий пустяк растолковывать.
— Паспорт взял?!—ласково-бдительно крикнула ему вслед Алевтина, только что проговорив завершительное «аминь» перед живо, радостно сияющими на серванте иконами, освобождёнными из долгого тайного заточения.

Виктор Прокофьевич промолчал. Что-что, а паспорт он никогда не забывал. Такая привычка в нём осталась ещё с советской поры. Без паспорта—никуда. Мало ли что? А вдруг как? Ничего не докажешь про себя.

Кстати, бывать на почте ему по-своему нравилось. Здесь ощущалась какая-то особая атмосфера—может быть, потому, что сюда приходили и отсюда уходили непрерывными потоками письма, посылки, телеграммы во все уголки страны и далее того. На почте он чувствовал себя как бы стоящим на высоком холме, откуда волнующе видна бескрайняя даль дальняя всей земли нашей.

Получив пенсию, не отходя, деловито, строго пересчитал. Наверное, хотелось кончиками собственных пальцев вживе явственно ощутить весомость прибавки.

Тысячными ему выдали пенсию. Как всегда. И, как всегда, этих тысячных оказалось ровно девять штук. И к ним—некие рублей шестьсот «пристёгнуты».

Виктор Прокофьевич напряжённо вздохнул.
— Что вы ещё ждёте, дедуля?!—с неприязнью вскрикнула оператор, вся из себя красивенькая, молоденькая.
— Прибавку к пенсии жду, ту, тысячную...—глухо отозвался Виктор Прокофьевич.
— Откуда я вам её возьму?!
— Было же сказано... В связи с повышением пенсионного возраста. Мол, полагается...
— Что вы, дедуля, на меня тут своим китайским чесноком настырно дышите?!—построжела оператор.—Замордовали! Каждому объясняй. Я так в психушке скоро окажусь. Слушай, старик, и запоминай: те, у кого, типа тебя, пенсия была меньше

прожиточного минимума, получали социальную доплату. А как только пенсия увеличилась, то, соответственно, настолько же сократили и урезали эту самую социальную доплату. Получилось так, что одной рукой вам дали, а другой рукой взад и забрали! Вот такая икебана!

Виктор Прокофьевич в озадаченности деньги машинально выронил.

Стоявшая за ним тяжёлая, дородная старушенция на костылях испуганно отшатнулась, чтобы в своей внезапной заполошной суете Виктор Прокофьевич её не опрокинул, и строго-насмешливо объявила на весь зал:

— Нечего тут своими грошовыми деньгами мусорить!

— Вроде как тысячу обещали прибавить...—тупо проговорил Виктор Прокофьевич.

— Если каждый будет тут умничать... Покиньте очередь, Степанов!—вдохновенно-строго постановила оператор.

На почте народ словно этого только и ждал:

— Ступай, дед, подобру-поздорову! Бабка твоя уже все глаза проглядела, тебя высматривая! Гражданин, не нервируйте народ! Не мешайте победному шествию капитализма!

— Вы это... того,—с усилием выдохнул он через онемевшие слипшиеся губы.—Я как-никак ударник коммунистического труда...

— Все мы тут—ударники!—радостно хихикнул кто-то в толпе.—Каждый день ударяем по карману, а деньжат там как не было, так и нет! Словно при коммунизме живём...

Виктор Прокофьевич при этих словах тотчас обернулся на голос—так резко, что чуть голова с плеч не сорвалась. Но увидеть никого не увидел: серебристое сияние застило всё.

В него он и повалился, теряя равновесие...

Пришёл в себя Виктор Прокофьевич в машине скорой помощи. Кажется, ещё не ехали. Он лежал на слегка перекошенных носилках, туго прихваченный ремнями. Пахло какой-то лекарственной дрянью. И почему-то ливерной колбасой. Он тревожно вздрогнул, решив было, что находится на операционном столе.

— Что со мной?..—прошепелявил, не узнав свой голос. Словно кто-то другой это за него спросил. Чуть ли не голосом соседа Анатолия.

— Обморок...—глухо отозвалась медсестра, аппетитно, сосредоточенно догрызая бутерброд с каким-то «какашкиным» паштетом.

— Так что, трогать?!—это, кажется, водитель крикнул. И тоже голосом, похожим на голос Анатолия.

— Как вы себя чувствуете?..—низко наклонилась к нему медсестра.

Запах ливерной колбасы усилился, стал физическим ощутимым, словно она была у Виктора Прокофьевича во рту. Никудышная колбаса. Как почти всё в нынешних магазинах. Точно из пластика вонючего сварганенная. Плюс ароматизатор запаха, то бишь вони, явно самостийного подпольного производства.

— Ничего вроде...—тихо сказал Виктор Прокофьевич, как оглядев себя изнутри внутренним бдительным взором.—Только вы не подумайте, пожалуйста, что вся эта напасть со мной приключилась из-за того, что мне вместо обещанной тысячи к пенсии выдали только шестьсот с небольшим.

— Чего мне думать? Оно мне надо?—хмыкнула медсестра.—Наше поколение ни о чём таком уже не думает. К вашим годам у нас вообще никакой пенсии отродясь не будет. Всё миллиардеры себе приберут. Да Бог с ними, с оглоедами. Вы-то идти сможете своими ногами, дедушка?

У неё было достаточно заботливое и не совсем как бы по-современному расхристанное, заполошно-диковатое лицо.

«Неплохая девчушка...»—машинально подумал Виктор Прокофьевич и застенчиво наморщил нос.

— Да, идти я смогу.

— Или лучше подвезти вас?

— Не надо. Тут недалеко.

— Нет, всё равно подкинем. Зима.

— Я в порядке.

Через полчаса Виктор Прокофьевич, покряхтывая, пáрил ноги на кухне в тазике, добавив в кипяток, по их домашнему рецепту, полстакана яблочного уксуса, столько же питьевой соды и столовую ложку тёртого имбиря.

И тут пришёл Анатолий. То есть как бы вломился, точно штурмом взял их дверь, как некогда, по собственной легенде, ворота дворца Амина. Он ворвался в тот самый момент, когда Виктор Прокофьевич ритуально парил ноги, а напротив него, обессиленно привалившись к дверной притолоке, стояла со свежим махровым полотенцем заплаканная Алевтина, сердечно огорчённая случившимся на почте происшествием с мужем.

— Вот тебе, бабушка, и Юрьев день... Сочувствую по полной программе!—вежливо протиснулся Анатолий.—Как там наш великий генералиссимус Суворов говорил? После бани штык продай, а выпей!

— Только, чур, сегодня ты мне про то, как штурмовал дворец Амина, рассказывать не станешь...—душевно засмеялся Виктор Прокофьевич.

— Зуб даю!—одним, а потом вторым глазом бегло подмигнул Анатолий.—Я лучше вам расскажу, через какую оказию мне теперь можно хоть и вовсе от моей нищей пенсии отказаться! Как вам известно, моя дочь замужем, в Москве давно живёт. Внукá мне родила. Эдуарда! Вырос умнющий пацан! В МГУ на математическом факультете он самый продвинутый. Победитель всемирных олимпиад. Так вот, он проникся моим бедственным пенсионным положением и стал регулярно

присылать денежку. Приличную. А откуда она у него? Так вот, я эдак хитроумно выяснил у дочурки: оказывается, мой внучок, будущий Эпштейн, в стриптизном клубе после занятий по вечерам выступает… Денег платят ему там немерено!

— Всё-таки, наверное, Эйнштейн…—строго вздохнул Виктор Прокофьевич.—И вообще, как-то это всё нехорошо…

Анатолий хмыкнул и вдруг махом выпил две рюмки подряд с видом человека, которому отныне всё в этой жизни позволено: заслужил, выстрадал. Третью налил! Даже казалось, что он сейчас под неё, невзирая ни на что, так-таки приступит к самому своему коронному рассказу—про взятие дворца Амина и как моджахед ему из пращи камнем по спине жахнул.

— Что смотрите на меня как на врага народа?!— Анатолий вскрикнул глухо, с каким-то то ли присвистом, то ли сиплым верещанием.—Тарзану певицы Королёвой, значит, стриптиз разрешён и даже как будто определён ему в заслугу, а нам, простым людям,—фиг?

— Молчу-молчу…—покорно опустил голову Виктор Прокофьевич. Прежде всего—чтобы слезу неожиданную спрятать.—А я, милые мои, в светлое будущее всё равно верю…—покаянно вздохнул Виктор Прокофьевич и вдруг побледнел, точно окунулся лицом в тазик с мутно-серой краской.

— Я понимаю, что ничего не понимаю…—сокрушённо вздохнул Анатолий.—Ясно одно, Прокопыч: тебе надо было в своё время в философы подаваться, а не на физмат переться. В тебе наш российский Кант пропал!

— Тогда я предлагаю тост за несбывшуюся коммунистическую мечту настрадавшегося советского народа…—тихо, сердечно проговорил Виктор Прокофьевич и хотел было покаянно перекреститься, но не успел даже замах рукой сделать— вкось соскользнул на пол.

Почему-то в этот миг Алевтина машинально вспомнила, как однажды у неё на глазах упала в реку Воронеж статуя Сталина. До того она лет тридцать простояла на косогоре в здешнем доме отдыха имени Горького. Отсюда скульптурный Иосиф Виссарионович во всякое время года вдохновенно глядел на замечательные лесистые заречные просторы, пока не грянул двадцать второй съезд партии. На следующий год на глазах у Али и её подруг какие-то суетливые люди, подрубив топорами гипсовые ноги вождя, столкнули его с крутого обрыва. Девчонки, естественно, отчаянно ахнули. А придя в себя, с озорным визгом попрыгали в реку. Аля нырнула, и вот перед ней на дне, чуть ли не лицом к лицу, глядит на неё сквозь мерцающую быструю воду сам дедушка Сталин—с улыбкой, озорновато так, но при том и печально.

…«Без меня пропадёте…»

С визгом вылетела Аля на берег…

…Как ни странно, «медицина» приехала скоро. Фельдшер скучно осмотрел Виктора Прокофьевича, велел сестре сделать какой-то укол, и Алевтина поехала с мужем в областную больницу—судя по колдобинам, куда-то за город.

Всю дорогу молчали—медики от усталости, она от ужаса, а Виктор Прокофьевич просто-напросто был без сознания. На дорожных ямах его голова с синюшно-бледным, ничего не выражающим лицом тупо переваливалась из стороны в сторону, словно он отчего-то настойчиво отнекивался. Алевтина с отчаянием чувствовала, что в большом безвольном теле Виктора Прокофьевича его самого сейчас как бы и нет: душа словно бы отлетела—то ли временно, то ли уже навсегда…

Остаться с Виктором Прокофьевичем в больнице, «чтобы хоть пот отирать у него со лба», ей не позволили.

Только на третий день Алю так-таки допустили в реанимацию. Она по-хозяйски поправила каждую складочку его одеяла, устроила поудобней подушку и поставила в изголовье на тумбочку миску свойских, как налитых, тёмно-румяных ядрёных котлет. Чтобы Витенька хотя бы вдохнул аромат родного дома.

Ей вдруг показалось, что веки Виктора Прокофьевича напряглись, словно он силился открыть глаза…

Как бы то ни было, этой ночью, часу в третьем, Виктор Прокофьевич слабыми, мучительными рывками впервые оторвался от своего жёсткого реанимационного ложа. Уныло, тупо огляделся в палате, болезненно щурясь от здешнего зыбкого мертвенного света. И вдруг робко улыбнулся, вспомнив привидевшееся ему во время операции путешествие в некий явно неземной мир. Вначале, как он и читал об этом в Интернете, был какой-то огромный ребристый тоннель с тусклой подсветкой. Из него Виктор Прокофьевич с удивительным равнодушием оглянулся на своё бездыханное тело, далеко внизу окружённое взволнованными врачами, усмехнулся и смело тронулся дальше.

Виктор Прокофьевич медленно плыл сквозь тоннель, как восходил из глубины морской к густому золотистому свету вверху. И будто бы звук колокольный, мягко-ёмкий, невесть откуда исходящий, становился с каждой минутой всё отчётливей.

«Тебе ещё рано сюда…—вдруг тихо, бережно сказал ему нежно сияющий ангел с перламутровыми крылышками, прыснувший навстречу, как голубок с карниза.—Ты сейчас вернёшься обратно… Только запомни: тебе поручено передать всем людям, как им, наконец, наладить на земле радостную, справедливую и счастливую жизнь. Вы много горя испытали на своём пути и не раз мечтали построить достойное, светлое будущее.

Но каждый раз выбирали ошибочные тупиковые пути. Как и с коммунизмом. Истина в учении, которое называется Харисто гунаиз. Человеку достаточно будет произнести эти два слова, как он и все люди на планете, точно по мановению волшебной палочки, обретут заветное счастье! Это как бы ключ к нему».

И Виктор Прокофьевич действительно как бы вернулся назад, на свою больничную кровать, ещё не остывшую. Он долго лежал в полной неподвижности, как бы заново привыкая к своему большому, пронизанному болью телу. Наконец медленно потянулся и начал отсоединять от себя всякие там трубки и провода, а потом, набравшись смелости, опустил ноги и неспешно зашаркал искать хоть кого-то. Он остро сознавал, что может в любую минуту умереть уже по-настоящему. Так что ему было крайне необходимо, не откладывая, сообщить хоть кому-то те заветные ключевые слова ангела.

Палаты все были закрыты. Дежурная медсестра лихорадочно спала, словно вгрызлась в свой загадочный сон: всё её хрупкое тельце резко подёргивалось. Виктор Прокофьевич нащупал на служебном столе возле телефона лист чистой бумаги и ручку. Несмотря на растущую боль за грудиной, начал старательно писать.

Последнюю точку он поставил, когда за окном реанимационной взбугрилось Солнце, ещё тусклобагровое, чёткое, не залохматившееся своими размашистыми лучами.

В палате Виктор Прокофьевич аккуратно прилёг, прижался к пропахшей лекарствами подушке и вдруг заплакал. Это были счастливые слёзы радости за счастливое будущее человечества.

…Через две недели его выписали. Он уже мог достаточно сносно ходить с бадиком, сам ел, правда, только левой рукой, и почти всё понимал, что происходило вокруг. Только речь к нему ещё толком не вернулась. Говорить он моментами говорил, порой даже избыточно много, слишком лихорадочно. Эта его новая речь разве что походила на крик раздражённой сойки. Само собой, его никто не понимал — ни Алевтина, ни Анатолий, и даже жившая над Степановыми вузовский преподаватель французского языка Жозефина Легранд ничем не могла помочь. Тарабарщину нёс, одним словом, Виктор Прокофьевич.

Правда, через несколько дней Жозефина привела к Степановым на консилиум двух своих коллег, маститых профессоров с кафедры мировых языков и культур того самого универа, в котором Виктор Прокофьевич полвека назад проучился три курса на легендарном физмате.

— Зацените сей филологический феномен! — чуть ли не со слезами на глазах вскрикнула Жозефина.

Около получаса Виктор Прокофьевич сдержанно, даже застенчиво беседовал с учёными на своём особом языке, а потом постепенно начал всё более раздражаться и в конце концов нервно перешёл на досадливый крик.

— Асдар годзи долук! Ор эхфун тилои сусор! Эглис оторон юрфес! Харисто гунаиз!!! — в таком вот духе яростно объяснялся он на своём неслыханном языке, скрипел зубами и лихорадочно писал учёным записки — одну за одной, вкривь и вкось. И хотя русскими буквами, но не менее заумно.

Чувствовалось, что во всём этом его загадочном словоизвержении именно два слова «Харисто гунаиз» особенно важны для Виктора Прокофьевича. Словно в них какой-то важный смысл был заключён. Он произносил и писал это своё «Харисто гунаиз» с особым волнением и едва сдерживал гнев, видя, что его никак не понимают. Кулаком грозил, бледным от перенапряжения.

— Такого языка, на котором сейчас говорит ваш муж, нет на планете ни у одного народа, народности или племени, — наконец объявили учёные Алевтине свой профессорский вердикт. — И не было ни у кого в прошлом. Построение звуков, частей слов у Виктора Прокофьевича таково, словно перед нами язык, извините, какой-то внеземной цивилизации! Не меньше и не больше…

Через несколько дней Виктор Прокофьевич, наконец, обречённо замолчал и только время от времени судорожно-дерзко усмехался и густо вздыхал. То, что у него ни с кем не установилось взаимопонимание, всё настойчивее начинало казаться ему тайным заговором против такого близкого, такого возможного всечеловеческого счастья.

Где-то через месяц те самые два профессора принесли выписанное ими из Израиля новейшее лекарство по части инсультов.

На третьи сутки Виктор Прокофьевич заговорил как все. Достаточно отчётливо. Это, само собой, стало общим праздником. Вновь собрались вместе Аля, преподаватель французского Жозефина Легранд и Анатолий с женой. Конечно, профессора пришли, ещё и с каким-то своим приятелем, просто-таки светилом сегодняшней медицины. Кажется, именно он и помог достать в Израиле спасительное лекарство. Или даже сам его создал.

За праздничным столом Жозефина в подробностях рассказала гостям о странном «инопланетном» языке, на котором ещё недавно так горячечно изъяснялся больной Степанов. Словно из кожи вон лез донести до человечества некое великое откровение. Жозефина с усмешкой показала всем и самому Виктору Прокофьевичу листки, на коих тот упорно, стоная и вскрикивая, писал странные загадочные слова, но чаще всего, настырней всего именно то самое «Харисто гунаиз».

— Откройте нам, наконец, что за тайна скрывается в них! — требовательно вскрикнула Жозефина.

Виктор Прокофьевич пробежал глазами свои каракули, побледнел от напряжения и беспомощно оглянулся по сторонам.
—Эглис оторон юрфес… Харисто гунаиз… Убей не помню, что это такое. Неужели я всю эту ахинею настрочил? Вы не путаете? Какой-то бред сивой кобылы… Извините…—смутился Виктор Прокофьевич и вдруг тихо заплакал, прижав ладони к лицу.—Я человек больной… Не мучайте меня!

На этот раз слёзы были по-детски горячие и быстрые. Словно что-то нагорело у него внутри, накалилось безмерно…

Литературное Красноярье ∴ ДиН стихи

Виталий Пырх

Три стихотворения

Юбилей курса

В этом году исполняется 50 лет выпуска нашего курса на факультете журналистики Уральского государственного университета. Всем моим однокурсникам, и живым, и уже ушедшим из жизни, посвящается…

Полвека ми́нуло, как мы,
Примерив эполеты,
От Нарвы и до Колымы
Разъехались в газеты.

Кто получил заметный чин,
А кто остался «третьим»…
Но, право, нет, друзья, причин
Соревноваться этим.

И хвастать орденом не смей,
Царёвою бумагой!..
Мы служим Родине своей
Одной и той же шпагой.

И падать в панику нельзя,
Что б жизнь ни учинила,
Раз нам судьба дала, друзья,
Одни—на всех—чернила!..

Ко мне отец вчера пришёл…

Ко мне отец вчера пришёл.
Мы водки выпили по рюмке.
Он покрутился и ушёл,
Но твёрдо шёл, почти по струнке.

Я предложил вослед ему:
«Давай пойдём с тобой до хаты!»
А он, боясь, что не пойму:
«Довго не можу. Там же маты…»

Они на кладбище лежат,
С родной украинскою речью…
Бывало, подкоплю деньжат—
И тут же к ним лечу на встречу.

Теперь летать туда нельзя:
Сказылысь зовсім бандерлогы…[1]
И оказался я, друзья,
Без них в России, видят боги.

Выходит, зря когда-то клин
С отцом мы вместе городили?
Должны ходить *живые* к ним.
Нельзя, чтоб *мёртвые* ходили.

Философия жизни

Старый купеческий город.
Правда, без блеска столиц.
Есть Енисей здесь и горы,
Нет лишь знакомых мне лиц.

Вроде бы здесь и не жил я.
Вроде в капусте нашли…
Даже попы мне чужие.
Те, кого знал я, ушли.

Вот и подумал, однако:
Может, довольно мне петь?
Некому будет отплакать.
Некому будет отпеть.

1. Совсем сошли с ума бандерлоги *(укр.)*.

Баадур Чхатарашвили

Какие наши годы?

Непонимание современности есть следствие незнания прошлого.
Марк Блок

Монах Евстахий в своей книге рассказывает, что когда святой Алоисий услышал, как один человек с шумом выпустил газы, он ударился в слёзы, и только молитва его успокоила. Такие типы на людях страшно негодуют, но ходят по общественным уборным читать непристойные надписи на стенках. Употребив в своей книге несколько сильных выражений, я просто запечатлел то, как разговаривают между собой люди в действительности.
Ярослав Гашек

Что взаправду было и что миром сложено—не распознаешь.
В. Даль

Лжи не будет.
Вересаев

В этой истории всё правда, хоть я и выдумал её от начала до конца…
Борис Виан

Вдарь им покрепче, разъясни что хотел—и двигай дальше.
Йоахим Фриц Крауледат (Джон Кэй)

Вместо предисловия

Затяжной прыжок в воспоминания…
Виктор Цхварадзе

Вот проклюнулось молодо-зелено по никлым бурым ветвам—уже косматого зимнего выворота клочьями мёркλыми обозначена стёжка приветная, дворней хвостастой проторённая от подполья скрытного и на кровли, рассветной сквозистой моросью побитые. Сквозь ветрастый лиловый окоём поспешает сулящий обильный косохлёст, влагою полный, переливчатый наволок—весна!

До́лжно на душе радостно сделаться, трепет в жилах должно́ ощутить, воспарить должно́ от ретирады гумора меланхолического пред гумором сангвиническим и, воспарив, стряхнуть оцепенение тусклое, зимней беспогодицей приневоленное.

Длань окрепшая к коммуникатору тянется, другая—к пожухлым листам рассыпанной старопрежней книжки памятной: друзей закадычных надобно призвать на шабаш, ибо грех это—в одиночестве привечать Обновительницу.

Итак (пальцем по строкам):

Д.—Хайфа;

И.—старается где-то меж заливом Святого Лаврентия и заберегами Великих озёр;

Г.—жирует в далёкой стране кенгуру;

А.—Москва златоглавая;

Е.—горделивые Афины;

Ж.—Сабурталинский погост;

З.—здесь, но скурвился;

Ю.—ах, какая была фемина!—трое внучат, артрит, варикоз;

П.—гробовище Вакийское;

Т.—рядом с П.;

Б.—гипертонический криз;

М.—от немощи завязал насовсем…

Что же грусть так разум смутила? Весна ведь подкралась, животворница, воспарить должно…

Дым в майке лидера гонки
перемахнул через забор,
зря у чугунной колонки
вычертив пьяный узор.

Это не моё, это—Витино: до первой седины собак гонял, а приспело время полтинник разменивать—в сочинительство ударился…

Полночь. К ведьмам на шабаш
гуртом всем. Враз расцвело
в пыльце рыльце и бессменно
на полставки помело.

Здорово? Ещё бы не здорово. Кабы могли себе представить в студенческую пору, пескинским зубы пересчитывая, что хулиган Витя, заматерев, подобное сподобится накропать, оградили бы от сходок лихих во избежание возможного урона организму пиита грядущего…

Витя—сочинитель?! Метаморфоза! Когда повстречались невзначай после долгого необщения—изрядное время мотало меня по просторам российским в поисках пропитания для семейства разраставшегося,—Витя поделился тайным: пятьдесят—неуютный возраст, нагоняет-де страх с задуманным-обязательным не поспеть, и после третьей обозначил это задуманное—извлёк из потайного кармана одеревеневшей робы (времена,

как и ныне, ошеломительные стояли, высшей категории градостроитель трудился грузчиком на рынке стройматериалов) сложенный вчетверо листок, продекламировал чёртовой кочергой заломленную строфу. Два года спустя Витя умер: прикорнул после бессонья — творил он, как и положено одержимому словом, в ночной тиши,— и не проснулся. Оставил за собою две тоненькие книжки стихов. Много это или мало — две книжки? Для Витиного письма — много: каждая строка — премикс, предельно уплотнённый, из фрагментов прошлого, настоящего и грядущего сформатированный, сгусток логоса — бесконечно ёмкое в малом:

Комбикорм
гранул Эи и
рудничной крепью
бронз пунктиры.
Почти зол керамзит
на самшит, не елейный в нём трепет
черт тепличной коры…

По-видимому, чуял Витя — поджимает время, вот и изобретал веские, подобные прицельному выстрелу словоформы, чтоб успеть. Успел, да и попрощался перед уходом:

Птица-царь,
прощай, иль как? Куда-то да и канешь.
Я — в зазеркалье, в сонмище теней.

В щенячестве о поэтах, писателях, музыкантах, художниках мыслил я как о существах высшего порядка. После, с лёгкостью освоив начала живописи, музицирование и даже музыкальное сочинительство, поначалу испытал некоторое разочарование, но скоро смирился со вскрывшейся вдруг гениальностью и способности свои стал воспринимать как должное. Наверное, по этой причине и не застало меня врасплох объявившееся вдруг моё писательство.

Витю я перешиб уже на червонец с лишком; кабинет мой, где некогда чертёжные и счисляюще-воспроизводящие приспособления соседствовали с продукцией, при их же помощи изготовленной, нынче на пункт приёма макулатуры походит: кипы черновиков (творю я по старинке — карандаш да ластик), распечатки завершёнки, папки с незавершёнкой — рассказы, статейки с истекающим «сроком годности», пиратский роман — «вот только последнюю главу дописать», дожидающаяся заключительной, придирчивой читки повесть с «чертовщинкой» и многое что ещё.

Хозяйство это вопиет о непременности упорядочения, срочного экспедирования отобранного качественного к вероятным публикаторам, незамедлительной утилизации отбракованного… ан нет: не ко времени одолели воспоминания, необходимость переоценки прошлого озаботила, к исповеди потянуло. Тому и объяснение имеется: которому под семьдесят — есть многое что сказать, только вот сегодня мало кто настроен его выслушать,— как некогда посетовал снедаемый вселенской тоской и чахоткой фантазёр из Дижона: «Какое дело нынешнему неверующему веку до наших чудесных легенд?..»

Век девятнадцатый — век двадцать первый: лики разнятся — содержание сходное: какое дело самоновому циничному веку… однако рискну — быть может, найдётся дюжина-другая закоснелых обскурантов, коим откровения обветшалого ворчуна придутся по сердцу; может статься, и среди младой поросли объявится толика «не совсем пропащих» попятчиков, приобщённых к традиции напитки организма опытом предшествующего поколения любознательных юнцов,— в таком случае старания мои не обернутся тяжанием напрасным, да и наличие хоть какого числа благодарных читателей освобождает автора от ответственности за принуждение общества к читке его писанины. Приступим, ангелов тёмных и светлых в помощь призвав…

Часть I. Детство

Успеем на трамвай — три шага до подножки.
Но это не трамвай уже, а дрожки!
И к лучшему. В них можно и поспать…
Ну а пока — гони! Быстрее! Вспять!
Паола Урушадзе

Диорама

С лета 1941 по лето 1944 года в результате гитлеровской агрессии были разрушены предприятия, на которых производилось тридцать три процента промышленной продукции, и уничтожены сорок семь процентов посевных площадей СССР.

В 1948 году страна достигла довоенного уровня производства и превзошла его.

С 1949 года страна перешла к этапу дальнейшего развития промышленности и достигла удивительных результатов: в 1952 году был в два с половиной раза превышен уровень производства 1940 года.

В пятидесятые годы начиналась какая-то новая жизнь — был у нас недолгий период взаимного доверия между большинством народа и властью, такого никогда не было до и, наверное, уже не будет. Пишу это отнюдь не с чужих слов — я застал то время и жил в нём…

1. Вагончик тронется, вагончик тронется…

Первая конка была запущена в Тифлисе 23 марта (3 апреля) 1883 года предпринимателем Шевцовым. В 1885-м предприятие перекупило «Анонимное общество трамваев Тифлиса» со штаб-квартирою

в Брюсселе. С июня 1904-го по август 1905-го линию электрифицировали, в Тифлисе появился электрический трамвай. Конкурирующая фирма—открытая в 1888 году частная конная линия господина Корганова—была выкуплена бельгийской компанией в 1897-м, электрифицирована в 1910-м.

15 марта 1915 года вся городская сеть была муниципализирована. Тот трамвай начала прошлого века существенно отличался от нынешних: вагоны были поменьше, открытые передняя и задняя площадки отделялись от внутреннего салона задвигающимися дверями. На передней площадке на высоком металлическом табурете помещался сам вагоновожатый. Перед ним двигатель—чёрный чугунный короб с надписью «DINAMO» на крышке. В хвосте вагона главенствовал кондуктор, в служебной форменной шинели, с навешенной через плечо кожаной сумкой-казной, на ремне—дощечка с билетами (билеты различного достоинства в зависимости от длины маршрута и количества расчётных станций). От кондуктора к вагоновожатому тянулся через весь вагон сигнальный шнурок: посадка закончилась, кондуктор дёргает за шнур, на передней площадке звонит звонок, вагончик трогается…

Управление и трамвайный паркъ—Муштаидский переулокъ, недалеко от вокзала, собств. домъ.

Пассажиръ, взявший пересадочный билет, можетъ сделать пересадку у пункта соединений двухъ линiй и продолжить путь въ любомъ вагоне съ темъ, чтобы пересадки происходили въ ниже указанныхъ 22-хъ пунктахъ:

1. *Повивальный институтъ (Ольгинская ул.),*
2. *Удельный подвалъ (Ольгинская ул.),*
3. *Аптека Земеля (Ольгинская ул.),*
4. *Эриванская площадь,*
5. *Вознесенская церковь,*
6. *Памятник Воронцову,*
7. *Кахетинская площадь,*
8. *Мухранскiй мостъ,*
9. *Кирка (Михайловский просп.),*
10. *Саманная площадь,*
11. *Тюрьма,*
12. *Пироговская улица (уголъ Пир. и Мих.),*
13. *Вокзалъ,*
14. *Муштаидъ,*
15. *Дидубэ,*
16. *Управление Зак. ж. д.,*
17. *Нахаловка,*
18. *Авчальская (Черкезовская Аудитория),*
19. *Черноморская улица,*
20. *Бойня,*
21. *Школа садоводства,*
22. *Солдатский базаръ.*

Год 1941:
№1: Вокзал—Колхозная площадь.
№3: Вокзал—Мелькомбинат (Навтлуг).
№5: Колхозная площадь—Ваке.
№9: Вокзал—Лоткинская гора.
№11: Завод им. Кирова—Колхозная пл.

2. Зайчики в трамвайчике…

В сорок первом меня ещё и на свете-то не было, а вот годков так двадцать спустя я, шпана вакийская, уже вовсю безобразничал, раскатывая «зайцем» в дребезжавших плохо закреплёнными стёклами вишнёвых вагонах. Самым популярным у трамвайных хулиганов был маршрут №1: 9-я больница—Госуниверситет—Дезертирский базар—Дидубийский автовокзал—Муштаид—Госкинпром—Площадь Героев—Госуниверситет—9-я больница.

Маршрут мы ценили из-за значительной протяжённости: поездка «туда-обратно» длилась почти три часа, отсюда—широчайшие возможности для состязаний малолетних правонарушителей.

На «кругу» у «девятой» в вагон вместе с законопослушными пассажирами пробиралась ватага «зайцев» душ в семь-восемь, после начиналась охота: кондуктор отлавливал и ссаживал безбилетников, иногда с помощью вагоновожатого и добровольцев-общественников. Гаер, продержавшийся дольше всех и не угодивший при этом в руки постового милиционера, имел по возвращении триумф, ну а умудрившийся вернуться к пункту отправления в том же самом вагоне, в который изначально проникала бригада, удостаивался «олимпийских» почестей…

3. Диспозиция

Ваке поспешало за протянувшейся до западного предместья трамвайной линией, руководил возведением градообразующих зданий мой батюшка, он же отстроил на углу Караульной и Закария Палиашвили уютный трёхэтажный особняк—ведомственный дом городской управы, в котором я и появился на свет.

Наш околоток являл собой вполне самостоятельный микрокосм. Судите сами: четвёрка строенных по ширине кварталов залегала на узком—двести пятьдесят шагов—пространстве между уступистым склоном правого крыла Мтацминды (Святая гора) и глубоким оврагом, по которому сбегала пенистая Вере. С восточного торца—подворье городского управления пожарной команды, противоположный торец упирался в обширный парк Победы, посерёдке—райотдел милиции с детской комнатой, паспортный стол, сберкасса, нотариальная контора, поликлиника для недорослей, библиотека, чуть поодаль «взрослая» поликлиника, девятая больничка (бывшая православная семинария), детский садик, баня, два ателье индпошива,

ателье модельной обуви, три аптеки, почта, отделение «Союзпечати», телефонная станция, ломбард, фотоателье и керосиновая лавка. Присутствовал даже свой венеролог, державший в квартире тайный кабинет, о котором, впрочем, знал и стар и млад и куда, дождавшись сумерек, крадучись пробирались местные сердцееды. Наши дамы то ли отличались высокой нравственностью, то ли знали профильный адрес в другой части города, ибо посещений триппервариума узнаваемыми особами не наблюдалось — в «нехорошее» парадное заглядывали исключительно залётные гражданки…

Изобиловал улежный наш уголок и просветительными домами: четыре общеобразовательные школы, школа музыкальная, топографический техникум, институт иностранных языков, зооветеринарный институт, сельскохозяйственный институт, педагогический (Пушкинский) институт, институт усовершенствования врачей.

Из развлекательных учреждений — кинотеатр на два зала и ещё одна киношка попроще в пограничном с больничкой Студенческом городке (общежитие городских студиозусов).

Радовало обилие магазинов: вывески «Ткани», «Трикотаж», «Мужское платье», «Дамское платье», «Ковры», «Обувь», «Ювелирные изделия», «Культтовары», «Игрушки», «Книги» чередой тянулись по фасадам помпезных, изобиловавших архитектурными изысками зданий, обрамлявших срединный проспект. Внутри лепнина, позолота, драпированные стены, зеркала в ореховых рамах, посыпанный опилками дубовый паркет… Не лишним будет добавить, что обширный Вакийский погост также располагался буквально в двух шагах от наших владений.

4. Фураж

Вспоминая самое начало, всё больше склоняюсь к мнению, что планировкой околотка занималась некая секта тайных раблезианцев: скопище разномастных продовольственных магазинов воодушевляло изнурённых послевоенным аскетическим укладом горожан.

Лёгкий, постоянно продувавший Караульную ветерок с раннего утра услаждал обоняние аборигенов формировавшимся в её устье сложным букетом из ароматов свежей сдобы, хорошо прокопчённого окорока, парного молока и душистых сыров.

Хлебный дух исходил из распахнутых дверей двухсекционной булочной, в первой зале которой на гладко оструганных деревянных полках соседствовали увесистые караваи обстоятельного «Деревенского», плоские ребристые лепёшки чванливого «Греческого», аккуратные кирпичи сытного «Солдатского», ряды поджаристого простецкого круглого, нейтральные голыши серого, шершавые подовики душистого ржаного и неприметные буханки всесословного чёрного.

Во второй зале ошеломлял рассыпной преизбыток разнообразной выпечки: булки французские, сайки, присыпанные маковым семенем витые халы, озорные рогалики, румяные сверху и вязко упругие внутри булочки с изюмом, слойки, булочки с жареным лесным орехом, коржики, хрусткие язычки, решётчатые поверху пироги с повидлом, кексы бисквитные, печенье миндальное, печенье овсяное, печенье песочное, пряники мятные и медовые, баранки и сушки — и, наконец, сухарики ванильные и сухарики лимонные… Вкупе весь этот преизбыток источал столь пронзительное, отдававшее брагой благоухание, что покупатели покидали магазин, слегка захмелев, и, что естественно, тянуло их к традиционным закускам в чертог Акоппетровича.

А у Акоппетровича по левой стене, над полками, имелся никелированный прут, с которого свисали копчёные окорока, гирлянды сосисок и сарделек, связки варёных колбас на выбор: «Экстра», «Языковая», «Любительская», «Слоёная», «Телячья», «Столичная», «Отдельная». Колбасы попроще — «Докторская», «Столовая», «Чайная», «Закусочная», «Ливерная» — томились на полках. Под стеклом прилавка красовались пропахшие можжевеловым дымком мясные вкусности: шейка, корейка, филей, шпик деревенский, шпик по-венгерски, буженина, сальтисоны, карбонад…

В глубине магазина суровый мясник отпускал свежатину: позади прилавка возвышалось лобное место, высоко над ним — похожие на старинные географические карты разноцветные схемы разделки убоины, пониже, вдоль кафельной стенки, освежёванные свинки, овечки, бурёнки…

Засучив рукава обагрённого кровью жертвенных овнов халата, звероподобный Алекси сбрасывал на плаху говяжью тушу, подрезав пашину, одним молодецким ударом топора разваливал её по последнему ребру, смахивающим на абордажный тесак клинком отделял лопатку и за считанные секунды обваловывал кусище малым косарём. На прилавке — оцинкованные лотки: грудинка, покромка, тонкий край, вырезка; рядом — бараний бок, свиные антрекоты; отдельно — мякоть по сортам на котлетный фарш…

Справа — молочное море: двухвёдерные бидоны с цельным разливным, сетчатые ящики с бутилированным топлёным, ряженкой, кефиром, сливками, сметана в бидонах четвертных. Здесь же остров-прилавок, на нём эмалированные корытца с глыбами масла: беломраморное «Любительское», золотистое «Крестьянское», незнатные «Чайное» и «Бутербродное», замыкающим — сбивающее с ног пряным ароматом «лакированное» «Шоколадное». Под стеклом — разномастные творожные сырки. На полках — пирамиды из сгущёнки «вульгарной», сливок, сгущённых с сахаром, сгущёнки с какао, сгущёнки с кофе и сахаром…

Ближе к углу ушастые дубовые кадки обозначали территорию королевства сыров. В самих полубочках в рассоле нежились квасная брынза и слоистый масляный «Сулугуни», на прилавке возлежали белоснежные сфероиды сытного «Осетинского», янтарные на разрезе бочонки пахучего «Тушинского», внушительные «колёса» сладковато-терпкого «Швейцарского», источавшие янтарную слезу бруски пряного «Советского», червлёные «головы» обстоятельного «Голландского», выпуклые с боков круги пикантного «Костромского», брикеты меланхолически-нежного «Пошехонского»... я ничего не запамятовал? Если и так, то ничего удивительного—шестьдесят годков минуло с той благодатной поры...

Покупателей встречал сам Акоппетрович—сухощавый, чисто выбритый, элегантный: двубортный пиджак цвета остывшей золы, белоснежный воротничок, строгий шёлковой галстук ручной работы, изящные дерби серой замши—денди, а не завмаг. Всех, повторяю—всех, домохозяек околотка щёголь знал в лицо, сердечно раскланивался с каждой, задушевно справлялся о домашних делах: смею утверждать—наши дамы гаера обожали и частенько повторяли, что у Акоппетровича продаётся провизия, остальные же магазины торгуют вульгарной снедью...

Не бывало у Акоппетровича рыбы и копчёных колбас: думаю, торговое начальство сознательно обделяло популярный магазин и, дабы не захирели остальные торговые точки, переправляло балыки и краковскую с Полтавской в гастроном у ментовской, а обширный лабаз напротив больнички был затоварен бакалеей, фруктами и вызывавшими обильное слюнотечение у недорослей лакомствами «Тбилкондитера» и именитой нашей шоколадной фабрики.

По-видимому, этого изобилия всё же было мало, ибо в перенасыщенные витринами кварталы городские власти умудрились втиснуть ещё с полдюжины продуктовых лавок, специализированный винный магазин, диетическую столовую, молодёжное кафе, сосисочную, три пивных киоска и знаменитую на весь город кондитерскую, любовно прозванную обывателями «Наша Франция».

5. Индустрия

В основном—«сталинские» артели. В бельэтаже противолежащего нашему дому приземистого кирпичного особняка стрекотали станки шёлкомотального предприятия, для нас, недорослей, крайне полезного: нить с кокона перематывалась на картонные, длиной в пядь и толщиной в палец, катушки, из которых, насаживая их друг на друга, изготовляли мы великолепное оружие ближнего боя—шпаги, пики, дротики, благо станочницы щедро одаривали ребятню отбракованными шпульками.

Выше по улице трудились умельцы обувной артели, тачали модные в дохрущёвские времена замшевые ботильоны на высоченном, в три дюйма, каблуке и мужские «утконосы» телячьей кожи.

Околоток застраивался жильём, новосёлам требовалась мебель—в овраге Вере спешно была обустроена профильная фабрика: гнули венские стулья, изящные этажерки, собирали зеркальные буфеты, кухонные столы, кровати—весь будущий вакийский бомонд был зачат на тех ложах.

При мебельной артели расплодились кооперативы—частники скручивали пружины для матрасов, вязали кроватные сетки, штамповали обивочные гвозди.

Одноглазый грек, прозванный нашими острословами Циклопом, изготовлял отличные лаки и политуру.

Земляки Циклопа затеяли камнерезную мастерскую: понтийские греки—знатные каменотёсы,—снабжали окрестные стройки гранитной плиткой, балясинами, капителями, розетками, консолями.

Натурализовавшиеся немцы из интернированных гасили известь, обжигали кирпич, черепицу, тёрли самолучшие краски для побелки.

Там же, в овраге, помещалась наша гордость—именитая сосисочная фабрика: даже когда в разросшемся городе построили и запустили несколько крупных мясокомбинатов, коренные горожане по старой памяти рыскали по гастрономам в поисках «вакийских» сарделек и сосисок «с прищёлком».

Вечерами, когда гудок мебельной оповещал о завершении рабочего дня, овраг затихал, слышался только негромкий плеск речных струй, и разливался по склонам лёгкий хмельной запашок—в заступившей на трудовую вахту пекарне созревала опара...

6. Арбайтен

22 июня 1941 года укомплектованная Закулисой коалиция (Германия, Италия, Румыния, Венгрия, Болгария, Словения, Хорватия) напала на СССР. Уже 6 июля того же года в Манглиси (тридцать четыре километра от Тифлиса) принимал гостей первый в Грузии лагерь для военнопленных, а в августе постояльцы лагеря делали в близлежащей Цалке арбайтен—началось строительство самой мощной на то время в Закавказье гидроэлектростанции—в августе, господа-товарищи, в августе, Гитлер только-только брал Смоленск и намеревался идти на Москву!..

В годы войны Советская армия пленила 5 016 900 иностранных военнослужащих. Также в плену оказалось более 200 000 воевавших на стороне Германии граждан СССР. Из стран Восточной Европы были интернированы 208 200 тамошних немцев и 61 600 функционеров низовых партийных и административных структур вермахта из местных жителей.

В конце сорок пятого освободили 741 000 душ. Остальные продолжали восстанавливать ими же разрушенное на территории одной шестой части земной суши.

Справка о количестве военнопленных бывшей японской армии, взятых в плен советскими войсками в 1945 году: после капитуляции Японии 639 776 человек, в том числе 609 448 японцев и 30 328 китайцев, корейцев, монголов и других, были взяты в плен в Маньчжурии, на Южном Сахалине и в Корее и высланы в лагеря.

По решению Женевской (1929 года) конвенции пленных следовало освобождать после акта об окончании войны. СССР и Япония заключили соглашение о прекращении состояния войны только 19 октября 1956 года, тогда и началась репатриация японцев, которая завершилась в декабре того же года. Всего вернулось в Японию 546 752 человек.

У нас было обустроено десять лагерей, в составе которых насчитывалось шестьдесят шесть лагпунктов и восемнадцать рабочих батальонов: следом за Манглисским начал функционировать лагерь в Джандарах (сорок километров от Тбилиси), заключённые этого лагеря приступили с нуля к строительству будущего центра грузинской индустрии — города металлургов Рустави. Позднее, после Сталинградской битвы, уже в самом Рустави организовали лагерь №184 «Закавказлаг» с двенадцатью лагпунктами: шесть из них были задействованы на месте — строили металлургический комбинат, два разместили в Тбилиси (возведение Навтлугского вокзала), один в Чиатура (реконструкция горно-обогатительного комбината дореволюционной постройки), один в Булачаури (головные сооружения второй нитки тбилисского водопровода), один в Цхалтубо (обустраивали курорт), один в Зестафони (реконструкция завода ферросплавов).

В Тбилиси в сорок четвёртом было открыто управление «Авчаллага» (№236) с тринадцатью лагпунктами; подневольные труженики пяти из них, дислоцированных в самом городе, сооружали предприятия в промзоне, тянувшейся от Земоавчальской ГЭС до Навтлуги; три лагпункта располагались в Болниси (строили Маднеульский золотодобывающий комбинат), один в Боржоми (обустройство курорта), один в Кутаиси (строительство автозавода и азотно-тукового комбината), два в Кахетии (винные заводы «Мукузани», «Кварели»).

В начале сорок пятого открылся лагерь №146 с десятью лагпунктами от Сухуми и до Очамчире — отстраивали курортную зону.

Осенью сорок пятого добавили ещё лагеря — Зугдиди, Поти, Супса: заключённых задействовали в аграрном секторе — чайные и цитрусовые плантации.

В сорок пятом для лечения больных и раненых военнопленных в Сабуртало отстроили спецгоспиталь №1563 (строили пленные японцы), который позже был перепрофилирован в Республиканскую инфекционную больницу.

Когда в конце войны началась массовая репатриация, из числа владевших и освоивших строительные навыки трудоспособных военнопленных для завершения особо важных объектов сформировали особые рабочие батальоны. Эти вкалывали до 1956-го включительно.

Что построили пленные в Тбилиси после войны? Вторую очередь Дома правительства (нынешнее здание парламента), достроили корпуса политехнического института, набережные от моста Элбакидзе и до моста Бараташвили, здание «Грузугля», Дом связи на Руставели…

У нас в Ваке — сельскохозяйственный институт на Чавчавадзе, зооветеринарный институт на Барнова, новое здание института иностранных языков, Студенческий городок и многое ещё…

Батюшка, залечивший в тифлисском госпитале керченские «трофеи», командовал троицей рабочих батальонов на вакийских стройках. Рассказывал мне, живо интересовавшемуся событиями той поры:

— Представь себе: подневольные, казалось бы, вредительствовать должны были, так нет, придраться не к чему было. А когда к концу смены конвой за ними приезжал, они, прежде чем шабашить, лопаты и кирки от налипшей глины отмывали, протирали ветошью насухо, складывали в каптёрку и тогда только в кузова полуторок залезали, одним словом — немчура: ordnung muss sein…

7. Люди

Эскулап

Вот перед мною больной; он лихорадит и жалуется на боли в боку; я выстукиваю бок: притупление звука показывает, что в этом месте грудной клетки лёгочный воздух заменён болезненным выделением; но где именно находится это выделение — в лёгком или в полости плевры? Я прикладываю руку к боку больного и заставляю его громко произнести: «Раз, два, три!» Голосовая вибрация грудной клетки на больной стороне оказывается ослабленною; это обстоятельство с такой же верностью, как если б я видел всё собственными глазами, говорит мне, что выпот находится не в лёгких, а в полости плевры. Какая громадная, многовековая подготовительная работа была нужна для того, чтобы выработать такие на вид простые приёмы исследования…

В. В. Вересаев, 1895 год

Илларион Иорданович, или батоно Илико, лекарь, как он на старый лад величал себя сам, — классический чеховский тип состоявшегося доктора:

видавшая виды трость орехового дерева, массивный брегет, пузатый саквояж; зимой — башмаки на пуговках (в дурную погоду обувка пряталась в штучные калоши, трость заменял аглицкого фасона остроносый зонт), бутылочно-зелёная федора с траурной лентой, пальто бурнастого тяжёлого драпа; в летнюю пору — парусиновые туфли, свободная чесучовая пиджачная пара, золотистой соломки короткополая шляпа; внимательные добрые глаза за стёклами в металлической оправе, щёточка усов, седой ёжик по крутолобому черепу, дикий волос в ноздрях и неторопливый, деликатный говор — этакий старичок-боровичок; однако в войну руководил полевым подвижным госпиталем, дошёл с ним до Потсдама, вперемешку с нашими бойцами лечил там горожан, страдавших после бомбёжек психопатологическими рецидивами, вернулся с фронта в сорок седьмом и незамедлительно был назначен заведующим детским отделением железнодорожной больницы.

В пятьдесят пятом Иллариона с почестями проводили на пенсию, и он, проживавший в самом сердце нашего околотка, принял его обитателей под свою опеку.

Илларион безошибочно ставил диагноз. У вдовой прокурорши, которой в городской онкологичке намеревались удалить опухоль кишечника, определил вульгарный протозойный колит и в трёхнедельный срок избавил от него страдалицу при помощи копеечного энтеросептола вкупе с травяными клистирами. Был старомоден, но неизменно добивался успеха во врачевании даже самых запущенных больных. Призванный к страждущему, прежде чем приступить, тщательно мыл руки, после извлекал из саквояжа архаичную слуховую трубку, выслушивал сердце и лёгкие; заслышав приглушённый тон, выстукивал сомнительное место; завершив аскультацию с перкуссией, вставлял в уши оливы фонендоскопа и измерял кровяное давление трофейным тонометром (предмет вожделения завистливых коллег). После манипуляций на некоторое время впадал в задумчивость, далее, пальпировав утробу болящего, рассмотрев его язык, садился к столу выписывать рецепт, что означало — можно задавать вопросы.

На протяжении долгих лет Илларион брал под заботливое крыло всех новорождённых в пределах досягаемости и принимал последний вздох покидавших этот мир праведников. Даже врачи обеих наших поликлиник, а надо сказать, в те времена представители низового медперсонала отличались весьма высокой квалификацией, нет-нет да и консультировались с ветераном…

Илларион без устали вправлял вывихи, вскрывал нарывы, залечивал незаживающие раны, сбивал жар у горячечных, ставил на ноги анемичных, усмирял тяжкие приливы у климактеричек. Его приглашали консультировать особо тяжёлых в городской тубдиспансер, он незамедлительно возвращался в строй при вспышках детских инфекций.

С утра и до позднего вечера, в любую погоду, наш целитель передвигался от дома к дому, от парадного к парадному, названивая от очередного больного на домашний номер — справиться, не поступало ли новых вызовов. И ещё — во многих семьях наставал день, когда Илларион переставал брать деньги. «Хватит», — коротко говорил он при очередном визите, что означало: дальнейшая опека будет продолжена на безвозмездной основе.

Особые отношения сложились у Иллариона с матушкой, ибо давно уже они приятельствовали, — матушке даже дозволялось вступать в полемику с непререкаемым обычно лекарем. К примеру, облопавшись добытой в набеге на верийские сады незрелой черешней, валяюсь я с желудочной коликой. Илларион слушает мою урчащую утробу:
— Тамар, давай попробуем норсульфазол…
— Ой, батоно Илико, может, не надо норсульфазол? Слишком уж сильный препарат…
— Ну, тогда назначим сульгин…
— Ой, батоно Илико, у сульгина столько побочных…
— Хорошо, не будем сульгин, — кротко отвечает Илларион, присаживается к столу, свинчивает колпачок с вечного пера и, посапывая мохнатыми ноздрями, принимается за составление прописи: *«Flores Chamomillae officinalis — 30…»*

Отпустив меня в Большую жизнь, Илларион занялся моими дочурками, явление которых миру стало возможным опять-таки благодаря сметливости доброго доктора.

А дело было так. За неделю до собственной свадьбы я вдруг опух. Вернее — опухла моя шея, спереди, до чудовищных размеров. Вечор отошёл ко сну вполне себе симпатичным юношей без признаков какой-либо хвори, а пробудился оттого, что не мог ворочать головой — мешал тугой лиловый зоб размером с небольшой арбуз. В доме сделалась тихая паника: батюшка помчался по городу собирать консилиум, матушка свалилась с давлением, без толку суетились соседи… Заглянула возвращавшаяся с примерки невеста — сообщить, что свадебный наряд почти готов, осталось чуть укоротить подол и подогнать вытачки… её увели в лоджию отпаивать валерьянкой…

Батюшка привёз троицу именитых профессоров, расселись полукругом у одра, рассматривали, крайний справа потыкал пальцем.
— Гландула тиреоидеа, бесспорно, и фолликулярная карцинома при ней. Что скажете, коллеги? — изрёк первый.
— Учитывая некоторый сдвиг влево — подчелюстная саливаре гландем, и, судя по тому, что опухоль плотная, — плоскоклеточная форма, — возразил второй.

— Саркома! — отрезал третий. — Синюшность, характерный отблеск эпителия…
— Ошибаетесь, коллега, прощупываются железистоподобные структуры…

Хоть и окончательно смущённый разумом, но различил я сквозь их речения знакомое посапывание — появился Илларион, чуть склонив голову в сторону почтенной троицы, приподнял шляпу, придвинулся к кровати, глянул пристально:
— Чем бреешься, безопаской? Переходи на электробритву…

Подсел к ночному столику, достал вечное перо. Помахивая рецептом, дабы просохли чернила, обратился к именитым:
— При всём уважении, коллеги, смею заверить: за полувековую практику я ещё не имел случая, чтобы саркома величиной с дыню выросла за одну ночь. Тамар, — повернулся к матушке, — в аптеку: димедрол по ноль ноль-пять утром и вечером, кальций хлоратий и аскорбинку — отёк Квинке это, порезался, когда брился, и инфекцию в желёзки вогнал, через день-другой спадёт. Так что готовьтесь к свадьбе — и счастья молодым!..

Мир праху твоему, добрый доктор Илико!

Письмоноша

Бежан, он же Бенжамен Г., — правнук гидроинженера-бельгийца, приглашённого князем Барятинским для исследования русла Риони на предмет пригодности реки к судоходству (начиналось строительство Потийского глубоководного порта). Проживал с супругой — француженкой из местных — в «итальянском» дворе на Белинского.

В первые дни войны, как квалифицированный спец (с младых когтей трудился автомехаником в гараже НКВД), был призван в автомобильные войска. Под Киевом попал в плен и был этапирован в апокалиптический Заксенхаузен. В 1942-м инженер Порше предложил использовать узников концлагерей на автомобильной фабрике в Фаллерслебене (современный Вольфсбург), где для этого близ города обустроили лагерь Арбайтсдорф. В апреле того же года в лагерь прибыла группа отобранных в Заксенхаузене военнопленных, в числе которых пребывал и Бежан-Бенжамен.

В сентябре, за месяц до закрытия лагеря, Бежан сбежал, благодаря безупречному немецкому — бабка нашего героя была из тифлисских немок-колонистов — и европеоидной внешности — белобрысый, голубоглазый, нос флюгером, тонок в кости, — снабжённый адресами надёжных явок — подпольщики из рабочих фабрики расстарались, — умудрился без документов добраться до Франции и выйти на один из организованных русской группой Сопротивления «встречных пунктов». Был переправлен в партизанский отряд под Тулузой, где специализировался в порче линий связи и высоковольтных подстанций. Участвовал восвобождении древней столицы Лангедока, был ранен, отлежался у доминиканцев, после вновь отправился в путь, на смычку со своими.

Добрался до Штирии. В Мариборе попал под ковровую бомбардировку Британских ВВС, выжил, но оглох на одно ухо. В Птуйских горах нашёл партизан Карделя. Освоил взрывное дело. Практиковался, подрывая железнодорожные мосты. Схлопотал тяжёлую контузию. Наконец в мае сорок пятого вышел в расположение занявших Подравску советских войск. Далее, как и было заведено, поступил в распоряжение контрразведки, однако долго с ним не канителились, отправили к месту приписки, то есть в переформированный родной автобат, который уже квартировался в саксонском Веферлингене, откуда до бывшего узилища Бежана (Арбайтсдорф) можно было прогуляться пешком…

В автобате Бежана из-за глухоты и прочих увечий комиссовали подчистую и спровадили в родной Тифлис. В Тифлисе его слегка придержало НКВД — по-видимому, проверяли некоторые эпизоды одиссеи, а тут подоспели из Франции наградной лист и медаль Сопротивления (Médaille de la Résistance)…

Исходивший вдоль и поперёк всю Европу, Бежан ощущал себя непригодным к длительному нахождению в состоянии статического покоя, посему подался в почтальоны. Как и заведено исстари, отчаянный франтирёр прихватил с мест разрушительной своей деятельности поживу: из Саксонии — фарфоровую курительную трубку с длиннющим чубуком, из Окситании — жандармское кепи (чёрный околыш, малиновый верх), несносимые альпийские башмаки жёлтой кожи с Триглава да штирийский диалект словенского языка. Добавим к трофейному добру непромокаемую плащ-накидку чёртовой кожи и вместительную почтовую сумку — долго ещё, до конца шестидесятых, можно было наблюдать, как, попыхивая трубкой, карабкался старый партизан по крутым улочкам в верхах нашего околотка, разнося по дворам газеты, телеграммы, письма…

Анархический Хромец

Виссарион: просторная блуза синей саржи, томик Кропоткина в кармане, орденские планки, негнущаяся нога — размашисто ступал на каблук, пронзительный взгляд, дикие кустистые брови, встрёпанные вкруг обширной лысины седые космы, бугристая ринофима (винный нос по-народному) — сопатка гаера походила на лежалую еловую шишку, однако, вопреки, употреблял всего раз в год — фронтовые сто грамм на День Победы. Презирал право, государство, собственность, в ожидании скорого прихода анархо-коммунизма скрепя сердце подчинялся общепринятым нормам поведения.

Заведовал околотошной библиотекой. Обязанностями своими манкировал—отпускала книги, принимала почту, отвечала на входящие письма и тянула прочую рутину тощая желчная библиотекарша,—сам же, сколько я его помню, исписывая фиолетовыми чернилами ученические тетрадки в линеечку, трудился над кодексом городского самоуправления—по параграфу на тетрадь. Набрав с десяток, составлял сопроводительную записку и сдавал рукопись в канцелярию горисполкома. Из-за предсказуемого отсутствия ответной реакции властей был угрюм, раздражителен, проявлял своё недовольство тем, что многотомные труды идеологов диктатуры пролетариата сваливал в самом пыльном и тёмном углу абонемента.

Над рабочим столом держал портреты Кропоткина, Бакунина, старейшины грузинских анархистов Варлаама Черкезишвили и… Сталина—это по прошествии двадцатого съезда, прошу отметить. Партийные органы закрывали глаза на чудачества Хромца, и тому была веская причина—его военное прошлое.

Как и его кумир Кропоткин, Хромец был географом. В довоенные годы истово увлекался альпинизмом. Сочетая увлечение с профессиональными обязанностями, облазал глухие ущелья Абхазии, Сванетии, Кабарды—составлял тематические карты малоизученных уголков Большого Кавказа.

Пришла война—Гитлер рвался к хлебу Кубани, к бакинской и грозненской нефти, к вольфраму Тырнауза, марганцу Чиатуры, а анархист истово рвался на фронт, но, увы, «козья ладонь»—в давней экспедиции отморозил на склоне Ушбы и потерял средние пальцы на правой руке—сделала его непригодным к строевой, вот и поставили гаера собирать гранаты в одном из цехов полностью перепрофилированного на нужды фронта Кировского станкостроительного. Долгий первый год войны набивал он тротилом «консервные банки» РГ-41, засыпая одновременно письмами с требованием направить автора в действующую армию все мыслимые инстанции, но—тщетно.

21 августа 1942 года пластуны горно-стрелковой дивизии вермахта установили флаг рейха на вершине Эльбруса. Сердце честного анархиста не смогло выдержать подобного надругательства над седыми вершинами *его* гор, и он предпринял попытку прорваться в кабинет командующего Закавказским фронтом Тюленева, был нейтрализован и препровождён во второй отдел известного здания на Дзержинского. Суровые чекисты приступили было к разработке вероятного диверсанта, но, опознав в нём автора бесчисленных эпистол с угрозами приступить в частном порядке к террору в расположении противника, передали его под опеку особиста родного предприятия. Однако—начальство предполагает, а Пишущие судьбу располагают: ровно через неделю после неудавшейся диверсии на завод нагрянул с инспекцией замкомандарма оборонявшей перевалы 46-й армии, гроза тыловиков генерал Ищенко. Наш анархист, и так пребывавший в смутном состоянии, воспринял появление на своём жизненном пути фронтового начальника как знак судьбы, спарив, обмотал изолентой только что собранные «изделия», и стал дожидаться появления обходившего цеха высокого гостя. Далее разыгралось короткое, но очень насыщенное действо: сопровождаемый охраной и заводским начальством генерал вступил в дверь, анархист вышел из-за рабочего стола, выставил перед собой связку и сунул палец в кольцо одной из гранат. Гости смешались, охрана наставила на протестанта стволы, назревала тяжкая развязка, не смутился только повидавший виды—двадцать пять лет в строю: Гражданская, отлов гайдамаков и петлюровцев, борьба с бандитизмом на Харьковщине, отсидка в Харьковском централе, реабилитация, комдив на турецкой границе, с сентября сорок первого на Кавказе, на передовой,—Ищенко, с большим интересом разглядывавший трагикомичную фигуру.

— Кто таков?—обратился Яков Андреевич к особисту.

— Местный псих,—раздул ноздри вертухай,—альпинист отбракованный, на фронт рвётся…

— Альпинист?—генерал ступил к Виссариону, хлопнул по плечу.—Так ты мне и нужен! Бросай жестянки. За дурака меня держишь?—во избежание несчастных случаев гранаты и запалы к ним доставлялись в подразделения раздельно.—Бегом к моему автомобилю. Я у вас его забираю,—обернулся к заводским.—Сообщите в военкомат: отбыл в распоряжение сорок шестой армии…

В августе немцы прорвались к перевалам. 1-я горнопехотная дивизия захватила седловину Марухского, но у входа в ущелье противника остановили части 810-го стрелкового и лишили тем самым возможности проникнуть в долину Чхалты, на Кодори и Сухуми.

7 сентября к бойцам 810-го полка подошло подкрепление—несколько батальонов 107-й стрелковой бригады с батальоном 2-го Тбилисского пехотного училища, к которому и был приписан инструктором по альпинизму наш смутьян.

К тому времени война здесь затеялась миномётно-пулемётная, без продвижения сторон: наши готовились к контрнаступлению—служба тыла с ног сбилась; немецкие пластуны отлёживались после тяжёлого рывка к вершинам.

От щедрот интендантской команды экипировку для Бесо подобрали наилучшего качества: куртка «канадка» цвета первой травы, штаны «гольф» того же колора и так называемые «студебеккеры»—ленд-лизовские ботинки с квадратными

носами,—однако появляться в подобном наряде на линии огня днём было чревато, ибо на снегу движущееся ярко-зелёное пятно являлось отличной мишенью, вот и наладился новобранец лазать в блиндаж разведроты, проситься к стереотрубе: мол, присмотрюсь к ландшафту, намечу будущие колонные тропы, запомню места вероятных камнепадов—как инструктору, при наступлении пригодится. Торчал он там дня три, а на четвёртый пришёл в ночь, опять приник к трубе—разведчики уже привыкли к визитам частого гостя, не обратили внимания, что на сей раз тот явился с полным подсумком. Бесо посопел у трубы, выкурил с бойцами цигарку, ступил за бруствер и ушёл в темноту, к котловине. Образовалась паника: послали за смершевцами, те сунулись было вслед, но быстро вернулись—забоялись мин, которыми была нашпигована пустошь. Примчался комбат, орал на ротного:

— На передовую сошлю!

Тот огрызался:

— Вот она, передовая, в бинокль видна…

Пока суетились, седловину осветила вспышка, негромкий хлопок в ночной тиши раздался.

— П…ц перебежчику,—сплюнул старший особист,—на мину нарвался…

Сели писать рапорт. Пока спорили—никак сговориться не могли, явился сам «перебежчик»—весь в снегу, замёрзший, сунулся к печи обогреться. Его сгребли—и в штрафную землянку, в вязки. А утром разведчики высмотрели на противоположном склоне свежую воронку и остатки размётанного взрывом пулемётного гнезда.

Тут уже полковое начальство зашевелилось, Прибыл прознавший о случившемся Ищенко, объявил подопечному благодарность от имени командования, велел впредь инициативу пластуна не зажимать и предоставил ему недельный отпуск с отправкой в Сухуми, в реабилитационный санбат. Бесо от отпуска отказался, двое суток отсыпался, после явился к разведчикам, набил подсумок гранатами и снова ушёл в ночь. Через час-полтора—вспышка, хлопок, к утру усталый, но довольный донельзя, отогревался чаем со сгущёнкой у жаркой печи. На пятую ходку вернулся с трофеем—пригнал сильно побитого оберста-«эдельвейса», который на ломаном русском умолял защитить его от «этого дикого горца». «Горца» с языком отконвоировали на вторую линию, в штаб полка, где герою устроили триумф. Поглядеть на Бесо прибыл сам командарм Леселидзе, обнял, расцеловал в обмороженные щёки, наколол на лацкан «канадки» медаль «За отвагу», велел штабным оформить наградной лист, усадил в свой «виллис» и увёз в неизвестном направлении. Вернули опухшего от злоупотребления генеральским коньяком анархиста через сутки. Не нарушая заведённого им самим распорядка, Бесо отоспался, дождался ночи и опять ушёл в седловину…

В декабре Ищенко направили в Тамбов, «поднимать» службу тыла сформированной для усиления Сталинградского фронта 2-й гвардейской армии. Яков Андреевич забрал с собой полюбившегося анархиста—ординарцем и, по совместительству, личным шофёром. По прибытии, на ходу доукомплектовывая армию, пошли на соединение с войсками Ерёменко. Встали на пути поспешавшей на выручку к Паулюсу группировки Манштейна, после с боями шли к Ростову, освобождали Новочеркасск. Всё это время Ищенко с верным водилой провели «на колёсах», в бесконечной гонке: боеприпасы, горючее, продовольствие, медикаменты, эвакуация больных и раненых—бесконечные эшелоны с передовой и на передовую, перешивка разорённых путей, зачастую под бомбами всё ещё сильного врага. Снаряды, снаряды, снаряды: плотность артиллерии—двести пятьдесят—триста стволов на километр фронта, это колонны грузовиков со снарядами… В этой кутерьме Бесо нагнала медаль в пару к первой: перед убытием с перевала неугомонный пластун разыскал и грохнул потайной склад «эдельвейсов» с внушительным боезапасом—сутки полыхало и рвалось.

На подступах к Донбассу встали в резерве у Миусского укрепрайона противника, стояли до июля сорок третьего. Деятельный анархист затосковал, впал в хандру, вот тогда-то и пришёл к Ищенко командир 13-го гвардейского корпуса Чанчибадзе:

— Наслышан, Яков Ильич, про художества твоего ординарца. Отдай мне земляка (Бесо, как и Порфирий Георгиевич, родом был из Озургет)—по нему разведка плачет.

Так анархист попал в разведроту только что вышедшей из окружения 3-й гвардейской дивизии.

Комроты, жёсткий старлей-сибиряк, сразу же загнал Бесо на гауптвахту, ибо тот заявил, что привык «работать» в одиночку и не приемлет коллективные походы в расположение врага.

После отсидки оппоненты вновь сцепились, чуть до драки не дошло—запахло штрафбатом. Пришлось самому Чанчибадзе разруливать, гасить конфликт. В результате обстоятельной профилактической беседы—а генерал мастерски умел укрощать строптивцев—сговорились: анархист прекращает какую бы то ни было самодеятельность, строжайшим образом подчиняется действующему боевому уставу, после завершения испытательного срока без провинностей, в виде поощрения, будет допущен и к персональным заданиям.

Стреножили неистового, на неделю отправили к сапёрам—ознакомиться с премудростями подрывного дела, привели к гвардейской присяге и зачислили в группу ночного поиска—сплошь матёрые, прошедшие Сталинград сибиряки-тихоокеанцы, которым фанатичный новичок пришёлся по душе

за холодное бесстрашие и за необъяснимую способность чуять на расстоянии мины и ловушки.

После были бои за Донбасс, освобождение Молочанска, Каховки, Херсона, Евпатории, Севастополя — здесь и нарвался Бесо на «свою» мину: негромкий хлопок и вспышка в ночи. Вынесли товарищи, ползком, через «колючки», в обход вражеских дзотов,— разведка своих не бросала, ни живых, ни мёртвых. А Бесо на удивление всем оказался жив, хоть и беспамятен. Эвакуировали, приложив медали и документы (на задание разведчики уходили пустыми — ни бумаг, ни наград, ни знаков различия), после череды полевых лазаретов попал в родной Тифлис, в эвакогоспиталь №1434 на Калинина: Пишущие судьбу вернули Бесо к самому порогу его дома — проживал он сызмальства на Кирочной…

Чинили анархиста долго, до осенних дождей, а в ноябре — гора с горой не сходится — прибыл в госпиталь на лечение (сказалось тяжкое переутомление первых дней войны) успевший дослужиться до звания бригадного генерала Войска Польского (помогал Рокоссовскому обустроить Главную интендантскую службу) Ищенко, можно сказать — крёстный Бесо. Встреча была трогательной и хмельной — с соизволения главврача раздавили бутылку-другую кахетинского.

— Порфирий знает, что ты здесь? — поинтересовался Яков Андреевич.

Анархист пожал плечами:

— От комкора до рядового, да ещё и списанного…

— Разберёмся! — подмигнул дважды генерал, указал на две сиротливые медали, пришпиленные к больничной пижаме.— Что, за все твои художества всего-то пара бирюлек? Разберёмся! — подозвал госпитального сексота:— Слышь, чека, организуй-ка мне прямой провод с командармом-два. Тебя, Бесо, когда покорёжило, в мае? Значит, не знаешь, что Георгиевич нынче нашей гвардейской командует…

В феврале сорок пятого похорошевший Ищенко укатил командовать тылом Белорусского округа, а Бесо вернулся на родной станкостроительный — командовать цехом, в котором раньше собирал «изделия». В марте пришли наградной лист и третья «Отвага», а в середине июня Бесо вызвали в штаб округа, вручили орден Славы I степени, нарушив при этом обязательную очерёдность степеней, парадную форму нового образца и велели в ночь на двадцать третье число быть готовым лететь в Москву:

— За вами заедут.

Летели разномастной компанией: обвешенный орденами суровый танкист, капитан артиллерии с деревянной рукой, троица весёлых военморов, ну и сам Бесо — в новенькой гимнастёрке и с негнущейся ногой. Приземлились на Ходынском поле, ночевали в Лефортовских казармах, где им раздали пропуски на парад Победы. К девяти часам утра Бесо уже протискивался сквозь толпу высокопоставленных гостей к гранитному парапету трибуны у Кремлёвской стены…

Откуда мне известны подробности жизненного пути анархиста? Несмотря на существенную разницу в возрасте — мне двенадцать, ему под пятьдесят,— были мы закадычными друзьями, вплоть до того, что Бесо позволял мне просматривать его дневники фронтового периода, а пристрастный к мемуаристике и педант при этом, практиковал он их тогда исправно. Мало того, допустил он меня в «закрытый» абонемент библиотеки — специальную комнату с подшивками периодики тридцатых годов, так что я, любопытствующий запретной темой, подавляя зевоту, изучал стенограммы обвинительных заключений по троцкистско-зиновьевскому, пятаковскому, бухаринскому делам. Когда патетический слог Андрея Януарьевича утомлял мои юные извилины, я откладывал в сторону подшивку «Известий» и отдыхал душой, просматривая занимательнейшие книжки «Огонька» с захватывающими описаниями полёта в стратосферу Константина Годунова, дрейфа папанинцев, перелёта Чкалова — Беляева — Байдукова… Вот такая была у нас дружба, на доверии, ибо ляпни я где-нибудь про посещения запретной комнаты, схлопотал бы мой старший товарищ серьёзные неприятности — стояли последние, мрачные дни хрущёвщины.

Лето шестьдесят четвёртого я отбалбесил в деревне у родни, а когда к началу учебного года вернулся в город, ждало меня горькое известие: Бесо умер, без мучений, заснул и не проснулся. Жил он бобылём, сбережений ввиду скудного жалования не оставил, похоронила его, как фронтовика-орденоносца, военная комендатура города, награды, за неимением наследников, сдали властям…

Светлейшая княжна

Образцовых воспитанниц Смольного называли парфетками (от французского *parfait* — совершенная), непослушных отроковиц — мовёшками (*mouvaise* — дурная). Юная Софья Александровна относилась ко второй группе, и многим позже, вопреки пережитым невзгодам, нрав сохранила озорной и весёлый.

С матушкой сдружилась в буйнолесье целительного Чатахи, куда в войну вывозили анемичных детей. Позже дружбу скрепили соседские отношения — княжна получила двухкомнатную квартирку в новострое наискосок от нашего двора. Трудилась бывшая воспитанница Смольного на нашей мебельной, полировщицей. Порой после смены наведывалась к нам — посплетничать. Усевшись в массивное кресло — стулья её породистое тулово не выдерживали,— заправляла в серебряный мундштук с богатым орнаментом (последняя оставшаяся после лихолетья семейная реликвия)

папиросу, закуривала, выпускала колечко дыма, и жаловалась матушке:
— На фабрике полный бардак! Как Циклоп свою лавчонку прикрыл, так политура, считай, без шеллака сделалась, один спирт, марганцовкой подкрашенный…

Сико

Частенько, заехав домой на перерыв и отобедав, отлавливал меня во дворе, сажал в министерский зим и забирал на службу. В Главном кабинете мне предоставлялось место за совещательным столом, неограниченное количество бумаги и карандаши. Сико снимал стружку с аппаратчиков, а я старательно разрисовывал предоставленный папир. Было мне тогда лет пять-шесть. Времена были безмятежные, да и министры тогда были неправильные: государственных средств не расхищали, ездили без охраны, простых смертных за равных держали…

Продолжение следует…

Литературное Красноярье ∴ ДиН стихи

Татьяна Панова

И каждый дождь, и каждый миг

● ● ●

И грусть луны на тёмном небосводе,
И звон на солнце выжженной травы,
И шум всезаглушающей природы —
Лесов, полей, и ветра, и воды,

И осень в золотых своих убранствах,
И буйство чувств в весенних голосах,
И музыка рассветов и закатов,
Собой отображённая в цветах,

Падения и новые высоты,
Дороги и зовущие огни,
И бесполезность всей этой свободы
Без чувства всеобъемлющей любви,

И первое, похожее на сказку,
И позднее, что сказано любя…
О, если б, Жизнь, ты не была прекрасна,
То не было б так страшно за тебя.

● ● ●

Любить, любить таким как есть,
И небо лишь за то, что небо,
И дня, и ночи перевес
Любить доверчиво и слепо,

И землю — нет, не с высоты,
А вот — с травинкой и побегом,
И снег, упавший с высоты,
И боль цветов под этим снегом,

И каждый дождь, и каждый миг,
И то окно в ночи, со свечкой,
И тех — обычных и простых —
Людей, одетых в человечность,

И эту жизнь, и этот груз,
Мне выданный судьбой и небом,
И осязаемую грусть,
Что дарит осень напоследок.

● ● ●

В комнате часы тикают,
Снег летит к окну хлопьями.
Вот оно, моё — тихое,
Вот оно, моё — тёплое

Счастье на двоих — поровну,
От других почти скрытое,
Из секунд, минут собрано,
Из ночей и дней выткано.

В горле ком застыл нежностью,
И глаза блестят влажные.
Хлопья вниз летят снежные,
Тикают часы важные.

● ● ●

Облака низко-низко,
Недвижимы без ветра,
Над землёю нависли.
Скоро кончится лето.

Отцветёт, отсверкает
Всем, что есть, напоследок,
С тихой грустью роняя
Отболевшее с веток.

Жаль, что короток праздник,
Всё заране известно…
Только не надышаться,
Только не наглядеться.

Марина Саввиных

Огонь, вода и медь Нины Ягодинцевой

1.

Говорить о художественном мире Нины Ягодинцевой — и трудно, и легко. Трудно, потому что о поэте Ягодинцевой много и верно сказано людьми, в высшей степени сведущими, так что добавить новое, неожиданное к своду оригинальных и точных суждений, как ни старайся, вряд ли получится. Легко, потому что художественная манера этого мастера уже настолько отточена и совершенна, что форма почти незаметна, не перехватывает внимание читателя, «не тянет на себя»… следовательно, можно отдаться потоку собственных впечатлений, не отягощаясь рассуждениями формального порядка. Кто-то из классиков-литературоведов сравнил художественную форму со стеклом, сквозь которое зритель-слушатель-читатель смотрит на изображаемый предмет. Когда форма совершенна — её не замечаешь. Если речь идёт о художнике слова, между творческим импульсом автора и восприятием заинтересованного читателя как бы не остаётся преград. Нина Ягодинцева давно достигла в стихах именно такой степени мастерства. Поэтому — как читатель — я буду говорить об открывающихся в поэзии Нины миросозерцании и жизнепостижении, минуя рассуждения о ремесле.

Стихи Нины Ягодинцевой регулярно печатают литературные журналы. Но одно дело журнальная подборка, с какой бы тщательностью и тактом она ни была собрана и скомпонована, и совсем другое — книга, тем более — собрание книг, изданных в разное время. Собрание сочинений поэта — роман в стихах. Мне повезло во время карантина — нет худа без добра! — прочесть «лирический роман» Ягодинцевой постепенно, главу за главой. Пока я читала, ощущение невероятной энергетики, какого-то мощнейшего метафизического излучения не оставляло меня. Хотя… чтение это вовсе не из лёгких. Силы, в момент наивысшего творческого подъёма овладевающие душой поэта, чаще всего темны, тяжелы, и мудрая, познавшая многие тайны времён и культур Нина, умеющая, по завету М. М. Бахтина, удерживать «вненаходимость» своему тексту, прекрасно понимает это. Можно даже сказать, что лирическое напряжение стихов Ягодинцевой как раз и создаётся непрекращающейся борьбой мощнейших тёмных сил, материальной, плотной — плотской! — стихии и рвущимся вон из плена бунтующим световым лучом познающего и рефлектирующего духа.

Миросозерцание Нины Ягодинцевой в основе своей — трагедийно. Его начало — в «осенней вязкой глине», в «ржавой воде», которой «забрызгано небо». Оно переживается «в час небесного отлива», где царит густой туман, где душа — «сонная», лес — «как призрак», обрывы — «мрачные», пугающие «гребни острых скал». Всё это — труд, путь, Россия, дом, тёмный сад. Предмет любви, труда и… преодоления? Потому что сердце и руки лирической героини заняты всем земным — с непреодолимой силою страстей, в которых вызревает и является наделённое душой и разумом земное существо. А душа поддерживается земными же, плотными, плотскими «столпами». Так — очень рано — в лирическом высказывании Нины Ягодинцевой возникает образ воплощённой души, «работающей» по земным, вещественным, плотным стихиям — глине, камню… по «земле» с её водой, перстью и жестью.

Можно сколько угодно иронизировать над мистическими предуведомлениями, но поэт Нина Ягодинцева ощущает воду — родной, огонь — чуждым, почти враждебным, землю — гнездом и тенётами, воздух (небо?) — смутно прозреваемым покинутым домом:

> Огонь бесплодный и ничей,
> Но жечь ему дано.
> ……………………………………
> В тёмный сад, на самое дно, в траву —
> Слышать, как бьётся из-под земли вода.
> Как мне странно, что я до сих пор на земле живу —
> Словно птица, не покидающая гнезда.

Обращаясь к начинающим авторам, Нина Ягодинцева неоднократно говорила: художник слова — поскольку у него нет другого материала, зато сам материал поистине универсален, — воздействует на все чувства читателя: зрение, слух и даже обоняние и осязание. Сама Нина делает это виртуозно. Всё, что касается материального мира, выписано ею с использованием богатейшей палитры красок, озвучено симфонической оркестровкой — от классического контрапункта до дисгармоний двадцатого века, всё благоухает, цветёт, поглаживает, царапает и хлещет. Словно

сама земля, сама природа с любовью и ревностью припадает к телу лирической героини, обвивает его—и, лаская, жалит, заставляя плакать и кричать. И тосковать по оставленным небесам, в которых рано или поздно предстоит возродиться:

Как наивно тоска называет себя тоскою!
Это чувство похоже на ощущенья те,
Что дитя вызывает, едва поведя рукою
В материнской утробе, в ласкающей тесноте.
Что я знаю о нём, о томительном этом жесте
Сонной плоти в жемчужных глубинах вод?
Лишь одно: я в тоске тону, как в блаженстве,
Покуда жизнь по жилам моим плывёт.
Что-то медленно зреет во мне, как в яблоке солнце,
Как в чёрном семечке—зелёная высота.
Я глаза подниму—и небо, смеясь, коснётся
Своего округлого, тёплого живота…

Николай Бердяев в «Смысле творчества» утверждает: «…Всё в мире должно быть имманентно вознесено на крест. Так осуществляется божественное развитие, божественное творчество. Всё внешнее становится внутренним. И весь мир есть мой путь[1]…» Эти слова, думаю, могли бы стать эпиграфом к «лирическому роману» Нины Ягодинцевой. Однако предполагал ли философ, что «вознесение на крест»—это не только вознесение, возвышение, полёт, но и боль нестерпимая? Героиня Ягодинцевой переживает творческое усилие как полёт и как боль. Трагедийный «нерв» каждого её стихотворения—приуготовление и переживание катарсиса, очищения грешной души страданием, болью. Знает ли кто до победного конца, что такое—страсть и боль художника, вырабатывающего Слово из собственной немоты? Саша Петрушкин—Царствие Небесное!—замечательный уральский поэт—говаривал: поэта рвёт стихами. О! Если б так… Лирической героине Нины знакомы и скорбь по «мёртвым книгам» (вспомним великое: «И, как пчёлы в улье опустелом, дурно пахнут мёртвые слова»[2]):

Закоптились небесные своды
До глубокой ночной черноты.
В тайном городе нашей свободы
Догорают дома и мосты.
Нам не слышно, как мечутся крики
От огня до небесной реки.
Там горят наши мёртвые книги,
Наши дерзкие черновики…—

и пасхальная радость колокольного звона—та самая медь, которая «вытягивает» симфоническое многоголосие в один всепобеждающий тон:

На миг попробуй замереть,
Закрыть послушные глаза:
Звенят, как праздничная медь,
Малиновые голоса.
…………………
Как безутешно плачет медь
Вдоль синей белизны!
…………………
Яблочный Спас, золочёная медь,
Горлышко, пробующее петь.

Но это не есть—только выдохнуть, выкрикнуть, вытолкнуть из себя. Это—труд, работа. Если угодно—самораспятие. Непрерывная жертва художника. Не всякий, взявшийся нести желанную ношу, справляется с её тяжестью. И не зря философ и педагог Нина Ягодинцева столь пристально и скрупулёзно разрабатывает в науке тему «техники безопасности творческого развития». Кто-кто—а она-то знает не понаслышке, *каково* это.

И дождь ударит по брусчатке,
И хлынут чёрные ручьи—
Мгновенья гнева будут кратки,
Как мысли тайные твои.
Душа—она уже взлетела
Под гулкий колокол грозы,
А обезглавленное тело
Уволокут в канаву псы.

Нина знает безысходность—в сущности, бессмысленность, бесполезность жертвы. Ту самую высокую обречённость художника, которая роднит его с Христом. Об этом тоже много у Бердяева. И очень точно—у Бориса Чичибабина в знаменитом стихотворении «Ночью черниговской с гор араратских…». Выбор между «землёй» и «небом», плотью и духом—невозможен. Но—неотвратим. В огненном зазоре между живым человеческим чувством, осязающим каждую былинку, каждый комок глины, каждую горсть горьких осенних ягод, и Вестью Вечности—о! как страшит эта пропасть лирическую героиню Нины Ягодинцевой!—она и становится звенящей струной, излучающей крестный свет—одновременно и обнадёживающий, и ужасный.

Всё есть и будет—смерти нет,
Простая истина Вселенной.
Дороги в край благословенный
Вливаются в пути комет,
И звёздным крошевом звенят,
И плещут ржавою водою,
И вот опять перед тобою
Гора, тропинка, дом и сад.
Но это призрак! Дома нет,
Лишь дерева́ над чёрным срубом,
А в воздухе сыром и грубом
Мерцает яблоневый цвет.

……………………

1. *Бердяев Николай.* Философия творчества, культуры и искусства. М., Искусство, 1994. Т. 1. С. 45.
2. Строчка из стихотворения Николая Гумилёва.

И снова вода—то «ржавая» (кровь?), то «небесная», «золотая»:

> Словно тихая река—
> Небо улицы осенней.
> Золотые берега
> В воду медленно осели.
> Звонким криком на лету
> Обещая непогоду,
> Птица канет в высоту,
> Словно в медленную воду.
> Только лёгкую волну
> Принесёт холодный воздух.
> Через эту глубину—
> Ни моста, ни перевоза…—

…то страшная стихия половодья, сметающего всё на своём пути:

> Всё кончилось.
> А дом над узкой речкой
> Обвалится,
> Травою зарастёт
> И в половодье на глухой заре
> Сползёт с обрыва в воду…—

…то радуга и капельки росы—в припадке сердечного умиления:

> Возьми с ладони эту радугу
> И смуглый сад, ещё спросонья,
> Где капельки звенят, не падая,
> И называются росою…—

…то трепещущая на ветру речка:

> И волны мечутся, и мнутся,
> И задыхаются у дна:
> О, как боится прикоснуться
> К спалённым берегам она…

(всё тот же «водный» страх огня!).

Но—апофеозом, воскрешением, освобождением—после бесконечных искушений и мытарств—переживание всепобеждающего счастья:

> И так светло среди тысячелетий
> От серебристого сиянья слов…

Воистину—оправдание Поэта перед лицом Всебытия! Iustificatio Poeta!

> Счастлив, кто раньше всех пробудит
> Свободный колокол небес!

2.

Православная линия красной нитью проходит через все главы «книги жизни» Нины Ягодинцевой. Тёплая, светлая, смиренная нота… Акафист Творцу и Бытию. Здесь—словно в точке схождения (пересечения) вертикали и горизонтали креста—и момент крайнего напряжения, и слёзы разрешения всех противоречий и конфликтов, и гегелевское «снятие» в переходе на новый уровень постижения. Шелест, лепет, пенье… Отдалённые переклички с «тихими лириками» шестидесятых (хотя сама Нина—поэт отнюдь не «тихий»), обретение опоры и в переживании родины, и в переживании православного обряда и уклада.

> Душа моя, Господь с тобою,
> Не говори, что жизнь прошла,
> Когда ладонью восковою
> Туман стираю со стекла…
> …………………………
> Я прислонюсь к холодной раме:
> Как хорошо, что есть приют,
> А там, за ветхими дверями,
> Слепые ангелы поют.
> Огонь в печи воздел ладони
> И замирает, трепеща,
> И на серебряной иконе
> Подхвачен ветром край плаща,
> И длится, длится тайный праздник,
> Душа пирует налегке,
> И лишь свеча всё время гаснет
> На неподвижном сквозняке.

Много ещё таких строчек, строф, образов находит читатель в книгах Нины Ягодинцевой. Мотивы покоя, искреннего и глубокого приятия «чаши бытия», словно канва, внутренний каркас, удерживают художественный мир поэта от распада, разрыва по затаённым трагедийным швам, под которыми—даже в минуты покоя,—не утихая, вздымаются первоначальные воды… а над ними носится и в них отражается грозный созидающий Дух, его игры и войны, его суд да дело…

> Куда бежать воде? Куда векам стремиться
> И нам держать свой путь?
> Мы отыскали том, но каменной страницы
> Нам не перевернуть.

Вода для Нины—перифраз судьбы. Кто из нас, чьи детство и молодость прошли среди урбанистических пейзажей гигантов индустрии, не видел, не помнит «ржавую, рыжую» воду весенних распутиц, серый (но и «бережный») городской снег? Читая эти стихи, сопереживая им, вдумываясь, я вспоминаю другую воду… Воду Андрея Тарковского в «Сталкере». Не те ли же мысли занимали поэта, не то ли же чувство его (её!) одолевало, когда возникали такие стихи:

> В зелёном зеркальце пруда
> Себя разглядывает небо.
> Глубинных трав шелкóвый невод
> Колышет сонная вода.
> Что ловят в эти невода?
> Что прячут, стебли заплетая?
> Кувшинка дремлет золотая,
> Не просыпаясь никогда…

Или такие:

Теченье донных трав, подобное дыханью,
Не отпускает взор; так ветер льстится тканью
Легчайшего плаща: коснётся — и отпрянет,
Весь в лепестках цветов и ароматах пряных.
Теченье донных трав, подобно заклинанью,
Не отпускает слух; так шелестом за тканью
Наивно поспешать: она скользит без звука,
Прохладой голубой обманывая руку…

Вода — река, вода текучая и увлекающая. Вода живая и вода Леты, забвения и вечного покоя.

Чернее реки не бывает, чем эта река.
В ней тонут огни, а всплывает со дна только тина.
Но разве река в этой горечи смертной повинна?
Душа её где-то блуждает, по-детски легка.
Господь упаси прикоснуться к безумной воде:
Невидимый яд потечёт по испуганным жилам,
И кровь, замирая, осядет отравленным илом,
И сердце заплачет, как плачет дитя в темноте.
Я видела странника. Тяжкую ношу неся,
Он шёл издалёка. Одежда казалась седою.
Спустившись к реке, он умылся свинцовой водою,
И что он увидел — нам даже представить нельзя.
Река молчалива. В сырую весеннюю смуть
Она не бурлит, напоённая светом и снегом.
То солнце, то месяц её выбирают ночлегом,
А город всё чаще и чаще не может заснуть.

Огонь у Нины Ягодинцевой — всегда вызов, демоническое искушение, чувственный голод и опустошающая страсть. Искушение таится в смиренном (*как бы* смиренном!) пламени свечи (недаром свеча «гаснет на неподвижном сквозняке» — огонь почти всегда обыгран поэтом в оксюморонах):

Она горит, свеча-невольница,
И заслоняется рукой:
Ей долго-долго будет помниться
Лоскутный сумрак городской,
И эта рыхлая обочина,
Забрызганная дочерна,
И эта ночь, где между прочими
Она случайно зажжена.

Но огонь — это и пожар, в котором исчезает материальный мир («пожар» — сквозной образ в лирической исповеди Нины). Огонь пожара — предвестник геенны огненной, её начало, страх и отчаяние мятущейся души:

А если что-то вдруг останется,
Так это краткое беспамятство,
И в нём вся правда обо мне
Совьётся свитком на огне.
……………………………
В деревне царь — пожар: нахлынут ветры с гор —
Узорчатым шатром взвивается костёр!
А дерево черно — серебряную чернь
В предчувствии огня не удержать ничем.
……………………………………
Битком набив мешки, оставив белый прах,
Пожар уходит вдаль на взмыленных ветрах.
И колокольный звон баюкает враспев
Тяжёлый бабий вой, бессильный древний гнев.

Пыль, пепел, осыпающаяся пыльца… Любовные переживания героини тоже сродни огню — тому, на который беззаветно летит душа-психея, чтобы обжечься и… в лучшем случае — отпрянуть.

И вот уж пальцы жжёт. Ещё, ещё немного —
И всё. И только пятнышко ожога.
……………………………………
По правилам игры пора поставить точку:
Какой послушный знак! Уж он-то не солжёт!
Оставим всё как есть:
Кафе. Театр. Почта.
Ожог.
……………………………………
Наш разговор плывёт как пламя
По тополиному снежку…

(Представляете пламя, подхватившее тополиный пух?!)

Но огонь — это и образ взывающего и испытующего Духа, перед которым трепещет и жмётся к земле-матушке вожделеющая Его прикосновения воплощённая душа:

Никто вослед им не заплакал —
Подите, коли Бог не спас…
И только гневный чёрный факел
До боли вглядывался в нас.

Жаждать и отвергать, приближаться и отталкиваться, мечтать и ужасаться. Диалектическая поэзия! Одно из самых совершенных стихотворений Нины Ягодинцевой — прямая картина её жизнепостижения и в то же время тончайшая метафора творчества:

Я знаю, как плачет вода, если нехотя льётся
В иссохшие недра забывшего небо колодца.
Как руки целует, безвольно сквозь пальцы стекая,
До гневного пламени в чёрную плоть проникая.
Как шёпот её, поднимаясь из огненных трещин,
Сначала беспомощный, скоро становится вещим.
И вот уже вёдра звенят, и тяжёлые цепи,
Крутя барабан, устремляются с грохотом к цели.
Хрустальная тяжесть, сверканье, и плеск, и прохлада —
За первые слёзы, за страшные слёзы награда.
И в эти мгновенья бывает прекрасно и странно
Представить себе безграничную гладь океана.

Дух к Духу тянется, искра Божия — к Богу, капля, первоначальная «страшная слеза», — к безграничной глади океана. Через чёрную плоть, огненные трещины и гневное пламя. Читаешь такое — и мороз по коже!

Ещё интереснее — тема жажды, её томления и утоления.

Из каменных ладоней гор,
Как из любимых рук,
Пить! И согласный птичий хор
Всё выпевает звук:
Пить! В окружении камней
Трепещет озерцо,
И сонмы солнечных огней
Ложатся на лицо:
Пить! Льнёт и ластится вода,
Но тайный холод крут.
Вот так, наверно, пьют, когда
Из Леты пьют.

И совершенно уникальное—Нины Ягодинцевой!—очень женское и очень христианское чувство—чувство «капли», жаждущей утолить собою Океан!

Прими меня в ладони, Господи,
Как путник влагу из реки.

3.

Тем более показательна в художественном мире Нины Ягодинцевой—встреча воды и огня. Упоительно прекрасная, всегда гибельная для обоих, оставляющая незаживающий след на «воздушном», небесном теле героев… Душа—«глина небесная». Ей уже знаком этот страшный, но пробуждающий, творческий опыт.

Харон отдыхает: водою забвенья
Мы были умыты за миг до рожденья,
И светят нам в спины не рай и не ад,
А белые лампы родильных палат.

Право, не представляю, как это комментировать. Всякий раз, когда, зажмурившись, смутно припоминаешь эту пробуждающую пригоршню «воды забвения», остаёшься в глубокой уверенности, что, кроме тебя, этого не знает и не помнит *никто*. Поэт Нина Ягодинцева не опасается проявлять жуткую осведомлённость о конце и начале.

Всеми страстями обугленный, проступает
Сквозь невесомую ткань моего забвенья—
Словно к ней с другой стороны подносят
Чёрный огонь чужого воспоминанья…

Огонь исходит из недр земных, из трещины на дне колодца, но чаще—с родных, полузабытых, желанных и пугающих небес:

Земной предел уже неразличим,
Неназванное говорит названья,
И заслониться нечем от сиянья,
Идущего из пламенных пучин…
………………………………
О небо, небо, синий прах сомнений,
Что есть любовь, и что её закон?—
Огонь идёт по улицам селений,
Огонь целует золото икон!

Пугливая вода—предостерегает и лечит:

О, как хотелось вырваться туда,
В сияние торжественного гула!
Но, испугавшись, вскинулась вода
И брызгами в лицо моё плеснула.

Первородный ужас бытия… Но именно встреча воды и огня противостоит в мироздании Нины Ягодинцевой самому страшному, неодолимо страшному—смерти, пустоте. Творческое усилие художника преодолевает её, преобразует (как воду в вино) в нечто живое и материальное—в Свет Спасения:

От невесомого креста
Над древним куполом зелёным
Разбуженная пустота
Плывёт ко мне калёным звоном,
И тянут руки у ворот,
Благословления гнусавя,
И, прожигая чёрный лёд,
Проходит девочка босая—
Несёт янтарную свечу
Из переполненного храма,
И я откликнуться хочу,
Но сердце замирает: рано…
Она идёт между калек
В своей таинственной заботе,
И гасит милосердный снег
Её горящие лохмотья.

Или—в медь колокольного звона:

С покорных на Руси всегда берут втройне—
В миру и на войне, в воде или в огне.
Старухи голосят, и колокол, гудя,
Взывает к небесам о воинстве дождя,
Но тучи за хребтом, и небу тяжело
Тащить по гребням скал свинцовое крыло.
Битком набив мешки, оставив белый прах,
Пожар уходит вдаль на взмыленных ветрах.
И колокольный звон баюкает враспев
Тяжёлый бабий вой, бессильный древний гнев.
И падает река с уступа на уступ,
Облизывая соль с горячих горьких губ.
………………………………
Закрываешь глаза, забываешь дышать и звенишь, как медь,
Но прозрачный краешек Уреньги начинает тлеть.
Занимается пламенем, как от забытой свечи листок.
Но огонь не согреет—небесный костёр высок.

Или же—просто в плоть, в трепещущую телесность:

Влажной тканью оберни пустоту—
Проступает обнажённая плоть.

Но главное—в Речь, в Музыку, в Слово, в котором, наконец, гармонически соединяются, продолжая и преодолевая друг друга, вода и огонь, небесное и земное:

Стояла ночь—зелёная вода.
Я слушала невнятный шёпот крови.

И неотступно, словно невода́,
Метанье звёзд преследовали кроны.
Я распахнула в глубину окно:
Струилась кровь, и речь её звучала,
Как будто бы стекавшая на дно,
В магическое, зыбкое начало.
Я знаю всё, что я хочу сказать.
Но речь её была такая му́ка,
Что никакою силой не связать
Могучий ток неведомого звука.
. . . .
Всё камень и металл—но липы вдоль проспекта,
И предвечерний час—над ними, на весу.
Всё музыка вокруг—и ничего не спето,
И я иду одна и музыку несу.

4.

И ещё одно—важное. Нина Ягодинцева знает, как из войны и взаимного влечения стихий рано или поздно родится всеобъемлющее, всепобеждающее и всепримиряющее «*мы*».

Так что сначала—«мы» и «они»:

Осенью степь далеко видна,
И всюду—одни костры.
Руки ли греют, Богу ли мстят
За немоту свою?
Ты принимаешь пламенный стяг:
—Я и в огне спою!
Да разве можно просить у тех,
Кому ты несёшь свой дар?..
Пожар—
Одна из их невинных утех.

И, наконец,—*мы!*

Медленны воды, туманны пути, и всё же
Дороги любого Рима приводят к нам.
Тайный сквозняк пробегает волной по коже:
Нас безошибочно знают по именам.

Удивительное чувство единения, гармонии и полноты бытия. Ибо все времена одновременны, все реки—текут, все свечи—от одного огня, и все люди—братья. И сёстры.

Переворачивая последнюю—доступную мне—страницу «лирического романа» Нины Ягодинцевой, спрашиваю себя, читательницу: что дальше?

Действительно—что?

Продолжение следует?

ДиН пародия

Евгений Минин

Что-то светлое в душе…

Душевное

Но что-то светлое в душе
Должно быть даже у бандита.
Алексей Кириллов

Пишу стихи. В стране беда.
Страной командует элита.
Я сочиняю без труда
Про жизнь несчастного бандита.
О нём, а не о торгаше—
Мне хочется писать про это!
Ведь что-то светлое в душе
Должно быть даже у поэта.

Какбысонное

Ничего, что я с тобою
говорю как бы во сне?
Вероника Шелленберг

Знают взрослые и дети,
невзирая на молву:
очень сложно жить на свете
в наше время наяву.
И вот так вот в антураже
кажется всё время мне,
что стихи пишу я даже
как бы вроде бы во сне.

Ильман Юсупов

Я вновь мечтаю зазвенеть строкою

● ● ●

Я, не противясь Божьему веленью,
Изгнанья путь так долго продолжал,
Что, может быть, предать меня забвенью
Успели пики каменистых скал.
Хоть для меня моё былое свято,
Я замечаю с горестной тоской,
Что зов, ко мне стремившийся когда-то,
Теперь на зов не отвечает мой.
Роятся надо мной чужие пчёлы,
Мне чужд и незнакомый вид ракит,
Дырявят сердце памяти уколы,
И сожалений дым глаза коптит.
Мне мнится, что, черствея незаметно,
Стал странным я для чуткости людской,
Хоть и служу стихам я беззаветно,
И не хитрю со словом и строкой.
Хоть мельтешат сомненья ледяные
В моих мечтах и чувствах всё сильней,
Хотел бы я дела свои земные
Узреть на гребне расторопных дней
И, вывернув раздумья наизнанку,
Отправить весь запас душевных сил
Туда, где смерть мне сла́дила приманку—
Два холмика родительских могил…

● ● ●

В далёких просторах, в селенье родном
Стоит, наклонившись, мой раненый дом.
В крови возрождая былое родство,
Лишь память способна увидеть его.
В нём жили когда-то, как в чудном дворце,
Виденья о матери и об отце.
Мой дух неприкаянный, тихо молясь,
Выходит с родными местами на связь.
Когда-то мной пройденных троп колеи
Друг другу читают сонеты мои.
И бьющий из горного склона родник
Вечерней порой вспоминает мой лик.
Теперь моей жизни последнюю часть
Судьба заставляет к чужбине припасть.
Мерцают надежды, как будто огни,
Тревожно считая бегущие дни…

● ● ●

В родном селе, у отчего двора
Давным-давно не тряс я шелковицу,
Не отправлялся на косьбу с утра,
Не видел птиц чеченских вереницу,
Не слышал лай знакомых мне собак,
Не ел в саду соседа абрикосы,
И без меня над высотой Маштак[1]
Шумят метели и сверкают гро́зы.
Отцовский край—кусок моей души,
Отрезанный незримою рукою,
В любой его затерянной глуши
Я вновь мечтаю зазвенеть строкою.
Но не ропщу я вовсе на судьбу,
С рожденья мне дарованную Богом.
Своих фантазий буйных ворожбу
Отныне я держу в режиме строгом.
И не хочу, страдая и скорбя,
В уме листая книгу лихолетья,
Просить у мига льготу для себя
И требовать от вечности бессмертья…

● ● ●

Ночным покоем наслаждаясь, вёрсты
Себя неспешно погружают в сон.
На жестяные пуговицы-звёзды
Застёгнут до рассвета небосклон.

На бархате травы, где плачут росы,
Кузнечики зелёный звон куют.
В дубраве бродит ветер безголосый,
Не в силах отыскать себе приют.

Мне мнится, что я чувствую вращенье
Своей души вокруг оси земной,
Что каждое короткое мгновенье
С рыданьями прощается со мной.

И, ясно сознавая, что в былое
Перетекает жизнь моя тайком,
Иду в атаку я на время злое,
Стихом его дырявя, как штыком.

И в этой битве—грозной и жестокой—
Я буду свято чтить, покуда жив,
Высокий образ Родины далёкой
И памяти возвышенный архив…

1. Маштак—высота в Веденском районе Чечни.

● ● ●

Сипло дышит зимний ветер, тучи теребя,
На такой большой планете, нана, нет тебя.

В чужеземных далях стонет мой сыновний зов,
На дорогах жизни больше нет твоих следов.

Грустно я смотрю на небо, зная, что ты там,
И опять шепчу молитвы с болью пополам.

● ● ●

Сижу я на скамье в саду цветущем,
Где запахом поит меня сирень.
Но смею ли мечтать я о грядущем,
Продлить желая этот летний день,
Стремясь не отпустить своё былое
Из дум своих печальных ни на миг,
Которому, идя сквозь время злое,
В стихах своих я памятник воздвиг?
И, быт суровый сердцем согревая,
Всегда я в снах своих бываю там,
Где отчий дом и башня родовая
Мой образ дружно делят пополам…

● ● ●

Неслись на землю метеоры,
Лениво жаля плотный мрак.
Дразня окрестные просторы,
Метался где-то лай собак.
Чеченский хутор под горою
В вечерних сумерках притих.
И память мыслей мошкарою
Пьёт снова кровь из жил моих…
Вот я, за небом наблюдая,
Стою у ветхого плетня,
И смотрит нана[2] молодая
С улыбкой кроткой на меня.
Хоть мчится быстро время злое,
Храню я в сердце до сих пор:
Лицо, до боли дорогое,
Заветный каменистый двор,
Хлеб кукурузный—жёлто-серый,
Струящийся из товхи[3] жар
И символ сытости и веры—
Стоящий в комнате кахьар[4].
Обласкан мною добрым словом,
Как светлой грусти торжество,
Кизячный дым над отчим домом—
Свидетель детства моего…

● ● ●

Тихий город на шведской земле
Замер в сонной медлительной лени.
Уплотняются чёрные тени,
Становясь под луною смелей.

Площадь неба, без всяких затей,
Завоёвана звёздною ратью.
Над речною качаются гладью
Колыбели ночных фонарей.

Наклонились над сердцем моим
Души в сон упакованных улиц.
В парке листья друг друга коснулись:
Ветер трепетно ластится к ним.

В сероватой предутренней мгле
Встретит птиц мелодичное пенье
Дум тяжёлых моих утешенье—
Тихий город на шведской земле…

● ● ●

Грустит округа, как гнездо пустое.
Стих в старой роще листопада шум.
Зиме навстречу, задыхаясь в вое,
Безумный ветер мчится наобум.

Скукожились от сырости равнины,
Скучая без цветов и певчих птах.
Холмов далёких сумрачные спины
Мечтают о серебряных снегах.

И, чтя небес высокие уставы,
Шушукают дожди то здесь, то там.
О льдах, что усмирит её суставы,
Река вещает рябью берегам…

● ● ●

Шведские деревья заскучали,
Сбросив золото с осенних крон.
И, укрывшись мглою цвета стали,
В тучах слёзы копит небосклон.
Напрягая мысленное зренье,
Я копаюсь в памяти своей,
И тогда ко мне идёт виденье
Из давным-давно прошедших дней:
Вижу дом отца под тополями,
Мать свою, укутанную в шаль,
Хутор, над которым журавлями
Для меня оставлена печаль…

2. Нана—мать по-чеченски.
3. Товха—горская печь, вид камина.
4. Кахьар—старинная чеченская ручная мельница.

● ● ●

Хлопочет осень властною хозяйкой
Над листьями лысеющих лесов.
Скользит луна серебряною чайкой
Над островками серых облаков.

Приходит ветер дуть, не утихая,
Беря мою округу на испуг.
А тишина, как нищенка глухая,
Молчанья просит у ночных пичуг.

Во мглу уходят сумрачные дали,
У горизонта контуры крадя.
В траве сверкают ро́сы, как медали,
Отлитые для стылого дождя.

Всю ночь я проведу в гостях у песен,
Напетых голосами троп и вёрст,
И буду знать, что мир огромный тесен
Моей душе, рождённой среди звёзд…

● ● ●

Осень свою обозначила силу,
Чёрные тучи по небу крутя.
Могут теплу уготовить могилу
Даже две капли шального дождя.

Ветер обрёк беспощадным облавам
Клин пожелтевшей лесной полосы.
Нюх отбивают иссохшимся травам
Кислые запахи стылой росы.

Птиц улетающих брошенным скарбом
Гнёзда пустые на скалах висят.
Светом с небес освещённые слабо,
Мглою укутаны дали до пят.

Грустно—и нет веселиться резона,
Видя триумф увяданья вокруг.
В этой сумятице смены сезона
Душу грызёт непонятный испуг…

● ● ●

Сырая полночь северных широт,
Мне до рассвета ставшая подругой,
Воспоминаний тихий хоровод,
Руководимый беспокойной мукой,
Пустынная скамейка у реки,
Безмолвные беседы с тишиною,
Тревожных дум свирепые полки,
Моей душе грозящие войною,
Белёсая, как цвет небес, печаль,
Боль нагнетать натасканная где-то,
Туманной мглою дышащая даль—
Зовётся одиночеством всё это…

● ● ●

Солнце тихо за облаком село,
Неба хмурый гранит золотя.
Стаи чаек снуют то и дело
Над рекою, по-птичьи грустя.

Серой массой над жёлтой равниной
Заклубилась вечерняя мгла.
У тропы, густо пахнущей глиной,
Замахала ветвями ветла.

Не отнять у заката таланта
Боль дарить, отцветая вдали.
Может, помнит меня, эмигранта,
Хоть частица отцовской земли?

Может, есть хоть какая-то сила,
Сотворённая время сдержать,
Пред которой пасует могила
И невзгод преклоняется рать?

Я б её приручил, словно зверя,
И воспел в животворных стихах,
Чтоб, судьбу неизвестностью меря,
Не испытывать муку и страх…

● ● ●

Ворует ветер листья в роще
И дарит их земле сырой.
Во мгле таиться солнцу проще,
Чем лик свой морщить над горой.

Чернеет в холоде ущелья
Скопленье мрачных валунов.
Не приспособлен для веселья
Суровый край моих отцов.

Родимых мест бессменным гимном
Журчит родник с тоской глухой.
И льнёт ко мне очажным дымом
Чеченский хутор Ригахой.

Лихие тучи, хмуря брови,
Из неба тянут сотни жил.
Я будто слышу голос крови
И вздохи дедовских могил.

Я жить не смог бы по-другому,
Когда судьба даёт под дых,
Без этой вечной тяги к дому,
Меня держащей средь живых.

Сергей Миронов

Благие вести межсезонья…

* * *

А мы пока здесь—и не хлопайте дверью.
Уйдём по-английски, по-русски взлетев
В заоблачных снов вековое круженье
И солнечных взглядов взрывную метель.

Уедем на время, а может, на вечность
В тибетские горы. Войдём в облака,
Исчезнем в реке озорной, бесконечной,
Рукою коснувшись святого песка.

Уйдём невзначай, но ещё повоюем
За честью прописанный страстный сюжет.
Проснёмся иль нет, но над тьмы поцелуем
Затеплится кем-то разбуженный свет,

И кто-то по ветру легко, невесомо
Пошлёт нам вдогонку божественный знак:
Останьтесь пока, ждут вас близкие дома
И плачут, встречая родных у окна.

* * *

Разойдёмся по тёплым квартирам.
Запорошены снегом дома.
За окном, как в игрушечном тире,
Кроет вьюгой прохожих зима.

Продолжается град многоточий,
Вопросительных знаков сезон.
Город счастья опять обесточен,
И накрыл нас разлуки циклон.

Напиши мне о чём-нибудь новом.
Не о том, что метёт за окном.
Но молчат разделённые двое,
Как актёры немого кино.

Между нами стена снегопада,
Километры несказанных слов.
Ты—алмаз недобытого клада
Посреди ослепительных льдов.

Разойдёмся по зимним квартирам.
Не успеем к ночным поездам.
Обозначится белым пунктиром
Между нами земная гряда.

* * *

Есть в поздней осени покой
Проспектов тёмных, перекрёстков.
В листве, дрожащей вразнобой,
Мелькают улицы неброско.

В пустынных парках тишина.
В тумане небо растворилось.
Как будто жизнь прошла одна,
А воскресенья не случилось.

Как будто снова поутру
Одно и то же, и спросонья
Следишь, как в сумерках умрут
Благие вести межсезонья,

Падёт в промозглые сады,
На гладь озёр и рек притихших
Надежд сгоревших чёрный дым
В живых столбцах четверостиший.

* * *

После длительных дождей
В твоём тесном мире—
Ни событий, ни людей.
Тишина в эфире.

Заголовки старых книг
В инее забвенья,
И декабрь ведёт дневник
Скучно, как Тургенев.

Чашка кофе, шоколад.
Фикус на балконе.
Видно, кто-то виноват,
Раз сосед твой в коме.

Открываю чистый лист
Скомканной тетради.
Вижу буйство знойных лиц
На большой эстраде.

Долгожданный Новый год
Встретим грандиозно.
Дед Мороз к гостям придёт,
Улыбнётся грозно.

Евгений Харитонов

Рябиновые кисти

Над горизонтом русским

Мягким багряным цветом
В небе полоской узкой
Тихо встают рассветы
Над горизонтом русским.

Вдруг разразится громом
Пламенный залп «Тунгуски»[1].
Эхо затянет стоном:
«Кто-то напал на русских».

Вмиг призовут набаты
К бою! Ракеты, пуски…
И побегут солдаты
С кличем «Ура!», по-русски!

И задымятся в раже
Пришлых врагов огузки.
Кто-то негромко скажет:
«Как же бесстрашен русский!»

И покорится лихо,
Не рассчитав нагрузки.
Время прошепчет тихо:
«Вновь побеждает русский!»

Мягким багряным цветом
В небе полоской узкой
Снова взойдут рассветы
Над горизонтом русским.

Рябиновые кисти

Разбросает осень листья—
Глаз дере́вчатых печаль.
Лишь рябиновые кисти
Ты тоской не помечай.

Пусть они себе пылают
В этой сизой пелене
И собой напоминают
О прошедшем лете мне,

Где под алые закаты
У раскидистой ольхи
Я, влюблённый и крылатый,
Для неё писал стихи.

Размышляя об осени

Так ли осенью небо угрюмо и серо,
Так ли капли его холодны и немы́?
Может быть, это сердце у нас огрубело
И прохладу разносит не осень, а мы?

Может быть, из-за нас осыпаются клёны
И кружит листопад от зари до зари?
Может, листья у них оттого раскалёны,
Что у нас теплота пропадает внутри?

И листва, накаливши себя до предела,
Так пытается нам что есть силы помочь
Отогреть, отогреть наши душу и тело
И изгнать все земные страдания прочь!

Не секрет, что осенние парки прекрасны
И чарующим цветом пылают костры,
Только жаль, что они прогорают напрасно
И их жар никогда не почувствуем мы.

Моя хорошая

Ну зачем опять тревожишь прошлое,
Открывая наш фотоальбом?
На войну я шёл, моя хорошая,
Чтоб она не тронула наш дом,

Чтоб её, как осень непогожую,
Отвести от нашего крыльца.
Не печалься ты, моя хорошая,
Жизнь всегда удача для бойца.

Может, просто не осилил ношу я
И, сражённый пулей роковой,
Лишь тебя одну, моя хорошая,
Вспоминал, склоняясь над травой.

Обещал, что никогда не брошу я.
Обещал… Да слова не сдержал.
До последнего, моя хорошая,
Я смотрел на небо и дышал,

Где одно лишь облачко, взъерошено,
Плыло вдаль, подобно кораблю.
Вместе с ним тебе, моя хорошая,
Я послал прощальное «люблю».

1. «Тунгуска»—советский и российский зенитный пушечно-ракетный комплекс (ЗПРК).

Ворон

Небо унылое спит, не шевелится.
Тучи на привязи серые.
Лист заржавевший когда-то осмелится
Пасть на поля опустелые.

Утро туманное вымолят вóроны,
Криком картавым орудуя.
Видимо, осень делить с ними поровну,
Как и печаль свою, буду я.

Жизнь на Руси

Кто-то на улице вымолвил, плача:
«Тяжко живётся сейчас на Руси».
«Разве бывало когда-то иначе?» —
Я ненароком в ответ вопроси́л.

И зашагал по России с тревогой,
Слушать ответа страдальца не стал.
Только куда б ни забрёл я дорогой,
Плач нарастал.

Зима в городе

По городу метелица
На цыпочках идёт.
В шелка мосты оденутся,
К реке прилипнет лёд.

Надуют щёки пышные
Сугробы у дорог.
И под ногой услышу я,
Как снег грызёт сапог.

Снегирь в ветвях засветится,
Подобно маяку.
Клыком сосулька вцепится
За ворот козырьку.

И будут ночи длинные
Дарить украдкой сны
Про трели соловьиные —
Кудесников весны.

Русь заблудшая

Что жизнь? Петляю по обочине
Судьбы с протянутой рукой.
Эх, Русь моя, где ж взять-то мóчи мне
Вернуть тебе былой покой?

Смешалось всё… И честь, и золото,
И ложь, и правда прошлых лет.
Народ твой, как кувшин, расколотый:
В единство веры больше нет.

Не слышно песен под берёзками,
Утих медвежий рёв тайги.
И хлещут нас, покорных, розгами
Свои свирепей, чем враги.

Победы, слава… Обесценились.
Забыт истории урок.
Не в ногу — в голову прицелились
Себе и давим на курок.

Надежда — слабость простодушная,
Туман, залёгший в полынье.
Что ждёт тебя, о Русь заблудшая?
Представить даже страшно мне.

Осенняя чешуя

И снова осень серой простынёй
Застлала неба голубую душу.
Земля сверкает жёлтой чешуёй,
Как будто рыбы вылезли на сушу.

Холодный дождь запляшет у крыльца,
Не зная чувства меры и усталость.
Седой луны печальный вид лица —
Вот всё, что от прошедших дней осталось.

Сергей Леончук

Золотая лихорадка

Вышка

Иван не знал, зачем живёт: каждый день дом — работа, работа — дом! Глубокой радости жизни он не испытывал, жизнь пролетала, как воробей за окном! Для чего люди рождаются, ведает один Бог, Бог даёт жизнь — Бог и забирает! Конечно, содержание жизни может быть разной — кто воюет, кто трудится, кто топчет зону, но главный вопрос: «Зачем ты живёшь?» — везде остаётся в силе! Одни живут для государства, другие — для детей и близких, третьи — для себя! Для себя — это, значит, хорошо есть, сладко спать, иметь красивую жену, умных детей и не работать! «Ну, положим, у меня жена красавица, дети умные, ем и сплю вдоволь! — Иван задумался. — Для счастья остаётся только не работать!» Откровенно говоря, он и так на работе бил баклуши, убивал время и валял дурака! Какая работа в охране? Сидишь филином на деревянной вышке и пьёшь из термоса чифирь с бубликами. Главное на высоте — не уснуть и не свалиться вниз. Но не уснёшь — пулемёт тычет в бок, и яркий фонарь мешает! Все заключённые знают, что он может пальнуть, поэтому никто против его воли не рыпается. К тому же — шесть рядов колючей проволоки с волкодавами между рядами. Из зоны не убежишь, охрана на вышке не хуже бешеных псов-волкодавов!

«А вот и сменщик пришёл! — увидел Иван сменщика. — Один бездельник меняет другого!»

Иван был качок, природный охранник, дерзкий и самоуверенный нарцисс. Глаза у него излучали силу. За пазухой он прятал плоскую бутылку самогона, к которой постоянно прикладывался, чтобы согреться и снять рабочий стресс. Ночью пулемёт он снимал с предохранителя.

— Как дела? — спросил его сменщик.

— Всё пучком! — ответил Иван, и утренняя зевота судорогой исказила его лицо.

«Приду домой — поем! — подумал он. — Затем посплю!»

— Ты слышал, в седьмом отряде зэк повесился? — сменщик стопорит Ивана, скучно одному сидеть на вышке.

Он перекрестился.

Сменщик, в отличие от Ивана, был худой, нервный и неловкий. Кроме того, он был набожен, часто молился и целовал нательный крест. Что привело его на вышку, знал один Бог, но службу он нёс исправно и хорошо стрелял!

— Причина? — заинтересовался Иван, складывая термос в мешок. — Может, письмо с воли получил или опустили в камере?

— Говорят, смысл жизни потерял!

— Зона ломает хребет человеку! — Иван достал дешёвые сигареты, закурил сам и угостил сменщика. — А был ли у него смысл? — он разразился привычным матом. — Смысл жизни только на воле, в зоне его нет!

— А у нас с тобой есть смысл жизни? — спросил его сменщик. — Чем мы лучше сидельцев? Они по ту сторону колючки, мы — по эту! Что мы видим в жизни, кроме колючего забора? Пять лет стою на вышке, жизнь в колючку, как один день!.. У нас на службе только о пенсии и говорят, будто сразу начнут читать светлые книги, ходить в театр и заживут другой жизнью с разными красивыми смыслами!

— Главное — на пенсии не попасть по ту сторону забора! — усмехнулся Иван. — Но большого напряга в нашей работе нет. Ни одного выстрела за карьеру! С ума сойдёшь от безделья!.. Полная деградация!

— Накличешь беду, дурак! — сменщик перекрестился.

— Пусть только сунутся, я им устрою военный парад! — Иван погладил пулемёт. — Я считаю — поставить всех зэков к стенке, общество от этого только выиграет! Зона ещё никого не исправила, у всех этих волков злость и ожесточение, желание мести! Ненавижу грязное отребье!

— Что, будешь в безоружных людей стрелять? — сменщик достал дряхлый молитвенник.

— Я на службе! — Иван сплюнул. — Всё честно!

— Бывает, ошибся человек и случайно попал в зону!

— Путь человека на роду написан! Случайностей не бывает! Добрый человек никогда не станет насильником! Иисус Христос — он и в детстве Христос!

— А ты добрый человек?

— Ты будто из другого котла ешь? Охранник — это цепной пёс, который загрызёт любого. Его сдерживает только цепь! — Иван раздражённо бросил окурок вниз.

— Надо ли резать заблудшую овцу? Направь её обратно в отару!
— Ты думаешь, что овца заблудилась? Это ты блуждаешь в потёмках своего короткого ума!
— А что тогда? — растерялся сменщик.
— Я в охрану пошёл, потому что волк с детства. Я мог оказаться и по другую сторону колючки, потому что криминал, драки и разборки — это моё природное естество. А вот ты почему в охрану пошёл вместо церкви? Заблудился?.. Заблудшая овца часто трансформируется в жестокого зверя! — он глотнул большую порцию самогона. — Ты волк в овечьей шкуре!.. Я не удивлюсь, если, прикрываясь маской праведника, ты первым откроешь огонь по безоружным!
— Это исключено! Я на вышку пошёл, чтобы быть ближе к мученикам и Богу! Для меня все люди — братья! Я буду молиться за них!
— Случайных людей на вышке не бывает! Вышка — это топор в руках палача! В твоих глазах я вижу лёд и кровь! Крестовые походы также были во имя Иисуса Христа!
— Мне смешно от твоих предсказаний!
— Ты ещё оставишь свой след в мрачной истории колонии!

Через два года сменщик Ивана из пулемёта застрелил семь беглецов, не пожалев двух заложников.

Золотая лихорадка

Игорь брал подработки, дежурства, не вылезал из операционной, вкалывал, но денег хронически не хватало. В это время новые русские, отдыхающие на островах, обклеивали денежными купюрами толстые зады официанток курортных ресторанов, подающих им на стол экзотическую снедь. Семья требовала от Игоря другого уровня доходов, завидуя роскошной жизни нуворишей. Жене было не доказать, что честным путём такие деньги не заработать. Игорь хотел уехать на Север за северными надбавками, но жена заявила, что декабристкой никогда не будет, потому что боится холодов и комаров. Иногда нувориши благодарили хирургов зелёными купюрами за проведённое лечение. Поэтому в больнице шла негласная борьба за щедрых клиентов. На устах у врачей были доллары, клиенты и заказы. Золотая лихорадка проникла в стены больницы.

После обеда Игорь планировал сделать операцию известному бизнесмену и рассчитывал на ответные бонусы с его стороны, но его опередил молодой коллега по цеху. Конечно, всё произошло с подачи главного врача, который распределял потоки больных. Игорь уже много лет работал врачом-хирургом, руки его думали и работали автоматически, разрезы были ювелирными, как в топографическом атласе, а его вдруг обошли на золотом вираже!

— Марк Наумович, почему мою операцию отдали Сидорову? — спросил он главного врача. — Вы же знаете, что я давно занимаюсь проблемами онкологии!
— Всем хватит работы! — главный врач недовольно снял модные очки.

Игорь видел, как бизнесмен благодарно вручал Сидорову цветы, наверняка не обошлось и без конверта с зелёными купюрами. Сидоров после операции ходил гоголем, расцвёл и даже начал кукарекать коллегам советы. Следующих благодарных больных также стали отдавать Сидорову.
— Ты уважай коллег и делись заветными бонусами! — нахмурился Игорь.
— Марк Наумович распределяет потоки больных! — веснушки на худосочном лице Сидорова радостно заиграли, а нос взлетел кверху.
— Ты делаешь хлебные операции, — не отставал Игорь, — а мы тянем нищий бюджетный воз!.. Может, ты с ним в доле?
— Просто он мне доверяет!
— Ты только из яйца вылупился, а я уже оперировал! — вмешался в разговор пожилой врач Иван Юрьевич. — Работаешь на два кармана!
— Может, мне и с хирургическими сёстрами делиться? — возмутился Сидоров.
— И с санитарками! — ответил пожилой врач. — У вас же целая хирургическая бригада работает!
— Больные сами решают, кого им благодарить! — засмеялся Сидоров.

— Что толку, что ты вкалываешь с утра до вечера и берёшь ночные дежурства? — заявила Игорю жена. — Денег как не было, так и нет!
— Безденежье — это удел таланта! — Игорь устало пил кофе.
— Может, тебе на завод? Любой слесарь-станочник получает больше тебя!
— Или уйти в бизнес — покупать и продавать! Есть ещё профессия ростовщика-банкира, тогда уж мы точно озолотимся и поедем отдыхать на Багамы!
— Я с тобой серьёзно, а ты!
— А лучше сразу податься в бандиты — пусть меня научат! — усмехнулся Игорь. — Нож — скальпель — у меня есть, пистолет купим!
— Я хочу жить как все нормальные люди, — заистерила жена, — покупать красивые вещи, есть здоровую пищу, ездить отдыхать за рубеж... уважать себя, в конце концов! Я родом из хорошей семьи, чтобы себе во всём отказывать!.. Я уйду к маме! — вдруг заплакала жена.

— Мы все делаем одну работу! — объявил на планёрке главный врач. — Врачей не хватает, поэтому приходится вкалывать за троих!
— Платили бы больше! — сказал кто-то.

Хирурги охотно закивали головами, и в первую очередь Сидоров.

— Вряд ли это скоро произойдёт!.. Бюджет трещит по швам! — пояснил Марк Наумович. — Городская администрация в курсе!
— Но почему мы крайние? — возмутился Иван Юрьевич. — Вкалываем, пашем и ничего не имеем! Я здоровье потерял на этой работе!
Хирурги стали шептаться.
— У нас с вами клятва Гиппократа, врачебный долг! — главный врач запричитал знакомый молебен. — Больные не могут остаться без помощи!
— Вам хорошо исполнять врачебный долг, не заходя в операционную! К тому же все знают, что у вас солидный контракт! — не отступал Иван Юрьевич. — Нам семьи надо кормить!
— Не надо считать чужие деньги! Руководитель и должен получать больше! — встал на защиту главного врача Сидоров. — Он патрон больницы!
— Это с каких таких щей он должен получать больше? Лечащий врач — центральная фигура больницы, он несёт персональную ответственность за лечение больного! — вспылил Игорь. — Главный врач — это менеджер, обслуга!
В зале поднялся шум.
— Не сейте ветер — пожнёте бурю! — посуровел Марк Наумович, очки его зажглись.
— Мельница не будет работать без ветра! — буркнул Игорь. — Если не добавят зарплату, врачи разбегутся!.. Пусть Сидоров работает! — добавил он.
— Незаменимых врачей нет! — главный врач сердито повёл телом.
— Здесь вы глубоко ошибаетесь!.. Это незаменимых главных врачей нет! А вот найти хорошего врача-хирурга — проблема!

Однажды ночью Игорю позвонил Сидоров, он был встревожен.
— Игорь Семёнович, выручай!.. Я не могу выйти из раны!.. Похоже, повредил больному бедренную артерию!
— Опять бонусы ищешь?
— От денег грех отказываться!
— А почему ты мне звонишь? Звони главному регулировщику!
— Буду должен! — взмолился Сидоров.
— Высылай дежурную машину! — сплюнул Игорь.
— Уже выслал!
Через сорок минут Игорь стоял в операционной.
— Да, накуролесил ты! — Игорь сморщился. — Машешь скальпелем, словно дворник метлой!.. Давай зашивать артерию!
После четырёх часов кропотливого труда они вышли из операционной.
Игорь обессиленно рухнул на стул и снял маску.
— Теперь ты понял, чего стоишь? — сказал он. — Ничего!
— Век живи — век учись! — облегчённо вздохнул Сидоров, разливая в рюмки дарёный коньяк.

Утром Игоря вызвал к себе главный врач, ему уже доложили события ночи.
— Ты большой молодец, выручил коллегу!.. У нас обязательно должны быть взаимовыручка и взаимопомощь! Делаем общее дело! — лицо его довольно расплылось. — Учи Сидорова уму-разуму!
— Это при социализме были взаимопомощь и взаимовыручка, закрывающие безответственность, халатность и бездарность работника! — Игорь сморщился. — Больных жалко!.. Не можешь оперировать — не берись! Хотите помогать Сидорову — хмуро добавил он, — бросайте всё, вылезайте ночью из тёплой постели, мчитесь в больницу и вкалывайте!.. Или платите! Сейчас время другое!.. А учить я никого не собираюсь, для этого есть кафедры институтов!
— Ты чего разошёлся? Деньги любишь! — Марк Наумович холодно посмотрел ему в глаза. — У меня их нет!
— Должны быть комфортные условия для работы: душ, комната отдыха, мебель, дача, хорошая квартира, выходные. И деньги!.. Всё как на Западе! Я профессионал, — добавил Игорь, — и требую профессионального отношения к себе и делу! Если с меня требуют высокое качество работы, контракт должен отвечать мировым стандартам! Хирург — как лётчик, от него зависят жизни людей! Мелочей не бывает! Он должен быть сытый и отдохнувший, в спортивной форме и с железными нервами, на кураже!.. Иначе будут авралы, несчастные случаи, падения самолётов и судебные разбирательства!
— Я не штампую деньги!
— Авралами и перезагрузкой врача вы создаёте угрозу его фатальной ошибки, за которой стоит жизнь больного. Я не хочу стоять в суде с повинной головой в ожидании, когда её отрубят!

Уже неделю Игорь жил один. Жена собрала вещи и, забрав сына, уехала к матери. Конфликт разросся до скандала. Что-то объяснить ей было невозможно!
— Ты неудачник! — сказала она. — Прозябать с тобой свою жизнь я не хочу!
— С милым рай и в шалаше! — бросил ей Игорь. — Власть золотого тельца уродует людей!
— Мели, Емеля, — твоя неделя!

Игорь ходил мрачный, оперировал без задора и энтузиазма, отказался делать доклад на «Обществе хирургов». Жена на его звонки не отвечала. Неожиданно к нему домой с коньяком пришёл Сидоров.
— Игорь Семёнович, главный врач направил ко мне на лечение отца главы Сбербанка — у него рак толстой кишки. Операция расширенная, возможно, будет нужна колостома. А у больного тяжёлые сопутствующие заболевания — ишемическая болезнь сердца и сахарный диабет! — он разлил

по рюмкам коньяк.—По правде говоря, у меня нет опыта подобных операций. Вдвоём будет легче оперировать и отбиваться при неудаче.

— Ты уже согласился оперировать?—спросил Игорь.

— Да!—ответил Сидоров.—Но, похоже, я не учёл все пороги!—он быстро запрокинул рюмку и налил по второй.

— Ещё не поздно отказаться!—Игорь поставил на стол блюдца с нарезанным лимоном и бутербродами.

— Я дал стопудовые гарантии!—Сидоров замялся.—И взял конверт!

— Сколько в конверте?—поинтересовался Игорь, он не сомневался, что дело обстояло именно так.

— Две тысячи долларов!—Сидоров вспотел, на лбу у него забегала тонкая жилка.

Он быстро выпил рюмку, не забыв налить ещё.

— Ты мне предлагаешь половину гонорара? Я согласен!—Игорь с интересом смотрел на Сидорова.

— Наша с тобой доля—одна тысяча долларов! Это тоже большой кусок!

— А второй кусок?

— Марк Наумович берёт половину на нужды больницы!—Сидоров жевал бутерброд.

— Вы, я вижу, неплохо устроились!—Игорь выпил.—У вас криминальное сообщество!

— Мы помогаем хорошим людям, а они помогают нам!

— А нам-то что помогать—мы на бюджете!—усмехнулся Игорь.

— Люди платят за внимание и гарантии удачного исхода!.. Или тебе деньги не нужны? Они сами предложили мне конверт!

— Но почему мы должны отдавать гонорар на нужды больницы? Есть городской бюджет, спонсоры, различные фонды!

— Это условие Марка Наумовича! Зато он предоставляет больному отдельную палату и будет сам контролировать лечебный процесс!

— Скажешь Марку Наумовичу, что деньги делим поровну! И это не разовая акция, а постоянная!.. Всё держать в тайне и чужих людей не привлекать!—Игорь задумался.—Это мои условия!

— Триумвират!—сказал запьяневший Сидоров.

В результате доходы у Игоря заметно увеличились. Игорь близко сошёлся с Марком Наумовичем и дверь в его кабинет открывал ногой. Частные хирургические заказы и предложения сыпались как из рога изобилия! Сидоров был координатором союзных усилий, вёл переговоры и собирал конверты, коррупционные денежные потоки проходили через него. Доходы делились на троих. Триумвират работал на полную мощность. Временами преступное сообщество собиралось в кабинете главного врача, чтобы за рюмкой коньяка обсудить текущие проблемы и поделить нетрудовые доходы. Главное было—найти подход к богатым мира сего. Впрочем, те и сами искали дорогу к эскулапам. «Здоровье стоит денег!»—справедливо считали они, открывая заветные кошельки. В ответ им всегда находились отдельная палата, все виды обследования и золотой скальпель Игоря Семёновича, который до ночи пропадал в операционной.

Конверты Сидоров получал в два этапа—до операции и после неё, аванс забирал себе, а расчёт делил на троих... кляня богатеев за скупость! Он вошёл в азарт своей побочной деятельности и основную работу забросил, возложив всё на Игоря.

— Зачем нам Сидоров?—как-то спросил Марка Наумовича Игорь.—Пустое место!

— Он сидит на конвертах, а это работа тонкая и щекотливая! В крайнем случае он стрелочник, и мы о его тёмных делах ничего не знаем!

— Но вы уверены, что он не крысятничает?—упорствовал Игорь.—Он жаден, нескромен и неосторожен!

— Есть факты?—насторожился Марк Наумович.

Он не любил, когда его держали за лоха!

— А на какие шиши он купил новую «Тойоту»? Может, ему американский дядюшка оставил наследство?

На другой день главный врач вызвал к себе Сидорова.

— До меня дошли слухи, что вы нечестно ведёте дело!—он пригладил седые кудри. Чёрные глаза его впились в Сидорова.—Игорь Семёнович вкалывает, а вы бездельничаете! Может, вы не хотите с нами сотрудничать?

— Хочу!—растерянно ответил Сидоров.

— Тогда куда деваются чаевые? Мне что, прикажете следить за каждым рублём?.. Мы думали, что вы честный человек, взяли вас в долю, а вы? Нехорошо!

— Не знаю, о чём вы говорите!—Сидоров покраснел, голос его дрогнул.

— Я вынужден прервать с вами доверительные отношения!—Марк Наумович демонстративно бросил на стол золотой «Паркер», который до этого вертел в руках, и сделал длинную паузу в надежде, что Сидоров выдаст себя.

— Я вам честно служу!

— Не дай Бог, если вы дурите нас, тогда...—Марк Наумович сделал угрожающий жест.

— Вы же сами кладёте деньги в карман, прикрываясь нуждами больницы!—взбунтовался Сидоров, чувствуя, что горит.

— В случае чего посадят именно вас!—прервал его главный врач.—Я, как вы знаете, конверты не брал!—он побагровел.—Более того, если будете крысятничать, я сам донесу на вас!.. Мне поверят, а вам нет! Вы у кого воруете?—Марк Наумович вдруг поменял вектор допроса.—У коллег!

Сидоров в конце концов сдался. Через неделю он продал машину и принёс деньги в общак.

У главного врача были и свои возможности получения нетрудовых доходов. Движения денежных потоков вверху он стимулировал заявлениями о нехватке общего финансирования больницы, необходимости ремонта и закупки современного оборудования. Его вызвал к себе директор департамента здравоохранения.

— Марк Наумович, почему вы везде трубите, что в больнице имеет место нехватка общего финансирования? — Захар Иванович курил дорогую сигару.

— Это хирурги жалуются на низкую зарплату!.. Им надо всё и сразу! Возомнили о себе чёрт знает что!

— Не надо создавать общественное мнение, что здравоохранение города находится в нищете! Это дискредитирует городскую администрацию!

— Я пытаюсь привлечь частный капитал в здравоохранение! Мне кажется, это актуально!

— До меня также дошли сведения, — прервал его директор, — что твои врачи берут деньги за лечение! По правде говоря, от твоей больницы тянет смрадом! — он выпустил сизое облако сигарного дыма.

— К сожалению, коррупция проникла во все слои общества! Это тенденция времени! — Марк Наумович встрепенулся. — Все молятся золотому тельцу!

— Я не хочу включать прокуратуру, но если произойдёт утечка информации и заголосят СМИ, то головы полетят, как в Судный день!

— Я приму меры! — побледнел Марк Наумович.

— Мне интересно, — неожиданно произнёс Захар Иванович, — на какие деньги ты строишь себе царские хоромы в загородном лесу? Причём, как ты сам понимаешь, это интересует не только меня!

— Строительство идёт за счёт сбережений семьи! — по телу Марка Наумовича побежали мурашки.

— Ты же знаешь, что прокуратура ищет крайнего! Им нужно шумное дело! Я тебя, конечно, прикрываю, где могу, но мои возможности, ты сам знаешь, не безграничны!.. Все требуют зелень!

— У больного неоперабельный рак желудка с метастазами! — объявил Игорь Семёнович.

— Сын больного обещал помочь больнице с закупкой компьютерной техники, — Марк Наумович судорожно считал потери. — Если мы не вытащим больного с того света, то получим фигу с маслом!.. У нас бизнес!

— Я врач, а не бизнесмен! — вспылил Игорь.

Оперировать больного взялся Сидоров, у него не было сложных нравственных комплексов. В итоге больной не выдержал тяжёлой операции и скончался на операционном столе.

— Зачем ты взялся за операцию? — Игорь не находил себе места. — Операция была противопоказана!

— Сын больного обещал серьёзную помощь больнице!

— Ты продал свою душу за тридцать сребреников! — Игорь сплюнул. — Иуда! Ничего не меняется в этом мире!

Он пошёл к главному врачу.

— Вы просто убили больного! — гневно заявил он. — У вас золотая лихорадка!

— Шансы на удачный исход операции есть всегда! — лицо Марка Наумовича позеленело, как доллар.

Бизнесмен, зная, что Сидоров всё же пытался спасти его отца, настоял, чтобы он принял от него конверт. Деньги Сидоров любезно поделил с Марком Наумовичем.

Через неделю Марка Наумовича под руки вели к машине работники следственного отдела. При обыске в его кабинете нашли валюту.

— Хватают всех подряд! — истерично кричал Марк Наумович в окна больницы. — Им нужно шумное дело!.. Нашли стрелочника!

Новым главным врачом стал Захар Иванович, его перевели из кресла директора департамента в кресло ниже рангом. В первый же день своей новой работы он вызвал к себе Игоря Семёновича и Сидорова.

— Марка Наумовича скоро выпустят! — конфиденциально сообщил он, доставая толстую сигару. — Конечно, за это придётся заплатить круглую сумму и отказаться от дачи! Нечего было жадничать! — пояснил он. — Свой бизнес он отдал мне, поэтому у нас с вами всё в силе! Триумвират!

— Я не люблю сигары, от них воняет колониализмом! — вдруг заявил Игорь.

— Борешься с ветряными мельницами? — усмехнулся Захар Иванович, лицо его окутало облако лилового дыма. — Дон Кихот!

— Деньги не пахнут! — Сидоров преданно смотрел в рот нуворишу.

Вечером к Игорю вернулась жена. Она виновато прошла на кухню и стала готовить борщ.

Дмитрий Воронин

Честная служба

Правда жизни

1.

Как обычно, после работы, когда овцы в загонах были накормлены и напоены, Фаяз зашёл в жилую пристройку к овчарне.

Жалейка лежал на диване перед телевизором и досматривал «Вести».

— Ну и жара сегодня на улице, даже у нас такое нечасто,— обратился Фаяз к своему бригадиру, усаживаясь в продавленное кресло под потёртым пледом.

— Это да, просто кошмар какой-то, мухи — и те не летают. Мозги плавятся от солнца. Самое время людям с ума сходить,— оторвал голову от подушки Жалейка.

— Что там говорят, Игорь? Скажи и мне, тоже знать буду. А то толком послушать, посмотреть совсем некогда.

— Какие тут новости? Новости сейчас в Сирии,— свесил ноги с дивана Жалейка.

— Всё воюют там?

— Воюют. Дикие люди.

— А что дикие, Игорь, расскажи?— Фаяз по-хозяйски налил себе чаю.

— Сам посуди, Фёдорыч. Вот объявили, что город какой-то от ваххабитов освободили. Так в нём несколько сотен рабов нашли. Баб да девок в основном, что в гаремах держали, но и мужиков хватало — пахали на них за баланду. Как это в наши дни возможно, чтобы рабы были, а? Рабство уже тысячу лет как отменили, законом запретили давно, а у них всё не как у людей. Вот и выходит, что дикие они, словно в первобытном строе остались. У нас за такое сразу башку открутили б. Русские — народ вольный, к рабству не приученный.

— Да, Игорь, твоя правда. Русский брат — крепкий человек, гордый. Владимир Ленин ещё говорил: «Мы не рабы, рабы не мы». Знаю, в школе учил. В Сирии Ленина не было, кто им скажет?

2.

Жалейка пришёл наниматься на работу к Фаязу по объявлению, которое обнаружил на одной из автобусных остановок в областном центре. На тетрадном листке, прилепленном скотчем к столбу, было написано: «Возьмём на работу в сельское предприятие молодого крепкого мужчину без вредных привычек, можно без опыта. Зарплата достойная. Жильём и питанием обеспечим». А Жалейке как раз именно жильё и питание — самое главное. После армии он обратно в родительский дом не пошёл, хватило тех лет, пока в школе учился. Пьяной жизни папаши натерпелся под завязку: скандалы да мордобой у парня в печёнках сидели. Сам к спиртному не притрагивался, запаха — и того не выносил. А уж чтобы дальше жить среди алкогольного угара, тут и разговора не было. Несколько лет Жалейка помыкался по съёмным квартирам и углам да с перекусами от случая к случаю. Работал то охранником, то сторожем, то на стройке, а то и просто на подхвате. Получал не ахти, а деньги расходовать на жильё, еду, одежду и прочие радости приходилось немалые. В итоге к тридцати годам Жалейка ни собственным углом, ни накоплениями, ни семьёй так и не обзавёлся. И перспектив никаких. Да и откуда им взяться, перспективам этим, если Жалейка в школе не усердствовал, а так, штаны протирал? Девять классов с грехом пополам закончил да в хабзайку подался. Он и помыслить тогда не мог, что это образование может полезным оказаться. Всё ему по юности мечталось о хлебной и романтической бандитской жизни. Папашины дружки-алкоголики часто рассказывали о воровском счастье, крутых тачках, податливых красавицах и вкусной еде. Жалейка их слушал, раскрыв рот, но голова всё же соображала. Как-то не вязались эти байки с тем, что из себя представляли горе-рассказчики. Потом о службе в полиции задумался и даже сразу после армии на несколько месяцев туда пристроился, но ушёл. А всё из-за этой чёртовой жалости, что в нём с детства поселилась. Не мог Жалейка руки на более слабого поднять. На равного мог — до остервенения бился, а вот на слабого… Опускались руки, и всё тут. А как с таким никчёмным качеством в бандиты или менты? Там сила в почёте и беспредел. Потому и кличку такую за собой таскал, что каждый раз, когда жёсткости от него ждали, произносил: «Жалко».

А ещё у Жалейки качество в характере было — справедливому хозяину честно служить. Фаяз эту его черту сразу ухватил и к Жалейке по-особому относился, со снисходительным уважением.

Позволял ему то, что другим работникам было заказано. Жалейка, к примеру, и лежать мог при Фаязе, и чай пить с ним запросто. Фаяз, как только Жалейку увидел, сразу к нему расположение почувствовал. Здоровый, высокий, под два метра, розовощёкий молодой мужик, веса в котором больше центнера. Хороший работник, крепкий. И взгляд открытый, прямой, без хитринки. Преданный работник. Голос уверенный, без подобострастия, с уважением к хозяину. Верный работник, защитит, если надо. Жесты такие же спокойные, размеренные, не дёрганые, не суетливые. Честный работник, не вор.

Уже через десять минут беседы Фаяз знал, что Жалейку из рук не выпустит, такие работники на улице не валяются. Такой работник на вес золота: доход хороший принесёт и предан будет, как алабай.

— Дам тебе, Игорь, поначалу испытательный срок три месяца — ну, так везде теперь, сам знаешь.

— Знаю, Фаяз Фархутд-динович, — запнулся в имени Жалейка

— Ничего, Игорь, все трудно говорят имя моего отца, — улыбнулся Фаяз. — Называй меня Фёдор Фёдорович, можешь просто Фёдорович, так легче.

— Хорошо.

— Зарплата девяносто процентов от той, что потом платить стану. Питание три раза, как сам захочешь. Мясо будешь брать со скидкой, молоко, овощ, банан-шманан какой, чай там, хлеб, сахар, макарон, крупу — всё по ценам как на базе. Заходи в мой магазин, продавцам скажу, они тебе дадут сколько надо, запишут в тетрадь, в получку отдашь. Устроит тебя?

— Устроит, — согласно кивнул Жалейка.

— Жить будешь пока у овчарни, там пристройка хорошая, крепкая, в ней вода есть, мебель есть, телевизор есть, холодильник-морозильник есть, газ есть. Честно, запах немного — овцы рядом, но дихлофос-миклофос возьмёшь, побрызгаешь там-здесь — как в розах жить будешь. Через неделю туда селись, пока там ремонт сделаем. Неделю у бабки Насти, соседки моей, поживёшь, я ей скажу. Покажешь себя — другую комнату дам, в своём доме. Согласен, Игорь?

— Согласен.

— По рукам, — протянул Жалейке свою толстую ладонь Фаяз.

— По рукам, — крепко пожал её Жалейка.

Работа у Жалейки пошла с первого дня. Все работники Фаяза как-то сразу признали Жалейку своим бригадиром и беспрекословно стали выполнять его указания. Новый начальник ни на кого не кричал, руками не размахивал, говорил спокойно, уверенно и смотрел на подчинённого так, что тому и в голову не приходило перечить. Единственный, кто его не признавал, это Сашка Дробок. Жалейку он просто возненавидел после того, как Фаяз к нему с новостью подошёл.

— Ты, Сашка, перейди с Нинкой в овчарню завтра, я ремонт в пристройке начну, — сверкнул новыми зубами Фаяз.

— Мне и без ремонта там хорошо, — заулыбался было Дробок.

— Ты не понял, — сощурил свои и без того узкие глазки Фаяз. — Вы с Нинкой переезжаете в овчарню. Тут новый бригадир жить будет. Начальник твой.

— Это, брат, куда переезжаем, в какую овчарню? — вытянулось лицо у Дробка. — Там же овцы да бараны одни!

— Ничего, бараны тоже живые твари. В твоей Библии что написано? Возлюби тварей Божьих. Вот и возлюби, — нахмурился в ответ на Сашкино недоумение Фаяз. — Перегородку сегодня мужики у входа поставят, живи — не горюй.

— Да ты чего, Федька, опупел, что ли? — подступил к Фаязу Дробок. — Мы что с Нинкой — скотина тебе, что ли?

— Скотина в загоне живёт, а вы с Нинэлью в комнате отдельной жить будете, совсем как падишахи. Люкс-номер заделаем.

— Какие ещё шахи, какой люкс? Ты чего, издеваешься? Пусть там твой бригадир селится. Мы же братья с тобой.

— Э, Сашка, какие братья-шматья? У меня Азиз брат, Акрам брат, а ты кто такой? Не хочешь в комнате под крышей жить — иди в поле, кто держит?

3.

С того дня два лютых врага появились у Дробка: предатель Фаяз и его первый прихвостень Жалейка.

— Сожгу я их, Нинка, обоих сожгу, — грозился пьяный пятидесятилетний жилистый мужичок своей супруге, — не прощу Федьке. Обманул меня, урод, братом называл, а теперь со скотиной жить?!.. Сожгу его, и баранов тоже сожгу!

— Чего грозишься зря? Никого ты не сожжёшь, кишка у тебя тонка, — брезгливо морщилась жена. — У тебя только и храбрости, что меня колотить да скотину пинать.

— Заткнись, Нинка, урою, — замахнулся на жену Дробок. — Сказано — сожгу, значит, сожгу. И этого его бригадиришку порешу. Суки, будут Дробка помнить. Федька, гад, дома лишил, земли, на этого бугая променял. Не прощу ему!

4.

Сашка Дробок ещё в школе Нинэль обхаживать начал, учились-то с разницей в год. Вот Сашка и присмотрел себе подружку-семиклассницу, веселушку с пухлыми щёчками, конопушками на носу да косой ниже пояса. Краса, что и говорить. Да и сам Санёк тоже не из последних был. Хулиган записной и неслух. Да и двоечник, каких поискать.

Хотя учителя между собой говорили, что не без способностей парень, да вот ленив больно.

Сашка стал Нинку домой из школы провожать, портфель за ней носить. Бывало, соперников поколачивал, когда и Нинке доставалось, если она уж слишком явно улыбалась кому другому. Нинка его прощала, нравилось ей, что за ним как за каменной стеной. Никто и не удивился, когда Сашка с Нинкой свадьбу сыграли, как только жених из армии вернулся. Хотя жили вместе ещё со школы. Хорошо ещё, ума хватило до совершеннолетия в подоле не принести. Зато потом…

Отыгрались по полной. Чуть ли не каждый год по ребёнку. За десять лет семерых наплодили. В районе их в пример ставили, как традиции соблюдать. Дробки всё это отмечали, конечно. Много праздников в доме стало: весело жить начали, с размахом. Тут и дни рождения, и именины, и Новый-старый год с Рождеством и сочельником, Пасха, октябрьские, майские, День конституции, первое сентября, День печати и День строителя. Последний праздник—чуть ли не главный. А как иначе? Сашка же в стройбате служил. Вот так, гуляя, Дробок и не заметил, как с постоянной работы скатился на подёнщину у односельчан: кому огород перекопать, кому дров нарубить, кому забор выправить. Ну и оплата, соответственно, всё больше самогоном да вином дешёвым. У Нинэли и того хуже с работой дела обстояли. Даже не подрабатывала, рассчитывала только на декретные да на детские пособия. Каждую выплату праздновала и детей воспитывала: кому подзатыльника, а кому и пряника. Трудная жизнь у матери-героини.

В один из таких праздников Сашка батьке своему так по макушке врезал, что тот через месяц в могилу сошёл. Перед этим всё на голову жаловался: мол, памяти не стало, и трещит, зараза, постоянно. Умер себе и умер, никто и близко на Сашку не подумал, да и сам он забыл через три дня, что папаше по кумполу настучал—вино не поделили. Дробок отца схоронил и задумался, как дальше жить. Отец по инвалидности пенсию получал, вёл домашнее хозяйство, держал корову, поросёнка, кур-уток. Худо-бедно Дробки без еды никогда не были. А после смерти старика пенсию давать прекратили, и за скотиной смотреть некому стало. Сашке с Нинэлью недосуг—один калымит, другая у плиты стоит, а деткам и подавно не до животины: они по улице носятся до ночи да шкодят кругом, если глаза за ними нет. Вот Сашка корову и свёл к Фаязу, чтоб забот не было. Тот в деревне на квартире у бабки Насти жил и скотину на мясо у местных скупал, а когда и просто крал, если случай подворачивался. Дробка Фаяз почти не обманул, две трети суммы сразу заплатил, остальное в рассрочку договорились. Такое дело Сашка решил обмыть на радости, сумма-то приличной оказалась. Хоть Фаяз и не пил, но с Дробками посидеть за столом не отказался, будто чувствовал свою от них выгоду,—и прав оказался. Дружба быстро завязалась. Прощались, будто с пелёнок вместе.

— Друг ты мне, Федька, теперь навеки. Мой дом—твой дом. Двери всегда тебе открыты, ночью придёшь—пустим,—обнимал пьяный Сашка Фаяза.

— И ты мне друг, Сашка,—радовался знакомству Фаяз, чувствуя начало важных перемен в своей жизни.

Деньги Дробок прогулял быстро и скоро загрустил. Глядя на поникшего друга, Фаяз начал ему помогать: стал приносить чуть ли не каждый вечер вино тому в дом, деток карамельками одаривать. Когда и ливера подбрасывал с маслаками для супа. Порой за стол подсаживался и начинал Сашке на жизнь свою жаловаться.

— Пойми, Сашка, вот приехали мы к вам, как к братьям, с поклоном. Война нас проклятая с нашей земли выгнала. Не дай Бог никому такого горя испытать. Всё потеряли в один час. Дом сгорел, землю бросили, скотину, ели ноги унесли. Сколько баранов у нас было—не сосчитать. Пришли безбожники, всё забрали. Мы голые оттуда бежали. Ничего не успели взять. Только детей, слава Аллаху, удалось спасти. Ночью бежали, куда бежали—не понимали. Ноги сами к вам привели. Вы нам всегда братьями были. Со всей душой к нам, по справедливости.

— Да, мы такие,—приосанившись соглашался пьяный Дробок,—последнее отдадим, а братьям поможем.

— Я знаю, вы щедрые. Вот плохо мне, Сашка, один я с детьми и женой. К кому идти, у кого помощь искать?—пускал слезу Фаяз.

— Ко мне иди, Федька,—плакал в ответ Дробок,—я тебе помогу, в беде не оставлю.

— Знаю, Сашка, ты настоящий брат. Все отвернулись, ты не отвернулся. Пустил в свой дом, за стол усадил, мясо в тарелку положил. К тебе пришёл со своим горем. Помоги, Сашка.

— Помогу, Федька,—вытирая слёзы, опрокидывал в себя стакан самогона Дробок,—вот те крест, помогу.

— Жить мне негде, Сашка, дети мои без тепла, ютятся где придётся. Сироты мы бездомные, родину у нас отняли. Скитаемся, как бомжи, по подвалам и чужим углам. На тебя вся наша надежда, Сашка.

— Что хошь проси, Федька, всё для тебя сделаю,—продолжал плакать Дробок.—Брат ты мне теперь, роднее нет.

— Пропиши нас, Сашка, у себя. Никаких денег не пожалею.

— Какие деньги, Федька? Для брата ничего не жаль. Всех пропишу, и тебя, и Айшу твою, и детей. Вы теперь и моя семья. Только, может, метров по закону не хватит на всех. Я-то в этом не понимаю ничего, отказать могут.

— Не проблема, Сашка, всё сам сделаю, у меня старший брат юрист, все законы знает, научит, как делать. Тебе только бумаги подписать да съездить туда-сюда к начальникам-мочальникам, остальное моя забота. Получится как надо — коньяка куплю, сам с тобой выпью, брат ты мне.

5.

Фаяз с братьями покинули родную землю в поисках лучшей доли. Плохо там стало, когда русские ушли. Бедно. Работы нет, денег нет. Что делать? Баи назад вернулись, беки. У них всё счастье, деньги, власть, земля. Фаяз не из баев, и Айша не из рода беков. У братьев жёны тоже в роду простые. Значит, совсем плохо станет, ещё беднее жить будут. К баю на поклон идти надо, рабами сделают. Азиз, старший брат, семейный совет собрал. Решили: «Надо ехать вслед за русскими. У них страна большая, земли много, всем хватит. Сами там баями станем».

В Москву не поехали: шумно, дорого, деньги большие, занято всё, никто никому не верит — там им места нет. Поехали туда, где тихо, где земля за копейки, люди не злые. Поехали и не ошиблись. Поселились все в одном районе, но в местах разных, чтобы родство не на виду было. Азиз, старший брат, дома в милиции служил — уважаемый человек, законы знает, диплом юриста есть. Тут тоже быстро в люди вышел. Не глупого десятка, чужие мысли видит сразу. К нужному человечку всегда ключик подберёт. Кому «бакшиш-макшиш», кому «совет-мовет», кому «подарок-модарок». В партию подался, активистом стал, депутатом. Туда-сюда катается, людям помогает. Понравился начальникам — сельсовет в управление дали.

Младший, Акрам, на центральный рынок пошёл. На родине лавку имел, бизнес крутил, всё понимал: как торговать, как товар находить. Друзья у него везде были — вспомнили Акрама, позвали к себе, с важными людьми познакомили. Акрам всегда весёлый. Язык у него лёгкий, на месте не лежит, «шутками-мутками» сыплет. Нравится Акрам всем. Умеет мосты наводить. С тем пловшурпу «покушал», с этим поговорил — связи быстро дело помогли наладить. Торговля бойкая пошла: и нужные люди с прибылью, и Акраму свой доход. Месяц-другой — и Акрам своей палаткой обзавёлся, своим товаром и своими продавцами: ходи-командуй. Процент платишь в срок — вообще проблем нет. Акраму всё привычно, всё нравится. Особенно девки. Крепкие, ядрёные, словно степные кобылицы. Акрам, как аргамак, топчется возле них целый день, копытом бьёт, всех их любит. У Акрама глаза всегда масляные — так ему сладко. Только жене, Медине, плохо. Психует из ревности, ругается, плачет. Акрам жену жалеет, балует: колечки-серёжки ей дарит, на юг к морю летом отправляет — «пусть нервы успокоит».

А вот у Фаяза жизнь не так быстро в гору пошла, ему труднее всего оказалось. Когда уезжали, всё заранее обговорили, кто за что в семье ответ держит. Азиз «за закон думает», чтобы семейные дела ущербом не обернулись, Акрам — за торговлю, чтобы прибыль была и жирный плов на столе, Фаязу определили землю добывать и скотину разводить. Самое сложное дело и самое долгое. Но зато и почёт в семье великий. Фаяз крепко старался, и Аллах воздал ему.

6.

Фаяз слов на ветер не бросает: сказал — сделал. Там заплатил, тут хороший кусок баранины в подарок завернул, здесь машину помог продать подороже: чиновники тоже люди — понимают, когда к ним с душой. Месяца не прошло, а в Сашкином доме уже вовсю носились дети Фаяза. Айша на кухне первой хозяйкой стала. Нинэль только порадовалась такому обороту дел: какую ношу с плеч сбросила, теперь и в постели можно до обеда валяться — никто не орёт, каши не просит. Всё Айша на себя взяла. Двужильная жена у Фаяза оказалась, на удивление Дробков.

— Санечка, — ластилась к мужу Нинка, — какой ты догадливый, что Фаяза прописал. Так теперь вольготно стало, прям надышаться не могу.

— А ты не знала? — хорохорился Дробок, обнимая пьяненькую жену. — Всегда с головой был. Всегда наперёд считаю все ходы. Фаяз пока дом будет строить, у нас тут тоже дворец заделает. И у Айши откормимся, как сыр в масле кататься станем.

7.

Скоро Дробок увидел чертей, бегающих по потолку, и попал в больничку. У Нинки, Нинэли, не отстававшей от мужа по части выпивки, стали трястись руки и голова. Детей взяли под особый контроль органы опеки, а после выписки Сашки из дурдома и вовсе лишили Дробков родительских прав. По суду определили детвору на последующее усыновление.

— Продай, Сашка, дом, наймёшь хорошего адвоката, вернёшь детей, — успокаивал пьяного Дробка Фаяз, подливая ему в стакан из початой бутылки.

— А кому я его продам? Кто его тут купит? Не город же. Работы нет, садика нет, школа далеко — никто сюда не поедет, — горестно качал головой папаша.

— Мне продай, я куплю. А сам тут живи, ты же мне брат, я тебя не обижу. Денег сразу много не дам, у самого нет, частями платить буду. Веришь мне?

— Верю, Федька.

Фаяз все документы на дом с помощью Азиза так выправил, что и следов Дробков там не осталось, будто и не жили никогда. Сам Сашка вместе с Нинэлью бумаги подписали не глядя.

— Чего там читать? Мы тебе, Федька, как себе верим, ты нас никогда не подставлял.

Через пару месяцев деньги у Дробка закончились. Погуляли они с Нинэлью крепко, про адвоката и не вспомнили, начисто забыв, для чего дом продавали.

— Сашка, мне Айша жалуется, шумно от тебя с Нинэлью твоей стало, дети пугаются. Айша тоже нервничает, ей рожать скоро. Вы дерётесь, пахнет от вас плохо. Надо вам уходить в другое место. Купи себе новый дом.

— Куда уходить? Чего купить? — не понял Дробок.

— Дом себе купи новый и живи там со своей Нинкой. Пей, дерись, что хошь там делай. В моём доме места вам нет, — отрезал Фаяз.

— Ты чего, Федька? Ты же говорил, вместе жить будем. Клялся, что брата не выгонишь. Забыл, что ли?

— Я не гоню. Я заплатил тебе. Деньги есть, купи дом, живи отдельно. Друзьями станем, в гости друг к другу ходить будем, плов есть будем. Всем хорошо.

— На что я куплю? Денег у меня нет.

— А куда дел?

— Прожили все деньги.

— Нехорошо, Сашка, дом не купишь. Ладно, брат мне был, выручу тебя. Переходи жить в гараж пока, там мастерскую тебе отдам. В ней всё есть: свет, тепло, плиту поставим, газ в баллоне, телевизор свой отдам. Всё как дома. Удобства все, лучше, чем у бабки Насти.

Фаяз Дробка не обидел, денег на новоселье подкинул и телевизор свой принёс в подарок.

Сашка новоселье отметил и Нинку справно поколотил, оставив на память недельный синяк под глазом.

— Надо же было мне, дураку, такую паскуду себе в жёны выбрать. Всё пропила-промотала. И детей, и дом, и участок, и скотину. Как жить-то с тобой после этого?

Фаяз вскоре тоже отметил своё новоселье. Пригласил земляков, человек двести, в кафе «Лунный свет», которое открыл с братьями у автострады, баранов зарезал, лепёшек напёк, чаю наготовил, танцы-фейерверки устроил. Всё как полагается.

— Молодец, Фаяз, — нахваливали его земляки, — поднялся. Уважаемым человеком стал. Свой дом, земля, бараны, лошади. Настоящий бай!

Фаяз через год больше сотни гектаров земли в аренду оформил, овчарню новую построил и Сашку с Нинэлью в пристройку при овчарне переселил. Вот тебе и сторож, и пастух — двойная выгода. Да и с глаз Айши долой, чтоб не напоминали о том, чего она от них натерпелась.

— Сожгу я его, — шипел вслед Фаязу Дробок, сжимая в кармане кулак.

8.

Жалейке Айсель сразу в душу запала. Как увидел её возле дома Фаяза год назад, так и высматривал постоянно, не мог налюбоваться. Айсель — девушка видная: высокая, стройная, две косы ниже пояса и чёрные глаза, будто омут. Жалейка в них и утонул. Говорили: дурочка Айсель, ума короткого. Ну и что с того? Жалейка тоже не академик. Ещё говорили: порченая она, свои в жёны не возьмут. Жалейке и лучше — хоть шанс есть самому женихом стать. Правда, условие одно Фаяз назвал, но ничего, можно и принять его ради Айсель.

— Вижу, Игорь, нравится тебе наша Айсель, — улыбался за чаем Жалейке Фаяз. — Возьми её в жёны, хорошей супругой станет, верной, послушной. Вы оба красивые, красивые дети будут. Айсель много родит. Мы дом вам поставим, землю дадим. Беком будешь. Почёт, уважение. Веру только поменяй. Айсель — сестра моя, нельзя ей в другую веру, строго у нас. А жить в доме с двумя богами — всё равно что в питомнике для собак, где лай с утра до вечера. Тебе всё равно — сам говорил, крестик только носишь. В церковь свою не ходишь, попу не веришь, меняй веру. Пойдём к мулле. Он с тобой поговорит, верить начнёшь, Аллаха полюбишь.

— Я подумаю.

— Думай, Игорь, думай, только не передумай, а то так без такой жены-красавицы останешься. Кто другой быстрее надумает. Жалеть потом всю жизнь будешь.

— Ладно, Фаяз, долго думать не буду, быстро решу. Я вот тебе что сказать хочу. Опять Дробка слышал пьяного, опять Нинке своей грозился тебя поджечь. Гнал бы ты его подальше — пустой человек, опасный.

— Э, Игорь, — с раздражением отмахнулся Фаяз, — брешет просто, как шавка, на меня. Куда он пойдёт потом, где жить будет? Сгинет совсем, пропадёт. Дробок знает, что моей добротой живёт, не укусит. Не бери в голову, о другом думай.

И Жалейка думал. Думал об Айсель, о будущем доме, о красивых детках в нём, о счастье своём, что благодаря Аллаху его настигло.

9.

— Как день прошёл? — подавала вечером на стол мужу Айша.

— Хорошо. Только жарко очень, дышать нечем. А так нормально. Скоро свадьбу Айсель играть будем, — достал из казана добрый кусок мяса Фаяз.

— Ох, Фаяз, какую новость принёс! — расцвела улыбкой Айша. — Согласился Жалейка?

— Согласится, — заработал челюстями Фаяз, — неделя не пройдёт — к мулле пойдём. Я знаю. Видел сегодня его глаза. Он принял решение: Айсель будет его женой.

— Слава Аллаху!

— У тебя как? Ездила сегодня к Медине? Как они там? Помирились с братом?

— Медина злится на Акрама, хоть и помирились. Он ей золотой браслет купил, кольцо с камушком,

прощения на коленях просил. Но она знает: долго не выдержит, опять с этими шалавами закрутит. Ну что за человек такой — ни одной юбки не пропустит? Опять, говорят, какая-то Наташа от него приблудила. Уже сколько байстрючат настрогал, никак не угомонится. Медину понять можно. Плакала опять сегодня, говорила, что род позорит.
— Скажу ему, чтобы серёжки ей добавил и на море отправил, пусть нервы успокоит.
— Сколько можно полукровок разводить?
— Пусть. Что с ним сделаешь? Уж лучше половина нашей крови, чем чужая совсем. Вырастут — к нам потянутся. Зов отцов, он сильный, на верный путь направит.
— Фаяз, слышала, Сашка опять грозился нас поджечь. Боюсь я, гони его совсем.
— Если выгоню, Айша, то точно сожжёт, — сыто отрыгнул Фаяз, — а так просто пугает. Жить где станет? В тюрьме? Да и смотрит за ним Жалейка, не даст и спички зажечь. Он, считай, свой, знает, кого охранять.
— Говорил с ним?
— Говорил. Насмешил он меня сегодня.
— Расскажи чем? — вытерла полотенцем руки Айша, присев за стол напротив мужа.
— «Вести» смотрел, когда я пришёл. Говорит, дикость в Сирии: там рабов держат, женщин в наложницы отдают. Живут не по закону, за похлёбку работать принуждают. У нас, говорит, близко такого невозможно.
— Смешной, — улыбнулась мужу Айша, — смешной и глупый. Как Айсель. Как все русские, глупый: друг за дружку не держатся, веру свою не берегут, пьют как свиньи, чуть что — кулаками машут.
— Правду говоришь, Айша. Давно они рабы. Пусть думают, что свободны. Мы-то с тобой знаем настоящую правду, Айша.
— Знаем, Фаяз, мы с тобой знаем. Эту правду жизни.

10.

Ночью Фаяз метался на кровати. Снился ему кошмар: дети Дробка пытались пробраться в его дом и при этом жалобно мяукали. Они тёрлись возле забора в виде котят и слёзно умоляли: «Дядя Федя, дядя Федя, мы же твои дети. Ты живёшь богато, пусти нас в нашу хату. Дай поесть немножко, дай хотя бы крошку».

11.

Жалейка стоял на крыльце своей пристройки и всматривался в звёздное небо. Ему казалось, что где-то там, по Млечному Пути, бегут они с Айсель, крепко взявшись за руки, и счастливо смеются. Рядом летят два ангела-хранителя, а вослед доносятся детские голоса, голоса их будущих детей. И это видение казалось Жалейке всем смыслом жизни.

12.

Дробок взял со стола спички, перебросил через плечо сумку с заготовленной пятилитровой канистрой, долгим тоскливым взглядом окинул спящую Нинку и, обречённо вздохнув, нетвёрдым шагом отправился из овчарни в душную ночь восстанавливать справедливость.

13.

— Сука, руку пусти, — хрипел от боли Сашка, придавленный к земле коленом невесть откуда взявшегося бригадира.
— Что удумал, Дробок?! И детей тебе не жалко? — тяжело дышал в ухо Сашке Жалейка, не отпуская заломленную руку.
— А он моих пожалел, когда дома лишал?
— Твои живы-здоровы. Накормлены, в тепле, учатся. Да и не он это — ты сам во всём виноват. Пьянство твоё беспробудное. Давно по наклонной едешь. А теперь и до смертоубийства докатился?! Креста на тебе нет!
— Это на тебе креста нет, продался за баланду, своих пинаешь, к басурманам примазываешься.
— Дурак ты, Дробок. Я просто честно работаю. И никому не продаюсь. Я их жалею. Плохо им, совсем плохо. Они-то в чём виноваты? Они к нам спасаться кинулись. Их дети наш язык учат, русские обычаи впитывают. Жили же когда-то вместе — горе и радости делили.
— Это ты на Айсель губу раскатал, все видят, — продолжал пыхтеть Сашка.
— И опять дурак ты, Дробок, — ослабил хватку Жалейка, почувствовав, как пар злости выходит из поверженного. — Сердцу не прикажешь.
— Может, и сам в басурманы подашься?
— Обвенчаемся, и Айсель Александрой станет. Я её так и зову, когда с ней разговариваю, — отпустил Сашку Жалейка. — Если на свадьбу приглашу, придёшь? Вы же теперь вроде как тёзки будете.
— А что, приду, если не шутишь, — опешил от такого оборота дел Дробок.

Поднявшись с земли, он оттолкнул ногой канистру и принялся отряхивать грязь с колен.

В тот же миг с востока подул прохладный ветер, и откуда-то издалека донеслись глухие раскаты грома.

Честная служба

1.

Михася Ярошука призвали в армию. Восемнадцать Михасю исполнилось в феврале, а в конце апреля уже и повестка подоспела: милости просим в доблестные войска, защищать честь и незалежность Украины.

Михась — парубок видный, высокий, под метр девяносто, мускулистый, батьке и деду справный помощник во всех домашних делах. Он и дров

порубить, и сена заготовить, и мешки с картоплей в тракторный прицеп накидать, и воды матери в огород вёдрами натаскать, и теплички покрыть, а ещё огурцы-помидоры в корзинах домой отнести, яблоки в подпол спустить, скотину, когда надо, прибрать. В общем, нужный работник в доме, послушный и безотказный, родительская гордость. Всем бы таких детей, горя б люди не знали.

Михась и охотник что надо, снайпер знатный, зверю шанса не даст, дедова закваска. В кухне благодаря ему всегда мясо найдётся.

— Михася в армию берут, свято в доме,— гордо расхаживал по горнице, разглаживая седые обвисшие усы, дед Сашко.— Надо проводить хлопца, чтоб всем кругом знатно было. Народ созывать пора. Когда ему, напомни?— обратился он к отцу призывника.

— Так девятого мая идти, нехороший день,— озабоченно потёр лоб батько Андрий.— Да и в спецнабор какой-то вроде определили.

— И в чём печаль? В спецнабор! За сына не рад, что выделили из всех? Кому ещё такая честь в селе, скажи, а? То-то.

— Неспокойно всё ж как-то на сердце, времена-то вон какие.

— А какие? Обычные времена. Не лучше и не хуже других времён. Всегда такое было. И с тобой, и со мной, и с дедом твоим Иваном, и с прадедом Панасом. И ничего, все служили да живы-здоровы остались. Так и Михасю это же уготовано, не сомневайся. Наша семья заговорённая, под Богом ходим, пресвятая Дева Мария нам защитница. Поди-ка лучше девок наших созови, наказы нужно важные сделать.

Девки, две незамужние молодухи Оксанка да Ульянка— Михасины сёстры, бабка Ганнуся да мамка Натуся и даже совсем уж старая бабка Хрыстя, получив мужской инструктаж, с вдохновением впряглись в предпраздничную суету. Дом и подворье намывались, украшались, подкрашивались к приёму дорогих гостей. Со скотного двора каждый день раздавались то дикий визг свиньи, то рёв обезумевшей тёлки, то испуганное кудахтанье кур да всполошённый гогот загнанных в угол гусей. В летней кухне постоянно что-то шипело и шкворчало до самого позднего вечера, а уже затемно над ней начинал куриться дымок, и по округе разносился сладковатый запах браги.

— Хороша горилка будет у Андрия,— втягивали ноздрями воздух сельские мужики, проходя мимо ярошуковской хаты,— погуляем знатно.

2.

Восьмого мая в подворье Михася Ярошука собралось больше двух сотен народу. Тут и родня почти вся, кроме дядьки Василя, тут и соседи, тут и друзья-товарищи, подруги. Столы, выставленные в три длинных ряда от входа в дом и застеленные узорными бумажными скатертями, ломились от угощения. Свинина, телятина, жареные битки, птица, рыба, сало с подчерёвой, смаженые ковбасы, сыры, овощи свежие, солёные кавуны, вареники с картоплей, фрукты, мочёная антоновка— одним словом, ешь не хочу. Да и со спиртным всё в полном порядке: горилка между блюд в двухлитровых бутылях красуется, наливочка в графинчиках искрится, вино домашнее, хочешь виноградное, хочешь яблочное, на солнышке переливается, пива наварено немерено. Праздник так праздник.

За главным столом, по центру, посадили самого виновника торжества. По правую руку от него отец с матерью, то бишь Андрий с Натусей, рядом крёстные— дядька Мирон и тётка Ева, по левую же руку самые что ни на есть старейшины семьи— прадед Иван и прабабка Хрыстя, за ними сразу дед Сашко с бабкой Ганусей. Ну и в остальном всё по справедливости. Ближе к Михасю родня ближняя, потом дальняя. И в сторонних рядах всё чин чином: с одного края— дружки-подружки Михася, с другого— соседи и друзья-подруги батькины да дедовы. Только из одногодков прадеда Ивана и прабабки Хрысти никого, они последние в селе долгожители.

Андрий Ярошук за главного сегодня на правах отца новобранца, ему и застолье вести. Встал Андрий важно, тишину нагнал, кашлянул для солидности, вышиванку поправил, волосы пригладил и начал слово говорить.

— Дорогие наши все, и родня, и други, и соседи! Вот видите, какой у нас сегодня день, важный день, праздник. Вы понимаете?

За столами одобрительно закивали, подтверждая правоту сказанного.

— А то…

— И у нас було…

— Праздник в доме…

Андрий поднял руку. Сдерживая лавину чувств односельчан и дождавшись тишины, продолжил.

— Так вот, значит, я про важный день доскажу как есть. Он, конечно, очень важный, важней, может, и нет. Может, даже и главный он у нас в семье. Ну, в этот год точно что главный, тут и говорить нечего. А знатного в нём вот что. Наш Михась становится защитником, нашим защитником, моим и матери, деда своего и бабки, прадеда и прабабки и вот сестёр своих тоже. Он и вас всех под защиту берёт. Так, правильно я слово говорю?— обвёл всех растроганным повлажневшим взглядом Андрий.

— Так, так,— загалдели кругом гости.— Хорошо говоришь, верно.

— А если так,— вновь поднял руку застольник, успокаивая собравшихся,— то вот вам истина. Все Ярошуки завсегда были честными защитниками и не сгинули в своей службе на благое дело Родины, а уберегли себя для дальнейшей пользы жизни. Уберегли для общества и семьи. Вот я и хочу дать слово старейшине нашей семьи, самому главному

нашему предку, человеку почётному и геройскому, прадеду нашего Михася — Ивану Панасовичу Ярошуку. Пусть скажет своё важное слово парубку, а мы поднимем чарки и послушаем.

Вокруг разразились аплодисменты.

— Давай, дед Иван, скажи слово потомку, нехай впитывает.

Худой, сгорбленный годами старик, с заострённым ястребиным носом и слезящимися полуслепыми глазами, медленно приподнялся со своего места и дрожащим голосом произнёс:

— Чего тут говорить? Тут моя речь короткая. Служи честно, внучку, верой и правдой служи, как прапрадед твой Панас служил.

3.

Прапрадед Панас служил у Юзефа Пилсудского. Попал он в польскую армию в тот момент, когда пан Пилсудский с Советами воевал. Скорее даже, не попал, а попался по собственной глупости. В село как-то поутру вошёл взвод солдат во главе с подпоручиком. Всех мужчин согнали на площадь перед церковью и обнародовали добровольный указ о призыве в Войско Польское.

— Кто пойдёт к нам на службу, получит жалование и землю, — торжественно объявил с церковного крыльца благую весть подпоручик и вдруг неожиданно положил руку на плечо стоявшего чуть ниже Панаса: — Хочешь землю, хлопец?

— Хочу, пан офицер.

— Молодец, хлопче, будет тебе земля, много земли, но только после победы. Запишите героя в солдаты.

Вот так и призвали Панаса в армию. К обеду он, уже при форме, садился на телегу, не попрощавшись как следует ни с отцом, ни с матерью.

— Дурак, земли на могилу получишь, конечно, — только и успел сказать напоследок Панасу отец.

Панасу воевать не пришлось, повезло дураку, отправили его сразу же в лагерь для русских военнопленных, что в Стшалкове расположился. Туда русаки потоком стекали. Пан Пилсудский на тот момент хорошо трепал Красную армию, вот и скапливался служивый народец в польских лагерях. Людей для охраны катастрофически не хватало, поэтому часть новобранцев переместили в тыл надзирателями: мол, послужите пока тут великой Польше, а потом уж и на фронт. Панас, хлопец крестьянский, хваткий, сразу же смекнул, что только особое старание и рвение перед начальством спасёт его от гибели на поле боя. И он старался.

Стояла зима. И несчастные русские солдатики быстро превращались в ходячих мертвецов. Жили они в наспех сколоченных лёгких бараках, которые не отапливались, а разжигать огонь внутри помещений категорически запрещалось в целях соблюдения безопасности этих строений. Многие из красноармейцев попали в плен ещё до холодов и были в летнем обмундировании, что только усугубляло их плачевное состояние. Холод и голод активно помогали смертушке делать своё дело.

— Эй, москаль тухлый, давай сюда! Прытче, прытче, — подозвал к себе пленного доходягу Панас, стоя в кругу охранников. — Жрать хочешь?

— Хочу, вельможный пан.

— Землю жри. Съешь три жмени, дам хлеба. Ну что, Иван, съешь?

— Афанасий я.

— Панас, — загоготали кругом охранники, — ты бачишь, тёзка у тебе выискался, Афанасий! А может, это братец твой, может, близняк? Гляньте, хлопцы, как схожи, прям один в один. Может, и ты, Панас, москаль? Что скажешь?

Панас аж поперхнулся от неожиданности. Лицо его налилось кровью, и он со всего маху ударил русака кулаком в живот, а когда тот согнулся в три погибели, сбил его с ног ударом в голову и, уже лежачего, принялся остервенело пинать ногами куда попало, с ненавистью приговаривая:

— Який я тёзка ему, курве москальской? Який я ему тёзка?

— Хорош тебе, — через несколько минут охранники оттащили Панаса от жертвы. — Не бачишь, что ли? Сдох твой тёзка уже, хрипеть перестал.

— Добрый пёс знает своё дело, — усмехнулся в сторону озверевшего надзирателя лагерный хорунжий. — Честно служить будет.

4.

— Молодец, Иван Панасович, верно сказал, коротко и верно, — вновь взял слово Андрий, дождавшись, когда опустеют чарки. — Наш далёкий предок служил нашей ридной Крайне всею правдою, и мы его не посрамили ни на миг, вся наша семья Ярошуков. Вот и батька мой не соврёт. Скажи своё слово, батька, твой черёд пришёл.

Дед Сашко, высокий, стройный седовласый старик, с таким же ястребиным носом, как у своего отца, важно встал из-за стола и поднял чарку отменного первача.

— И что тебе сказать, внучек мой дорогой Михась? Помню тебя вот таким, — показал Сашко рукой у своего колена. — А и тогда ты лихо уже с крапивой воевал. Палку в руку — и айда рубить вражину налево и направо. И пока всю её не сничтожал, с поля боя не уходил. Храбро сражался. Хоть и жалила она тебя нещадно, а ты только губы поджимал да заново на вражину кидался. Вот так же храбро шёл в бой и батька мой, твой прадед Иванко. Храбро и честно. За правду. Вот тебе и моё слово. Служи так же честно, как твой геройский прадед Иванко. И если в бой придётся, то так же смело, как он.

…Иванко в рядах охранного батальона вошёл в белорусские Борки ранним утром, когда деревня

только-только пробуждалась к работе. Зондеркоманда СС взяла Борки в плотное кольцо, а хлопцы Романа Шухевича направились по хатам—сгонять народ к бывшему сельсовету.
— Шнель, шнель, партизанское отродье!
— Пане полицай, да куда ж я с малыми дитятками? Дозвольте дома остаться.
— Геть, геть, дурна баба, сказано всем—значит, всем!

Украинские националисты силой вышвыривали из хат жителей и прикладами гнали их вперёд. Тех, кто не мог двигаться самостоятельно, расстреливали на месте. За националистами в дома входили немецкие солдаты из команды тылового обеспечения, вытаскивали во двор наиболее ценные вещи и тут же грузили их в грузовики и на подводы, управляемые местными полицаями. Одновременно из сараев выгоняли уцелевшую скотину, а когда реквизиция добра заканчивалась, поджигали подворье.

Над Борками клубился дым и стоял обречённый вой жителей.
— Эй, пострел, ты куда забрался?—улыбнулся Иванко незамысловатой хитрости пятилетнего пацанёнка, схоронившегося от беды в крапиве.— И не больно-то тебе там сидеть? Жалится же!
— Ой, дзядзька, балюча,—всхлипнул мальчуган.
— Так вылезай оттуда.
— Не магу. Матуля загадала, каб сядзеу и не вылазяць без яе дозволу.
— Так это мамка твоя меня и прислала, чтоб я тебя к ней отвёл.
— Прауда?—обрадовался пацанёнок, выбираясь из зарослей жгучей травы.
— Правда, вот те крест,—улыбаясь, перекрестился Иванко.—Давай руку, к мамке пойдём. Как зовут-то тебя, герой?
— Янка.
— Во как, тёзка, значит.

На площади у большого амбара Иванко подтолкнул мальчугана в сторону подвывавшей толпы.
— Иди, Ваня, ищи свою мамку. Там она, ждёт тебя.

Через полчаса народ загнали внутрь амбара, закрыли ворота на засов, облили деревянную постройку бензином и подожгли.
— Ярошук,—подошёл к Иванку гауптман, когда всё было кончено,—видел, как ты щенка за руку привёл. Молодец, честно служишь, хорошо воюешь. Награду получишь, как во Львов вернёмся.

5.

— Вот как-то незаметно и моё слово напутствия приспело, и мне говорить сыну важное очередь пришла,—приосанился Андрий, вобрав в себя выпирающий животик.—А есть ли мне ещё что сказать после наших уважаемых дедов? Могу ли я после них? Есть ли у меня честь, люди добрые?
— Есть, есть, Андрий. Честь отца на сына. Говори слово,—зашумели за столами.
— Ну что ж, тогда скажу,—повернулся отец к Михасю.—Слушай сюда, сынку. Большая честь тебе вышла—служить за родную землю. Не посрами наш род вдали от дома. Будь смелым и решительным в своих помыслах. Держи своего врага на мушке верно, как дед Сашко тебя учил. А дед Сашко знатный учитель, он в службе своей врагу шансов не давал. Бери с него пример, служи честно, Михась.

…В Чехословакию Сашко Ярошук попал почти перед самым дембелем в составе воздушно-десантной дивизии с приказом взять под контроль пражский аэродром «Рузине» и обеспечить приём основных сил советской группировки войск. С Пражской весной надо было покончить раз и навсегда как с рассадницей контрреволюции в социалистической Европе. Вот Сашко и должен был этим заняться, а ведь он уже о скорой свадьбе с Ганкой мечтал. И тут такая заваруха, будь она неладна! Все планы Сашка накрылись в одночасье, как корова языком их слизала. Никто ведь теперь не скажет, сколько это всё с чехами продлится: может, месяц, а может, и год. А если Ганка другого парня встретит? В общем, злой был Сашко на всех, ох и злой. Ходил по границе аэродрома в охранении и бубнил себе под нос:
— Москали кляти, чтоб вам всем в аду гореть!

Недели через три в очередном вечернем дозоре из зарослей кустарника, что рос вдоль дороги, ведущей к аэродрому, на Сашка и его сослуживца Максима под крики: «Invaders, jdi do Moskvy!»—обрушился град увесистых камней, один из которых пробил голову товарища. Максим от удара потерял сознание и тихо стонал, лёжа у обочины. Неизвестно, как бы там сложилось с самим Сашком, который от испуга расплакался и не мог сдвинуться с места, если бы не неожиданное появление немецкого мотоциклиста, резко притормозившего около раненого. С ходу оценив обстановку, гэдээровский солдат сорвал с плеча автомат и с колена дал длинную очередь по кустам, откуда исходила опасность. Кто-то обречённо вскрикнул в обстрелянной стороне, и за этим вскриком последовали громкие всхлипы. Немецкие военнослужащие, вошедшие вместе с советским контингентом войск в Чехословакию, особо не церемонились с местным населением, в случае непослушания тут же брали оружие наизготовку и при малейшем подозрении на агрессию со стороны чехов применяли его без предупреждения. Спаситель Сашка, не обращая никакого внимания на плач и стоны в зарослях кустарника, подошёл к Максиму, отложил оружие и быстро оказал десантнику первую помощь—обработал рану, перевязал голову, сделал обезболивающий

укол и по рации связался со своими. Всё это заняло несколько минут, после чего немец повернулся к Сашку, успевшему прийти в себя.
— Ком, рус,— показал он в направлении зарослей.

Метрах в пятнадцати от дороги лежал первый чех и громко стонал. Парню было столько же лет, сколько и молодым солдатам, подошедшим к нему, лет двадцать, не больше. Глаза у него помутнели, веки слабо подрагивали, рана в груди несчастного была страшной и не оставляла ему почти никаких шансов на жизнь. Немец передёрнул затвор и выстрелил одиночным в голову. Чех всхрипнул и затих. Сашко с благоговейным ужасом смотрел на деловито-спокойного немца, который молча присел перед жертвой, быстро обшарил его карманы, достал какой-то документ и положил его в свой планшет.
— Ком, рус,— вновь поманил за собой Сашка немецкий солдат.

Пройдя ещё метров двадцать, военнослужащие обнаружили насмерть перепуганного паренька лет шестнадцати, который обречённо сидел на земле и громко всхлипывал. У мальчишки была прострелена нога.
— Аусвайс!— навёл на паренька автомат немец.— Шнель!
— Не аусвайс,— растёр слёзы по лицу мальчишка.
— Найм?
— Александр.
— Надо же, тёзка,— удивился ответу Сашко.

Немец, впервые услышав голос Сашка, холодно улыбнулся и похлопал его по плечу:
— Гут, рус!

После этого он показал на висящий на плече Ярошука «калашник».
— Хор ауф дамит.
— Я?— испуганно отпрянул в сторону Сашко.
— Я, я,— утвердительно кивнул немец.
— Я не могу, я не убивал людей, давай сам,— попытался выкрутиться из страшного положения Сашко.
— Найн. Ду. Дис ист айне райхенфольге,— отрицательно покачал головой немец и вновь указал на автомат Сашка.— Шнель!

Сашко дрожащими руками снял оружие с плеча, передёрнул затвор и, закрыв глаза, выстрелил в несчастного мальчишку.
— Шарфшутце!— брезгливо ухмыльнулся немец, прощупывая сонную артерию убитого.— Ист тот.

Ярошука вырвало.

Через минуту к ним с автоматами на перевес подбежал по меньшей мере взвод аэродромовских десантников.
— Что тут произошло, сержант Ярошук?— обратился к нему взводный, косясь на труп паренька
— Я, это… Мы, это… С Максимом. Они первые… А потом… Вот он… Я не хотел. Они первые,— не мог прийти в себя Сашко.

Лейтенант вопросительно посмотрел на немца.
— Рус гутер зольдат. Шарфшутце,— широко улыбнулся тот.

Через месяц Сашка демобилизовали.
— Благодарю за честную службу! Благодарности родителям за воспитание сына и в ваш сельсовет я отправил по почте, так что встретят тебя дома как героя, не сомневайся,— крепко пожал на прощание руку Ярошуку комбат.

6.

— Дозвольте и мне слово держать, как крёстному Михася,— поднялся из-за стола мускулистый мужик возраста Андрия.
— Дозволяем, говори, Мирон.
— Спасибо, братья,— степенно поклонился Мирон народу и повернулся к крестнику.— Тут, Михась, правильно вспоминали всех твоих геройских предков, и это твоя гордость и твоя сила, я тебе скажу. Но гордость эта и сила не только в них, но и в батьке твоём и моём лучшем друге Андрии. Он ведь тоже герой, служил честно, и орден есть. Так и ты, Михась, как то яблоко от яблони, служи честно, чтобы батько гордился и все гордились. Вот моё слово.

…«Ду́хи» атаковали взвод неожиданно, не в том месте и не в то время. Одним словом, ударили тогда, когда этого удара никто не ждал. Миномётный обстрел, а после него шквальный автоматный огонь практически полностью уничтожили весь разведотряд шурави. Каким-то чудом уцелели только Андрий, не получивший в этом аду ни единой царапины (видать, Бог миловал), и его взводный, совсем молодой лейтенант Андрей Гончаренко, месяц назад прибывший из училища в Афганистан. Правда, лейтенанту повезло меньше, ему перебило осколками мины ногу, и пуля прошила плечо. Крови взводный потерял много и тихо постанывал, временами теряя сознание. Ещё бо́льшим чудом было то, что «духи» не стали обследовать место гибели разведчиков, а быстро растворились в горах. Почему такое случилось, так и осталось загадкой, но неожиданный уход победителей дал шанс на жизнь побеждённым.
— Тёзка,— прохрипел лейтенант, когда стало окончательно ясно, что «духи» ушли,— посмотри раны, перевяжи где надо.
— Где надо…— машинально повторил Андрий, всё ещё находясь в плену у пережитого страха.

Руки дрожали, и он никак не мог наложить повязку на рану взводного. Не покидали мысли, что вот сейчас «духи» вернутся и завершат своё смертоносное дело, что он тут застрял с этим москалём, вместо того чтобы бежать подальше от этой общей могилы. «Что делать? Что делать?— лихорадочно думал Андрий.— Надо уходить с этого места, надо где-то схорониться. Только вот с этим как быть? Может, грохнуть его, и дело

с концом? Никто ж не узнает. А если узнают? А с ним куда? Он и шагу не ступит. На себе тащить? А ещё кормить-поить придётся. Воды и так мало. Сдохну с ним, не выйду. Лучше грохнуть».

— Андрей, ты чего такой дёрганый? — будто почувствовал что-то неладное лейтенант. — Не дрейфь, всё будет нормалёк, прорвёмся. Наши нас уже ищут, наверное. Рацию глянь у Генки: вдруг уцелела?

Рация не уцелела, как не уцелел и сам Генка, лежащий с развороченным животом на краю тропы, по которой шёл в разведку отряд.

— Лейтенант, надо уходить с этого места, «духи» могут вернуться!

— Нет, земеля, нельзя уходить. Наши нас тут искать станут.

— «Духи» тоже, — поднялся во весь рост Андрий. — Я тебя понесу, где смогу, где не смогу — тащить буду. Больно будет, терпи, не ори, а то пристукну.

Лейтенант спорить не стал, да и что зря спорить, если он в полной воле Андрия?

«Может, и хорошо, что москаля не грохнул, — думал Андрий, взвалив на себя раненого, — он мне теперь как пропуск будет. К „духам“ попаду — скажу, что с „языком“ шёл, выкуп за себя нёс, тогда живым оставят. К своим выйду — героем буду: товарища не бросил, офицера. Медаль дадут или орден. Хорошо, что не грохнул».

Через сутки двух Андреев подобрала «вертушка», возвращавшаяся на базу после выполнения задания. Орден Красной Звезды вручили Андрию Ярошуку перед всем полком ровно в тот день, когда пришёл приказ о выводе советских войск из Афганистана.

— Честный ты парень, Ярошук, настоящий товарищ, именно с таким и надо в разведку, — растроганно обнял Андрия командир полка.

7.

Михась, тщательно прицелившись, выстрелил. Какое-то мгновение он заворожённо наблюдал через окуляр снайперской винтовки за упавшим человеком, а потом осторожно стал отползать в сторону от места своего схрона.

— Ну что, Ярошук, с почином тебя, ставь зарубку на прикладе, — похлопал по плечу вернувшегося с первого задания Михася командир отряда снайперов ВСУ. — Запомни этот день, двадцать второе июня. С победы над первым москалём начался отсчёт твоей честной службы Родине.

— Слава Украине! Героям слава!

8.

— Чего там, Андрий, кто звонил? — обтёрла от муки руки Наталка.

— Брат Василь с Луганщины. Сына его, Мишку, сегодня снайпер застрелил, с выпускного шёл. Вот так-то вот.

— Ой, Боже ж мой, беда-то какая! — всплеснула руками Наталка. — А ведь какие надежды подавал, гордость Ярошуков, отличник круглый, в университет собирался. У нас такого умного в семье и не было никогда. Как там Вера после этого? Горе-то, горе!

— Война, будь она неладна!

Поздняя месть

Научное судно «Моноцит» уже целый день стояло у причала, вернувшись из полугодовой экспедиции по северным морям. Радость встречи экипажа со своими родными осталась позади, и на борту шла обыкновенная работа по приведению судна в относительный порядок.

Часть «научников» выгружала образцы грунта для дальнейшего изучения в лабораториях института, другие писали всеразличные отчёты о проделанной работе, кто-то занимался уборкой кают, а кто-то валял дурака в кают-компании, играя в карты.

— Мужики, — в дверях кают-компании показалась голова боцмана, — вас там авансировать собираются в каюте старпома.

Карты тут же полетели на стол, средний и младший научный состав чуть ли не бегом устремился к старпомовской каюте. Шутки, подначки, подковырки зазвучали в толпе ожидающих. Приятная процедура выдачи денег постепенно подходила к концу, когда к столу подошёл техник научной группы Костик Ребров.

— Распишись вот тут, — второй штурман протянул ему ведомость.

Костик посмотрел на сумму, указанную на бумаге, и просиял. Таких денег он не держал в руках ни разу в своей двадцатитрёхлетней жизни.

— Получи, — отсчитал указанную сумму второй штурман и улыбнулся Костику. — С почином.

— С тебя причитается, — похлопал Костика по плечу старпом, пряча в бороде улыбку.

— Обязательно, конечно, а как же, — смутившийся Костик сгрёб деньги и рванул к двери.

— А пересчитать? Вдруг обманули? — раздалось вслед.

— Не, всё верно, я доверяю, — прозвучало из коридора.

Костик быстро прошагал в свою каюту и заперся. Разложив на столе деньги, он минут пять рассматривал их, а потом начал раскладывать по кучкам и рассовывать по карманам. «Эти — маме, — рассуждал Костик, — эти — себе на обновки, эти — Наташке на подарки, эти — на проставку ребятам, а эти — на поход в ресторан с Григорием Моисеевичем».

Для него этот поход был очень важен, решалась судьба: или Юнерман берёт его к себе в институт, или забыть о науке, экспедициях, новых друзьях и романтике.

Распределив деньги по карманам, Костик с опаской подошёл к каюте Григория Моисеевича. Юнермана он побаивался — и в силу разницы в возрасте, и в силу некоторой строгости начальника экспедиции. Юнерман всегда был хмур, сосредоточен, неразговорчив, и только глаза выдавали в нём незлобивого человека — высвечивалась в них какая-то озорная искорка, не позволяющая собеседнику оробеть перед всемогущим доктором наук.

Костик осторожно постучал в каюту Юнермана.

— Можно? — открыл он дверь.

— Входи, — поднял голову из-за стола Григорий Моисеевич. — Чем могу служить?

— Григорий Моисеевич, я вот тут, понимаете... — замялся Костик.

— Ну, смелее, смелее, — ободряюще улыбнулся Юнерман.

— Я приглашаю вас сегодня поужинать в ресторане, — выпалил Костик и покраснел.

— Ого! — сделал удивлённое лицо Юнерман. — Вы меня приглашаете? А где же цветы?

— Я... нет, вы не так меня поняли. Я не приглашаю вас, то есть... Нет, я приглашаю, но не как... а по-другому, — Костик умолк, окончательно смутившись.

— Ну, это понятно, что по-другому, а не как, — заиграли озорные искорки в глазах Юнермана. — А то и говорить не о чем, потому что в нашей стране это совсем не так, а всё гораздо хуже, если не сказать, что совсем капут.

Костик стоя умирал от стыда и злости на самого себя. Так глупо, так бездарно завалить всё дело!

Но Юнерман не был бы Юнерманом, если бы продолжал шутить и дальше. Понимая состояние Костика, Григорий Моисеевич серьёзно произнёс:

— Ладно, Константин, пошутили, и хватит. Я согласен посетить с тобой это заведение, но с условием: обедаем каждый за свои. А спиртное за мой счёт. И не отрицай, тебе деньги самому нужны. А сейчас иди занимайся своими делами. В час встречаемся у «Меридиана». Знаешь такое кафе?

Костик кивнул.

— Ну, до встречи.

Костик, всё ещё смущённый, быстро выскочил из каюты начальника экспедиции.

Ровно в час Костя с Григорием Моисеевичем входили в кафе. Расположившись за столиком, Юнерман стал внимательно изучать меню.

— На правах старшего заказ делаю я, возражений не принимаю.

Костик согласно кивнул.

— Так, — обратился Юнерман к подошедшему официанту, — два оливье, два салата из кальмаров, два борща, две отбивные, бутылочку армянского коньяка и минералку. Попозже — кофе.

— Сделаем, — записав заказ, официант ушёл.

Костик, поникший, молчал, не решаясь начать важный для себя разговор.

— Ну, как тебе экспедиция? — спросил Григорий Моисеевич. — Понравилась?

— О, это такой кайф, такой адреналин! — оживился Костик. Глаза его загорелись, спина выпрямилась. — Я ничего подобного не испытывал никогда. Жалко, что пролетело всё очень быстро, как один день, даже нет — как один миг. И так не хочется верить, что больше этого не повторится!

— О, да он у тебя поэт, — вдруг раздался за спиной Костика насмешливый голос.

Костик покраснел и быстро повернулся назад.

— Всё, всё, сдаюсь, сдаюсь, — притворно вскинул руки вверх полноватый мужичок небольшого роста, одетый в потёртые джинсы и не заправленную линялую тельняшку. — Гриша, скажи своему юному другу, что я пошутил, а то он меня сейчас съест.

Григорий Моисеевич поморщился.

— Знакомься, это местная знаменитость, поэт Леонид Лямкин, — представил он своего знакомого. — А это Константин, наш младший научный сотрудник, — обратился Юнерман к Лямкину. — Кстати, тоже пишет стихи.

Лицо Кости из красного сделалось пунцовым.

— Любопытно, любопытно, — несколько поскучнел Лямкин, подсаживаясь за столик. — Многие сейчас себя считают поэтами, но о поэзии потом. Гриша, ты, я вижу, с морей, и, конечно же, при деньгах. Угощаешь старого друга и поэта?

— Ну а куда от тебя деться? — натянуто улыбнулся Юнерман. — Тем более ты уже уселся.

— Вот и хорошо, вот и ладушки, — потёр ладони Лямкин и прокричал в зал: — Официант, добавь сюда бутылку армянского и парочку салатиков для начала!

Вскоре на столе появились салаты, коньяк, минералка и борщ.

— За встречу! — поднял свой фужер Лямкин. — Гриша, за тебя, — и, не дождавшись остальных, опрокинул в себя содержимое. Тут же налил снова. — За поэзию! — выпил и второй фужер.

Костя молча поглощал борщ, украдкой поглядывая на Леонида Лямкина. Первый раз в своей жизни Косте довелось встретиться с настоящим поэтом. Весёлый, раскованный, компанейский. Вот бы ещё его стихи послушать, а может, рассказы о встречах со знаменитостями, ведь такой наверняка знаком с лучшими поэтами и писателями.

— Гриша, — налил себе третий фужер коньяка захмелевший Лямкин, — а давай за музу, за такую музу, которая всегда с нами, с истинными любителями искусства!

— Лёня, — укоризненно покачал головой Юнерман, — третий тост поднимают не за музу, а за...

— Да брось ты, Гриша, банальности разводить, — скорчил недовольную гримасу Лямкин и залпом выпил коньяк. — За тех, кто в море, за тех, кто не

с нами… Фигня всё это. Пить надо за себя, любимых, а не за кого-то там вдали.

Григорий Моисеевич чуть сморщился, но спорить с поэтом не стал, зная его капризный характер.

— Слушай, Лёня, ты что-нибудь новенькое написал?—перевёл он разговор на другую тему.

— Не уважаешь, Гриша, ты меня,—обиженно вытянул нижнюю губу Лямкин.—У меня ни дня без строчки, как сказал один известный мудак. Кстати, и на вашу морскую тему есть немало. Счас, только выпью чуток—и выдам.

Лямкин выпил очередной фужер, крякнул, закусил и повернулся к Костику:

— Слушайте, молодой человек, оценивайте и запоминайте, как сидели за одним столом с гением русской словесности, потом внукам похваляться будете.

Поэт встал, покачнулся, одной рукой схватился за спинку стула, другую вытянул вперёд и начал с пафосом:

Корабли уходили в ночь
Далеко от родного берега,
И волна убегала прочь
За кормой к берегам Америки.

Спи, родная, в тиши ночной,
Приплыву я к тебе сквозь туманище,
Охраняю я твой покой,
Ведь я главный в морях капитанище.

И когда мы вернёмся домой,
Ты на шею мою облокотишься.
Я поверю, что берег мой—
Не Америка, а ро́дных скопище.

— Браво, Лямкин, браво!—ухмыляясь, захлопал Григорий Моисеевич.—Это величина!

Не заметив сарказма в голосе Юнермана, поэт гордо продолжал:

— И ещё из недавнего:

Люблю себя в своём лице,
И невозможно быть иначе,
Когда на зорьке на крыльце
Коровы мыкают на даче.

Я есть советский гражданин,
Я патриот своих началов,
В стране я Чацкий господин,
Как говорил актёр Качалов.

Мы все рождались из полей,
Из жнив, из гумен, из пшеницы.
Ты трогать Родину не смей,
Она—орёл, она—жар-птица.

Большой державною рукой
Она карает и лелеет,
И я иду по ней ногой,
И сердце гордостью смелеет.

Костя изумлённо уставился на Лямкина. Поэт, заметив это изумление, тут же продолжил:

— А теперь самое что ни на есть самое! Да что слова—слушайте!

А вот и встал навеки миг
Во славу музы потрясённой,
Нырнул в пучину яркий блик—
Поэта стих заворожённый.

Я—будто памятник себе,
Ещё не есть, но скоро буду.
Пишу поэзию судьбе,
Покуда живы—не забудут!

И пусть гремит во все концы
Известное моё творение.
И пусть читают подлецы
Одно про них стихотворение.

А в нём весь я, с конца в конец,
Моё нутро, моя судьбина.
Своим стихам я сам—отец,
А кто не внемлет мне—дубина.

— Ну, Лёня, вот тут ты весь, вот тут ты себя превзошёл, аки Бог,—налил себе коньяка Юнерман.—Вот этим ты меня сразил, убил наповал!

— А, понял, Гришка, понял потаённый смысл!—светился всем лицом Лямкин.—Я знал, знал, что поймёшь! На руках за такое носить надо.

— Да-а-а, это точно, на руках выносить, это шедевр на все времена,—криво улыбаясь, согласно кивал головой Григорий Моисеевич.—Много выпил, пока родил это?

— Не знаю, не считал. Ещё прочесть?

— Хорош, хорош,—отстранился от поэта руками Юнерман.—Дай это переварить.

— Эх, Гриша, слаб ты на восприятие серьёзной поэзии,—пренебрежительно скривил губы Лямкин.—А вот молодой человек хочет послушать настоящую поэзию. Ведь так?—обратился поэт к Костику.

Костик согласно кивнул и застенчиво сказал:

— Да, хотелось бы послушать кого-нибудь.

— В смысле—кого-нибудь?—набычился Лямкин.

— Ну, Вознесенского или Евтушенко, например,—тихо произнёс Костик две пришедшие на ум фамилии.

— Дерьмо и дерьмо!—брезгливо вытянул губу Лямкин.

— В смысле?—не понял Костик.

— В смысле—два дерьма,—ответил поэт.

— Ну, может, тогда Ахматову или Цветаеву?

— Дерьмо и дерьмо!

— Ахматова и Цветаева?—недоверчиво посмотрел на Лямкина Костик.

— Ахматова и Цветаева—ещё два дерьма.

— Да вы что?! Как же так? Ну а Пастернак, Блок, Есенин?

— Ещё те вонючки, одна тошнота,— изобразил отрыжку Лямкин и обратился к кажущемуся безучастным Юнерману:— Гриша, что за идиота ты привёл? Он ни черта не понимает в поэзии!
— А Пушкин, Пушкин кто?— Костик приподнялся из-за стола.
— Дерьмо твой Пушкин!
— Всё!— ненавидяще произнёс Костик, схватил мускулистой рукой за ворот Лямкина и пинками начал подталкивать к выходу.
— Как ты смеешь?!— кричал, вырываясь, Леонид Лямкин.— Ты кого пинаешь? Ты ответишь! Ты пожалеешь! Я отомщу-у-у…

Вышвырнув поэта за порог, Костик вернулся назад к Юнерману, уверенный в том, что поставил своей выходкой крест на собственной карьере. Как же— выставил друга Григория Моисеевича! Каково было удивление Костика, когда он услышал:
— Молодец, Константин, наш человек. Быть тебе в нашей команде.

Через тридцать лет известный поэт Константин Ребров шёл на встречу со своими читателями в областную библиотеку. У центрального входа из салона «Тойоты» пожилая женщина вытаскивала две небольшие упаковки книг.
— Давайте я помогу донести,— предложил свои услуги Ребров.
— Вот спасибо,— обрадовалась женщина.— Тут рядом, на второй этаж, в хранилище.

Поднявшись на второй этаж, Ребров поинтересовался:
— А кого я нёс-то, скажите?
— Да этого… Леонида Лямкина.
— Вот чёрт,— рассмеялся Ребров, хлопнув себя по бокам.— Отомстил всё-таки старый графоман, заставил себя на руках носить!

Д*и*Н симметрия

Николай Бердяев

Предсмертные мысли Фауста *(фрагмент)*

Судьба Фауста— судьба европейской культуры. Душа Фауста— душа Западной Европы. Душа эта была полна бурных, бесконечных стремлений. В ней была исключительная динамичность, неведомая душе античной, душе эллинской. В молодости, в эпоху Возрождения и ещё раньше, в Возрождении средневековом, душа Фауста страстно искала истину, потом влюбилась в Гретхен и для осуществления своих бесконечных человеческих стремлений вступила в союз с Мефистофелем, с злым духом земли. И фаустовская душа постепенно была изъедена мефистофелевским началом. Силы её начали истощаться. Чем кончились бесконечные стремления фаустовской души, к чему привели они? Фаустовская душа пришла к осушению болот, к инженерному искусству, к материальному устроению земли и материальному господству над миром. Так кончается вторая часть Фауста.

Ein Sumpf zieht am Gebirge hin,
Verpestet alles schon Errungene;
Den faulen Pfuhl auch abzuziehn,
Das Letzte wär‘ das Höchsterrungene.
Eröffn‘ ich Räume vielen Millionen,
Nicht sicher zwar, doch tätig— frei zu wohnen.

Так кончаются в XIX и XX веке искания человека новой истории. Гёте гениально предвидел это. Но последнее слово у него принадлежит мистическому хору:

Alles Vergängliche
Ist nur ein Gleichnis;
Das Unzulängliche,
Hier wird's Ereignis;

Das Unbeschreibliche,
Hier ist's getan;
Das Ewig-Weibliche
Zieht uns hinan.

И осушение болот лишь символ духовного пути Фауста, лишь ознаменование духовной действительности. Фауст в пути своём переходит от религиозной культуры к безрелигиозной цивилизации. И в безрелигиозной цивилизации истощается творческая энергия Фауста, умирают его бесконечные стремления. Гёте выразил душу западноевропейской культуры и её судьбу.

1922

Ольга Харитонова

Не ешь меня

Мочёная рябина

— Ты куда сейчас?

— К себе, на Волкова.

Двери автобуса закрылись, и за стёклами в чёрной рамке резины осталась табличка «ул. Волкова». Юна из автобуса глянула на неё и опустила глаза, почувствовав, что совершила предательство.

В динамике звенел женский голос:

— Чего вздыхаешь?

Юна потянула шарф влево, вправо, повела вниз воротник, а плечи потянула назад — пальто не растягивалось, не ослабляло сжатия.

— Ничего, мам. Не знаю.

«Не по себе, — сказала мысленно, — хреново как-то».

Где-то в затылке стучала тупая боль не боль — тревога. Причин для беспокойства не было, а беспокойство было.

— Я беспокоюсь за тебя.

— Я тоже.

Справа, прямо под поручнем, сидела женщина. Эта женщина в бесформенном, объёмном, синем сильно и прямо кашляла, овалом раскрывая рот. Рука её подлетала, но не поднималась до рта.

— Я вечером зайду, не теряй пока, — Юна сбросила вызов.

Она долго смотрела на женщину в синем, на её сухие губы, на два крупных зуба под верхней, потом плавно повернула ровное, никакое лицо к стеклу окна, прерывисто вздохнула.

Многоэтажки сменились за окном графикой частного сектора, затем — струнами юных берёз.

— Мне платят триста за выход и два процента от выручки — куда мне дома сидеть? — слышалось позади и справа. — Не будет у нас выходных — на что я жить буду?..

Стук-стук — ёкнула боль в затылке. Юна «отключилась» от правого уха, сконцентрировалась на левом.

— Я только-только устроилась в этот салон, клиентов наработала, а мне за квартиру платить!

Юна отключила слух вовсе. Берёзы замельтешили в окне вперемешку с елями.

На «Линиях» зашли двое в одноразовых голубых масках (Юна видела, как они подошли к автобусу), проехали две остановки без голосов, без характеров, с одними только глазами за белой простроченной тканевой линией. Кроссовки, джинсы по щиколотку, рост за метр семьдесят у него и длинные русые выпрямленные волосы из-под кепки, пальто-мешок у кого-то второго. Левая рука первого держала правую руку второго.

А рука Юны крепко держала автобусный поручень, ползала по нему вверх-обратно, оставляла влажные пятна.

Тук-тук — попросилась боль в виски и без разрешения вошла.

До загородной остановки «Карьер» из пассажиров доехала только Юна, вышла. За остановкой подняла капюшон и поплыла во всех смыслах: март всюду налил, но за собой не вытер, по-ребячьи смешал с водой песок, глину, землю, травку-муравку и чёрт знает что ещё.

Поле вызревшей и отсыревшей полыни, за ним — ж/д пути. Юна, глядя на короба товарных ржавых вагонов, вытерла мокрые ладони о пальто, подумала о пальто — его цвете, цене, новизне — и шагнула на щебень. Под вагоном пахло углём — кисло-горько, а сразу за вагоном — свободой.

Ветряная волна ходила по жухлой траве кругами, лужи рябили. Юна достала телефон, смахнула с экрана последние новости («Вирус выявлен у солиста Ram…», «Новые случаи вируса выявили в 16 ре…») и сделала фото. Если у нас есть время и силы на фото, у нас всё хорошо.

Облепиха и лох наполнили чашу озера вместо воды. Часть поля пропала под новыми коттеджами справа. А в остальном всё было как в детстве, так же.

Из-за спины, скорее, из-за затылка, вырвалась стая стрижей, устремилась влево, подальше от новых чужих домов.

Из облепихи выбежала серая, как талый снег, кошка и бросилась к домам. Это снег побежал — показалось сначала. Снег и бежал — вниз по дороге, к первым на обрыве избушкам.

Юна нашла рядом с одной опознавательный куст сирени. Сирень стала больше, дом ниже, Юна бледнее и тоще, всё это случилось лет за десять. Юна толкнула забор двумя руками. Забор сходил туда-сюда, вернулся в исходное положение синхронно со стрижами, ушедшими куда-то за спину.

Найти задвижку где-то там, на ощупь, не удавалось. Удалось перелезть поверх. Прыг. Тук-тук. Кап.

Сначала всё увиделось единым: ржавый замок в петле, выгоревшие мышино-серые доски сарая и дома. Всё на земле тянулось единым полотном: всё было вязаным, стёганым, смешанным. Стебли переходили в прутья, прутья—в палки, стволы, верёвки, травинки, остатки. Всё коричневое, рыжее, жёлтое, серое, зеленовато-серое подползало к выгоревшим доскам, голым стволам, скамейкам и переходило в них. А до неба не доставало.

Рыхлый талый снег отощалыми псами лежал под лавкой, под яблоней, за крышкой погреба, у двери. В овальной ванне под рябиной серая снеговая собака купалась—вытянутый ноздреватый ком плавал в прозрачной воде ни туда, ни сюда—на месте. Под сугробом, на дне, лежали коричневые гнилые ягоды.

Где-то завывало и дуло, но где-то за второй калиткой, в огороде. А где-то здесь стучало. Юна обошла дом и побрела на стук, под паутину кленовых пальцев. И нашла.

Под клёном по старой раковине стучали капли—скромно и тонко. Они тянулись из-под клапана алюминиевого рукомойника по тонкой металлической ножке и падали в ржавую проталину на белой эмали. В рукомойнике плавал кленовый коричневый лист. Клапан держал открытым шарик рябины.

Юна улыбнулась. Вот же оно как! Она потянулась рукой вверх, потом вниз, вниз, опустила её в ледяную настойку на листе и рябине, намочила пальто, намочила рукав рубашки. Рука шла вниз, а влага шла выше, выше по ткани, и где-то между оставался только коричневый лист, прижимавшийся к алюминиевому стакану, к стенке. Когда рука потянулась обратно, лист снова лёг на воду.

Ягода осталась у Юны в пальцах. Но рукомойник продолжил сочиться, тоньше и робче, ножка клапана всё так же поблёскивала и выдавала провал.

Юна оглянулась на дом. Из сарая шевелил усами диван. Усы были соломенные, они неряшливо торчали по всему его лицу, старому, порванному, клетчатому. Юна вспомнила, как боялась прижиматься к нему холодными дачными ночами—диван шуршал, пах сыростью и был не из тех, к кому хочется прижиматься.

Мокрая солома внутри была тяжёлой, вытаскивали диван в сарай из дальней комнаты в четыре руки, хотели сжечь, но дали слабину.

Юна долго не решалась зайти, смотрела издалека. Тук-кап.

Чердачное окно сарая свистело целлофаном. Когда-то на чердаке пахло луком и помидорами—теперь явно не пахнет.

Юна зашла через сарай в дом (обошла диван, коснувшись его подлокотника бедром). Боясь найти личные вещи умершего деда, она нашла алюминиевую круглую крышку. Круглая ручка из твёрдой пластмассы на ней вертелась в пальцах.

Юна подняла клапан. Выпустила воду. Опустила крышку на рукомойник. Клён скинул поверх тонкий сухой палец.

И стук стих. И стало спокойнее.

Теперь никакого желе из ягод ирги в формочках. Никакой картошки с тушёнкой в кастрюле на печке из десяти кирпичей. Никакого сладкого молодого горошка, малины с клопами, стола, в который упираются коленки, соснового запаха чердачной лестницы, старых газет и сквозняка в уличном туалете за помидорами, панамки и старых кроссовок-водолазов…

«И ни вод, ни воздуха, не укрыться…»

Юна перелезла через забор, подхватила у кадыка сухими ладонями воротник пальто.

А мочёная рябина оказалась на вкус как ничто.

Тёплое мыло

Зачем вы пересаживаетесь за руль собственного автомобиля? О, я понимаю, вы больше не выдерживаете этой переполненности людьми, образами, явлениями природы. Это как купить собственную квартиру, сбежав из общежития.

Короб трамвая—комната общежития. Салон троллейбуса—другая комната, этажом выше, возле кухни (оттого вечный гул: это холодильник гудит за стеной). Автобус—странная комната, где вместо двери жёлтая штора, а за нею—зелёные тени и голоса.

Транспорт—замкнутое пространство. Ровно до тех пор, пока не раскроются, не разъедутся двери и не случится диффузия двух пространств. Вещество троллейбуса проливается на заледенелый асфальт, вещество города заползает в автобус и едет, едет…

Трамваи перевозят снег. Он заскакивает, как опоздавший пассажир, в свободную щель, пролезает под квадратную железную дверь, падает на нижнюю ступень и выдыхает. Успел!

В автобусы заходят самодостаточные разнопородные псы, едут несколько остановок на сиденье и выходят в неизвестном направлении по только им одним слышимому сигналу.

На стёклах омских троллейбусов путешествуют рассказы и поэтические строчки: работы участников конкурса, посвящённого некой дате электротранспорта в городе. (Белые листы А4, кегль 14-й, к концу лета все выцвели.)

Жильцы в этих коробах-комнатах сменяются очень быстро, выцвести не успевают.

— Какой номер?
— Девятый!
— Так это моя!
— Передаём за проезд!
— Оплачиваем за ремонт!

Однажды еду, слышится крик: женщина с остановки просит водителя подождать. Под окном слева от меня, мимо пыльного бока автобуса, пробегает

девочка лет пяти. Она останавливается перед автобусной дверью, схватив одну из створок рукой.

Следом за ней спешит женщина с мальчиком за руку, ему не больше трёх лет. Не успевая перебирать короткими ножками, мальчик падает на спину, женщина протаскивает его до двери автобуса, держа за капюшон.

В салон они восходят как на сцену.

Дети бросаются в разные стороны. Привлечённые шумом и окриками, пассажиры наблюдают за троицей.

— Уля, несносная девчонка! Максим! Ну-ка сюда!

Женщина на пике эмоций, разве что пар из ушей не идёт. Лицо у неё в морщинах, усталое, серое.

Им уступают два кресла прямо напротив меня. (И так я оказываюсь на спектакле в первом ряду.)

— Ёшкин дом!—ругается женщина, усаживая детей.

Дети—две молодые картофелины только что из земли: девочка запачкалась о бок автобуса, мальчик проехался по асфальту спиной, носы у обоих охристо-умбровые, глазки дикие.

На нового подозрительного соседа всегда смотришь сначала только одним глазом, опасливо: кто он, что он, не придётся ли просить коменданта о смене соседа? И чего это он такой нечистый, не поселит ли он вместе с собой неряшливость в комнате? Всматриваешься, подключаешь второй глаз.

Уселись: девочка и мальчик на одном кресле слева, женщина справа. Дети вошкаются, ёрзают, колупают друг друга. Максим пытается укусить за нос Улю, ему удаётся. Ничего не замечая, женщина с серым лицом достаёт из кармана плаща большую лупу на чёрной ножке и с её помощью разглядывает экран старенького телефона-кирпичика.

Дети ноют: домой хотим! Но женщина на них только цыкает.

Мальчик бросается на женщину и пытается укусить, но она меняет его траекторию—он хватает в рот колпачок завязки её плаща, откидывает голову назад, тянет шнурок.

— Домой хотим!—объясняет поведение мальчика Уля.

— Не поедем домой!—огрызается женщина.

И все затихают.

А иногда повезёт: заселишься в салон трамвая в жуткий мороз сине-чёрным вечером, сядешь по левому боку на непарное кресло, скукожишься от холода, озноба, приготовишься всё это терпеть до самого дома, но придёт сосед и спасёт тебя.

— Пересядь на правую сторону, дочка. Там печка работает,—подскажет кондуктор.

Я тогда поверила, перебросила тело на новое место. Сиденье оказалось горячим, а воздух тёплым.

Такими праздничными вдруг показались мне городские огни в окне, такая согревающая доброта наполнила моё сердце, что я заулыбалась. Такое тёплое чувство появилось у меня при взгляде на задремавшую в своём кресле женщину-кондуктора, тёплое и большое, что мне непременно захотелось им поделиться.

Я раскрыла сумку и осмотрела подарки, полученные на утреннике от детей. Сумку наполняли разнокалиберные шоколадки, самодельные открытки и поделки—всё, что принято у нас дарить учителям, а под ними, в золотистой подарочной упаковке, нашлось маленькое твёрдое парфюмированное мыло. Я тогда достала коробочку с мылом, сжала в руке и вдруг поняла, что… благодарить страшно, ужасно волнительно, стыдно.

Стеснение продержало меня на сиденье до самой моей остановки. Когда я поднялась, мыло в моих руках было уже ощутимо тёплым и, нагревшись, стало нежно отдавать свой аромат.

— Спасибо вам. С наступающим!—вложила я в руки кондуктора тёплое мыло.

Прощай, снег. Прощайте, самодостаточные большие псы. Берегите себя, хрупкие листы со стихами на стёклах. Женщина, отвезите скорее Максима и Улю домой.

Сойдя со ступенек, обернулась тогда: женщина в кондукторском кресле сидела расслабившись, словно согревшись.

Я запрыгивала в эти маршрутные комнаты с горячим беляшом в руке, спала вечерами на сиденье, раскрыв рот (очень уставала после учёбы), писала тексты, смотрела в окно.

Я больше здесь не живу, но мои руки ещё пахнут мыльной отдушкой и почему-то совсем не мёрзнут без рукавиц.

Не ешь меня

Грустно тебе? А хочешь, кое-что расскажу?

Мой знакомый однажды начал интересный флешмоб: каждый день следовало под хештегом рассказывать, что у тебя произошло хорошего. Я поёрничала, спросила: что же мне делать, если у меня все дни целиком отличные, трансляции проводить?

Зря я так, конечно.

Через день после того разговора мне директор на работе предложение сделал. Предложил уволиться «по собственному». Я сразу написала тому знакомому, со флешмобом: «Зацени прикол: только я тебе похвасталась счастьем, меня увольняют». А он мне в ответ: «Зацени прикол: я сделал себе амулет, который делает явным то, что от меня скрыто, так узнал, что у меня простатит».

Посмеялись с ним тогда, повздыхали, да делать нечего.

Чтобы уйти от уныния, я пробую обесценить свои мелкие беды, вспоминаю что-то более крупное, больнее, острее, хуже. Чтобы кошки на душе улеглись, думаю о чём-то глобальном—например, о стихиях.

Молодость моего папы прошла в городке Южно-Сахалинске, на самом крупном острове России. У него сохранилось множество воспоминаний, связанных с Сахалином, и самые яркие из них (мокрые, влажные) — о воде.

Через остров переглядывались два крупных моря — Охотское и Японское, они тянулись друг к другу через горы многочисленными реками, перебрызгивались источниками.

Весь отдых проходил у воды: в любое время года удили гольца, мальму, кумжу, летом наблюдали, как оживают реки, наполненные блестящими рыбинами, которые шли на нерест.

В моём детстве папины рассказы о Сахалине звучали сказкой: «Все водные источники для нас будто сливались в один одушевлённый образ, некую героиню, со своим характером, желаниями, настроением. Для каждого она выглядела особенно: для тех, кто ходил далеко в море, — старухой, седой, мудрой, спокойной, волны представлялись морщинами, а туман над ними — белой поволокой старческой слепоты; для огородников вода была спорой помощницей, терпеливой, работящей, полной сил женщиной; а для меня — всегда девчонкой, звонко поющей по округе».

Я отчётливо представляла тогда далёкую чужую весну, время, когда на Сахалине разливались реки и вода-озорница быстро бежала по улицам, играла с мальчишескими корабликами, бумагой и палками. Любопытная, она заползала в подъезды и будто слушала, чем живут люди в городе.

В один год, рассказывал отец, серо-зелёная речная вода поднялась аж до последней ступеньки подъездной лестницы, до самой площадки первого этажа его дома и стояла так целую неделю, не решаясь ни зайти в гости, ни уйти восвояси.

По улице тогда люди плавали в лодках: за хлебом ли, к родным, на работу. Благо лодки имели почти все — наводнение редкостью не было. Жизнь не останавливалась, но все ругали беспечную непослушную воду, как провинившегося ребёнка.

Когда река той весной вернулась в берега, все принялись «убирать за ребёнком игрушки»: чистили сизый ил, собирали разбросанные пожитки.

Студентов отцовского колледжа направили разбирать продуктовые склады. Там, в огромных бетонных комнатах, вода особенно порезвилась: на полах толстым слоем лежал мягкий речной ил, консервы были раскатаны по углам, этикетки с них сняты. Коробки с макаронными изделиями имели ужасный вид: казалось, что они побывали в огромной влажной пасти, перетёршей картон до состояния тряпки. Все ящики, упаковки — всё было сырым и мокрым.

Сахарные мешки по-прежнему лежали на бетоне ровными стопками. Только сахара в них уже не было, они стали плоскими и тонкими как блины. Всё растворила вода-сладкоежка, всё с собой забрала, лакомка.

Думая о том, насколько сладкая вода вернулась в реку, я понимала, почему отец называл воду девчонкой.

Но не понимала тогда, что сказка страшная.

«В первые годы, когда начала предсказывать, передо мной зажигали свечу. Но так как я слепая и не вижу, то могло случиться какое-то несчастье, голос мне велел заменить свечу кусочком сахара, потому что он чистый», — сказала болгарская ясновидящая.

Ванга заменила свечу на кусочек сахара, но несчастья всё же случаются.

Тридцать первого декабря 2010 года, за несколько часов до праздничной полуночи, мне позвонила Олеся. Я услышала её в трубке и сначала подумала, что она смеётся, ведь смех и плач одинаково возвышают голос.

Первые фразы пропали из памяти, а вот это запомнилось:

— Оленька, милая, всё сгорит! — назвала она меня так, как никогда не звала.

С мобильного телефона её семья не могла вызвать пожарных, и мне поручили набрать с домашнего аппарата две цифры.

Всего две, но я никак не могла попасть по телефонным кнопкам, а прежде — не могла вспомнить нужную комбинацию, пару для нуля.

(Сейчас решила себя проверить, набрала 04 в поисковике, но запрос ничего не выдал. Оказывается, позвонить на двузначные номера 01, 02, 03, 04, сейчас не получится не только с мобильного, но и с обычного городского номера. После ввода новой системы набора коротких номеров экстренные службы были переведены на единые трёхзначные номера. Откуда бы нам это знать?)

И пока я медлила, стихия из две тысячи десятого доедала свой праздничный ужин.

Двухэтажный дом, словно двухкоржевый торт, спёкся, вспенился и пошёл белым паром в небо. Я всё это видела, и это не было похоже на сказку.

Я забрала в свою квартиру Олесю, её племянницу и жену её брата.

Приехали, переоделись, загрузили в стиральную машину вещи. Сели за стол.

Двенадцать ударов Нового года прозвучали в полной тишине.

Ночь прошла в полной бодрости.

— Там в комнате, на столе, лежали наши курсовые по полеводству…

— Столько салатов нетронутых рассыпали и залили…

— Где-то в доме был Кейс — выскочил ли?

Вот бы в дом тогда заползла вода, зелёно-серая, из сахалинской Сусуи, поднялась на порог, облизала мебель, покачала на волнах разодетую шарами ёлку, пришла бы на ужин и всех спасла. Мы бы дали ей сахар, не жалко.

Жаль было того, что отдали.

Утром первого января мы вернулись к сгоревшему дому на такси, по повышенному праздничному тарифу, в пахнущей кислой гарью тишине. Таксист вышел открыть нам багажник, но раскрыл глаза:

— Это… ваш?

Ужин стихии удался: она похрустела кафелем в кухне, погрызла деревянные балки, раскрошила стёкла, разорвала в клочья обои, подтопила, словно огромную плитку шоколада, одёжный шкаф. Тёртая свёкла приправилась снегом, пеплом и штукатуркой. Лампочки закоптились. На гору чёрных безымянных обломков водрузилась большая матово блестящая тёрка. И поверх всего наросли мелкие мутные сосульки, словно накануне всё вокруг было забрызгано слюной, а, стекая, брызги схватились.

По утоптанному снегу вокруг дома ещё долго катались оранжевые мёрзлые шарики — начинённые салатом апельсины, на их боках виднелись надкусы и проколы зубов — по ночам их в пастях из дома выносили уличные собаки и кошки.

«Зацени прикол: я сделал себе амулет, который делает явным то, что от меня скрыто», — написал мне знакомый. Но у Олеси такого амулета не было. Она долго не знала, что Кейса, её сиамского ласкового кота, стихия поймала за креслом, но есть не стала.

Жил-был кот, да убежал в снега.

Тише, это будет наш с тобою секрет.

Убери свечу.

На, держи сахарок.

А что ещё тебе рассказать, что положить на чашу весов, противоположную той, на которой виснут наши нынешние худые проблемы? Вот и взлетело весовое плечо горизонтального рычага с ними на всю возможную высоту.

Соберись же.

Дом, которого нет

Пространство вытягивает нас из нор. Чем дольше не выходишь из дома, тем сильнее будет его рывок: за шкирку тебя — и наружу.

Две отчаянные девушки, мои приятельницы, махнули из Москвы ко мне в Омск автостопом. Несколько бессонных ночей, подаренная дальнобойщику за помощь бутылка водки, звонки с чужих телефонов — этот путь Наташи и Лизы завершился поздним осенним вечером, я встретила их на своей остановке и накормила горячим ужином.

После ужина Лиза включила, наконец, телефон. Аппарат высветил кучу пропущенных, а затем сразу же зазвонил. Оказалось, что Лизу, несовершеннолетнюю эту Лизу, домашние объявили в розыск. Милиция обещала приехать и засвидетельствовать, что её не удерживают в моей квартире силой.

Пространство уже потянулось ко мне тогда через телефонный динамик.

Приехала милиция. Пространство задышало в домофон, пригласило, попросило вниз. Лиза спустилась к подъезду, в сентябрьскую вечернюю морось. Она набросила мою куртку и схватила мои ключи (чтобы вернуться тихо-тихо). А потом пропала. Вместе с ключами и курткой.

И до утра мы с Наташей размышляли, почему вечер и морось не вернули нам Лизу. А утром отправились на поиски.

Здравствуйте! Какой у вас участок, куда приехать?

Здравствуйте! У вас тут девушка такая маленькая, где?

Здравствуйте! Как это, не у вас уже? А где искать?

Мы планировали с Наташей и Лизой гулять по городу. А вышли вот такие скитания, тревожные перебежки, переезды, пережидания дождя под крышами — сначала седьмого милицейского участка на улице Северной, затем Центра временной изоляции несовершеннолетних (Лизы не было и там), а потом…

Пространство засмеялось и потащило дальше, потянуло и пешком, и проездом на самый край города. Нам с Наташей было страшно, но мы знали: Лизе, где-то там, страшнее.

В вашем городе есть дома, в которых вы никогда не были. Там ни кафе, ни больниц, ни банков, разумеется, там не живут ваши знакомые, и, конечно же, в них не живёте вы. Вы всегда проходите мимо таких домов. Сотни раз проходите мимо этих домов. И таких домов для вас словно нет. Вспомните, к примеру: сколько зданий стоит справа от вашего любимого театра? Какого они цвета? А, вы и в театр не ходите?..

Сколько тогда этажей в домах между остановками «ТЦ „Омский“» и «Госпиталь»? То-то.

Если они не нужны, то их нет.

Пока мы не нужны, нас нет.

Мы ехали с Наташей по полупустому городу на такси, и я иногда выхватывала из пространства что-то знакомое: «Смотри, тут я работала, на шестом этаже», «Вот моя школа». А между всем этим висела несчитанная бесцветная пустота.

Для меня прежде не существовало района города под именем «Старый Кировск», для меня не было никакой девятой больницы. А потом туда поместили Лизу (из-за того, что в Центре несовершеннолетних не было для неё места), и вдруг возникли из ничего и район, и больница, и стационар-погреб.

Я никогда не была в них, но показалось — бывала.

Красный кирпич, четыре этажа, тёмные влажные коридоры, запах капустного супа… Откуда в этом что-то знакомое для всех нас?

Подобную шутку сыграли со мной многочисленные путешествия.

Образы людей и мест разных городов накопились в голове и начали причудливо смешиваться, ставя меня в странное положение.

Иногда иду по улице и думаю: мне она кажется знакомой потому, что я тут была, или потому, что видела такую же улицу в другом городе? Иногда я поддаюсь обману и сворачиваю за угол, убеждая себя, что знаю нужную дорогу, но оказывается, что дом, за который я завернула, всего лишь похож на дом в подобном же русском городе и дорожка ведёт в какие-то тартарары.

Иногда я пытаюсь вспомнить, где находятся магазины и банкоматы, станции метро, музеи и храмы, но снова путаю улицы.

Иркутск похож на Омск, Таганрог на Ярославль, Москва маскируется левым боком под Ленинск-Кузнецкий, а сам он — в свете растущей луны — точь-в-точь Уфа.

С людьми ещё интереснее: мне начало казаться, что почти каждого я где-то видела. Все лица кажутся мне знакомыми, в прохожих мне мерещатся разные люди, находящиеся в данный момент очень далеко от меня.

Несла однажды в поезде кружку с кипятком — от самовара до места 37 — увидела мелкую девочку на боковом сиденье, в наушниках, подумала: это же моя соседка с Красногорска, кажется, Настя. А потом поняла, что Насте той сейчас примерно за тридцать…

Вот и возникли из пустоты красный кирпич и девятый номер.

Лизу на больничной кровати мы признали тогда с трудом. На большом сетчатом полотне, в гнезде из серо-жёлтых одеял, лежало хрупким яйцом белое тельце. Пробуждение её — после ночных мытарств по участку, Центру и больничной палате — было похоже на трудное появление из скорлупы.

Лиза, Наташа, я — мы заняли три железных кресла в коридоре.

Мимо нас в столовую проплывали старики и старушки (из тумана палаты в серость большого холла), «шарк-шарк» наполняло наше тяжёлое молчание. Что теперь делать? Забрать Лизу из больницы имели право только родители. Мы забрали только мои ключи и куртку.

Странно это — преодолеть такой трудный путь до Омска и не увидеть город. Трудно это — потерять на несколько суток из виду дочь, а затем собирать деньги на самолёт до Омска, искать Старый Кировск, искать больницу, искать слова.

Пространство коварно, но лишь от скуки.

У одного омского актёра, Александра Гончарука, несколько лет в статусе соцсети висела фраза: «Вам меня не надо, а я есть!» Примерно с такими словами из городской пустоты иногда делают шаг дома, которые ты предпочёл бы не видеть.

СенЮич

Побывать на тарусской даче Паустовского для меня — почти как увидеть Париж и умереть. (По Эренбургу, от счастья.)

Я подлетела к калитке цвета прошлогодней листвы быстрее всех, прочитала вывеску. Тырк — закрыто. У дома — оранжевый лилейник и черёмуха, за ними, в белой оконной раме, — красная и розовая герань, а дальше — молчаливая пелена тюля.

На стук никто не откликнулся, и мы, так долго стремящиеся сюда, постарались насытиться меньшим: подпрыгивали, фотографировали, глазели в щели.

Увидев тропинку, уходящую за дом, обошли по ней сад вдоль забора. В низине текла Таруса, совсем мелкая, каменистая, а над ней, как было обещано в сказке, виднелась зелёная беседка — тот самый скворечник, в котором работал Паустовский.

Вдруг: между сетчатым забором и землёй — щель. Я поднялась по склону и пролезла в сад. Ребята последовали за мной.

Заглянула в беседку-скворечник: плетёные диванчики, окно смотрит в сторону реки, рядом стол. На столе лежит стопка книг (какие — не разглядела), стоит кувшинчик с полевыми цветами.

За беседкой цветочным калейдоскопом крутится сад.

> Все ушли далеко. Только лёгкой пугающей тенью
> Бродит кошка в саду, —

написал Паустовский в стихотворении 1915 года, за сорок лет до покупки крошечного тарусского дома. (Вы знали, что он писал и стихи?) Теперь этот дом растёт синей незабудкой посреди сада, его сразу и не заметить.

Но я заметила: я знала, где искать. Подбежала, прижалась лбом к центральной стеклянной двери и увидела две фигуры, они сидели в дальней комнате за столом.

Эмоции были невероятные: и холодящее ощущение опасности — всё-таки мы пробрались на частную территорию музейного центра и чужого жилья, и обжигающая радость — ведь теперь было кому запустить нас внутрь.

Сегодня! Сейчас! Никогда прежде! Никогда больше!

Мы решили попасть в этот дом, чего бы нам это ни стоило. Постучали. Ещё и ещё.

К нам вышла худая женщина примерно за тридцать семь, спросила, чего хотим (ни как мы попали в сад, ни кто мы, нет). Пускать нас она отказалась, но отказала мягко, шепнула, что хозяйка (падчерица Паустовского, Галина Алексеевна Арбузова) приболела, предложила нам осмотреть сад.

> И гаснут восторги, и в сердце таится печаль,
> Как зимняя тяжесть, как слёз затаённое бремя.

Да, Константин Георгиевич, всё так и было.

Мы разошлись по саду. На считанные минуты смирились: ну, болеет, закрыто, на свете бывает всё… А потом волна нетерпения снова подкатила к нашему берегу.

Постучим? Постучим!

Что самое страшное может произойти? Нам всего лишь ещё раз откажут.

Или мы в полицейском тарусском участке будем рассуждать о тяге к литературе.

> Я—юный внук, овеянный печалью
> моей мечты. В огнистых городах
> сжигаю дни усталые над далью,
> хочу забыть мой тихий вечный страх,—

и это Паустовский словно бы про нас.

Вернувшись в наши огнистые города, мы не простили бы себе трусости. Обошли Дом-музей Паустовских и постучали во входную дверь у ворот.

Вышедшая вновь женщина была удивлена, она повторила нам причину отказа, но мы были безжалостны.

Не умирать же нам, не увидев Париж? Не умирать же вам, не впустив нас?

И нас впустили «на две минуточки», «одним глазком».

Когда мы вошли, Галина Алексеевна сидела за кухонным столом и ела черешню. Увидев, что нас всего четверо и то, как у нас горят глаза, она сменила гнев на милость, тяжело поднялась и сама провела нас по комнатам.

Никогда и нигде прежде я не была так восторженно внимательна и сосредоточенна, как в стенах этого дома. Это не просто советская дача—это удивительный, гармонично устроенный мир, в котором стены ярких цветов (в комнате Паустовского—жёлтые, в детской—голубые…), а ламповые абажуры сделаны самой Татьяной Паустовской.

Мне хотелось касаться всего, запомнить всё—расположение вещей, запахи. Уловила, что на веранде пахнет свечным воском, а в кабинете Константина Георгиевича—словно пирогом с капустой.

Пока никто не видел, я дотрагивалась до ручек шкафов, поручней кроватей, корешков книг.

На стенах дома—много не засвеченных в Интернете фотографий, какие-то старые смешные стенгазеты «от друзей», с вырезанными из фото лицами Паустовского.

А ещё—Чехов.

«В каждой комнате этого дома свой»,—сказала Галина Алексеевна, и всюду, правда, нашлось какое-то изображение Антона Павловича, фотографическое ли, нарисованное.

В рабочем писательском кабинете на стене висело большое графическое изображение Чехова. А кабинет был в контраст—разноцветный, дачный, радующий. Мы задержались в нём особенно долго.

Смотрели фото Константина Георгиевича (узнали, что на известном снимке, где Паустовский подпирает голову рукой, два светлых тома за его спиной—это тома Пришвина).

На полках—издания хозяина дома в разном количестве томов и разных обложках. Рядом с полками—кресло, вельветовое, цвета выцветшей умбры. Стол деревянный, простенький, столешница накрыта листами голубой бумаги, закреплёнными кнопками (признаюсь, оторвала от бумаги крошку-кусочек, запрятала в карман джинсов, потом, правда, не смогла найти).

На столе кувшинчик, но не с цветами, а с шариковыми ручками, простыми, советскими.

Маленькая настольная лампа (я успела пару раз нажать кнопку на ней). Рядом в чемоданчике печатная машинка «Гермес Бэби».

Тут же рукопись. Почерк очень непонятный. Константин Георгиевич сам его не разбирал: если не успевал перепечатать написанное, позже не мог вспомнить, что написал.

У стола два плетёных стула, с одной и другой стороны, большое окно, выходящее в сад. На подоконнике горшки с цветами. На дальней стене, за столом, висят фото «любимых и уважаемых людей», среди них Бунин, Пастернак, Марлен Дитрих, другие.

Мы сидели на полу и слушали рассказ.

> Я полюбил наркозы стран далёких,
> глаза людей, познавших вечный рай…

Вот эти паустовские наркозы—вот что случилось с нами там.

Галина Алексеевна как-то смешно и неясно называла в рассказе Константина Георгиевича—«СенЮич». Я переспросила её, надеясь, что она произнесёт имя понятнее, но она лишь ответила:

— Он близкий мой человек, и мне можно так его называть.

Вот и мне показалось, что я побывала в доме близкого человека. Умирать нам ещё пока рано, но в целом Таруса-Париж теперь отмечена отпечатками наших ног, умирать будет не так обидно.

После экскурсии попросились выйти через калитку, и вот тут-то возник вопрос, как же мы вошли. Я пошутила, что прилетели.

Когда вышли—обнимались. Шли в нирване, общались запойно.

А мы ведь действительно туда прилетели. Как ветер с реки, словно пчёлы в сад.

Елена Басалаева

Сказки девяностых

Окончание. Начало в спецвыпуске 2021, №1/2022

Глава 8. Дефолт

Но этот учебник мы больше читать не стали. У Ирины Васильевны забрали наш класс. Группа родителей во главе с председательницей комитета написала коллективную жалобу директору, где говорилось, что учитель Нестерова проводит религиозную пропаганду. Две недели русского не было, а потом нам поставили молоденькую выпускницу педуниверситета, которая, как водится, полгода мучилась с нашим классом, прежде чем установила какой-никакой порядок.

— И что уж убрали эту Ирину?—сетовала моя мама.—Какой она большой вред нанесла? Хоть русскому толково учила.

Сердце у меня сжималось каждый раз, когда я видела Ирину Васильевну в коридорах школы. Она всегда ласково спрашивала меня, как я живу, а я не могла ответить ей ничего, кроме банального «нормально»,—слишком многое мне хотелось ей сказать, а для этого не было ни времени, ни возможностей.

После пятого класса я съездила на две недели в тёти-Любину деревню, потом отдохнула в лагере. Последний месяц лета девяносто восьмого года назвали чёрным августом: разразился масштабный кризис. Доллар, который раньше стоил только шесть рублей и двадцать копеек, за три недели подскочил в цене аж до двадцати одного рубля. По телевизору то и дело говорящие головы объясняли народу, почему и как получился подобный скачок. Я, разумеется, ничегошеньки в этих объяснениях не смыслила, да и мама навряд ли много понимала. Ясно было одно: зарплата, которую только-только начали платить регулярно, уменьшилась больше чем наполовину.

— Дефолт!—повторяла мама иностранное слово, которым называли в телевизоре всё происходящее.—Всё обесценилось.

Как я понимаю сейчас, до девяносто восьмого года курс рубля искусственно удерживался, а потом ставки по государственным обязательствам и по кредитам стали быстро расти, и удержать его уже не было возможности. С девяносто третьего года власти обещали, что вот-вот наступит сытая жизнь, но оказалось, что вся их экономическая политика вела к краху. Правда, народ этому не удивился. После дефолта социологи задавали людям вопрос: «Боитесь ли вы потерять нажитое вами и вашей семьёй?»—и большинство ответило, что ничего не боятся, потому что терять им нечего.

Рубль девальвировался, с купюр убрали нули, и цены в мгновение ока сделались маленькими. Шариковая ручка, которая стоила раньше три тысячи рублей, стала продаваться всего за трёшку. На ценниках так и писали: старая цена—столько-то, новая цена—столько. В течение года в ходу были и старые деньги—тысячные и миллионные купюры, и новые—красивые, с двуглавым орлом на монетках. Кроме новеньких денег, хорошего в этом дефолте случилось то, что в магазинах стали потихоньку появляться наши, российские товары: импортные сделались совсем уж дорогими, и закупать их стало невыгодно.

Мы с Дашкой решили завести общую копилку и откладывали понемногу со школьных обедов, с любой мелочи, которую родители выдавали нам на расходы.

— Храните деньги в банке,—смеясь, повторяла Даша слова из рекламы, показывая нашу копилку—жестяную банку из-под «Нескафе».

Мы решили, что два раза в год (в конце декабря и первого июня) будем устраивать «пиршество»—закупаться вкусностями и праздновать приход нового года и начало лета. Остальные деньги Даша планировала тратить на бисер и леску для плетения фенечек (так называли браслетики из бисера), а я—на пластилин.

Кроме папы и мамы, у Даши в квартире жил ещё дядя Петя— мамин брат, приехавший из Узбекистана. Этот самый дядя свалился на них в конце пятого класса как снег на голову, объяснив своё прибытие тем, что в бывших союзных республиках русским стало житься несладко.

— Угнетали мы их, слышь!—объяснял дядя Петя.—В Великую Отечественную эвакуировали туда наших, так наши им институты, школы, дороги, каналы, метро—всё построили. Хорошие были. А теперь мало того, что денег нет, так ещё русские—оккупанты.

— Да что ты, Петя?!—возмущённо качала головой Дашина мама.—Воевали же с ними вместе… Братья и сёстры были. Ну нормальные-то есть?!

— Нормальные-то есть, да что толку? Ненормальные житья не дают. Я вот подумал-подумал — и к вам. Поживу полгодика, потом укачу в Москву-матушку…

Но через полгодика дядя Петя никуда не уехал. Наоборот, он затребовал у своей сестры отдельную комнату, и Дашке пришлось почти до самого конца школы жить в «зале» вместе с родителями. Он выпивал, и однажды, крепко приняв на грудь, в коридоре принял меня за мальчишку:

— А кто это, Дарья? Фраер твой?

Я была одета в чёрную прорезиненную куртку, на голове — мужская вязаная шапка, оставшаяся от двоюродного брата, на ногах — тяжёлые ботинки. Дашка засмеялась:

— Это не фраер, это Ленка!

Дяди-Петину душу терзала печаль, и он не единожды требовал от нас праздника. Мы решили внять его просьбам и к лету приготовили концерт: пели советские песни, плясали придуманные моей подружкой танцы под музыку из громадного проигрывателя и даже продемонстрировали сваренное своими руками мыло. У Дашиного отца была книжка «Занимательная химия», по которой мы понемножку колдовали, изготовляя мыло, сальные свечи, «хрустальные» мыльные пузыри, бирюзовые кристаллы медного купороса и прочие удивительные вещи. Дяде Пете концерт понравился, он обнимал и племяшку, и меня и обещал вскоре раздобыть для нас «вот такую гору шоколада»!

Шоколад он и правда принёс через время: устроился наладчиком оборудования на кондитерскую фабрику «Краскон» и в первый же день своей работы похвастался принесённым со службы куском сладости. Дашка рассказывала мне, что дядя шутя хлопал по плечам её родителей и хвастался:

— Не плачь, дед, не плачь, баба! Вы меня не зря к себе поселили, я вам снесу яичко золотое. Во какое! С конвейера. Глыба!

Куски шоколада, иногда ещё и пастилы дядя Петя носил с фабрики регулярно и говорил, что заслужил сладкую жизнь за горькие годы своих мытарств и тяжкой работы на неблагодарное государство и зажравшихся олигархов. Я ела шоколад вместе с Дашкой, но благодарность к доброму дяде Пете у меня перемежалась с уколами совести: ведь сладости-то были как-никак украденные. Пусть и у олигархов.

В начале шестого класса к нам поступили два новых мальчика. Одного из них я случайно увидела ещё летом, когда задержалась после переклички. Мама этого мальчика говорила директору:

— Он у меня учится хорошо, особенно по гуманитарным предметам. Заводной, артистичный, в прошлой школе везде выступал… Смелый, за себя постоит, себя в обиду не даст.

— Зачисляем его в шестой «Б», — коротко ответила директор.

В классе мальчик появился не один, а со своим приятелем. Фамилия первого (того, которого расхваливала мама), оказалась Озерков, а второго — черноволосого, коренастого, с толстым носом и крупными губами — Сбитний. В первый же день Озерков, облокотясь о спинку стула, со значением оглядел класс и неспешно проговорил:

— Привет честной братве.

Наши пацаны вяло поздоровались в ответ, а Озерков, ещё внимательней впиваясь в них глазами, стал расспрашивать:

— Что смотрите? Что слушаете?

— «Агату Кристи», «Несчастный случай», «Дельфина», «Ляписа», — отвечали наши.

Озерков одобрительно покивал, а потом всё тем же неспешным тоном спросил:

— «Куклы» смотрите? Где политиков показывают?

Откашлявшись, он взъерошил причёску и заговорил голосом нашего президента Ельцина:

— Дорогие россияне! Поздравляю, понимаишь, вас с наступившим новым годом… учебным, так скть. Чтоб у вас всё было в этом году как надо. В этой ситуации проводятся контроль, работа… Это я не фантазирую, понимаишь, это всё просчитано.

— Здорово! — искренне посмеялась я. — Очень похоже, только он ещё смотрит так серьёзно, а потом вдруг улыбается.

Озерков посмотрел на меня с холодным удивлением, будто увидел вещь, которая мешается в проходе.

— Это кто у вас? — показал он кивком на меня, продолжая по-царски опираться на спинку стула.

— Это Ленка, — суетливо выдвинулся вперёд Стружкин. — Она так-то у нас ничё. Это щас она чё-то…

Презрительный холод на лице новенького сменился снисходительным выражением. Он медленно развернулся ко мне и проговорил нарочито ласковым тоном:

— Ты берега попутала, Лена. Я пока с пацанами разговариваю.

Кто-то засмеялся, а мне сделалось на редкость неприятно.

— Не лезь ты к этим пацанам и вообще не смотри, — посоветовала мне Даша.

Я уже и вправду помалкивала, но Озеркову явно не нравились ни я, ни мои приятельницы. Дашку он как-то обозвал «тощей шмарой», надо мной посмеялся за то, что я одета как бабка и ношу очки. Но хуже всего досталось Мустяце: он строил ей рожи, проходя мимо её парты, он будто случайно сталкивал Катькины вещи, а однажды (тоже будто ненароком) облил её пенал корректором. Своим родным Катька не жаловалась, потому что, как и я, с ранних лет усвоила, что у них полно других забот. Однажды для разбирательства пришла классная руководительница, но Озерков, ко всему прочему,

ещё и умел притворяться хорошим мальчиком: поклялся, что всё вышло совершенно случайно, и ему поверили.

Новенький злил меня всё больше, но раздражал не только он, но и одноклассники, которые не замечали глупости и жестокости его приколов, а наоборот, с каждым днём всё больше смотрели на него как на чудо остроумия. Особенно мальчишки, и Вовка, к сожалению для меня, не был исключением. Озерков сыпал шуточками, изображал не только Ельцина, но и наших учителей, рассказывал стишок про доброго киллера Ойубита, переиначил песню «Калинка» на «Кокаинка», и у него никогда не было отбою от слушателей. Котляренко даже купил себе такую же точно джинсовую рубаху, как у его кумира, пытался разговаривать как он и поддерживал каждую очередную шуточку новенького или его суждение о ком-нибудь:

— Мои нервы! В натуре так!

Озерков довольно хмыкал в ответ на все восторги. При учителях он умел быть серьёзным; впрочем, заскучав, мог и на уроке выдать что-нибудь — прилечь на стулья или задать дурацкий вопрос. Из всех учителей он больше всего портил кровь молодой литераторше и трудовику по прозвищу Иван Стаканыч. Но никогда не трогал географа Илью Валерьевича, серьёзного, очень начитанного человека, влюблённого в свой предмет. Илья Валерьевич как-то быстро понял для себя сущность Озеркова, не реагировал ни на какие его подколы, а на его «оруженосца», махрового троечника Сбитнего, и вовсе смотрел с недоумением.

Среди девчонок продолжали верховодить Вика с Дианой, но для пацанов новенький быстро стал безусловным законодателем мод. С некоторых пор именно Озерков стал решать, кто у нас в классе «крутой», кто «стрёмный», что полагается слушать и смотреть и вообще как себя «вести по жизни». Вовка почти совсем перестал со мной общаться, ничего больше не рассказывал, и до меня только доходили слухи, что пацаны после школы собираются на какие-то «сходки», что-то обсуждают, делят, решают…

А то, что случилось дальше, я не смогла бы увидеть и в страшном сне. Однажды в феврале я пришла в школу почти под самый звонок и обнаружила, что наша с Вовкой парта разделена жирной чёрной линией ровно напополам. Не успела я задать вопрос, как будто из-под земли передо мной вырос Вовка и беспрерывно, как по-заученному, стал орать:

— Ты! Вот твоя половина, вот моя половина парты! Чтобы не заходила на мою половину никогда, слышь, кобыла?!

Я замерла от ужаса. Оглушительно протрещал звонок, начался урок естествознания. Все сорок минут я просидела в оцепенении, с трудом улавливая, что говорит учительница. Я надеялась, что на следующей перемене всё пройдёт, и Вовкины слова впрямь покажутся дурным сном.

Но на следующей перемене стало только хуже. Стоило мне только сделать к нему малейшее движение рукой, как Вовка хрипло закричал:

— Не трогай никогда мои вещи и меня не трогай! Поняла, жаба?!

У меня зазвенело в ушах. Откуда-то сбоку послышался насмешливый говорок Озеркова:

— Что уж ты так с ней, брателло? Подруга же твоя была раньше.

— Вот именно, р-раньше, — вызверился Вовка, скаля зубы.

Я хотела назвать его по имени и, кажется, шевелила губами, но голос у меня пропал, и до слуха только донеслись страшные слова:

— Она мне никто.

Не ожидая от себя, я взревела, как раненый зверь, и, схватив портфель в охапку, унеслась в коридор. Там меня поймали Даша с Катькой, заволокли в раздевалку. Я не хотела переодеваться на физкультуру и, обхватив колени, сидела на лавке и плакала. Было почему-то холодно.

— Ты что, на урок надо идти, а то классная будет ругаться! — переживала Дашка.

Неожиданное сочувствие ко мне проявили рыжая Сонька и Диана, верные подружки Вики Иваницкой.

— Козлы они все! Я давно говорю — козлы! — трясла кудрями Сонька. — Шевырёву отольются ещё твои слёзы. Знаешь, как сестра у меня говорит?! «Девушка плачет, а парень смеётся — плюнь ему в рожу, пусть захлебнётся!»

— Правильно! Слать их надо подальше! Нечего плакать! — проявила женскую солидарность Диана.

На физре я бродила по залу как сомнамбула, в голову мне прилетел мяч — хорошо хоть, что не баскетбольный, а футбольный, и остаток урока я провела, сидя на скамейке.

После урока я кое-как покидала свои вещи в сумку и, спустившись в подвал, где у нас была раздевалка, забрала свой пуховик.

К чему мне было оставаться в школе? К чему было дальше вообще всё?

На полпути я почувствовала, что у меня мёрзнут ноги, и поняла, что забыла переобуться — вышла на улицу в туфлях. Но возвращаться не стала.

Дома я скинула пуховик на пол, расплела зачем-то волосы и, оставшись в одной блузке и юбке, вышла на кухонный балкон.

Остеклённые лоджии тогда только начали появляться. Я свесилась вниз до пояса. Обожгли холодом перила. Дышать вдруг стало легко. Мало того, мной овладело какое-то глупое, беспричинное веселье. Казалось, что я могу легко ступить ногами на перила, раскинуть руки — и полететь. Лететь, лететь по всему городу, свободная, как птица.

Я приподнялась на руках и вдруг почувствовала внезапную тупую боль в затылке, будто меня ударили чем-то по голове. Боль была такой неожиданной, что я даже обернулась. Никого рядом, естественно, не было, но перед глазами поплыли фиолетовые и желтоватые пятна.

«Это давление,—вспомнила я мамины слова.— Давление у меня упало».

Я вернулась в кухню, свалилась на пол и сидела там долго. Мне уже было страшно вспомнить миг, когда я хотела ступить ногой на грязные холодные перила, но уйти, убежать, скрыться куда-нибудь от наступившего ужаса всё равно хотелось. Я вспомнила о своём отце, которого видела только на крохотной карточке два на три сантиметра. Где же он теперь?.. Что делает? Только и знаю о нём, что любил петь и рисовать, работал в секретном цехе—а потом взял и исчез. Испарился. Может, он и не человек вовсе, а?.. Точно, точно—не человек. Он как чародей, только временно с людьми. Как шелки из английских сказок: они превращаются в человека, женятся или выходят замуж, а потом настаёт время—и пора им назад, в родную стихию. Да, да… Вот он и ушёл. Оставил мать и меня.

Но если так, значит, и я не совсем человек. Только наполовину. Вот не зря же я рассказываю сказки, пою песни… Я сама как дева озера из шотландской легенды. Она жила, жила с людьми, родила трёх сыновей—и назад в озеро, холодное, чистое… Уйду я, уйду отсюда, найду отца и буду с ним. Человеком быть трудно—слишком много боли.

Сердце моё грызла тоска. До прихода мамы я так и не заставила себя переодеться, а тем более разогреть еду и сделать уроки. Она отругала меня, естественно, списав моё бездействие на обыкновенную лень. Я не планировала ничего ей рассказывать, памятуя, как тётя Тома говорила, что у матери и так трудная жизнь, нечего её тревожить. Но после какого-то совершенно невинного замечания, сказанного мамой, я будто на пустом месте разревелась, и родительнице пришлось спросить:

— Что это с тобой?!

Плача, я объяснила, что Вовка стал ни с того ни с сего обзывать меня, выгонять из-за парты. Мама схватилась за телефон, позвонила Шевырёвым. Мне было слышно, как Вовкина мать громко возмущалась и говорила:

— Я его, поганца!

Моя мама пыталась объяснить ситуацию:

— Они с Леной долго были вместе, но, может, Вове сейчас понравилась другая девочка? Может, он больше просто не хочет сидеть с Леной?

При словах «другая девочка» я разразилась истерическим хохотом. Мама недоумённо посмотрела на меня из коридора и сделала отмашку рукой: мол, тише.

Закончив разговор, она медленно положила трубку и сочувственно сказала мне:

— Никчёмный у тебя оказался друг. Я ведь тебе всегда говорила: с кем ты связалась?.. Там сразу всё было понятно: двоечник, в восемь лет читать не умеет! Позорище. Ты тянись к людям повыше, а не к быдлу!

На следующий день Вовка выловил меня в закутке возле библиотеки и, всовывая истерзанную шоколадку, пробурчал:

— Извини…

Я не владела собой—из глаз опять полились слёзы.

Больше он не подходил ко мне. Впрочем, и не обзывал. Поразмыслив немного, я объяснила себе смысл произошедшего. В глазах Озеркова дружить с «девкой», да ещё такой «стрёмной», бедно одетой, как я, был полнейший зашквар, и он требовал от Вовки, чтобы тот открестился от меня публично. И Володя пошёл на эти условия, наверное, боясь, что в ином случае его и самого будут обзывать «чмошником». Ведь он тоже одевался очень просто, учился плохо и к тому же роста был невеликого.

Моих кукол мама ещё осенью убрала в сундук на балкон—в шестом классе возиться с куклами, конечно, считалось уже стыдно. Однако теперь мне до боли захотелось обнять кого-нибудь из своей кукольной семьи. Кое-как добравшись до сундука, я приподняла тяжёлую крышку и вытащила первую попавшуюся—Надю. Прижав её к груди, я изливала ей душу и осыпала поцелуями её жёсткие соломенного цвета волосы.

С того случая прошло около двух недель. Когда в субботу я пришла из школы, ещё в коридоре услышала знакомый голос:

— В «зож» пишут—надо кипяток пить по утрам. То есть не кипяток, а «белый чай»—так женщина одна говорит. Именно горячую воду. Она помогает всем органам проснуться, настроение создаёт…

— Тётя Тома!—не сдержав радости, закричала я.

Мне казалось, что её не было целую вечность. Я присела на порог балкона, глядя на то, как мама готовит обед, а тётя Тома пересказывает ей заметки из «зож» и порывается помочь.

Мы поели спагетти с томатным соусом и фрикадельками.

— Любочка, вкуснотища! Обалдеть!—привычно нахваливает тётя Тома стряпню моей мамы.

И я соглашаюсь с ней, я хочу во всём с ней соглашаться.

Она опять рассказывает про какие-то методы оздоровления из газеты «зож», из книжек какого-то Синельникова, и мама слушает её вполуха, параллельно вытирая пыль с полок секретера. Потом они смотрят кино по второму каналу, пьют чай. И вот тётя Тома говорит:

— Ну, девочки, милые мои, поеду домой.

— Нет!—встрепенулась я.—Не уезжайте!

Мама хмуро взглянула на меня:
— Чего это ты?

Я вспомнила, как она говорила, что в эту субботу вечером собиралась сходить со мной в магазин «Резерв», чтобы там закупиться консервами и крупами. Но при одной мысли, что тётя Тома сейчас вот так возьмёт и уедет и я даже не сделаю попытки остаться с ней, моё сердце разрывалось надвое.

— Ма-а-ам, отпусти меня,—взмолилась я.—Отпусти, а?

— А в «Резерв» я, значит, одна пойду?

Я клятвенно пообещала, что в магазин мы сходим завтра, в воскресенье вечером, что я могу даже одна сходить туда и принести хоть десять килограммов всякой еды.

— А уроки?—напомнила мама.

Я уже приготовилась смириться с тем, что из-за дурацких уроков мне всё равно придётся остаться дома, но тётя Тома сама поддержала меня:

— Пусть возьмёт пару предметов и у меня сделает. Я тут недавно рыбочек купила новых, неоновые тетры и моллинезии. Пускай посмотрит. Да плющ поглядит, плющ у меня по стене так разросся, как виноград!

Я возликовала и стала спешно напяливать джинсы, пока мама не передумала.

Тётя Тома накормила меня тушёной курицей и винегретом. Курица казалась мне совсем не вкусной, я отщипывала от неё кусочки белого мяса, оставляя скользкую кожу и хрящики в тарелке, и налегала на винегрет.

— Ты бы мяска поела,—советовала мне тётя Тома.— Растущему организму белок нужен. Вот на Севере я жила, там ведь только мясом и рыбой питаются.

— Рыба намного вкусней,—заметила я.

— Ой! Давай доедай, да пойдём рыбок смотреть,— вспомнила кстати тётя Тома.

Мы полюбовались на блестящих неонов и благородно-чёрных моллинезий, безмятежно проплывающих между яркими зелёными водорослями. Я сделала русский, походила по квартире, поиграла немного с кошкой Мурзой, но никак не могла решиться рассказать тёте Томе про Вовку. То мне чудилось, что у неё строгое лицо, то она была занята стиркой, то ей позвонила какая-то знакомая по телефону. Наконец, когда на часах было уже около девяти вечера, я подумала, что если я не расскажу сейчас, то не решусь вообще, и тогда получится, что ехала зря.

— Тётя Тома, помните моего друга… одноклассника?

— Володю?

От этого тайного имени у меня сжалось сердце. Прошло то время, когда я называла его так!

— Вовку,—поправила я.—Так вот, ещё осенью к нам в класс пришли новые мальчики…

Выслушав мою историю, тётя Тома горестно покачала головой и тихо выругалась:

— Вот идиот, чёрт побери его… Ты посмотри, что делает! Ты посмотри… Ни за что в грязь втоптал…

Я думала, что, заново вспоминая эту историю, опять заплачу, но плакать уже не хотелось. Тётя Тома продолжала сокрушаться, когда я неожиданно для себя перебила её вопросом:

— Главное, скажите мне: он что, всегда был предателем? Всегда только притворялся моим другом?

Тётя Тома уверенно покачала головой:

— Нет, нет. Это он по слабости сделал. Ваши эти новые мальчики по зоновским понятиям живут, уж я-то сразу поняла. Держись от них за три километра. А Вовка твой решил себе уважение купить—за счёт тебя. Через годик допетрит, что он идиот. Увидишь, он ещё придёт к тебе! Только ты с ним осторожно: слабый человек он оказался.

Я не совсем понимала тётю Тому и уточнила:

— Так, значит, он это нечаянно… со мной?

— Нет! Не нечаянно. По слабости. Ты его не жалей. Сам, сам поймёт. Человек иной раз делает, чего в душе и не хочет. Вот у меня…

Тётя Тома отошла к окну и замолчала на несколько секунд. Я больше не задавала ей вопросов, терпеливо ожидая, когда она снова заговорит. И она заговорила—непривычно короткими, рублеными фразами, выдававшими в ней волнение:

— У меня человек был. В больнице лечила его. Это Федя когда уже умер. С пневмонией лежал, тяжело болел. Умереть бы мог. Я около него всё время. Так и стали вроде вместе. Он через год выходил… Говорит мне: старое брошу, семьёй будем. И пришёл ко мне. Месяц ничего. А потом…

По долгому вздоху тёти Томы я уже обо всём догадалась.

— Вот что ты скажешь—обманул он меня?

— Обманул.

— А может, и не обманул. Может, он и правда хотел по-другому зажить. Старое его назад потянуло. Грубить стал… Один раз ударил—я прямо села… Никогда с Федей я не думала, что мужик может руку поднимать. Потом извинился, а через несколько дней опять. Нет, думаю, это неладное житьё. Зачем и сходиться, если драться и ругаться?! Потом один раз прихожу домой, там записка: «Прости, Тома, прощай».

— И всё?!

— Хо-хо! Если бы всё. Золотых серёжек нет…

— Так больше и не появлялся?—поражённо спросила я.

— Ну, будем считать, что больше не появлялся,— туманно ответила тётя Тома.—Ты думаешь, они, парни-то, такие сильные? Хо-хо! Нет, у них свои слабости. Это понять надо.

— Угу,—кивнула я, чувствуя, как внутри распирает и мешает дышать какая-то тяжесть.

Тётя Тома, подруга дней моих суровых, погладила меня по голове и предложила развеяться:
— Пошли в ларёк сходим, купим «мишек» со сгущёнкой, чайку попьём. Почитаем ещё. У меня книжка есть, «Времена года», там стихи про природу. Когда мне плохо на душе бывает, я всегда их читаю вслух.

Когда мы только вышли из ларька с «мишками», похожими на современные «Барни», перед нами из фиолетовой темноты вырисовался какой-то лохматый мужик в рваной куртке и глухим голосом попросил:
— Дайте, пожалуйста, поесть.

Тётя Тома боком продвинулась мимо него, пробормотав:
— Уйди, мил человек. Пенсии долго не будет, а зарплату и не ждём.

Лохматый мужик крикнул ей вслед:
— Пожалуйста, хлеба купите, самого дешёвого!

Тётя Тома вдруг остановилась и развернулась:
— Не надо этот хлеб покупать. Мне женщина сказала, его в пекарне на Каче делают, а там крысы бегают. Вот лучше возьмите-ка…

Она вытащила из пакета три «мишки» и вложила их прохожему прямо в руки. Тот благодарно поклонился:
— Спасибо! Я ведь, знаете, раньше другим был… В институте работал.
— Все мы раньше были другими,— ответила со вздохом тётя Тома.

Дома мы почитали вслух стихи, попили чай. Потом тётя Тома приготовила мне постель, вытащив с полки мягкое пуховое одеяло. Я забралась под него и разомлела всем телом, чувствуя, как приходит исцеляющий сон.
— Тётя Тома, вы такая добрая,— сказала я.— Самая добрая на земле.
— Тоже мне, нашла добрую,— проворчала она.— Я сколько дел наворочала… Просто людей понять надо…

Она ещё походила по комнате, собирая разбросанные вещи, и проговорила уже скорее для себя, чем для меня:
— Понять-то надо, а простить нелегко. Видела я одну книжечку, там вот сказано о прощении… Синенькую… Автора не помню.
— Тётя Тома, спокойной ночи,— ласково сказала я вслух, а в уме подумала, что всегда буду её любить и никогда ничем не обижу.

Уже сквозь дрёму мне чудилось, что она ходит в каком-то саду и ищет там книжку, и я засыпала успокоенной.

Глава 9. Перелом

Сентябрь девяносто девятого принёс нам страшные вести: за несколько дней в городах Буйнакске, Москве и Волгодонске от взрывов погибло больше трёхсот человек. В новостях говорили, что дома взорвали кавказские боевики, которых профинансировали радикальные исламисты. Сюжет про теракт в Волгодонске мы смотрели вместе с тётей Любой. Мама плакала и говорила подруге:
— До чего мы дошли! Живёшь и не знаешь: то ли тебя взорвут сегодня, то ли завтра… Что ни говори, в советское время не было такого страха! Не было в людях такой злобы! Это кем надо быть, чтобы в живых людей неповинных взрывчатку кидать! Чтоб их самих на куски разнесло, проклятых!

Тётя Люба поддерживала маму и добавляла:
— Жалко, что Лебедя в девяносто шестом году не выбрали в президенты. Он военный, он бы порядок в стране навёл. Ну, зато к нам пришёл в губернаторы. Зарплаты вон стали платить.
— Лебедь твой — подставная утка! — не соглашалась мама.— К нам его из Москвы и прислали. Я после того, как Ельцин обещал, что на рельсы ляжет, если цены поднимутся, не верю уже никому и ничему… А ведь говорил перед выборами, что даст и то и сё!
— А что, ты за Ельцина голосовала? — спросила я.

Мама вытерла слёзы:
— Ну, в девяносто первом все за него голосовали. Говорили же, что коммунисты в прошлое тянут, к пустым полкам. А тут Ельцин — такой боевой, уверенный. Все за ним и пошли. Свободу обещал! Прямо сказочную жизнь!

Тётя Люба вздохнула:
— Ну, что-то ведь и дали нам. Ларьки, джинсы, телевидение, выезды за границу… В основном игрушки, конечно, всякие…
— Тамагочи, например,— добавила я.

С тамагочи — маленькой трёх- или четырёхкнопочной коробочкой в виде яйца, на экране которой прыгал электронный питомец,— играли почти все мои одноклассники. Видя, как популярна эта штука, мама не однажды спрашивала меня, хочу ли я себе такую забаву, предлагала её купить. Но я не хотела. Правда, иногда смотрела, как возится с этим тамагочи Даша. Она выращивала то пёсика, то котика, то утёнка, то вовсе инопланетянина, питавшегося консервами. Тамагочи приходилось брать с собой в школу — оставленный без внимания на три-четыре часа питомец погибал от голода или жажды, а то и от скуки: виртуальную животинку надо было регулярно увеселять, играя с ней в мячик. Учителя в начале урока требовали убрать тамагочи в сумку, увещевали не носить их в школу и жаловались друг другу на то, что эта электронная зараза поглощает всё внимание детей. Бедные педагоги не знали, что оставалось всего несколько лет до повсеместного распространения сотовых телефонов.

Помимо тамагочи, Даша увлекалась бисероплетением и потихоньку приучила к этому занятию и меня. Я начала с маленьких браслетов-фенечек, потом сделала несколько игрушек на ёлку. Занятие бисером мама одобрила и даже хвалила меня:

— Вот-вот, занимайся. Может, какие украшения потом будешь продавать, бизнес откроешь. Главное, перерывы делай, давай глазам отдых.

Летом после шестого класса мы отправились с Дашей в «поход» через частный сектор Николаевки до железнодорожного вокзала. По дороге нам встретились козы, яблони с белыми наливными яблоками, водонапорные колонки, босоногие смуглые дети. Оказалось, что буквально в одном километре от наших высоток жил своей жизнью совсем другой Красноярск. Это потрясло нас, и нам страшно захотелось узнать, какой же он — наш город. На сэкономленные деньги мы с Дарьей купили большую карту и подолгу изучали её, рассматривая все красноярские улицы, скверы, речушки, школы, переезды. У меня вызывало жадный интерес буквально всё. Даша, которая кое-где бывала вместе с отцом, говорила:

— Самое лучшее — это «Столбы». Ну, ещё Торгашино.

Было ещё кое-что, увлекавшее меня не меньше, чем путешествия. Как только я пошла в седьмой класс, мама принесла с работы книжку «Самый великий человек, который когда-либо жил», которую навязали ей сектанты-иеговисты.

— Привязались: возьмите да возьмите. Нá вот, хоть ты почитай, куда её девать? — отдала мне книжку родительница.

Я радостно схватила книжку и углубилась в чтение. Книжка рассказывала о жизни Иисуса, Божьего Сына, на земле. Я запоем проглотила главы о том, как смутилась Мария, узнав, что она родит от Духа Святого, о том, как Иисус в двенадцать лет учил в храме, как он был крещён Иоанном. В этой книге были прекрасные картинки, изображавшие самых разных библейских персонажей: и степенного Иосифа, и взволнованную Марию, и златокрылого архангела Гавриила, и сурового Предтечу Иоанна. Но чаще всего на картинках, разумеется, был нарисован сам Иисус. У него были добрые и немного печальные карие глаза, по которым можно было понять, что он знает о тебе всё, но не укоряет. Одетый в белый хитон и голубой гиматий, Иисус то беседовал с самарянкой, то отвечал на вопросы Никодима, то учил народ, сидя в лодке. Но особенно мне нравились две страницы. На одной Иисус был изображён вместе с ребёнком. Он придерживал мальчика за плечо и протягивал апостолам руку, говоря: «Будьте как это дитя!» На другой он разворачивал свиток, где было записаны слова пророка Исайи. Я перечитывала это пророчество много раз и быстро выучила наизусть. Его строки так и притягивали меня, заставляли повторять их снова и снова. Мне казалось, что я где-то слышала подобные слова: «Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать нищим, и послал Меня исцелять сокрушённых сердцем; проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение; отпустить измученных на свободу; проповедовать лето Господне благоприятное».

Я выучила и другие цитаты из Библии, которых в книжке было много. Из всех учеников Господа мне больше других нравился апостол Пётр, который не побоялся пойти по воде вслед за Иисусом. Я была горько поражена, когда в самом конце именно Пётр, который всегда показывал делами любовь к учителю, предал его. Мне было трудно поверить в это, но я успокоилась, когда прочитала, что Христос всё-таки простил Петра, когда воскрес, и опять стала думать: какой же он, этот удивительный Бог, который побеждает и злобу, и страх, и отчаяние, и саму смерть?! Но мне некого было об этом спросить.

Захваченная глубокомысленными размышлениями о жизни, в восьмом классе я совершенно запустила учёбу по всем точным предметам. По геометрии за вторую четверть мне поставили двойку. Узнав об этом, на помощь поспешила тётя Люба, которая за прошедшие годы, оказывается, ничуть не забыла школьную программу математики. Объясняла она хорошо, и скоро благодаря ей я стала время от времени получать по алгебре четвёрки. С геометрией дела улучшились ненамного. Я никак не могла представить, где по фигуре проходят линии, как они пересекаются и тем более каким образом можно всё это доказать.

— Ребёнок до двух лет должен ползать, на ощупь пробовать всё. А Ленка всё время взаперти сидела. Вот и получился у неё пространственный кретинизм, — объясняла тётя Люба маме мои неуспехи в геометрии.

Помимо геометрии, на мою бедную голову свалилась ещё информатика. У большинства моих одноклассников уже был дома компьютер, и они, по крайней мере, знали, как его включать и выключать. Задание на первом уроке показалось мне лёгким — надо было набрасывать колечки на пирамидку, перебирать какие-то кубики. Но до конца урока я всё же не успела справиться, задержавшись на несколько минут на перемене.

— Ты же знаешь, как надо компьютер выключать? — спросила у меня учительница информатики.

— А то! Конечно, знаю, — ответила я и решительным движением сначала надавила на кнопку панели, а потом выдернула шнур из розетки.

В классе на тот момент осталось три-четыре человека, ставшие свидетелями моего позора. Сбитний долго не мог успокоиться, изображая, как я рванула шнур. Но я обратила внимание, что Вовка надо мной не смеялся, да и Стружкин с Богдановым смотрели сочувственно. И вообще, было похоже, что Озерков с его вечными шуточками им поднадоел. Вокруг него постоянно крутились трое пацанов, включая Котляренко, и вся эта

команда негласно стала считаться элитой, наравне с девчонками — Викой, Дианой и Сонькой.

Татьяна Петровна в седьмом классе стала вести ещё предмет «Обществознание». Подошла к нему она ещё более творчески, чем к истории: на одном из уроков разделила класс на группы, каждая из которых спустя неделю должна была представить выступление на тему «Наше будущее». Я попала в группу, где были спокойные, довольно пассивные ребята, ничем не выделявшиеся ни в учёбе, ни в чём-либо другом. Прошло уже три дня, а у нас не было даже намётки.

— Что делать будем? — беспокойно спросила я у одного из мальчишек, Димы Юмашева.

— Не знаю. Можно про «Формулу-1» что-нибудь придумать.

— При чём тут «Формула-1»? — не поняла я.

— Ну, что мы выросли и на неё попали.

— Это как-то тупо, — без обиняков сказала девочка Надя.

— А кто придумает умно? — резонно возразил Дима.

Видя, что, кроме меня, взяться за придумывание некому, я пообещала, что через день-другой сценарий будет готов. Но пообещать одно, а сделать — совсем другое. Увидев, что я слишком долго сижу за уроками, мама спросила:

— Что ты возишься?

Я рассказала о задании. Попеняв на Петровнину излишнюю креативность, мама, к моему удивлению, заявила, что мне поможет — придумает стихи.

— Ты что, стихи умеешь писать? — не поверила я.

— Я вообще-то в школе почти отличницей была, — не без гордости ответила мама. — Я про всех напишу хорошо, пусть у вас будет красивая жизнь!

Сценарий у неё оказался готов через сутки. Семь участников нашей группы встречались с классной руководительницей спустя несколько лет после выпускного. После дежурных похвал наставнице каждый рассказывал о том, как он сейчас живёт. Юмашева по сценарию приветствовали так:

«Девчонки, это же Юмашев Дима!»

Он отвечал нам:

«Конечно, я. Я только что из Рима.
Мы продаём оружие, картины,
Да местные всё время дышат в спину.
Но мафия, я думаю, поможет,
И конкурент мой быстро крылья сложит».

Девочку Надю спрашивали:

«Ты, Надя, вышла замуж? За кого?»
«Вы помните Стрельцова Костю? За него!
Мы людям продаём авто в рассрочку,
Планируем открыть вторую точку».

Я переиначила:

— «Мы продаём на Гордк просрочку...»

Мама строго взглянула на меня и продолжала:

— Про Машку вот я написала:

«А я закончила иняз
И часто вспоминаю вас.
Я переводчик в „Кока-Коле“,
А мужа звать Синицын Коля».

— Да она терпеть не может Синицына, — сказала я. — Чего ты её к нему толкаешь?

— Может, он перспективным станет! И вообще, это же фантазия! А вот про тебя:

«Я путешествую по миру,
Вчера вернулась из Алжира».

И девочки тебя спрашивают:

«А дети есть?»
«Да, маленькая дочка.
Ей скоро будет три годочка».
«А кто отец?»
«Известный оперный певец».

— «Из города Череповец, — опять не удержалась я от комментария. — Назад три года к нам заехал на гастроли...»

— Ты как папаша твой, язви его душу! Тоже всё подъелдыкивал меня, шутничок, блин, — рассердилась мама.

Ещё один мой одноклассник, по маминой мысли, должен был стать адвокатом. Он говорил про себя:

«А я юрфирмой управляю,
Неплохо в целом получаю.
Мы консультации даём,
Проводим сделки мы с жильём».

— «И часто взятки мы берём», — тихонько пробурчала я про себя.

Мамины фантазии о красивой жизни не особенно понравились и моим одноклассникам. Юмашев ворчал, что он вообще будет строителем, Машка вместо Синицына на ходу придумала некоего Козлова Толю, я горела со стыда, вещая про какого-то залётного певца, и только мальчишка, которому моя мама напророчила работу юриста, был полностью доволен. Я была благодарна родительнице за то, что она выручила нашу группу, но с облегчением выдохнула, когда всё закончилось.

В группе, куда вошли Даша и Вовка, все оделись старухами и дедами и, пытаясь шутить в стиле передачи «Новые русские бабки», ворчали на молодёжь. Получалось, честно говоря, так себе. Наша классная элита составила отдельную группу. Там все поголовно стали артистами и колесили по миру с гастролями, совсем как наши певцы в девяносто шестом году, когда призывали народ второй раз голосовать за Ельцина.

Но последняя, четвёртая, группа удивила всех. Сценарий там придумал тихий мальчик Игорь — тот самый, который всегда держался особняком и два года назад, в пятом классе, решился пригласить меня танцевать. Оказалось, что на Земле случилась настоящая экологическая катастрофа: не стало хватать чистой воды, загрязнился воздух, сократилась площадь лесов. Команда отважных экологов пришла на встречу к руководителю завода, чтобы убедить его сократить выбросы отходов в атмосферу.

«Вот это настоящее дело будущего! И Катька бы одобрила», — с восхищением подумала я.

Мустяца к тому времени уже ушла из нашей школы. После показанных по телевизору терактов, которые (по официальной версии) совершили кавказцы, её совсем затравили, к тому же её дед с матерью решили продать однокомнатную квартиру с хорошим ремонтом и купить «убитую», но «двушку» в другом районе, на окраине. Я скучала по подруге. Мы созванивались, и Катька, у которой в новом классе вроде бы всё складывалось хорошо, звала меня к себе. До Катькиной школы мне, разумеется, было бы слишком долго ехать. Но если бы даже она находилась близко, я бы не ушла: отчасти из-за того, что взяла себе жизненное правило никогда не покидать поля боя, отчасти из-за Дашки, да и, что скрывать, из-за Володи.

Я видела, что он иногда бросает на меня взгляды, и сама засматривалась на него, надеясь в глубине души, что он подойдёт ко мне, по-настоящему попросит прощения, и всё будет как было. Впрочем, я осознавала, что совсем как было уже не станет, потому что мы повзрослели, и отношения между нами никак не могут сделаться прежними. Но я была рада, когда Вовка снова стал спрашивать, пусть и на первый взгляд дежурно, как у меня дела, а в один прекрасный день попросил нарисовать какого-то героя аниме с длинным мечом в руках. Я согласилась сделать рисунок и очень старалась, копируя этого воинственного юношу с папки для документов. Вовка был восхищён рисунком, горячо благодарил меня и, как в былые времена, похвастался моим творчеством перед Стружкиным. А я смотрела на своего бывшего друга, на свой рисунок, лежащий у него на парте, и не знала, что мне теперь делать — простить до конца или осторожничать, радоваться открыто или притворяться равнодушной.

Сбитний с Озерковым высмеивали меня и Дашку за старую одежду; меня — в особенности за драповое пальто в клетку, которое отдали носить знакомые: другого пальто у мамы не было возможности купить. Утешало только то, что далеко не мы одни были предметом насмешек: попадать стало и нашей однокласснице Марине из-за угрей на лице, и пацанам, когда они проявляли себя «лохами», и даже учителям. Особенно много насмехались над нашей «англичанкой», пожилой преподавательницей со своеобразной манерой речи. Она задавала нам очень много, чему я, надо сказать, даже радовалась: наряду с тройками по химии, физике и математике, я получала пятёрки по русскому и иностранным языкам, и «англичанка», обычно скупая на похвалу, умилялась моим сочинениям.

Мама, которая в школе изучала немецкий, естественно, не могла помогать мне с уроками по английскому и французскому и поначалу немало удивлялась, что я, изучая эти предметы сама, таскаю по ним пятёрки. За тройки и двойки мама меня, разумеется, ругала.

— Что уж у тебя с математикой такая беда?! Садись и учи! Думай! — наставляла она меня.

Думала я много, да всё больше о своём — то о любви, то об ангелах, то о Древней Греции. Предметы моего размышления мало соотносились с точными науками, и к концу третьей четверти я обнаружила, что у меня выходит четыре итоговых трояка. При этом с мамой у нас был негласный уговор: не больше трёх троек за четверть.

Я заметалась, но сделать было, кажется, уже ничего нельзя. Мало того, у меня намечалась четвёрка по географии, хотя я рассчитывала на «пять». Географ Илья Валерьевич во всём был справедлив и баллы никому не завышал.

— И у меня по химии трояк в этой четверти, — пожаловалась Дашка. — А папа хочет, чтобы я стала генным инженером. Вот бы можно было как-то исправить оценки!

Дашкины слова родили во мне крамольную мысль. А что, если как-нибудь выкрасть журнал и в самом деле… того?! Подрисовать Оле четвёрку, мне — пятёрку? Всего одну! Что от одной изменится?! Неужели кому-то станет хуже?! Нет! А лучше как раз будет: нас с Дашкой дома меньше станут ругать.

Мы подобрали ручку подходящего цвета, дождались момента, когда нам было доверено принести журнал в учительскую, и сели с ним в уголке напротив библиотеки, где обычно никто не ходил.

— А может, фиг с ним? — неожиданно сказала Даша.

Но мне было жаль отступать от намеченного, и твёрдой рукой я подрисовала себе пятёрку, а подружке щедро подарила целых две оценки «четыре».

На перемене перед последним уроком географ подозвал меня к себе. Легко постукивая карандашом о журнал, он устремил взор в одну точку на странице, и этот пристальный взгляд не предвещал мне ничего хорошего.

— Ты разве делала сообщение по теме «Штаты Мексики»?

Я глупо разулыбалась и стала притворяться дурочкой:

— Ой, не помню… Уже давно это было…

— Не делала ты,— оборвал меня географ.— Назови-ка мне пять мексиканских штатов.
— М-мехико,— пробормотала я.— Ещё эта… Калифорния.
— Есть такая. Нижняя Калифорния, Северная и Южная. Ну а ещё?

Больше я не знала.
— Ты ещё что-то хочешь мне сказать?

Глаза у географа были почти как у Иисуса в книжке про самого великого человека: он всё знал, но не говорил прямо. Он чего-то ждал.
— Хочу,— самоубийственно ответила я.

Он выдержал паузу.
— И?

Я чувствовала, как немеют ноги. Мне уже не нужна была никакая пятёрка — лишь бы не стоять здесь, лишь бы не отвечать за то, что было сделано.
— Не могу,— выдохнула я.
— Понятно,— спокойно сказал он.— Садись, четыре тебе за четверть.
— Спасибо,— ответила я искренне, по-глупому радуясь неизвестно чему.

Дома, однако, радость моя поубавилась: к вечеру предстояло объясняться с мамой. Чтобы сбавить напряжение, я влезла на кушетку, собираясь, как в детские годы, вдоволь по ней поскакать. Однако из моей головы совершенно вылетело два факта: первый — что в детстве я прыгала всё-таки по более крепкому дивану, второй — что детство закончилось, и мои нынешние габариты навряд ли позволят хрупкой тахте остаться в живых.

Стоило только мне воспарить над бренным миром и опустить стопы на кровать, как раздался предательский хруст. Кушетка просела вниз. Откинув покрывало и матрас, я увидела глубокую трещину, разделявшую лист фанеры почти напополам. По сравнению с этим разрушением какая-то там четвёрка в четверти казалась сущей ерундой.

Я кинулась звонить Дашке:
— Дарья! Чем ремонтируют кровати?
— Не знаю, шурупами, наверное… У тебя есть шуруп? А что случилось? Шуруповёрт ещё нужен…

Я нашла у нас дома только гвозди и молоток и тщетно пыталась скрепить поломанную фанеру гвоздями: лист был слишком толстый, чтобы наложить одну часть на другую.

Наконец решение нашлось. Я аккуратно положила окончательно разделившиеся куски фанеры как они были и прикрыла всё матрасом. Вниз под кровать, аккурат в то место, где пролегала трещина, я подложила стопку книг потолще: «Большой энциклопедический словарь», словарь Ожегова, серию книг «Что такое? Кто такой?». Эта солидная стопа хорошо подпирала койку. Я легла на кровать, поворочалась, присела. Всё держалось неплохо.

«Отлично,— подумала я.— Пока что и так сойдёт, а там что-нибудь придумаю».

Открыв мой дневник, мама, понятно, расстроилась, но чересчур кипятиться не стала, только в сердцах хлестнула меня пару раз мокрым полотенцем и горестно воскликнула:
— И что с тебя будет?!

Она ушла в магазин, а я осталась в томительном ожидании, размышляя, что бы можно было подложить на кровать вместо сломанной фанеры. Я вспомнила, что видела какую-то широкую доску возле пятого подъезда, и мгновенно выбежала на улицу, чтобы подтвердить свою догадку. Но доска была явно узкой и к тому же тяжёлой.

Одну ночь я спокойно проночевала на своей книжной подставке, а на следующий день мама заявила мне:
— Бери тряпку, хватит филонить. По крайней мере, полы ты должна научиться мыть. В восьмом-то классе!

Я стала протирать в комнате пыль, потом налила воду в ведро. Мама ходила за мною по следам и всё время указывала, что и как я делаю неправильно. От этих указаний душу у меня разрывала такая дикая тоска, что я несколько раз подумала: математика всё же куда интересней.

«Прямо со следующей четверти буду ходить на дополнительные занятия!» — пообещала я себе (и, кстати, сдержала обещание).
— Что это у тебя за мусор под кроватью? — проворчала мама, издалека присматриваясь к моей стопке книжек.— Всё убрать!

Пришлось прямо при маме извлечь из-под тахты словари.
— По ночам ты их, что ли, читаешь?..— проворчала она.— Устроила склад. Была бы польза какая с твоего книгочейства.

В этот день мы прогенералили всю квартиру. К ночи я изрядно устала и думала, что удастся как-нибудь незаметно опять подложить под кушетку книжки, но мама не уходила из комнаты буквально ни на минуту.
— Иди в душ да ложись спать,— уже не ворчливым, а ласковым голосом сказала она.

Я думала, что хотя бы после душа смогу вернуть книжки, но мама ждала меня, сидя в кресле. Сердце у меня заныло. Я бестолково потопталась около кровати, всё ещё надеясь, что родительница отойдёт.
— Ложись, ложись,— сказала она мне.

Я аккуратно ступила ногой на нижний край тахты, левой рукой вцепилась в боковую деревянную стенку и, напрягая всё тело, легла. Чтобы не упасть, мне нужно было упираться в верхний край кровати головой, а в нижний — пальцами ног.

Мама взяла у окна стул со спинкой, села возле меня. Я не могла понять, чего она хочет.
— Как хорошо! — сказала она.— Наконец-то убрали всё, помыли. Даже воздух стал другой, чувствуешь?
— Угу,— кивнула я.

— Свежо, хорошо… Я в твои годы вместе с сестрой уже весь дом убирала! А дом деревенский, три комнаты. Мы и кур кормили, и стайку чистили, и корову выгоняли. Про посуду я и не говорю! И тебе надо всё уметь. Раз учиться у тебя не получается…

В другое время я принялась бы спорить с мамой, но тут мне было совсем не до того, и я опять покорно кивнула, крепче цепляясь пальцами за боковушку тахты:

— Угу.

— Нас вот никто не учил. Деревня-матушка! Всё сами, всё сами. Ой, Лена!.. Ты думаешь — зачем я это тебе говорю? Да я ведь переживаю за тебя. О ком мне и думать, как не о тебе?! Чтоб у тебя жизнь не была на мою похожа. Я всё детство ходила в старом да перешитом. Подарки новогодние растягивали на месяц. Потом в город приехала, по всяким общагам, по чужим людям мыкалась. И всегда думала: вот когда у меня будут дети, я из кожи вон буду лезть, только чтобы у них лишняя конфетка, хорошая тряпочка была. И когда ты ходить начала, годика ещё не исполнилось, я вот смотрю на тебя и думаю: дай Бог ей счастливую жизнь, чтобы ни в чём не нуждаться, как сыр в масле кататься!..

— Так ты меня всегда любила?! — воскликнула я с недоумением.

— Конечно, — усмехнулась мама и потянулась ко мне.

Она положила руки на мои плечи. Я не смогла больше упираться головой в спинку кровати и судорожно продолжала цепляться за боковушку измождёнными от напряжения пальцами. Оставалась надежда на ноги, но тут ступню свела судорога, держаться стало совсем не за что, и я в мгновение рухнула на пол.

Мама среагировала на случившееся единственным неприличным словом.

Она простила меня сразу, да, кажется, и не обижалась вовсе, сказав, что эту кровать времён Хрущёва всё равно нужно было менять на новую, и даже посмеялась.

«Эх, мама! Почему ты раньше не была такой доброй?» — с невольной грустью подумала я.

Мне было трудно привыкнуть, что мать, похоже, решила относиться ко мне по-другому — то ли устала от тяжкого воспитательного труда, то ли стала признавать во мне взрослую. Я впервые услышала, что тембр её голоса очень похож на мой, и если я возьму телефонную трубку, посторонний человек вполне может подумать, что это мама.

Мне хотелось сказать ей что-нибудь доброе, но я не знала, как это делается. Мать к тому времени устроилась на вторую подработку — уборщицей в небольшом строительном офисе, и все слова любви, которые я смогла подарить ей, заключались во фразе:

— Хочешь, я всегда с тобой буду в офис ходить?

Мама приняла моё предложение, сказав, правда, что всегда ходить не обязательно, только когда уроков будут задавать не очень много.

Она принялась учить меня своим понятиям о жизни, но, честно говоря, было уже поздно.

— Самая большая любовь — к своему ребёнку, — говорила мама, попутно показывая мне, как готовить гренки. — Каждая мать хочет, чтобы её ребёнок — а особенно дочь! — был в жизни устроен.

— Как это «устроен»? — не понимала я.

Мама посмотрела на меня взглядом, в котором боролись раздражение и снисхождение, и проговорила отчётливо:

— Чтобы всё у него было. У тебя. Чтобы ты ни в чём не нуждалась. Для чего я работаю, полы бегаю мыть? Для тебя. И мне так обидно видеть, что ты ни к чему не стремишься. Я когда-то, в восьмом классе, у матери просила ботинки новые из Барнаула, кудри уже на горячий гвоздик завивала! А ты наденешь что дают — и пошла. Всё в мечтах каких-то. Тебе о будущем думать надо, потому что мы с тобой одни. Нам никто не поможет!

В пример мне мама приводила дочку председательницы родительского комитета Полину:

— Полинка уже сейчас чётко знает, чего хочет. Она в иняз уже сейчас собирается. И мир посмотрит, и жениха хорошего найдёт. Кто-то спортом занимается, тоже, может, успехов достигнет. А у тебя только лицей этот твой литературный.

Мне совсем не нравилось направление разговора. Скрывая досаду, я спросила маму:

— Ну, в итоге ты счастлива-то стала хоть на день?

Ей, видно, тоже не пришёлся по нраву этот вопрос, потому что она воскликнула довольно резко:

— Да уж стала! Из глухой деревни выехала, выучилась на фельдшера, на работу здесь устроилась. Квартиру купила кооперативную, хоть и «однушку», а свою! Квартиры если нет — ты не человек!

Немного успокоившись, мама вернулась к первоначальной теме:

— Да, ребёнок — это главная любовь!

— А муж? — не согласилась я.

— Кому-то везёт с мужем, как Светлане Дмитриевне, на работе у нас женщина. Сметливый, работящий, заботливый. Не пьёт, всё в дом несёт. И дача у них двухэтажная, и квартиру неплохую купили. Она за ним как за каменной стеной, горя не знает. Ещё и подшутит над ним когда. Запомни главное: надо, чтобы он тебя любил. А ты — не обязательно.

— Как это?! — я задохнулась от возмущения.

— Да так. Какой-то писатель сказал: в любви один целует, а другой подставляет щёку. Найди такого, который тебя будет целовать.

— Это Лев Толстой сказал в повести «Юность». И не про любовь, а про дружбу, — запальчиво заметила я и возразила матери словами героини

Марины из сериала «Граница»:—А я сама хочу любить. Сама.

Мама разругалась и отстала от меня.

Сериал «Граница», который недавно показывали по Первому каналу, завладел моим воображением на несколько месяцев. Как и в случае с «Дикой Розой», я не замечала никаких просчётов сценария или режиссуры и полностью отдалась истории, которую рассказывали с экрана. В свои неполные четырнадцать я во всём оправдывала героиню Ольги Будиной: такая нежная и красивая, она, конечно, не могла быть плохой. Просто любовь пришла к ней так внезапно! Особенно я была очарована песней из оперетты, которую исполняли в первой серии. Я раздобыла слова этой песни у тёти Любы, напевала её в мыслях и думала о том, что скоро уже закончится это дурацкое детство, я стану взрослой, и у меня будут такие же верные подруги, как у героини. И, разумеется, я полюблю. Нельзя, невозможно, чтоб было иначе, это ведь и про меня тоже поют:

Что жемчужная наколка?
Что мне бархат и сафьян?
У меня любовь как Волга,
Ей под пару—океан!

Как-то я решила поговорить с Дашкой:
— Даша, как ты думаешь, кого ты могла бы полюбить?

Она удивилась моему вопросу:
— В смысле—парня?
— Ну да, да…

Подружка задумалась, перебирая пышные прядки каштановых волос.
— Ну, чтобы был такой высокий… Я маленьких не люблю. И чтоб брюнет. Сильный чтоб.
— Это всё понятно. Ну а так… что же делать с ним?

Дашка хихикнула.
— Да я не про то! Я про то—что с ним делать вот целую жизнь? Детей родить и воспитывать—это понятно. Но что ещё? Мне кажется, надо жить ещё ради чего-то. Вот хотя бы как Малдер и Скалли в «Секретных материалах».
— Инопланетян, что ли, искать?—прыснула опять Дашка.

Я тоже усмехнулась, но в глубине души мне стало немного обидно.
— Не обязательно инопланетян… Они же там с Курильщиком боролись… ну, с чиновником-то из правительства. Курильщик со своими людьми хотел истину от людей скрыть, а они, наоборот, её искали…
— «Истина где-то рядом»,—машинально повторила Даша слоган сериала.
— «The truth is out there»,—сказала я по-английски, вспомнив кадр из сериала с туманным ущельем.—«Где-то вовне». Нет, правда, счастливые люди—эти Малдер со Скалли.

Подружка посмотрела на меня с недоумением:
—Да они даже не вместе, просто дружат. Ты что-то сильно глубоко копаешь. Главное, чтоб парень ответственный был. Умел принимать решения. Вот у нас дядька уже четвёртый год живёт, выселить не можем. Мне из-за него приходится на кухне спать. Мама говорит: если бы отец был мужиком, выгнал бы его давно.
— Погоди, так это же её брат!
— Ну не четыре года ведь ему тут жить! Ты не представляешь, как он нас достал уже! Он ведь ещё и жизни учит. Ведёт себя, как будто главный. А отец молчит только. Так что лично я такого парня, как мой папаня, никогда не выберу! Мужчина должен решительным быть, чтоб никто им не командовал.

Я вздохнула:
— Может быть… Но главное, чтобы он был твой лучший друг—вот что я думаю… Всё равно что твоя же душа, только в другом теле. Он только о чём-то подумает—а ты уже и знаешь…
— Ну ты даёшь,—только и сказала Даша.

Однажды после физкультуры, когда все уже ушли в раздевалку, я заметила Вовкин свитер, который он оставил на скамейке, и, не отдавая себе отчёта в том, что делаю, схватила этот свитер и крепко прижала к себе. Володя вернулся за своей вещью, а я, конечно, сделала вид, что обнаружила её секунду назад. Но он остановил на мне долгий взгляд, в котором было что-то вопросительное и даже, как мне показалось, молящее.

На излёте зимы нашу семью постигло новое несчастье: мама сломала руку. Она всегда (впрочем, как и я) не любила зиму за темноту и холод, но после получения перелома стала её ненавидеть ещё и за скользкие дороги, на одной из которых маме как раз и довелось упасть по пути на работу.

Мы, как несколько лет назад, когда я потеряла миллион, перешли на тесто. Печь пироги приехали тётя Тома и мамина сестра Мария, вместе с которой так и продолжали жить в одной квартире оба её сына. За раскаткой теста она изливала душу моей маме:
— Нет счастья ни у одного сына, ни у другого. Сашке я говорила: не женись на этой стерве, не женись! Нет, поделил квартиру. И что? Бросила его через пятнадцать лет. Права я была! А Серёжка… Хорошо, что всегда при мне, так один ведь как перст. Ни разу даже девушку никакую не привёл.
— Куда ему вести?—горько усмехнулась мама.—И Сашка, и ты дома сидите.
— Ну и что? Всё равно привёл бы, познакомил,—вмешалась тётя Тома и похвасталась:—Родик с Наташей вроде жениться собрались.
— И где они жить будут?—осведомилась моя мама.
— Так у нас. Комната же есть, пускай живут. Мне, что ли, много надо? Я хоть в ванной жить буду. Пускай всё им.

— Ты их пустишь к себе — благодарности не жди, — наставительно заметила мамина сестра. — Сказано давно: не делай добра — не получишь зла. Сколько я Сашке добра делала, и до сих пор! А он даже работать не хочет. Всё какими-то аферами занимается. «Амвэем» каким-то.

— Я вот что думаю, Марья, — сказала мама. — Проклят наш род. Мы и к целительнице ходили, Тома вот направила, — так она тоже об этом говорила. Сама посуди: отец в одночасье умер, Гена, брат, страшной смертью погиб, дядя Ваня спился… Семьи путней ни у тебя, ни у меня, вот разве что у Надьки, да и то я бы не сказала. И дети удачей не блещут. Вот и посмотри: счастливых-то нет. Прокляты мы.

Тётя Тома вдруг тихонько засмеялась:

— Ой, девочки! Да если по-вашему судить — у нас пол-России проклято. У меня, что ли, родные никто не пьют?

— Ну, у тебя тоже несчастливая доля, — милостиво согласилась мама, не желая, однако, равнять тётю Тому с собой.

— Да почему несчастливая? — не согласилась тётя Тома. — Полосатая. То беда, то радость, то беда, то радость Главное, у нас дети есть! Вот — Леночка. А проклятия эти… Я Лазарева читала и скажу: у него везде что ни сделай, так пятно на карму ложится. Ещё от предков карма плохая достаётся.

— И как быть? — заинтересовалась мама.

— Да меньше читать его надо, — махнула рукой тётя Тома. — Давайте пироги лепить.

В детстве я мечтала, чтобы тётя Тома гостила у нас несколько дней, и теперь моё желание наконец исполнилось: чтобы помогать матери по дому, она переехала к нам на целых две недели.

В первые дни я была совершенно счастлива. Тётя Тома баловала нас моими любимыми драниками (вместо сметаны, правда, была томатная паста), утром перед школой заботливо готовила кружку горячего какао, спрашивала, как дела с уроками. Но к концу первой недели я уже не чувствовала особенной радости от её присутствия. Оказалось, что она любит принимать душ по утрам, вешает полотенце не на змеевик, а на верёвку в ванной, отчего оно остаётся сырым, и всё время пытается надеть на меня вязаные следки, в то время как я люблю ходить босиком.

Мама тяготилась своей беспомощностью, рвалась что-нибудь делать, но с загипсованной рукой была способна разве что слегка прибрать вещи в комнате. Всё ложилось на тётю Тому и меня. Маме приходилось только молча смотреть, как мы носим выбивать ковры, моем посуду и пол. Я прекрасно видела по маминому лицу, что мы много чего делаем не так, как следовало бы. Но раздражение мама скрывала и вслух благодарила тётю Тому. А та, казалось, совсем не замечала неискренности и только рада была стараться для подруги. Эта угодливость начала меня раздражать. Я задумалась: разве мама, если бы что-то подобное случилось с тётей Томой, стала бы так же помогать ей?..

Однажды я пришла из школы раньше обычного и увидела, что мамы дома нет. Тётя Тома в опылённом мукой тёмном фартуке вышла мне навстречу:

— Люба маму твою на приём повезла, на такси. А мы с тобой пока чудо-блюдо сделаем, хо-хо!

Чудо-блюдом оказались не то вареники, не то пельмени с разными начинками из серии «Положи, что найдёшь»: свиное сало, солёная селёдка, квашеная капуста пополам с тёртой картошкой. Тётя Тома ловко лепила мелкие пельмешки и складывала их один за другим на белёсые от муки деревянные доски.

— То-то мы наедимся! Вкуснятина будет! — убеждала она. — Мама обрадуется.

Я, конечно, знала, что для тёти Томы вкуснее селёдки лакомства нет. Но есть её в пельменях? Измятой в кашу? Я чувствовала, как мои губы брезгливо кривятся. За минувший месяц мне и так осточертело тесто во всех его видах, а тут ещё и такая начинка!

— Может, вы просто гречку сварите? — спросила я тётю Тому.

— Уж что сварила, то и ешь, — отсекла она мои притязания. — Иди пока делай уроки, а я тебе всё принесу.

Я быстро разобралась с историей и открыла учебник физики, пытаясь вчитаться в задачу и понять её смысл. Корпеть над задачей не хотелось, в голову лезли какие-то мысли то о дне, в который начинается весна, и по каким приметам его узнать, то о сериале «Зачарованные», который стали по будням показывать на СТС. Замечтавшись, я не обратила внимания, что тётя Тома стоит рядом со мной и, заглядывая через плечо, уже невесть сколько времени наблюдает, как я рисую на полях тетради узор в виде косички.

— Ты зачем тетрадь испортила? — сердито вопросила она меня. — Нас в детстве за такое заставляли выдирать лист и заново переписывать!

Раздосадованная её внезапным появлением, я ничего не сказала на это, надеясь, что она сейчас уйдёт. Но тётя Тома продолжала стоять около меня, очевидно, дожидаясь, когда я начну решать задачу. Мне жутко захотелось встать, задвинуть стул и сказать, чтобы она ушла. В конце концов, я же в своём доме! А если дом и не мой, так, по крайней мере, этот чёртов угол, где стоит стол.

— Решай-решай, — наставительно сказала тётя Тома. — Ты у нас образованной будешь. Мама столько старается ради тебя.

Я чувствовала, что закипаю, и была страшно рада, когда тётя Тома всё-таки отошла. Но она

слишком скоро вернулась, держа в руках блюдо горячих пельменей.

— Сядь ровно,— сказала мне она.

Это невинное замечание так всколыхнуло моё шаткое душевное равновесие, что я, не ожидая от себя, крикнула:

— Отстаньте!!

Тётя Тома слегка отпрянула, я развернулась вполоборота и резким движением нечаянно выбила у неё тарелку из рук. Пельмени высыпались на пол, один из них обжёг мне колено.

Тётя Тома расстроенно проговорила:

— Ну вот… Помоги хоть мне.

— Да не хочу!— крикнула я.— Как мне надоело это всё! Мама с этой рукой — ничего не может, а всё хочет контролировать! Физику надо делать. Тесто надоело есть! И вы ещё тут… над душой стоите!

Тётя Тома посмотрела на меня с упрёком:

— И ты так говоришь? И ты так говоришь, как будто тебе труднее всех? Я тебе рассказывала, как мы раньше жили… В бараке в деревянном…

Я смерила её взглядом, и в глаза мне бросились её нелепые вязаные следки, немодная полосатая майка, рано усвоенная старушечья суетливость.

— Говорили уже!— оборвала я её.— Надоело.

Тётя Тома замолчала, а я, чувствуя, что не в силах смотреть на неё, чертила ручкой сумбурные линии в черновике.

— Ну ладно, Лена,— послышался тёти-Томин голос будто со стороны.— Если я тебе надоела, то я уеду. И больше не приеду. Помогать вам не стану.

Несколько секунд я просидела в оцепенении, осмысляя то, что было услышано, а когда поняла суть, вскочила со стула и, хотя мне хотелось кинуться к тёте Томе, остановилась на полпути.

— Нет, пожалуйста, не уезжайте!— взмолилась я.— Я не так, я не это хотела сказать! Я просто… Мне…

Я расплакалась и опустилась на стул, положив голову на руки. Тётя Тома подошла ко мне, погладила по волосам — вначале осторожно, одними подушечками пальцев, будто проверяя, не оттолкну ли я её; потом уже всей ладонью. Руки у неё были сухие и тёплые, пахли рыбой и тестом.

— Не плачь, не плачь, Леночка. Конечно, ты растерялась. Мама вылечится,— по-своему истолковала моё горе тётя Тома.— Сейчас вот снимут гипс, потом упражнения будет делать для руки,— тётя Тома бодро сделала пару вертикальных махов.— Через пару месяцев перелома как не бывало.

Я смотрела на неё сквозь пелену слёз и тихо проговорила:

— Вы всегда так помогаете ей…

— Конечно. Она же моя подруга, потому и помогаю. Ну, ну, не плачь. Сейчас уже мама приедет. Пельмешки поест. Прости меня, что я лезу к тебе. Я, Лена, так мечтаю, чтобы ты образованной стала. Образованный-то человек больше про нашу жизнь понимает… А то у нас в перестройку всё отобрали, а мы и знать не знали, что происходит… И вообще, без образования плохо. Все обворовать норовят. Вот Родик года четыре назад в таксисты подался. Ой-ой, чего натерпелся! За ремонт заплати, за мойку заплати, автопарку отдай… Милиции отстегни… Я всё мечтаю, что хоть ты так мыкаться не будешь. Будешь умственной работой заниматься. А я за тебя порадуюсь. Ну, не плачь…

Но слёзы лились из моих глаз. Я плакала потому, что оскорбила тётю Тому, которую клялась никогда ничем не обидеть. Я плакала, потому что ещё не умела любить как она — не задумываясь, чем и как на твою любовь ответят. Я плакала, потому что даже то, что казалось мне таким простым и незыблемым, было поставлено под сомнение. Я плакала, потому что взрослела.

Глава 10. На Парнасе

Пожалуй, самой большой моей радостью в подростковые годы был Литературный лицей. Вплоть до начала 2010-х годов у нас в городе — да, наверное, во всей стране — действовало множество самых разнообразных школ, кружков и секций всевозможных направлений, плата в которых была символической или вовсе отсутствовала. Мои одноклассники ходили в «художку», «музыкалку», на бумажное моделирование. Архипопулярными среди девочек были эстрадные и бальные танцы. Когда мне было семь лет, мама записала меня в фольклорный ансамбль Гордк, но занятия там оказалось трудно совмещать с учёбой, и через полтора года ансамбль я забросила, о чём, правду сказать, не слишком горевала.

С лицеем же вышло так. Подружившись в пятом классе с Дашей, я узнала, что она пробует сочинять сказки, и с великим интересом попросила её дать почитать написанное. Ольга решила, что наслаждаться художественным словом лучше всего на лоне природы:

— Поехали с нами на дачу. Горох, редиску, морковку будем сажать. А в электричке читать начнёшь.

Поезд я раньше видела только издалека, когда ходила к тёте Томе через «Космос» или гуляла с ней по Калинина. Ожидая электричку, я поднималась на цыпочки и заглядывала за поворот, откуда она должна была появиться. Чем слышнее становился стук рельсов, тем более бурно билось моё сердце. Я немного успокоилась только тогда, когда мы заняли места напротив окна в самой середине вагона. Дашкин отец любезно предложил мне какао из термоса, и я, удобно расположившись за раскладным столиком, углубилась в чтение первой подружкиной сказки, носившей нехитрое название «Про Кота и Пса». Сказка была снабжена иллюстрациями автора и повествовала о том, как верные друзья Пёс и Кот, пережив приключения, обрели собственный дом под красной крышей.

На даче я была во второй раз: в первый меня прихватили с собой мамины знакомые, но тогда стояла середина лета и весь огород был похож на волнующееся зелёное море. В деревне у тёти-Любиных родственников я тоже была в пору, когда на грядках всё цвело и зрело. Теперь же перед нами была тёмно-серая, застывшая в ожидании земля.

Я впервые увидела, как выглядят семена овощей, и, внимательно слушая Дашкиного отца, старалась делать всё так, как он говорил. Когда я погружала горошины в тёплую рассыпчатую землю, то представила, как через время на этом самом месте раскинется затейливая лиственная вязь, и вспомнила картинки из нашего учебника литературы, по которому вела уроки Ирина Васильевна. На картинках были изображены оплетавшие буквы цветочные узоры, и мне на секунду показалось, что я сею в землю слова, чтобы потом проросли книги.

На обратном пути я прочитала ещё одну подружкину сказку — «Петя и волшебная кисть». Дашина красивая тетрадь со сказками, праздничная майская природа, радостный труд на земле привели меня в такое воодушевление, что, спустившись в городе на станции «Путепровод», я во всеуслышание объявила:

— Как же на даче хорошо! Вот будет у меня какая-нибудь дача — я там всё буду сажать, поливать, полоть!

На меня пристально поглядела смуглая, будто мексиканка, старушка в белом платочке и прошамкала пророчество:

— Девочка! Свёкры тебя будут любить!

Вдохновившись Дашкиным творчеством, я загорелась желанием тоже написать какую-нибудь сказку. Я взяла тёмно-зелёную общую тетрадь и написала на форзаце свои имя и фамилию, а на первой строке цветной гелевой ручкой вывела: «Сказки». Чуть задумавшись, я прибавила: «90-х».

Дальше надо было писать о волшебных местах и удивительных событиях. Но в голову мне приходили какие-то не очень сказочные сюжеты. Например, о том, как в одном царстве-государстве взяли да исчезли деньги, и люди стали менять друг у друга вещи и продукты, и со временем самые смелые люди ушли в лес на поселение, чтобы там начать новую жизнь. Или о том, как жил-был бедный волшебник, который вырастил на своём участке чудесный ананас, исполняющий желания; но пришёл к волшебнику злой и хитрый колдун Хопёр и выманил у него ананас взамен на фальшивые купоны. О том, как в тридевятом царстве был Завод Мастеров, и напали на этот край лихие люди, и разорили его — остался от Завода, говорят, только секретный цех глубоко под землёй.

Сказку о пропавшем заводе я всё-таки записывать не стала, остановившись на двух других сюжетах. В одном погибающий от жары мир спасла девушка Ранет, в честь которой назвали спелые, полные прохладного сока яблоки. В другом героями были двое близнецов, мальчик и девочка. Мать у них умерла, от отца они убежали — тот был злым и поколачивал их. Близнецы одно время жили на вокзале, разносили газеты. Потом детей поймали милиционеры, которые оказались переодетыми ворами. Кое-как вырвавшись из лап бандитов, брат и сестра скрылись под прилавком на рынке. Тут их нашла одинокая добрая бабушка и взяла жить к себе.

Я показала своё творчество Даше, и мои «сказки» произвели на неё впечатление:

— Обалденный сюжет! У тебя талант.

Ободрённая подружкиной похвалой, я решила замахнуться на целый роман — благо время было летнее, уроков никаких. В этом романе о любви и нефтяниках действие должно было происходить в рабочем посёлке посреди суровой сибирской тайги. Героиню я решила назвать Валей, в честь Валентины Терешковой и заодно Толкуновой, а героя — Петром, уже не помню почему — наверное, в честь героя только что прочитанной «Капитанской дочки» Пушкина. Со временем влюблённые должны были разлучиться: Петру сразу после окончания школы предстояло идти в армию, а потом отправляться в дикие места разведывать новое месторождение. Для Вали я подвигов пока не придумала.

Я успела написать только часть первой главы, в которой Валентина, ещё семиклассница, выходит на улицу и любуется весной, а потом возвращается в дом и принимает участие в скромной трапезе со своей семьёй.

Тетрадь с романом у меня пряталась за шифоньером. Мама случайно нашла её при уборке и, как я ни пыталась выхватить у неё тетрадку, тут же отправилась читать мои наброски. Мучаясь от стыда за несовершенство своих творений, я нервно ходила по комнате, пока мама изучала моё творчество на кухне. Наконец он вышла ко мне и сразу произнесла замечание:

— Что уж такая нищета у них? «Широкие лавки вдоль стен». Это же тебе не сороковые годы, а всё-таки девяностые. Стулья надо. И мясо им на стол поставь, деревня же.

— Это рабочий посёлок, — поправила я.

Когда к нам по какому-то делу зашла авторитетная мамина знакомая — управдом, родительница не преминула посоветоваться с ней по поводу моего творчества:

— Тут у меня Ленка россказни какие-то писать вздумала... Может быть, посмотришь, как умный человек, и скажешь: стоит ли время тратить, или нечего глаза портить?

Управдом внимательно почитала мой «роман» и отметила:

— Слог у неё хороший. Пишет, значит, складно. Так что пускай пишет. У нас в прошлом году какой-то Литературный лицей открылся. Адрес у меня в книжке записан, помню, что недалеко. Вот и определи её туда. Пусть занимается.

В лицей я пошла в самом начале шестого класса вместе с Дашей, мама которой, услышав от моей про это учебное заведение, сразу решила определить свою дочь туда:

— Вдвоём веселей им будет ходить, за компанию.

Мы с Дашкой, разумеется, тоже так считали.

Я думала, что заведение, носящее такое гордое название — лицей! — должно было иметь колонны, высокие потолки, светлые залы — в общем, походить на Дворец пионеров или Гордк. Но оказалось, что лицеем называлась небольшая часть бывшего детского сада, в которой навскидку насчитывалось всего лишь три или четыре кабинета.

На первое занятие нас пригласили в самый дальний и самый просторный из них, в котором на стеллажах стояли многочисленные книжки, а на стенах висела пара каких-то старинных портретов в венках. Я с беспокойством поглядывала на дверь: мы с Ольгой пришли самыми первыми, и оставалось только гадать, кто будет ещё здесь заниматься, кроме нас.

Постепенно появлявшиеся ребята — шесть или семь человек — вели себя раскованно и уверенно: видно, они тут всё уже знали. Только два мальчика, возрастом как я и Оля, тоже казались новенькими. Я обратила особенное внимание на одного из них: голубоглазого, с шапкой тёмно-русых волос, похожего на портрет в венке, который висел над доской.

Наконец появилась учительница, по-праздничному одетая в белую блузку и красную юбку. Едва поприветствовав нас, она стала задавать странные вопросы:

— Скажите мне, пожалуйста, дорогие друзья, что бывает зелёного цвета? Но те, кто с прошлого года, пока молчат!

Мы говорили, что трава, деревья, огурцы. Учительница кивала нам, но хитро улыбалась: видно было, что она ждала какого-то другого ответа.

— А что бывает красного цвета?

— Клубника! — немедленно отозвалась Дашка. — Вишня. Помидор.

— Клубника, помидор… — повторила странная учительница так, будто слегка иронизировала над Ольгиными словами. — А что же тогда бывает синего цвета?

Кто-то ответил, что синими бывают горы.

— Уже лучше, — чему-то усмехнулась учительница. — Ну-ка, Дина, подскажи им.

Девочка с короткими волосами медленно проговорила:

— Синее слово — уроки.

Странная учительница заулыбалась так довольно, будто её угостили мороженым.

— Вы понимаете, друзья мои? Синее слово — уроки.

— А зелёное слово — мир, — отозвался кто-то. — Мир на земле.

Внезапно я поняла и воскликнула:

— Тогда красное слово — любовь! Красное с золотым!

Учительница, которую звали Мариной Олеговной, скоро стала казаться мне уже не странной, а удивительной и знающей на свете буквально всё — во всяком случае, всё, что было мне интересно. Я, однако, долгое время испытывала какое-то чувство опасения, когда на своих занятиях она просила нас то нарисовать музыку, то придумать свой собственный миф о сотворении мира, то создать предысторию какого-нибудь героя. Во мне слишком живо запечатлелась история Ирины Васильевны, которая тоже хотела учить как-то по-своему, по-особому — и закончила плохо. Наверное, я поневоле боялась лишиться новой наставницы. Но спустя несколько месяцев моя тревога прошла.

Марина Олеговна была влюблена в Древнюю Грецию. Весь первый год она вдохновенно рассказывала нам о греческих городах-государствах, о народных собраниях на афинской площади, о творческой смелости скульптора Фидия и мудреца Сократа, о древнем театре, который был средоточием жизни каждого эллинского города. Она показывала нам роскошный альбом с иллюстрациями, где среди скульптур всевозможных богов и героев, общественных деятелей я однажды заметила приятное женское лицо, не слишком похожее на изображение какой-нибудь богини, и спросила:

— Кто это?

— Это Аспазия, жена Перикла, удивительная женщина, — певуче ответила Марина Олеговна и почти торжественно прибавила: — Она была гетерой. Это были образованные женщины, знавшие литературу, музыку, иногда и математику, активно интересовавшиеся политическими, общественными событиями. Они вели свободный образ жизни, особенно по сравнения с другими афинскими женщинами. Общались с мужчинами, принимали гостей…

«Это совсем как тётя Люба. Она тоже знает математику, песни любит, танцует в Гордк. И на выборы губернатора ходила, маму вон туда не заманишь», — подумала я.

Несколько месяцев, не меньше, мы с Мариной Олеговной читали гомеровскую «Илиаду». Вначале наставница приучала нас к непривычно длинному гекзаметру, отстукивая вместе с нами на парте ритм шестистопного размера:

Гнев, богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына,
Грозный, который ахеянам тысячи бедствий соделал:
Многие души могучие славных героев низринул
В мрачный Аид…

В начале чтения мне страшно понравилось, что главную героиню этого героического эпоса звали не как-нибудь, а Еленой, и была она «истинно вечным богиням красою подобна», и сама богиня любви Афродита обещала её любовь в награду троянскому царевичу Парису. Я стала так восхищаться своим именем, что с удовольствием писала его на всех тетрадях и учебниках, ручкой и карандашом, вдоль и поперёк, украшала его всевозможными подчёркиваниями и завитушками.

Однако чем дальше шло повествование, тем явственней становилось видно, что жизнь моей прославленной тёзки была вовсе не сладкой. Парис на поверку оказался трусом, греки требовали вернуть Елену обратно в Спарту и желали мести, народ Трои относился к Елене враждебно,—да и что можно чувствовать к той, из-за которой весь Илион полыхал погребальными кострами? Даже Афродита—и та пригрозила проклясть и убить, стоило только Елене пожаловаться на свою судьбу да на трусость и легкомыслие Париса. Только два человека были добры к Елене—свёкор Приам, который называл её «дитя моё милое» и успокаивал, говоря: «Ты предо мною невинна; единые боги виновны»,—да деверь, кроткий разумный Гектор. В конце «Илиады» мне жаль было и пламенного безумца Ахиллеса, и Аякса, и даже Париса; но когда Елена, каясь, что когда-то бросила отечество и навлекла на всех беды, плакала над телом Гектора, я в самом деле заплакала вместе с ней.

Марина Олеговна объясняла, что греки оправдывали Елену: дескать, она ничего не могла с собой поделать, затеять войну заранее решили бессмертные боги. Мне, однако, это объяснение никак не нравилось: так ведь и вовсе выходило, что все люди—не больше чем игрушки в руках богов. Я решила, что всё же дело в самой Елене: это она пошла на поводу своего желания, привлечённая красотой Париса, и не думала, что будет дальше. Меня прямо-таки взяла на неё досада. Да и всё очарование Древней Грецией понемногу стало меркнуть. Оказалось, что мудреца Сократа афиняне обвинили (безумие!) в растлении молодёжи и заставили выпить чашу с ядом, скульптора Фидия из зависти бросили в тюрьму. Почтенный философ Аристотель считал, что в свободном обществе у каждого гражданина должно быть как минимум два раба, и рабов, естественно, не считал людьми. А уж про гетер и вовсе открылось нечто стыдное… За пышностью и блеском античности скрывалась жестокая, мрачная жизнь, возможно, даже красивая в своей суровости, но ничуть не похожая на рай, каким она показалась мне поначалу.

Первое время в лицее мне было довольно трудно—во всяком случае, труднее, чем другим. Я очень скоро поняла, что роман о любви и нефтяниках, да и любой другой роман смогу написать только лет через десять, не раньше, потому что, прежде чем писать большие вещи, надо много чего прочитать.

Ребята, ходившие в лицей, говорили на переменах, да и на занятиях, о каких-то Льюисе, Толкине, Максе Фрае, спрашивали друг друга, сколько экранизаций Лема они смотрели и что слушали у Цоя, «Наутилуса» и «Гражданской обороны». Я мало-мальски знала только Цоя, а обо всём остальном слыхом не слыхивала и поэтому во время чаепитий (их нам устраивали на переменах) и прогулок держалась в стороне, боясь, что моё невежество случайно обнаружится. Даша тоже была несведуща в упоминаемых книжках, фильмах и песнях, но, к моему удивлению, нисколько не волновалась по этому поводу и вообще ходила в лицей скорее ради развлечения. Мне же хотелось понять, о чём рассуждают ребята. Я решила начать с Толкина и попросила в школьной библиотеке «Хоббита». Книжка мне понравилась: это оказалась сказка, но не похожая на те, что я читала прежде. Я стала много читать, и передо мной открылся широкий простор сюжетов, образов, смыслов. Я начала понимать, почему тёте Любе нравился заумный Галич и чем Марину Олеговну привлекал ещё более мудрёный поэт Осип Мандельштам.

Огромный интерес у меня вызвала «Божественная комедия» Данте, которую мы несколько уроков читали с преподавательницей зарубежной литературы. Когда Наталья Владимировна сказала, что из трёх частей «Комедии» людям семь с лишним веков больше всего нравится «Ад», я поневоле воскликнула:

— Значит, он похож на нашу жизнь!

В преддверии ада оказались те самые древние греки, про которых мы говорили в прошлом году, дальше—влюблённые Паоло и Франческа и опять-таки Елена, «тягостных времён виновница». Тут я уже пожалела тёзку: не одна ведь она, в конце концов, виновата в кровопролитной войне, а мучается за всех!

Я очень сочувствовала самому Данте, надеясь, что он благополучно выберется из адской воронки, в которой было девять кругов, и по ходу чтения так засыпала Наталью Владимировну вопросами, что она в конце концов сказала:

— Ты у меня на зачёте будешь только по этой книге отвечать!

Дослушав сюжет до конца, я стала думать, что куда лучше Елены—Беатриче, и написала у себя в тетради её слова:

Бояться нужно лишь того, в чём вред
Для ближнего таится сокровенный.
Иного, что страшило бы, и нет.

По субботам в лицее была театральная студия, занятия в которой вёл пожилой актёр из тюза. Ходить туда было необязательно, однако мы с Дашкой решили пойти — отчасти из-за искреннего интереса к актёрской игре, отчасти потому, что туда уже записались два небезразличных нам мальчика — черноволосый Никита, которого я заприметила ещё на самом первом уроке, и его приятель Лёша. На театральных занятиях мы много занимались речью и движениями, старались вжиться в образ. Мы инсценировали басни Крылова, стихи Даниила Хармса и тому подобные маленькие вещи. К концу седьмого класса режиссёр решил, что мы созрели для настоящей небольшой пьесы, и стал разучивать с нами чеховский «Юбилей». Даша стала докучливой старухой Мерчуткиной, нравившийся ей мальчик Лёша — моим мужем, банкиром Шипучиным, я, соответственно, его женой, болтливой и кокетливой Татьяной, серьёзный Герман — счетоводом Хириным, а Никита, вопреки моим ожиданиям, в этот спектакль не вошёл совсем.

Отыграли мы для своего возраста неплохо. Прямо после представления мой сценический муж, не выходя из образа важного банкира, подошёл ко мне с предложением:

— Пошли, Елена, прошвырнёмся.

Дашка хмуро посмотрела на меня из-за кулис. Лёша был мне вовсе не нужен, однако я попросту не знала, как ему отказать, поэтому оделась и вышла. Лёша, как один из героев Зощенко, принял меня под руку и волочился, как щука, а я, что-то машинально отвечая на его вопросы, всю дорогу мрачно думала про себя: «Вот и взрослая жизнь настаёт: нравится один, а гуляешь с другим».

Однако парой походов в универмаг всё ограничилось: приобретя какой-никакой опыт «гуляния», мы стали друг другу неинтересны, и я могла смотреть в глаза подружке с чистой совестью.

Никита казался мне очень умным: он писал стихи, часто упоминал какие-то зарубежные имена режиссёров и музыкантов, — и я долго не решалась к нему подступиться. Я обрела смелость только тогда, когда мою довольно занудливую, но уже приемлемую сказку об оживших ёлочных игрушках напечатали в сборнике «Сказки и стихи детей Красноярского края». По поводу выпуска этой книжки устроили концерт в одном из залов Дома искусств.

— Никита, я давно хотела у тебя спросить… — робко начала я.

— Что?

— Ты не дашь мне послушать кассету «Наутилуса»? Я его просто никогда не слушала…

На лице Никиты отразилось неприязненное удивление:

— Никогда? Ты что, с Луны свалилась? И папа твой не слушал?

Я смиренно ответила:

— Свалилась. И попала в племя амазонок.

Никита посмотрел на меня ещё более непонимающим взглядом, однако пообещал, что кассету принесёт. Смутившись, я убежала на другой ряд и села возле преподавательницы «зарубежки» Натальи Владимировны.

После нескольких поэтических номеров на сцену вышли две девочки со скрипками. Я смотрела, слушала и с трудом верила, что из простого на вид инструмента — из деревянной груши и палочки — можно извлечь такое богатство чувства. На сцене не было ничего, кроме двух девочек и дирижёра, но я видела своими глазами, как румянило молодую траву утреннее солнце, как порхали между ветками птицы, как набирали силу бутоны жёлтых и фиолетовых весенних цветов, как наливались влагой дождевые облака и слышались раскаты майского грома, а из деревенского дома уже выбежали дети, чтобы подставить ладони приходящему дождю…

Не удержавшись, я спросила Наталью Владимировну:

— Что это такое?

— В каком смысле? — не поняла она меня.

— Напомните, пожалуйста, что это играет…

— А… Это Вивальди, «Весна».

Волшебные голоса скрипок ещё долго звучали внутри меня. С тех пор я знала, к чему должен стремиться каждый музыкант, художник или писатель, — к тому, чтобы созданное им было живее самой жизни и пробуждало в человеческом сердце ростки любви.

К началу девятого класса я стала спокойнее, из уважения к матери перестала с ней пререкаться, а свои мысли начала регулярно записывать в личный дневник, который, разумеется, не показывала никому. Я уже не проводила всё свободное время дома у Дашки и полюбила гулять одна. Когда на улице было тепло, я брала с собой в сумке учебник английского языка, книжку по биологии, какие-нибудь рассказы, садилась в сквере и читала, пока не уставала спина. Учительница английского отправила меня на конкурс переводчиков, биологии — на районную олимпиаду. Перевод мой оказался средним, зато на олимпиаде по биологии я заняла четвёртое, почти призовое место, которое учительница сочла успехом и при всех поздравляла меня. Вообще среди наших педагогов я снискала славу «эрудированной девочки-гуманитария», и ко Дню учителя меня вместе с Викой Иваницкой, Игорем и Лёшкой Богдановым приняли в команду игры «Что? Где? Когда?», которая проводилась между учениками разных школ. Мы заняли почётное второе место. Первым делом я позвонила Мустяце:

— Представляешь, мы выиграли в «Что? Где? Когда?»!! Там было десять или даже больше команд, а мы оказались вторые!

Катька по телефону издала боевой возглас.
— Молодец! Ты нисколько не глупей этой поганой Иваницкой. Я тебе всегда говорила, что ты умничка! Вот послушай меня. Подойди к этой стерве Вике, а ещё к Дианке, к Соньке, и скажи, что они получат за всё. Как они мимо нас проходили, за людей не считали, на уроках рот мне затыкали и в столовке не давали места. Иваницкой вообще скажи, что она тварь высокомерная.
— Сама скажи.
— Я далеко, а ты за меня. Боишься?

Я перевела дыхание. Мне никогда не нравились Вика и её присные, но говорить им в лицо подобные вещи было, во-первых, страшно, а во-вторых — имело ли смысл?
— Боишься, — дразнила меня Катька. — Смелости надо набраться. Хоть на выпускном скажи.
— Больше смелости будет не Вике сказать, а папе её, который деньги во Вьетнам вывозит. Или Дианкиному, который браконьерит.

Мустяца помолчала.
— Чёрт с ними, с этими богатыми. Скажи лучше, ты дружишь с кем-то?
— С парнем? Нет.
— А я вот дружу с одним мальчиком.
— А раньше ты мне говорила: зачем да зачем они тебе? — напомнила я.

Катька рассмеялась:
— Теперь знаю зачем. Есть у меня мальчик, Серёжа. Он из наших.
— Из каких из наших? — не поняла я.
— Ну, из наших. Из молдаван. В этом районе наших много живёт.

Это слово «наши» резануло мне слух, как наждачка по стеклу. Как-то ненароком выходило, что я сама для Катьки была, оказывается, не совсем «наша».

Катька напоследок опять пожелала мне, чтобы я подстроила какую-нибудь мелкую месть Иваницкой, и я, рассеянно что-то пообещав подружке, положила трубку. В тот же день я записала в дневнике: «Слышала выражение: „Дружба двух женщин — всегда заговор против третьей“. Оказывается, так и правда бывает. Но я не такой дружбы хочу».

Тётя Тома с тётей Любой были очень рады моим успехам в учёбе.
— Теперь надо только тебя нарядить, и ты у нас совсем расцветёшь, — сказала тётя Люба. — Это дело я возьму на себя.
— И косметику надо тебе купить, пора уже краситься. И подстричь бы тебя хорошо. Я вот смотрю в журнале «Лиза» — девки под лесенку все подстрижены, — добавила мама.

Мама в самом деле притащила меня в магазин и, послушав советы бойкой продавщицы, купила мне тушь, серебристые тени, блестящую розовую помаду «Вотершайн» и чёрную бархотку, которую я называла ошейником и потом никогда не носила. Спустя малое время в обувном отделе мы приобрели моднейшие в то время остроносые туфли, которые, как мне казалось, выглядели на моих ногах будто лыжи.

За пару дней я научилась пользоваться тушью, хотя ещё долго боялась, что попаду колючей кисточкой себе в глаз. Моё модное преображение неожиданно завершила тётя Люба, в один прекрасный день явившаяся к нам вместе с двумя объёмистыми пакетами.
— Ну, Ленка, сейчас тебя будем наряжать! — торжественно объявила она. — Тут одна знакомка — клиентка моя — отдала свои вещи. Я ей сшила пинжачок, и уж так она была довольна, что меня спросила: не надо ли вам хороших вещей на стройную девушку? А я сразу и говорю: надо!
— Если хорошие вещи, так зачем отдала? — недоверчиво спросила мама.
— А ей маловаты. Да и просто, может, надоели… В общем, вы не брезгуйте, вы меряйте!

С этими словами тётя Люба вытряхнула из пакетов подаренное богатство. Там были две усыпанные стразами футболки, джинсы клёш с бахромой, розовый свитер-ангорка, короткий чёрный сарафан на узеньких бретельках и ещё более короткая блестящая кожаная юбка, полупрозрачная блузка с острым воротником и ещё несколько вещей поскромнее.

Тётя Люба облачила меня в чёрный сарафан, который оказался мне в обтяжку, и громко восторгалась моим обликом:
— Ну красота! Как в Европе! Под сарафан белую футболку надеть — и прямо в школу можно.

Сарафан я надела только один раз: пацаны так пялились на меня, что я весь день не находила себе места и после уроков с облегчением отправилась домой, закинув эту «европейскую» шмотку на антресоли. Остальные вещи были скромнее, но из-за них на меня всё равно обращали внимания больше, чем обычно: раньше я по большому счёту ходила в одном и том же.

Однажды ко мне подошёл Вовка и пригласил погулять в сквере возле школы. Некоторое время мы шли молча. Хлопьями падал снег. Я так волновалась, что в моей голове даже не было никаких мыслей, только осознание какого-то чуда: он здесь, он снова рядом со мной.
— А у меня бабушка умерла, — вдруг сказал Вовка.
— Как?! — поразилась я.
— Ещё две недели не прошло.

Я хотела сказать что-то в утешение, но Вовка, положив свою руку на мою, продолжил сам:
— Она быстро умерла, не мучилась. Отец сейчас с тёткой хату будут делить. Но я думаю, отцу достанется. Он хваткий. Всё себе заберёт. Его и так дома нет, а щас продаст хату, купит «двушку», так, наверное, совсем уйдёт.

Я вспомнила, как Вовка говорил, что бабушка обещала оставить квартиру ему, и спросила:
— С отцом пойдёшь в «двушку» жить?
— Да ну его… Если уйдёт — я с матерью останусь. Она добрая. Как ты.

Я поневоле отвернулась от смущения. Вовка нервно вцепился в мою руку и повернул меня к себе.
— Ты как сейчас живёшь? Говорят, что в Литературный лицей ходишь, книжки там изучаешь. Сказки пишешь…
— Д-да, — неуверенно кивнула я.
— Хорошо… А я готовкой… этой… варкой увлекаюсь… жаркой. Шоу «Смак» смотрю. М-мать даже хвалит меня. Один раз суп с пельменями варил, называется — бабушкин суп. Картошку не этого… не сразу варить, а пожарить, потереть… и лук… и помидорку. И жаришь, и жаришь… Понимаешь?
— Нет, — честно ответила я, чувствуя, что, глядя на него, мало соображаю.

Он посмотрел на меня — мне показалось, что долго.
— Слушай… — выдохнул он. — Я давно хочу тебе сказать. Давай опять дружить.

Во мне полыхнула обида:
— У тебя вон теперь — новые друзья есть.

Вовка вскочил со скамейки:
— Какие они мне друзья?! Понторезы… Стали расклады давать: этот лох, тот не лох… Докопались: ты пацан… такой или не такой? Извини, что так получилось тогда. До сих пор понты колотят, но уже меньше. С «ашками» скорешились. По «Бандитскому Петербургу» тащатся, говорят, что через годик будут дворы делить, Озерков с местными какими-то пацанами перетирал. А мне это не надо. Я хочу простой жизнью жить. Вон батя мутилмутил со своими продажами. То напарник его обул, ментам подставил, то сам он погорел. С матерью скандалил, в грудь себя бил: я нас богатыми сделаю! Ага, нас… Может, только себя. Мать любовницу у него всё искала да скандалила. Кое-как успокоились. Бабушка вот умерла… Одна была нормальная. А эти… Задолбали все. Скорей бы вырасти уже.
— Это точно, — охотно согласилась я.

Вовка обнял меня.

Глава 11. Сочинение про будущее

Мы вправду снова стали приятелями. Вовка подарил мне кассетный плеер и несколько кассет: «Гражданскую оборону», «ддт», «Сектор газа» и, для разнообразия, «Чай вдвоём». Вместе со Стружкиным и Богдановым они смотрели зимнюю Олимпиаду в Солт-Лейк-Сити, и я, чтобы не отставать, тоже стала каждый вечер проводить у телека, отпросившись у мамы несколько дней не ходить мыть полы в офис. Нашим спортсменам никак не везло, но наконец теннисисты принесли России победу.
— Видела вчера, как Ельцин на корт выскочил Южного поздравлять?! — кричал мне Вовка. — Ура-а! Круто!

И я, удивляясь сама себе, тоже кричала «Ура!» и думала, что это круто.

В конце зимы Вовка пригласил меня на свой день рождения. Зная, что он смотрит мультсериал про покемонов, я со всем возможным старанием нарисовала цветными карандашами главного героя Эша Кетчума, его друзей Брока и Мисти. Мама купила в «Красном Яре» коробку дорогих конфет.

Я никогда раньше не бывала у Вовки дома и ещё с первого класса много раз пыталась представить, как живёт его семья. Квартира оказалась такой же маленькой, как наша с мамой, только немного другой планировки. Внутри стояла довольно современная мебель — шкафы из дсп, ламинированный белый стол, лёгкие светлые стулья. Кухня с посудомойкой и разноцветным кафельным фартуком казалась мне скопированной с какого-нибудь рекламного проспекта. Только на столе стоял перекидной календарь — тяжёлая металлическая коробочка, у которой нужно было крутить ручку и менять надписи, показывающие число, месяц и день недели.
— Бабушкин численник. Храним, — коротко объяснил Вовка.

На день рождения пришли Вася Упиров из параллельного класса, Богданов, два неизвестных мне парня — они оказались соседями. Последним явились Стружкин и какая-то девочка, облачённая точно в такой же мохеровый розовый свитер, какой имелся у меня. При виде этой девочки, веки у которой до самых бровей были густо накрашены иссиня-чёрными тенями, я застыла на месте, лихорадочно пытаясь сообразить, кто она и откуда.
— Это Марина, девушка Семёна, — официально представил мне Вовка незнакомку.

Стружкин кивнул и положил руку на плечо Марине, без слов подтверждая её статус. Я пыталась не радоваться слишком открыто.
— А Саня-то где? — спросила я, отвлёкшись наконец от мыслей о девочке. — Котляренко?
— Мы с ним не очень теперь, — махнул рукой Вовка.

Из взрослых была только Вовкина мать, которая накрыла нам на стол, поела вместе с нами горячее, послушала немного музыки и отлучилась.
— Хорошая у тебя мама, — искренне сказала я имениннику.
— Ты ей тоже нравишься, — ответил он.

Вовка угощал нас пирогом собственного приготовления, острым ножом красиво разрезал на куски ананас, под общие крики восторга разбил молотком кокос. Глядя на эти фрукты, я поневоле вспомнила тётю Тому с её компотом и сухую кокосовую стружку, которую мама подсыпала в печенье. В девяностые были только стружка и «Зуко», а теперь на дворе стоял две тысячи второй

год, и супермаркеты активно зазывали нас в продуктовый рай.

Мы подёргались под «Руки вверх», Шакиру и «Плазму», посмотрели по видику фильм «Лара Крофт: Расхитительница гробниц», где губастая Анджелина Джоли с длинной косой стреляла из разных видов оружия и охотилась за сокровищами.

— Классно! — сказал Вовка, плюхаясь на диван. — Ещё только компьютера не хватает. Мама сказала, что через годик купим. В «Серьёзный Сэм» буду играть.

Стружкин засмеялся:

— Мне больше «Демиурги» нравятся. Слышьте, ребят, из вас кто после девятого уходит? И на кого учиться собираетесь?

Один из мальчишек-соседей сказал, что будет заканчивать одиннадцать классов и станет сисадмином:

— Работка выгодная, вон в любой газете объявления: «Системный администратор, зарплата пять тысяч». Я в компе шарю, а компы чем дальше, тем популярней будут, сами видите.

Второй сосед ответил, что ещё не знает. Я присоединилась к нему:

— Тоже думаю ещё, куда податься, но, наверное, одиннадцать буду заканчивать.

— Конечно! — вдруг вмешался Вовка. — Ты же умная! По русскому там, истории… Ты бы учителем могла стать. Терпеливая к тому же. А я не буду ещё два года сидеть — какой смысл?.. На повара пойду. Потом в кафе какое-нибудь устроюсь, и ништяк.

Услышав, что он собирается уходить, я мгновенно похолодела. За минувшие восемь с половиной лет я настолько привыкла к присутствию Вовки в классе, что одна мысль о его скором уходе отзывалась ноющей болью. Даже в то время, когда мы не общались, я всё равно знала: он тут, а значит, всё идёт как заведено. Что же теперь?!

— Учителем стрёмно быть, — заговорила подруга Стружкина Марина, жуя жвачку. — Чё они хорошего видят? Денег мало получают, мучаются с нами…

— Балбесами! — засмеялся Семён. — У меня бабка учительница. Батя инженер. Вот учились они, учились, книжки читали всю жизнь, и чё? Отца сократили, бабка без зарплаты сидела. Один раз даже водкой выдали. А мать продавцом в «Красный Яр» устроилась — и стабильно получает. А я бы в видеомагазин консультантом пошёл. Там ваще лафа! Смотришь фильмы на халяву, люди приходят диски покупать, ты им советуешь… Кофе пьёшь сидишь… Хоть всю жизнь работай.

— Или в киоске фотопечати, или платежи за сотовые принимать, — добавила Марина, закидывая руку на плечо приятеля.

— Реально, — согласился Стружкин. — Люди же всегда будут приходить фотки проявлять или за сотовые оплачивать. Но в видеомагазине всё-таки круче. Или в музыкальном. Давай, Вован, вруби ещё хоть «Руки вверх»!

Мы развели тоником апельсиновый «Зуко» из старых запасов Вовкиного отца (народ теперь покупал соки в коробках, и разноцветные порошки больше не пользовались спросом), запарили по коробке лапши.

— Давайте за нас, ребзя, — предложил тост Вовка. — Мы с вами родились в великий тысяча девятьсот восемьдесят седьмой год — год появления «Доширака» в России. Вчера прочитал.

Я не могла понять, шутит он или нет, а остальные уже сдвинули стаканы и звонко ударили их друг о друга.

Мы сидели у Вовки ещё долго. Он показал всем коллекцию фишек с покемонами, и мы хохотали над корявым переводом: названия «карманных монстров» были переведены как Магнитное чудовище триединое, Сестра с красной губой, Пара нечистей с присоской, Старшая кошка. Самого известного покемона, Пикачу, переводчики нарекли Волшебным дитятком. Мы смеялись над корявым переводом японских аниме и американских боевиков, над фильмом «ДМБ» и стервозной ведущей шоу «Слабое звено». Мы спорили до хрипоты, живут ли в самом деле на необитаемом острове участники передачи «Последний герой» или их выпускают в тропический лес только для съёмок. Мы снова говорили о том, кем дальше быть, и всем ребятам, похоже, казалось, что ушла в прошлое тревожная эпоха перемен, что наступает сытая, благополучная жизнь, в которой полно развлечений на любой вкус и кошелёк и можно плыть по течению, не задумываясь, куда тебя вынесет завтра.

Но я не могла не задумываться и даже на празднике, приглашения на который ждала, быть может, целых восемь лет, не чувствовала себя беззаботно счастливой, как все остальные. Мне хотелось чего-то ещё, кроме бесконечного просмотра фильмов и передач, и я никак не могла представить, что всю жизнь — да что там, даже пару лет! — проведу за стойкой кассы по приёму платежей или за прилавком магазина. Мысль о том, что я должна совершить в жизни что-то гораздо большее, не отпускала меня, и туманная детская мечта — сделать всех счастливыми — заставляла задуматься о профессиях, в которых надо было посвятить себя людям. Но мне было страшно терять друзей, которые навряд ли понимали, чего я так беспокойно ищу. Сначала уехала и погрузилась в свою жизнь Катька. Теперь меня готова принять к себе Володина компания, но я не чувствую себя в ней полностью своей. Оставалась только Даша, да и с ней мы в последнее время, кажется, перестали понимать друг друга…

На вторые майские выходные Петровна отпустила нас, дав глобальное задание — написать

по «обществу» сочинение на заковыристую тему: «Прошлое и будущее моей страны и моё будущее».
— Мы ж уже с вами про будущее сочиняли!—вспомнили мои одноклассники.
— Там вы ещё совсем зелёные были, по тринадцать лет,—возразила Татьяна Петровна.—В школьные времена полгода—уже огромный срок. А сейчас вы уже личности почти самостоятельные, заканчиваете девятый класс. Я себе не прощу, что на этом этапе не провела среди вас опрос и не узнала, кто чем живёт.

Узнавать, кто чем живёт и о чём думает, Татьяна Петровна была большая любительница. Наши работы по обществознанию, а при желании—работы учеников параллельного класса, она читала вслух, никогда не спрашивая автора сочинения, хочет ли он озвучивания на публику своих мыслей. В середине девятого класса она дала нам задание поразмышлять на тему «Мой будущий супруг», и так как врать я не умела, а писать правду с риском того, что она будет прочитана перед классом, категорически не хотела, то попросту отказалась делать эту работу, получив двойку.

Сочинение про будущее страны мне понравилось больше. В глубине души я даже обрадовалась тому, что даётся случай наконец серьёзно поразмышлять на тему, которая уже давно не давала мне покоя.

В первый из трёх выходных мы с мамой отправились в офис на генеральную уборку: отмывали стены, протирали люстры и полки в шкафах, драили с порошком кафель. Эта монотонная работа почему-то не раздражала меня, как прежде, а наоборот, успокаивала и помогала думать о том, что я хочу написать в сочинении.

На следующий день было девятое мая. Мы с мамой собирались поехать на парад, но зарядил дождь, и вместо парада пришлось включить телевизор. Вместе мы посмотрели концерт, потом фильм «А зори здесь тихие», который очень нравился маме. Вытирая слёзы на финальных кадрах, она горестно прошептала:
— Погибли девчонки бедные!
— Да, жалко их!—искренне согласилась я.
— Пытался старшина их спасти и не смог… Ну, вот мальчика усыновил и вырастил… Какие люди были! Сейчас таких нет.
— Почему?—спросила я.

Мама посмотрела на меня с удивлением:
— Потому что время другое! Какое время, такие и люди. Человек под своё время приспосабливается.
— Не всегда же,—стояла я на своём.
— Да всегда. Вот хоть отец твой. Думаешь, он такой честный был? Я уж молчу, как он со мной поступил… А с завода-то он всё время детали подворовывал.
— Зачем?—не понимала я.

Мама вздохнула.
— Радиодетали все делались на одном конвейере, но разного качества были. Самые лучшие—звёздочкой помечали, они на военные заводы шли, на оборонку. Чуть похуже детали—на гражданские заводы. А уж самого плохого качества—в ремонт и в магазины радиодеталей. Папаша твой резисторы со звёздочкой таскал и потом людям технику ремонтировал.

Ощущая в груди болезненное чувство, я спросила:
— А почему он не подрабатывал в официальном ремонте? Такой же был, ты сама сказала.

Мама начала раздражаться:
— Почему, почему! Говорю тебе—в службу быта самые негодные детали шли! Там ещё и система такая была, что отдашь телевизор в эту службу, а тебе его вернут через три месяца или полгода, да ещё не факт, что этот же самый. Вот папаша твой и промышлял… Предлагал людям свои услуги, качественные детали им ставил—техника долго работала. Они, конечно, платили. Копеечку в дом приносил как-никак.

На мои глаза наворачивались слёзы. Всю свою недолгую жизнь я лелеяла тайное убеждение, что мой отец, который так безвременно пропал, был в чём-то лучше всех других окружавших меня взрослых (кроме, пожалуй, тёти Томы). Теперь же выяснялось, что он был таким же, как все,—в худшем смысле.

Проглотив подступивший к горлу комок, я сказала:
— Он не должен был этого делать.
— Почему?—спросила теперь уже мама.—Многие так делали, кто на нужном месте устроен. Ремонт плохо работал, а телевизоры ломались. Хоть я про этого фрукта, папашу твоего, мало хороших слов могу сказать, но тут-то он даже пользу приносил. И нам копеечка, и людям помощь. А если кто и виноват, так это кто службу быта организовывал. Туда народ вообще боялся соваться. Очередь ждёшь-ждёшь—и потом неизвестно что на выходе получишь. Ой, как мы устали в своё время от этих очередей! Сейчас красота: пришёл в «Рамстор», в «Красный Яр»—и набирай себе чего хочешь. Деньги бы ещё были…

Я отошла от мамы, села за уроки. Решив задачу по физике, я собиралась взяться за сочинение, но не могла написать больше нескольких слов. Меня тянуло из дома на улицу. Я отпросилась гулять.
— Долго не ходи. Сахару купи,—напутствовала мама.

Весна была тёплая. Некоторое время я просто стояла возле подъезда, вдыхая запах влажной от дождя земли, через которую петельками пробивались ростки будущих цветов. Потом ноги сами понесли меня к парку, а оттуда—к корпусам теперь уже бывшего телевизорного завода. По одну сторону улицы тянулся огромный транспарант

с рекламой молочных продуктов одной известной компании. По другую разверстыми ртами зияли двери магазинчиков, складов, автомоек. Я прошла мимо продуктовой базы, где мы с мамой перед Новым годом всегда покупали мороженую горбушу. Мама придирчиво спрашивала у продавца: с икрой рыба или нет?

Хорошо бы поймать такую рыбу, которая… нет, не желания исполняла — не надо исполнять все желания, — а лучше давала бы ответы на вопросы. Как у Пушкина: «Приплыла к нему рыбка, спросила: чего тебе надобно, старче?» Скажешь ей, чего надобно, а она тебе ответит, как жить…

Нежилая улица кончалась заброшенным зданием, возле которого кто-то прикрепил табличку «Осторожно!», однако чего именно надо бояться, так и не пояснил.

В окнах этого пятиэтажного здания были разбиты стёкла, кое-где парусили на ветру лоскуты какой-то материи. Сквозь оконные проёмы виднелись очертания станков или машин. Я приблизилась к разрушенному заводскому корпусу на несколько метров, но подойти вплотную побоялась: земля вокруг была усыпана осколками стекла, ржавыми железками, обрывками картона, и мне подумалось, что среди ворохов этого мусора могут водиться крысы.

Я на минутку попыталась представить, что когда-то, ещё четырнадцать лет назад, тут кипела рабочая жизнь, крутились колёса, вращались шестерёнки, стучали молотки… Я прекрасно понимала, что на настоящем заводе производство должно выглядеть как-то по-другому, мощнее, масштабнее, но перед глазами мелькали только картинки из учебника истории про средневековье.

Хорошо бы достать какой-нибудь волшебный предмет, чтобы он открыл здесь портал, и тогда бы я перешла в прошлое. Переместилась на четырнадцать лет назад, когда я ещё только родилась или даже только должна была родиться, когда тут работал мой отец и вообще у всех была работа, когда никто, наверное, и подумать не мог, что дети будут мечтать стать бандитами.

Хотя, оказывается, и тогда не было никакого рая, если люди уже воровали резисторы. Вместо рая были только колбаса, пускай даже из мяса, да масло, пусть даже из настоящего молока… Потом вот ещё «Доширак». Да что там — рая не было даже в Древней Греции… Так где бы мне отыскать такой мир, чтобы все были счастливы, каждый бы делал для других всё что мог, никому не завидовал и не пытался ухватить лишнее? Наколдовать? Отыскать портал в будущее?

Я огляделась кругом в поисках волшебного предмета. Большая пружина, банка из-под колы, кусок кирпича — ничего подходящего на эту роль. В сумке у меня лежали маленькие жёлтые ножницы. Я пощёлкала ими в воздухе, будто стараясь разрезать пространство, и, вздохнув, убрала обратно.

Вместо ножниц я достала общую тетрадь, в которой вела свой дневник, и, устроившись на какой-то проржавленной металлической тумбе, села писать сочинение…

На лице Татьяны Петровны заранее было написано довольство и предвкушение чего-то жареного.

— Садимся, садимся. Юмашев, чего ты стоишь и смотришь на меня? Я и так знаю, что красивая. Сели все. Сегодня я буду читать ваши размышления насчёт прошлого и будущего. Естественно, вслух. Иначе как это всё можно будет обсудить? Фамилию называть не буду. Может, сами догадаетесь. Если что, напоминаю: каждый имеет право на свою точку зрения. Я очень надеюсь, что она у вас есть, что к пятнадцати годам вы накопили немного серого вещества и можете связать несколько слов в предложения. А если кто-то оказался неспособен к данной мыслительной операции, если кто-то, — Татьяна Петровна выразительно посмотрела на Настю Бессменову, — всё списал из умной книжки типа «Сто эссе для бестолковых старшеклассников», тому «два» — и никаких разговоров.

Послышались смешки. Все стали устраиваться поудобнее, как перед спектаклем, и Петровна сняла сверху первую тетрадь. Открыв последние исписанные страницы, она стала читать без запинки:

— «Каждый человек хорошо должен представлять своё будущее. Если мы не умеем ставить перед собой цели, то мы ничего не достигнем, а будем просто плыть по течению. Кому-то в жизни повезло больше, кому-то меньше. Например, если человек родился в пьющей или просто бедной семье или у него плохое здоровье, тогда нужна сила воли, упорство, чтобы достичь успеха в жизни. А если этого нет, придётся остаться в тени. И я не считаю это несправедливым. Это неправда, что все равны. Так говорили в СССР, но он распался, и неспроста. Люди сами были готовы на всё, чтобы разрушить уравниловку, которая их уничтожала. Сегодняшняя рыночная система даёт больше возможностей для развития».

«Озерков, что ли? — подумала я. — Нет, сильно уж грамотно пишет. Не иначе как Вика».

— «Можно сказать, что мне повезло: у меня хороший старт, достаточные материальные условия, чтобы быть успешной. Меня привлекают две специальности — юриспруденция и архитектура. Больше склоняюсь к первому, так как если человек знает законы, то он всегда понимает ситуацию и будет защищённым. Думаю, с хорошим знанием истории, обществознания, — Татьяна Петровна благодушно усмехнулась, — отличным владением речью, умением убеждать я смогу стать прекрасным адвокатом. Однако я не уверена, что мои таланты будут по достоинству оценены в России.

Я владею не только английским, но и испанским, планирую в старших классах изучать китайский. Поэтому я теоретически смогу переехать в любую часть мира, где будут востребованы качественные специалисты. Россия начала развиваться в девяностые годы, но до уровня европейских стран ей пока ещё далеко. Хотя, возможно, через некоторое время (по моим прогнозам, лет десять, не меньше) здесь также будет интересная и высокооплачиваемая работа. Тогда будет иметь смысл жить именно здесь».

Татьяна Петровна остановилась, но было пока не совсем понятно—закончилось сочинение или нет, пока учительница не дала свой комментарий:

— Ну вот, такое высказывание. Запрос большой, остаётся надеяться, что за границей ваши таланты оценят. А то молодых, умных не так уж и мало…

— Не беспокойтесь, оценят,—с подчёркнутой вежливостью кивнула Вика, которая и не думала скрывать своё авторство.

Татьяна Петровна выдернула из середины следующую тетрадь и, отпустив шутку по поводу изображённой на обложке группы Slipknot, начала читать:

— «Тема моего сочинения—прошлое и будущее нашей страны и моё. Начнём разговор о прошлом. Долгое время в нашей стране была советская идеология. Когда-то ей искренне верили, потом она стала пустой схемой. Но на общество ещё продолжала влиять. Всех, даже школьников, учили притворяться, что они любят Ленина, все ходили на какие-то собрания. От родителей, деда я знаю, что считалось нормальным, когда личную жизнь какого-то человека разбирали при всех. Для меня это ужасно. Особенно плохо, что под конец уже никто не верил в коммунизм, а должен был делать вид, что верит, чтобы как-то продвинуться по работе. Люди в позднее советское время привыкли лицемерить. Но бесконечно так продолжаться не могло. Народ взбунтовался. Ведь на Западе давно была свобода слова и поведения, а чем хуже мы? И вот через несколько лет появились мы, новое поколение, которое говорит прямо, что думает. Над нами никогда не было партии, которая бы вмешивалась в личную жизнь. Для нас никогда не было авторитетов…» Чё, совсем?!—с притворным ужасом перебила сама себя Татьяна Петровна.— Вообще не было?

— Продолжайте!—нетерпеливо попросили её.

— «И если честно, мы не полагаемся на старших и не особо доверяем им. Мы привыкли с детских лет, что в этом мире каждый отвечает за себя сам. Лично я очень даже привык справляться с трудностями. До моих одиннадцати лет мы жили в частном доме без удобств. Мои родители сидели месяцами без зарплаты и при этом продолжали что-то ждать от государства, не понимая, что их кинули. А я понял это сразу и уже в третьем классе нанялся колоть дрова и получил первые деньги. И отец зауважал меня, потому что я кое-что заработал. Я стал понимать: о своих надо заботиться. Семья, друзья—это святое. Мои деньги были нужны дома. Мы часто питались всякой ерундой, пекли лепёшки…»

«Кто это написал?»—тревожно размышляла я. В голове вспыхнули сразу три догадки, но лучше всего под описание подходила одна из них.

— «Отец учил меня, что надо стиснуть зубы и терпеть. Но я считаю, что не всегда. Надо проталкиваться самому и брать от жизни всё, что можешь. Потому что жизнь такая, что надеяться особо не на кого. Жить в нашей стране как-то небезопасно: то аварии, то теракты. Неизвестно, что будет завтра, поэтому надо жить сегодня. Главное—не теряться. Я не знаю точно, кем буду, но своего добьюсь. В шестом-седьмом классе я, возможно, был чересчур жестоким с некоторыми одноклассниками и извиняюсь за это. Сейчас стараюсь вести себя спокойно, но реально уважаю только сильных людей. Потому что только такие могут на самом деле чего-то добиться».

— Стёпа…—еле слышно прошептала я, не заметив, как впервые назвала Озеркова по имени.

Я посмотрела в его сторону. Он положил круглую стриженую голову на руки, будто и не слыша то, что читает Петровна. Несколько секунд я смотрела на него с сочувствием: раньше мне никогда не приходило в голову, что его семья пережила такую же нищету, как мы с матерью. Он приподнял голову, зажмурил глаза и потёр их кулаками, и в этом детском жесте мне увиделось что-то трогательное. Я подумала, что в глубине души он вовсе не был таким сильным, каким всегда хотел казаться. Ядовитая ирония, бесконечные шпыняния одноклассников, показное высокомерие нужны были ему скорее как защита от жестокости этого мира, каждый день дававшего примеры отчуждения и предательства. Но эта защитная шкура прирастала к нему всё сильнее.

Во время моих размышлений Татьяна Петровна отпускала какие-то шутливые комментарии, ответила на пару чьих-то вопросов. Меня стал раздражать её неуместный юмор, и, когда она взяла из пачки очередную тетрадь, я вся превратилась в слух, ожидая новых открытий от кого-то из людей, с которыми провела бок о бок девять школьных лет. Следующая работа опять начиналась с банальной фразы:

— «Тема моего сочинения—прошлое и будущее моей страны и моё. О прошлом мне трудно судить, в нём было и хорошее, и плохое. Мои дедушка и бабушка, родители получили образование, работали на достаточно хорошей работе, получили квартиру. Но я не уверена, что они были счастливы. Например, нельзя было выезжать за границу. С нормальной одеждой и обувью тоже была

проблема, а под конец — даже с едой. В девяностые годы наша страна стала другой, свободной. Стало можно выезжать за границу, открылось много магазинов, супермаркетов. Появились новые специальности, места в вузах. Сейчас столько возможностей, что трудно представить, что всего этого когда-то не было. Я не могу даже представить, что в советское время не было, например, такой простой вещи, как джинсы. Оружие выпускали в больших масштабах, но зачем, если у людей не было элементарного? Нечему удивляться, что народ завидовал Америке. Но сейчас наша страна тоже стала развиваться. Даже если посмотреть на наш город, то, кроме серых заводов, появились красивые здания, новые районы. Стало намного лучше…»

«Ага, зато серые заводы позакрывались, и работы не стало», — скептически подумала я.

— «Я считаю, предыдущие поколения не позволяли себе радоваться жизни, всё время думали о партии, о стране. А мы, дети девяностых, хотим наслаждаться жизнью. Сейчас люди ездят в Таиланд, во Вьетнам, в Китай… Моя мечта — побывать в Марокко».

Услышав про Марокко, я с изумлением осознала, что сочинение написала Дашка. С прошлого года она «подсела» на латиноамериканский сериал «Клон» — действие в нём происходило как раз в этой африканской мусульманской стране — и была без ума от главной героини Жади, которой пришлось переехать из Бразилии в Марокко.

— «Профессию я пока не выбрала. Хотя мне нравится журналистика. Но, в принципе, для девушки профессия не главное, а главное — удачное замужество. Чтобы можно было не думать о завтрашнем дне, знать, что ты и дети всем обеспечены, жить в достатке. Например, в мусульманских традициях муж всегда заботится о семье…»

Петровна с сомнением покачала головой:

— Заботиться-то, может, и заботится, да за это в клетку запирает.

«Вот именно», — мысленно согласилась я и продолжала удивлённо смотреть на Дашку. Вот это да! Дружили, дружили несколько лет, да так и остались как с разных планет. Тьфу ты, стихами тут заговоришь…

Татьяна Петровна прочитала сочинение какой-то девочки, которая описывала, как хочет стать ветеринаром. Это желание почему-то было осмеяно, и я, не выдержав, вступилась за неопознанную мной одноклассницу:

— А что вы ржёте? Собак, кошек вон небось все держите! А кто их лечить будет, не думали?!

От моей неслыханной дерзости класс на несколько секунд притих. Ко мне развернулось несколько человек. Диана кинула на меня быстрый презрительный взгляд, Вовка посмотрел с уважительным удивлением, Котляренко прыснул смешком. А Настя Бессменова, приёмная дочь банкира, поглядела с теплом и благодарностью.

— Да чё вы тут, понимаешь, расслабились? Ну-ка ша! Тут у нас строго всё! Урок! — иронически пригрозила Татьяна Петровна. — Продолжаем наш сеанс. Итак, дамы и господа, следующий номер…

Учительница вытряхнула из стопки потрёпанную тетрадь с покемоном Пикачу на обложке, небрежно перелистнула несколько страниц и важно прочитала заголовок:

— «Сочинение по обществознанию».

В классе опять послышались смешки.

— «В теме сочинения нас спрашивают про то, каким было прошлое нашей страны. Имеют в виду Советский Союз. Многие стараются сейчас сказать, что оно было плохим, потому что был дефицит продуктов и всяких вещей. Но мои мама и особенно бабушка сохранили много хороших воспоминаний об этих временах. Самое главное, что я понял, это то, что люди были добрее друг к другу. Не боялись воров и всяких маньяков. У каждого человека была жизнь расписана с рождения. Кому-то это, может, и плохо, а мне нормально. Ты учишься в школе, потом в техане, институте, потом на работу. И всегда знаешь, что тебя ждёт. Никто у тебя твоё не отберёт. Другое дело началось в девяностые. Тут все стали рвать себе кто что мог. Республики стали отделяться. Да и отдельные люди расхватали всё с работы, землю совхозную. Это я знаю по своим знакомым взрослым. Думали, ваучеры получили, часть завода купят и станут миллионерами. Но не всем быть миллионерами, да и ни к чему…» Да ни к чему, конечно! Лучше миллиардерами, — шутливо прокомментировала Татьяна Петровна. — Кхм. Дальше… «Обычному человеку подходит простая жизнь. Чтобы в ней были друзья, семья, работа. Заниматься бизнесом подходит не всем, и лично меня это не привлекает. Свою будущую работу я уже выбрал. И, в принципе, представляю, как жить. Когда я был маленьким, вокруг было сильно небезопасно. Прямо под нашими окнами я несколько раз видел перестрелки. Сейчас стало поспокойней, и я надеюсь, что так и будет. Лишь бы там, наверху, поделили власть по-тихому. А мы, большинство людей, простые, всё равно не можем повлиять ни на что. Я вообще считаю: зачем ходить на выборы, если кого надо выберут и без нас?»

Татьяна Петровна хлопнула себя рукой по бедру.

— Вот до чего договорились! А мы тут изучали-изучали выборы на уроках… «Обычные люди, по сути, ни за что отвечать не могут. Даже за то, что у них на работе происходит. А уж тем более в городе или там в стране. Так что, в принципе, остаётся надеяться на лучшее и жить простыми радостями».

Хотя автор призывал в сочинении не грустить, мне сделалось печально.

«Володя, Володя,—сокрушалась я про себя.—Ну как же ты говоришь, что мы ни на что не можем влиять? А как же люди спасают жизни в больницах, сами восстанавливают разрушенные дома, народ организуют на митинги?.. Да вон хотя бы недавно показывали по телеку, как добровольцы очистили от мусора берега Качи… Эх, Вовка! Не помнишь разве, как во втором классе мы собирались рисовать и раздавать деньги всем, кому задолжали зарплату? Глупость детская, но нам хотелось что-то сделать для родной страны! Не всё же нам только жрать „Доширак“ и пить „Зуко“…»

Я уже не хотела слушать ничьи размышления и гадала, скоро ли будет звонок. Но тут Татьяна Петровна раскрыла очередную тетрадь, в которой я с упавшим сердцем признала собственную.

— О-о, сколько тут текста, однако!—воскликнула учительница.—Столько написать—это только Елена может, она у нас прямо-таки романист.

Я со вздохом сползла со стула. Спасибо вам, Татьяна Петровна, нечего сказать… Ну что ж, читайте—пусть все знают, что я думаю. В конце концов, не этого ли я в глубине души и хотела?..

Мои размышления, произнесённые вслух учительницей истории, казались мне отчасти чужими, как будто были созданы какой-то другою мной или лучшей, разумнейшей частью меня. Но наряду с этим отчуждением я испытывала чувство некого нетерпения: хотелось, чтобы прочитано было всё, и как можно скорее.

— «Детство—это прошлое любого человека. Годы, в которые ты рос, всегда накладывают на тебя отпечаток. Моё взросление пришлось на девяностые годы, последние годы двадцатого века. Как любой закат, они были очень яркими. Если художник какого-нибудь модного журнала задумает изобразить их в картинках, ему будет можно нарисовать шоколадные батончики и газировку „Dr Pepper“, кислотные лосины и джинсовые куртки, рекламу сериалов „Твин Пикс“ и „Секретные материалы“. В девяностые у взрослых и детей появилось много развлечений: от цветных фишек и „Денди“ до компьютерных клубов. По телевизору и видику мы смотрели множество фильмов. Казалось бы, какое весёлое время! Но все эти „Титаники“ и телешоу, мне кажется, просто отвлекали наше внимание от настоящей драмы—распада страны. Потихоньку уничтожалось то, что создавали поколения людей. Дико росли цены. Разбирали на металлолом оборудование для производства электроники. Поля, где рос хлеб, зарастали лебедой. А чтобы мы не слишком уж много обращали на это внимание, в страну завезли жвачку, джинсы, ликёр „Амаретто“, спирт „Роял“, баварское пиво…» Да, автор-то знает толк в напитках!—съязвила Татьяна Петровна.—«Яркие журналы и плакаты, кассеты. Стала внушаться идея, что главное—это красивая жизнь. Научные сотрудники стали челночниками, спекулянтами турецким тряпьём, фенами, чайниками. Понемножку все стали думать, что так вроде и надо. Например, моя тётя была учителем математики, а стала шить на дому и продавать кастрюли „Цептер“. Она зарабатывает приемлемо, но сейчас уже говорит, что устала, пошла бы обратно в школу или техникум. Не все интересы человека укладываются в материальное. А нам уже двадцать лет или, может, больше навязывали, что счастье—в деньгах, полученных не важно каким способом».

Татьяна Петровна замолчала.

— Больше. Больше, чем двадцать,—сказала она скорее самой себе и продолжала:—«Сейчас во дворах, на улицах становится спокойней. Новые русские с цепями и в малиновых пиджаках уже стали скорее легендой. И гопники в больших кепках уже не герои, а смешные персонажи. Над девяностыми уже шутят юмористы, как будто они прошли. Но мне кажется, они пока что никуда не делись, только стали чуть с виду гламурнее. Потому что мы друг другу до сих пор не товарищи, а конкуренты. Правда, я не могу сказать, где идеал, к которому стремиться. В прошлом или всё-таки в будущем?! В прошлом было хорошее, которое мне хотелось бы, наверное, вернуть. Почти все взрослые, кого я знаю, трудились на заводах. При этом они не пахали с утра до вечера, как людям приходится сейчас. Они могли отдохнуть и на неделе, и летом, и организовать отдых для своих детей. Наверное, они чувствовали себя нужными обществу. По крайней мере те, кто в принципе задумывался о таких вещах. И вот всё это пропало. Кто же виноват? Советская власть, которая была тогда,—это понятно. Виноваты те, кто воспользовался, что обычные люди мало что понимают, организовал всякие „МММ“ и „Хопёры“, скупил ваучеры у народа и стал владеть заводами, землёй, железными дорогами».

Татьяна Петровна остановилась, как будто желая что-то сказать, но только несколько раз согнула и разогнула листы моей тетради. В классе было тихо.

— Так… Где мы остановились? «Но в чём-то была вина и обычных людей. Ведь все поверили сказкам о счастливой западной жизни. Пошли, как дети за дудкой крысолова. Как эгоистичные, капризные дети. Когда разворовывали те же заводы, работники тоже утаскивали с них что могли. Воровали шпалы, чтобы из них на даче сделать теплицы. Покупали ваучеры, думая, что станут богатенькими буратинами, будут кататься на вишнёвой „девятке“ и носить часы Casio. Люди не понимали, что творится в верхах, и с радостью приветствовали всех, кто им что-то обещал. Народ был страшно наивным и думал, что стоит только выбрать „настоящего“, „народного“ лидера—и наступит рай. Но жестоко ошиблись…»

Татьяна Петровна вздохнула.

— «А сейчас многие ушли, наоборот, в другую крайность: не верят вообще никому и ничему, как, например, моя мама. И считают, что надо тихо-мирно ходить на работу и никого не трогать. Но я уверена, что даже обычный человек может сделать многое. И даже должен это сделать. Иногда молчать нельзя, молчание может быть тихим предательством. Чем больше человек понимает в происходящем, тем больше на нём ответственности. Очень важно не упускать каждый момент, когда ты можешь что-то изменить. Надо изучать историю и ещё много чего, но не менее важно быть готовым действовать. Нам, детям девяностых, предстоит много сделать. Я ещё думаю, кем мне стать, чтобы раскрыть себя и принести людям пользу. Может быть, учителем, а может, экологом, потому что природа у нас тоже в опасности. Или даже писателем. В любом случае я ощущаю на себе большую ответственность. Моя бабушка и её девять братьев и сестёр едва умели писать и читать, а я хочу прожить жизнь с максимально полным осознанием всего, что происходит. Пусть даже и правдой окажутся слова мудреца: „Умножающий знание умножает печаль“».

Учительница прекратила читать. Несколько долгих секунд все молчали, пока Богданов не решился спросить:

— Это всё?

— Всё,—кивнула Татьяна Петровна.

— Ни фига себе,—ответил он.

Повисла пауза. Во мне больше не рождалось никаких мыслей, только сама собой всплывала фраза из «Секретных материалов»: «All lies lead to the truth»—«Вся ложь ведёт к истине».

Наконец учительница спросила:

— Теперь давайте обсуждать?

Но обсуждения почти не получилось: казалось, все чувствовали себя уже выдохшимися, сказали всё, что могли сказать в свои едва исполнившиеся пятнадцать лет. К тому же мы не доверяли друг другу настолько, чтобы позволить себе настоящий открытый диалог. Татьяна Петровна рассказала пару занятных историй про дефицит и Ельцина, время уже поджимало, и урок закончился банальным, хотя и необходимым призывом быть честным перед самим собой.

Весь май после уроков я уходила в парк бывшего завода телевизоров и, вытащив из сумки хлеб с плавленым сыром и книгу «Ответы на билеты», готовилась к экзаменам. Я сдала математику на «четыре», остальные экзамены—на пятёрки. Впереди оставался только выпускной, который наша классная и родители решили отметить скромно, потому что из всех ребят параллели школу покидали всего лишь несколько человек. Уходила в какой-то престижный лицей Вика Иваницкая—ей для будущего поступления в Питере нужно было усиленно учить иностранные языки и на всякий случай, если станет архитектором, готовиться к творческому экзамену. Уезжала обратно на Камчатку Оля, посеяв во мне тоску по этой загадочной земле на самом краю света. Но главное—уходил Вовка.

Выпускной нам устроили в просторном кафе за городом, неподалёку от заповедника «Столбы». Мне очень непривычно было видеть на Вовке, Лёше, Семёне и других мальчишках белые сорочки и пиджаки вместо футболок и свитеров с орнаментом. Девочки были ещё наряднее, почти все—с распущенными по плечам локонами, блестящими от лака. Вика была, ко всеобщему удивлению, облачена в брючный костюм, зато Диана оделась как балерина—в блузку с рукавом-фонариком и пышную юбку из розового фатина. Дашку было не узнать из-за обильного макияжа и высокой взрослой причёски. Она села за столом рядом со своей матерью, которая, в отличие от большинства родителей, никуда не уехала, а осталась в кафе, явно намереваясь отлично провести праздничный вечер рядом с дочкой. И меня, и Дашу с её мамой привезла на машине председательница родительского комитета. Она собиралась прихватить и мою родительницу, но та смущённо отказалась:

— Куда уж мне в калашный ряд?.. У меня и одежды-то приличной нет. Езжайте сами.

Меня тётя Люба нарядила в симпатичное платье из чёрного бархата, а мои длинные волосы уложила в два высоких пучка по бокам головы. Было прохладно, и я набросила на плечи полупрозрачный платок, украшенный золотыми звёздами.

— Как ты выросла, Ленка,—в виде комплимента заметил проходящий мимо Богданов.

Я вздохнула и захотела сползти под стол: высокий рост совсем не радовал меня, и я часто завидовала Дашке, остановившейся на средних ста шестидесяти семи сантиметрах. Во мне же было ровно на десять сантиметров больше, и Вовка так и не смог догнать меня в росте, хотя, конечно, стал за последний год выглядеть намного взрослее.

— Ты всегда была такая,—сказал Володя.

Не совсем поняв, что он имел в виду, я поспешила спросить:

— Как там твои?

— Отец с тёткой квартиру разменивают. Ему «однушка», и ей «однушка». Всё поделили. Бизнес они тоже с напарником поделили. Шаурмячную вроде собирается открывать.

— Пойдёшь потом работать к нему?—попыталась пошутить я.

— Да щас!—вспылил Вовка.—Он сам по себе, я сам по себе.

Мы, казалось, надолго замолчали. Одноклассники начали понемногу разбредаться из кафешки, выходили подышать чистым лесным воздухом

на мостик, перекинутый через мелкую речушку. В открытую дверь лился золотой вечерний свет. На грубых деревянных столах, выполненных под старину, оставались недопитые бокалы, остатки салатных листьев и ветчины, откусанные и целые бутерброды с паштетом, ягоды черешни, ломтики груши. Классная и родители уже пару раз проходили по столам, предлагая доесть угощения, но все уже достаточно насытились богатым ужином и вежливо отказывались.

— Видела бы моя бабушка, какой тут пир нам устроили,— проговорил Вовка.

— И моя,— машинально добавила я.

Мы встретились взглядами и долго смотрели друг на друга. В приглушённом свете кафе Вовкины глаза казались тёмными и бездонными, а кожа — смуглой. Он вырос в широкоплечего стройного парня и всё-таки был очень похож на того веснушчатого мальчика, с которым меня впервые посадила за одну парту Раиса Ивановна. Шрам от обиды почти зажил в моей душе: я уже давно стала думать, что Вовка, в сущности, чем-то похож на мою маму — просто подчиняется обстоятельствам. Разве это так плохо? Это не преступление, но…

— Ты красивая,— сказал мне Вовка, беря мою руку в свою.

Я вспыхнула от этих слов и, стараясь скрыть волнение, усмехнулась:

— Как Вероника Кастро?

— Почему? Просто…

В ушах у меня стоял шум, заглушавший плывущую по кафешке музыку из караоке. Вовка смотрел на меня внимательно и как будто вопросительно, а я одновременно хотела сказать ему очень многое и в то же время не желала говорить вообще ничего. Мою дилемму решил внезапно появившийся Стружкин, который бесцеремонно уселся между нами с куском чего-то съестного в руке.

— Чё сидим?— хлопнул он Вовку по плечу.— Пошли прошвырнёмся.

Мы вышли на приятно шуршащую гравием загородную дорогу. Чем дальше мы отходили от кафе, тем сильнее чувствовались запахи леса: нагретой за день сосновой смолы, свежей речной влаги и лёгкий сладковато-мятный аромат трав. Солнце ещё не село, высокое небо с лёгкими опаловыми облаками было такого нежного приглушённо-василькового цвета, какой бывает только в начале лета. Бревенчатое здание кафе на расстоянии казалось избушкой лесника, поставленной на опушке перед приветливым сосновым бором. На стены кафешки и кусты розового шиповника ложились мягкие золотые блики. Снизу слышалось тихое воркование речки. Всё вокруг сияло, расцветало, манило к себе, и всё же в этом добром пейзаже сквозила какая-то тайная грусть: казалось, вокруг так хорошо, что это не может быть надолго.

— Документы когда в техан подашь?— спросил Вовку Стружкин.

— Скоро… Что там — аттестат да заявление.

— Какая специальность? Техник-технолог?

— Нет, повар-кондитер…

Хотя я слышала, что Вовка собирается уходить, уже несколько раз, но только теперь в полной мере осознала, что это в самом деле произойдёт. Слёзы сами собой навернулись у меня на глаза. Я не хотела, чтобы мальчишки заметили их, но Семён со всей его чуткостью воскликнул:

— О, у тебя тушь потекла!

Вовка остановился напротив меня:

— Ты чего это?

Не выдержав, я заплакала и сквозь слёзы проговорила:

— Жалко, что ты уходишь…

Володя растерянно затоптался вокруг меня:

— Так и мне жалко… Но что делать? Что мне тут торчать ещё два года зря? Только Петровне на смех. Опять будет прикалываться: «Шевырёв, а как звали последнего царя? А кто дочка Петра?» Разве, блин, всё запомнишь?! А она издевается. Лучше буду профессию получать…

— Так Петровна-то — дочка Петра! Это она ж про себя!— заржал Семён, но, видно, заметив, что мы серьёзны, умолк.

Мы прошли немного дальше в лес. Я уже перестала плакать, но чувствовала, как у меня дрожат губы.

— Может, и мне уйти сейчас, после девятого?— спросила я Вовку как можно спокойнее.— Повар — хорошая профессия… Научусь готовить.

— Нет! Ты что!— тревожно возразил Вовка.— Тебе надо учиться дальше. Это мы с Сэмом пойдём.

— Мы пойдём! Я автомехаником буду — согласился Стружкин и забормотал ерунду:— Куда идём мы с Пятачком? На мясокомбинат! Ты ложку взял, ты вилку взял? Нет? Тогда иди назад!..

— Весёлые вы,— вздохнула я.

— А чё нам плакать? Это Котляренко пускай плачет. У них какие-то наркоманы хату взломали, комп, телек, видик — всё унесли! А так и надо ему, это ему за то, что деньги во втором или каком там классе у тебя спёр.

От удивления я остановилась и решительно развернула к себе болтливого Стружкина за плечи:

— Что ты говоришь? А откуда ты знаешь?

Сообразив, что сморозил что-то не то, Семён замолчал. Вовка стоял потупившись. Горестная догадка пронеслась у меня в голове:

— Так вы знали!

Вовка поёжился, будто от холода:

— Да он сказал спустя неделю уже… Ну чё было тебя расстраивать? Всё равно было уже нельзя ничего сделать.

Мы вернулись в кафешку. Там уже убрали остатки ужина и посуду, сняли облитую красными

и жёлтыми пятнами скатерть, и обстановка со скамьями без спинок и грубо сколоченными столами, вязаными ковриками на полу стала ещё больше напоминать лесную сторожку. С этой подчёркнутой простотой сильно контрастировали автомобили, один за другим шумно подъезжавшие к месту нашего празднования.

— Постой,— сказал мне Вовка.— У меня есть для тебя подарок.

Из обыкновенного целлофанового пакета он вытащил большое жёлтое яблоко и пенал-косметичку, на котором были нарисованы мальчик, играющий на пианино, и поющая рядом девочка с розой в волосах.

— Красиво… Где ты это взял?— я опять готова была расплакаться, уже сама не понимая отчего.

— Спасибо тебе,— сказал Вовка.

— За что?— не поняла я.

— Не знаю. За детство…

Эпилог

Володя поступил в техникум и благополучно закончил его через два с половиной года. Общались мы мало, созванивались по домашнему телефону (первый мобильник появился у меня только в восемнадцать лет), довольно скупо сообщали друг другу о новостях и поздравляли с праздниками. В девятнадцать лет Вовку забрали в армию, где он был поваром. Я обрадовалась тому, что он добровольно пошёл служить, так сильно, будто в этом была какая-то моя заслуга. После его возвращения из армии мы совсем перестали общаться, и через всеведущую председательницу родительского комитета я узнала, что Вовка— верней, уже Владимир— женился и переехал в другой город. Несколько раз я хотела найти его профиль в соцсетях, но так и не сделала этого, и он навечно остался для меня юным, как Питер Пэн, книгу о котором я когда-то читала ему вслух на продлёнке.

Стёпа Озерков, окрепнув и похорошев, стал купаться в девичьем внимании. Когда он подъезжал к школе на скутере Honda Fit, его неизменно встречали поклонницы. На него положила глаз моя приятельница Даша: впрямую она ничего не говорила, но по взглядам, неизменно бросаемым ею на римский профиль Степана и его шикарную кожаную куртку, я обо всём догадывалась. Озерков метался между Дианой, которая после ухода Вики Иваницкой стала в нашем классе признанной королевой, и простой девочкой Наташей, которая переделала для парня своей мечты строчки из песни «Мумий Тролля»:

> А мой мальчик далеко,
> Живёт он в Роще.
> Пьёт других девчонок сок,
> А ведь мой проще.

Эти строки Наташа написала прямо на доске и своей искренностью подкупила суровое сердце Озеркова, который и в самом деле раньше проживал в Зелёной Роще. Впрочем, ему было чем заняться и кроме девочек: он подался во власть— сначала стал депутатом, а потом, в одиннадцатом классе, и президентом всей нашей школы. Вместе со Сбитним и Котляренко он был горячим поклонником сериала «Бригада», который тогда смотрели почти что по всем телевизорам страны и обсуждали на каждой кухне нашего города. Что там кухни— сама Татьяна Петровна не один урок уделяла этому сериалу, в котором были показаны недавно минувшие девяностые. Она сочувствовала героям и даже восхищалась ими, а мне чересчур хорошо была знакома философия «Не я такой, жизнь такая», и оставалось только досадовать, что наше время может породить только героев, подобных Саше Белому.

Тётя Люба совсем забросила продажу кастрюль и устроилась секретарём в железнодорожный институт. Шитьё осталось у неё в качестве подработки и хобби для души. Каждый раз, когда я приходила к ней в гости, она с воодушевлением рассказывала про разработку оборудования для железнодорожных путей, про экспериментальные тормозные колодки, пожарную безопасность в поездах и, главное, про то, каких замечательных, умных людей она каждый день видит на работе. Я общалась с ней всё больше, она давала мне читать самые разные книги— от популярной психологии до романов Жоржи Амаду, в творчество которого мы обе влюбились сразу и безоговорочно.

Тётя Тома нашла синенькую книжку про прощение, и она понравилась ей больше всех трудов Лазарева, Торсунова и Малахова. Прежний авторитет у неё сохранил только Коновалов, и, видя, что я много пишу и читаю, она с наилучшими пожеланиями стала учить меня его суставной гимнастике. У неё родился долгожданный внук, который, придя в едва сознательный возраст, посмотрел «Смешариков» и сказал, что его бабушка похожа на Совунью. Над ним посмеялись, но признали, что действительно некоторое сходство есть.

В цехах бывшего завода телевизоров один за другим открывались торговые павильоны с едой, косметикой, бытовой химией, сотовыми телефонами, музыкальными дисками. Однажды перед Новым годом мы с мамой отправились на распродажу в эти магазинчики, где накупили полотенчиков, мыла, шампуня, стирального порошка, маек, колготок и прочих замечательных вещей. Пакеты оказались довольно тяжёлыми, и мы остановились перевести дух напротив новой остановки, которую я про себя назвала «Торговый портал на Свободном».

Мама поставила тяжёлый пакет на скамейку и некоторое время молча глядела на легкомысленную

бело-розовую вывеску нового магазина, где красовалась надпись «Подарки и скидки!».

— А раньше тут написано было «Слава героическому труду»,— в раздумье сказала родительница.

— Жалко тебе завод?— спросила я.

Мама неопределённо махнула рукой:

— Чему нас девяносто первый год научил? Жалей не жалей, надо будет — всё продадут. Всё за нас решат.

— Всё, да не всё,— возразила я, посмотрев на здание конструкторского бюро «Искра».

Шло время, и уже мои собственные дети стали задавать мне вопросы. Они спрашивали: «Мама, ты воевала?» И я отвечала им, что воевала. На этой земле каждый из нас на войне, каждый сражается против лжи, лицемерия, тщеславия, трусости, которые атакуют не только извне, но и из нашего собственного сердца. Эта война идёт и сейчас, но в девяностые годы битва была особенно жаркой.

Мои дети смотрят мультфильм «Звёздочка против сил зла», а я кажусь себе похожей на героиню — волшебную принцессу из другого измерения. Вот показывают титры: она идёт уверенным шагом по незнакомой планете, а за ней тянутся всевозможные существа — облако с крыльями, влюблённая улитка с глазами на стебельках, полукоза-полукот, осьминог, похожий на цыплёнка, стреляющие лазером щенки… Но как бы ни был причудлив, странен и даже на первый взгляд страшен облик её спутников, принцесса не пугается их. Никто и ничто на этой планете не посылается нам бессмысленно, и если кто-то оказался рядом, значит, так тому и быть.

Она идёт навстречу своему другу, и каждый её шаг по Земле отзывается песней:

Прибыла я сюда издалека,
Но жизнь здесь вроде так прекрасна и легка.
Земля подходит для принцесс,
И я так рада, что я буду здесь
Сражаться с монстрами и находить друзей,
Ведь я принцесса хоть куда, я всех сильней.
И это место домом я смогу назвать!

Д*и*Н ревю

Вера Зубарева

Между Омегой, Альфой и Одессой: *Трамвайчик-2*

Айдилвайлд (Калифорния, США):
Charles Schlacks, Jr. Publisher, 2022

• • •

Вот и снова заброшен невод.
Плещется ночь в бухте чернильницы.
Между нами целое небо
Переливается древней кириллицей.
Это я опять причалила к берегу,
Это небо опять растеклось по рельсам,
Это мой трамвай из прошлого века
Наблюдает моё возвращенье из рейса.
Вот и всё. На странице полночь,
Полночь в городе, полночь на башне.
И спешит на подмогу прошлое
С ободком от свечи вчерашней.

• • •

Перед стихами плохо спится.
Тревожно в мыслях, на душе,
Мелькает жизнь, мелькают лица,
Свет на четвёртом этаже,
Трамвай, набитый до отказа,
Столб на углу (при чём тут он?),
Фонарь, что подстрелили сразу
(Ушёл в запой он с тех времён),
Закат на улице Марсельской,
За воробьём следящий кот
И ритм всего — почти вселенский —
Прибой в двух остановках от…

Джеке Маринай

Теория протонизма:

основа для совершенствования социальной функции литературы[1]

Введение

Доброе утро, дамы и господа, уважаемые гости, уважаемые преподаватели и студенты. Я благодарен Университету Данкук, его президенту Киму Субоку, его директору, профессору Пак Дуккю и профессору Чхве Содаму за приглашение.

Эта лекция представляет собой вводный обзор теории протонизма, предлагая общее описание её пяти основных принципов: протонизмиотика, реституция, исследование, истина и этика. В дополнение к своему основному значению на албанском языке, на котором я первоначально задумал теорию, созданная аббревиатура PRITE подразумевает несколько соответствующих коннотаций, таких как предвосхищать (это), ожидать (это), получать (это) и развлекать (обычно имеется в виду приём гостей).

В 2005 году, когда была опубликована моя книга «*Протонизм: теория и практика*», эта концепция имела прямое отношение к балканскому контексту. Политические и социальные потрясения посткоммунистической эпохи и этническая ярость, которые привели к крупным конфликтам югославских войн 1990-х годов, часто превращали литературную критику в политическое, сектантское, этническое или идеологическое оружие, действующее в ущерб литературе.

Идеологи начали входить в мир литературной критики, вытесняя экспертов в этой области.

Литературная критика уже не служила фактическому развитию литературы. Она стала фальшивой, не справившись с задачей поддерживать подлинность литературы. Справедливость, величайшая ценность критики, больше не освещала литературный мир. Воцарилась ненависть. Вообще забывалось, что критическое суждение всегда должно быть направлено на улучшение развития литературы, а не на её уничтожение.

Во имя защиты читателей от соприкосновения с недостойной литературой и укрепления литературной репутации любимых авторов определённых идеологических групп так называемые критические рецензии осуществляли пагубные нападки на неугодных им авторов, заставляя их работать под новыми псевдонимами.

Многие известные авторы выражали свой гнев, требуя своего рода литературной критики, которая защитила бы их литературное искусство от жестоких нападок, с которыми они столкнулись. Такие авторы настаивали на том, что их произведения не просто субъективны, а представляют собой настоящую литературу, основанную на таланте, профессионализме и конкретном опыте, накопленном за всю их жизнь. Доминировавшая в то время в регионе форма критики фактически имела мало общего с литературой.

Более десяти лет на Балканах основа примитивной полемической критики оставалась неизменной, независимо от качества произведений, которые исследовали критики. Самая большая проблема, с которой столкнулась балканская литература, заключалась в том, что читатели начали вообще игнорировать литературу в регионе. Шум и неразбериха мешали читателям определять ценность литературных произведений.

Тем временем балканские писатели и поэты стали склоняться к тому, что истинное искусство признают немногие и что его оценит следующее поколение читателей. Эта фаталистическая точка зрения, полностью игнорирующая роль критики, также кажется неадекватной для поддержки процветающей литературной культуры.

На этом фоне я создал теорию протонизма как рекомендуемый метод для практики литературной критики. Теория предполагает, что протонистский критик, сталкиваясь с текстом, должен сначала искать то, что имеет эстетическую, интеллектуальную и моральную ценность. Критик, считающий произведение малоценным, должен просто отложить его в сторону и воздержаться от обсуждения, оставить его в тени, вместо того чтобы демонстрировать презрительную риторику.

Протонизм как термин является метафорой, полученной из физики атома: вместо того, чтобы останавливаться на изменчивом, лёгком и отрицательном электроне, протонистский критик обращает внимание на устойчивый, весомый

1. Перевод с английского Нины Славниковой и Елены Скисовой-Бураго.

и положительный протон. Вдохновляя литературных критиков мыслить иначе и поощряя их к повышению роли литературной критики, протонизм как явление стремится служить положительным катализатором социальной функции литературы.

Я надеялся тогда и надеюсь сейчас, что, предоставляя критикам общую основу для более объективной оценки литературного произведения, теория протонизма может также применяться в других частях мира, в художественном творчестве и во многих других областях.

Обзор

В моей книге *Protonizmi: Nga Teoria Në. Praktikë («Протонизм: теория и практика»)*, раскрывается принцип критического подхода в литературе, а также в других отраслях гуманитарных наук по аналогии с областями физики, химии и математики. Термин происходит от слова «протон», означающего положительно заряженную частицу, находящуюся в ядре атома вместе с отрицательно заряженным электроном и нейтральным нейтроном. Следуя аналогии из сферы физики, протонистский критик ищет и подчёркивает только положительно заряженные элементы любого изучаемого предмета. Используя математическую числовую прямую в качестве ещё одной аналогии, мы могли бы сказать, что протонизм занимается значениями справа от нуля.

В протонистской литературной критике эксперт пытается объяснить или интерпретировать литературное произведение, отмечая его значение, анализируя и оценивая его эстетику. Сведущий, точный и справедливый критик-протонист оценивает произведение с точки зрения эстетических качеств, моральных императивов и интеллектуальных вопросов, которые оно поднимает. Критик-протонист должен уметь отбросить любые предубеждения, возникающие из личного опыта или социальных ограничений, стремясь к объективности, с которой можно давать непредвзятые оценки литературным произведениям. Никакие литературные критики не могут полностью отделить себя от своего личного воспитания и морали, но они должны приложить все усилия, чтобы отделить искусство от того, кем они являются как личности. После прочтения литературного произведения литературному критику должно быть совершенно ясно, какую точку зрения отстаивает писатель и что в основном пытается сказать писатель. Протонистский критик должен помочь прояснить эту точку зрения для читателей.

Протонизм также можно понять через сравнение с естественным законом и позитивизмом. Естественный закон использует разум, включая самоанализ и интуицию, чтобы получить представление о человеческом состоянии. Позитивизм, с другой стороны, отвергает представление о том, что понимание может быть достигнуто таким путём. Позитивистский подход утверждает, что точное суждение обо всех предметах, включая состояние человека, должно основываться на строго научной основе, с достоверными знаниями, основанными на опыте и положительной проверке. С его изучением того, как убеждения и отношения критика контекстуализируют критику изучаемого предмета, можно сказать, что протонизм исследует самоанализ и интуицию других. Таким образом, протонизм больше соответствует естественному закону, чем позитивизму, который считает самоанализ и интуицию неуместными.

Протонизмиотика

Термин «протонизмиотика» происходит от сочетания слов «протонизм» и «семиотика». Развитие протонизмиотики служит коррективой для критиков, а также позволяет читателям оценивать произведения и сами критические работы.

Критик-протонист использует протонизмиотический подход в качестве инструмента лингвистического детектива, чтобы определить, является ли произведение негативной критики нападением на автора *ad hominem* или же просто ненаучным по иным причинам. Если это так, то протонист может классифицировать это как непубличную, частную критику и, следовательно, несущественный дискурс или может выбрать защиту автора на более высоком уровне. Подобно литературным произведениям, лишённым положительных качеств, негативная критика имеет нулевую ценность нейтрона и не заслуживает ответа в столь же негативном плане. Точно так же в математике отрицательное число плюс отрицательное число приводит только к большей отрицательной сумме. Поэтому критики-протонисты воздерживаются от ответа на негативную критику ещё более негативной критикой. Это подрывает продуктивный дискурс.

Литературный критик-протонист должен понимать и действовать в соответствии с глубоко положительными принципами языка и иметь хорошее представление о литературной символике как элементе коммуникативного поведения при литературной критике. Критик должен хорошо разбираться в разделах прагматики, семантики, синтаксиса и других теорий и философских подходов, имеющих отношение к современному состоянию литературы.

В то же время протонизмиотика поднимает читателя до уровня критика, снабжая его лингвистическими инструментами для точной оценки заключений других критиков-непротонистов. Протонизмиотика позволяет читателю обнаружить признаки в языке критической статьи, которые свидетельствуют об уровне профессионализма критика, и установить, справедливо ли критик подошёл к автору. Принимая это решение, важно

иметь в виду, что протонизм рассматривает литературное произведение как большее, чем создавший его автор, что делает характер автора не важным для того, стоит ли читать произведение.

Протонистские критики должны признать, что по мере появления новых социолингвистических и литературных теорий развиваются новые темы социальной структуры. Художественные тексты представляют собой продукты человеческих мыслей и эмоций, выраженных словами, а не созданы роботами. Поскольку человеческий фактор имеет значение, мы должны понимать потенциально глубокое влияние критики на литературу и на то, как литература формирует сообщества.

Протонистские критики стремятся к активному осознанию этих концепций и социальных проблем, чтобы мы могли играть конструктивную роль в литературе и в повседневной жизни людей. В этом процессе мы также должны отточить своё мастерство на различных уровнях языка. Помня об этом как о фундаменте лингвистических знаний, нам необходимо мыслить конструктивно всякий раз, когда мы проводим литературную критику. Протонизмиотика вдохновляет протонистского критика на изучение взаимосвязей между словами и их контекстами, чтобы использовать лингвистические стратегии, которые могут извлечь пользу из любого приличного литературного произведения, потому что анализ любого текста также является актом литературного творчества.

Реституция

Протонизм связывает концепцию реституции с тем, что теория поддерживает как принцип морального права: не наказывай, только вознаграждай. Под реституцией протонизм означает, что литературные критики должны находить способы отражать позитивные намерения авторов, сохраняя при этом уровень профессионализма. Единственной формой реституции является вознаграждение. Это означает подходить к работе с доброй волей и добросовестно.

Критик-протонист служит посредником для читателя. Таким образом, критик должен компенсировать прошлые негативные последствия литературной критики, находя способы компенсировать читателям ранее понесённые потери или ущерб, давая рекомендации по оценке красивых аспектов произведений, а не сомнительных частей, которые они могут содержать.

Награждать достойных писателей красиво само по себе, но награждать их, подчёркивая красоту их произведений, служит особым источником развития, особенно для молодых, начинающих писателей. Благодарность в отношении начинающих писателей будет источником гордости и вдохновения, а также повышает их статус в обществе.

Реституционный принцип протонизма—вопрос литературной справедливости и поэтической справедливости. Реституция также представляет собой социальную ответственность как жизненно важный ресурс, который может сыграть важную роль в улучшении роли литературы в эволюции цивилизации.

В соответствии с подходом, поощряемым другими постулатами протонизма, протонистский критик обращается к негативным комментариям только для того, чтобы защитить от них автора, воздерживаясь при этом от выражения личного негативного мнения. Если протонистский критик не может найти никаких положительных моментов в изучаемом произведении, то произведение считается литературным эквивалентом нейтрона и, следовательно, недействительным и неуместным для обсуждения. Проще говоря, если протонистскому критику нечего сказать в положительном смысле, то он ничего не говорит. Ведь литература—это искусство, и её нужно прославлять. Если нечего отмечать, то это не литература. Зачем пытаться критиковать произведение, которое не квалифицируется как литература?

Расследование

Литературный критик-протонист всегда должен искать положительную сторону, а также знания о том, как её отобрать и представить читателю. Хотя протонизм ценит исследование за его эпистемологический упор на объективные аналитические навыки, он настаивает на том, что какими бы объективными ни были критики, их оценки требуют достаточной степени контекстуальной эрудиции.

Критик-протонист стремится определить и передать, как авторы, столкнувшиеся с конкретными темами, обсуждали эти вопросы и реагировали на неуверенность, путаницу или аргументы своих коллег в прошлом, предлагая уникальное стилистическое и структурное понимание литературного дискурса.

Принимая во внимание множество культурных условностей о расе, поле и классе, критик-протонист также подчёркивает роль литературного опыта в определении того, что составляет «хорошую литературу». Концентрируясь на литературных оценках и культурных последствиях наиболее важных произведений каждой данной эпохи, протонистское исследование ищет более комплексный подход, способствуя общественному сознанию и практикам, повышающим качество письма ради создания более полезной современной литературы.

При этом формальная и непредвзятая оценка литературного произведения всё же требует проведения расследования для установления косвенных фактов. Протонистская доктрина советует критикам проводить свои исследования в свете

реальных условий и потребностей их литературных сообществ.

Правда

Протонизм утверждает, что истина по отношению к литературным идеологиям есть временная социальная конструкция, подверженная изменениям в соответствии с социальной структурой своего происхождения и эпистемологическими обстоятельствами своего развития. В отличие от объективистской философии, протонизм утверждает, что не существует истины, независимой от человеческого разума. Всё, что считается истиной, так или иначе опосредовано каждым сознательным индивидом. В этом смысле то, что считается общепринятой истиной, может существовать только до тех пор, пока в неё верит отдельный человек, потому что любая истина всегда ожидает модификации и дальнейшего улучшения. Эта потребность в постоянном изменении и улучшении делает существование общей истины невозможным. Утверждение считается истинным только потому, что это убеждение временно удовлетворяет индивидуальные или коллективные потребности.

Самая основная обязанность литературного критика-протониста состоит в том, чтобы говорить правду о литературной ценности, которую он находит в произведении, а не манипулировать хорошим и искать отрицательные элементы, которые могут ввести читателя в заблуждение относительно истинных качеств произведения. Критик-протонист должен понимать многие виды истины, такие как фактическое состояние вопроса, соответствие факту или реальности и математические истины. Такие многогранные перспективы позволят критику-протонисту действовать в соответствии с идеей субъективности истины, при этом наблюдатель, вероятно, примет истину, в которую лично верит, только как истину.

Истины, которые невозможно полностью доказать, имеют такие же шансы на выживание, как и кажущиеся абсолютными истины, такие как законы физики. Многие до сих пор верят в существование всемогущего Бога, которого наука не может опровергнуть. Степень, в которой религиозные доктрины воспринимаются как абсолютно истинные, также зависит от отдельного верующего, и тем не менее древние религии сохраняются и сегодня в формах, которые узнаваемо соотносятся с их источниками, а также отражают различные интерпретации, которые разумно необходимы для достижения условий сосуществования. Точно так же каждое данное проявление литературы и других искусств может заключать в себе своё воплощение истины. Протонистский критик должен помочь определить наличие таких внутренних относительных истин и сформулировать их потенциал для гармоничного взаимодействия.

Этика

Теория протонизма не пропагандирует какуюлибо одну этику или группу этик. Для этической ориентации в области критики протонист работает над тем, чтобы определить, как критики-непротонисты систематизируют, защищают и рекомендуют концепции правильного и неправильного поведения. При этом протонист может указать на белые пятна в мышлении критиков, которые мешают увидеть положительное в данном обсуждаемом предмете.

Литературовед-протонист должен иметь систему нравственных принципов и следовать признанным в обществе правилам поведения по отношению к общим интересам и истинной литературе. Анализируя произведение, протонист должен действовать прагматично, стремясь представить максимально возможное благо, которое может быть результатом этой задачи. Эта стратегия не должна представлять собой искусственное усилие: принципы протонистской этики основаны на идее, что моральные обязательства возникают из естественных человеческих инстинктов и воли. Существуют три основные категории моральных соображений: телеологические, деонтологические и утилитарные. Каждый тип имеет свои сильные и слабые стороны, и ни один из них не является полностью правильным. Но в целом все они требуют, чтобы критики-протонисты совершали определённые действия, чтобы улучшить себя и сообщество.

Протонистская этика сосредоточена на содержании и значении литературного произведения, а не на других действиях или предыстории его автора. Это позволяет нам рассматривать этическую ценность литературных произведений с более высокой точки зрения. В противном случае становится трудно обнаружить разницу между чтением морального послания и исследованием литературных текстов. Протонистская этика может помочь нам обнаружить более сложные пересечения между литературным текстом и моральными ценностями, потому что теория протонизма подчёркивает, что этические предписания носят социальный характер и, следовательно, не абсолютны. Даже врождённая черта человеческого достоинства уникальна для отдельных людей.

Благоразумный подход к литературным произведениям, как и к самим литературным критикам, требует акцента на трёх основных добродетелях: справедливости, силе духа и умеренности. В сущности, литература и литературная критика требуют равного обращения в свете этих основных достоинств. Такая справедливость сама по себе даст правильную иерархию акцентов для моральной литературной культуры.

Этическая позиция любого критика, в свою очередь, может формировать и искажать видение

читателя, особенно если читатель незнаком с предметом критики. Протонистская этика избегает узкой направленности, типичной для менее конструктивных стандартов критики. Существует множество форм добра и много видов морали. Поиск единственной меры приводит к путанице. Соответственно, протонистская этика не пытается определить стандарты правильного и неправильного, а, скорее, подчёркивает связь между моральным суждением и другими областями исследования через чувствительность к различным формам красоты.

Растущее влияние и образовательные последствия

Менее чем за два десятилетия с момента своего появления теория протонизма повлияла на академические дискуссии в Европе и Северной Америке, и её влияние продолжает расти и распространяться по всему миру.

Теория протонизма является неотъемлемой частью академической программы нескольких университетов, в том числе Св. Кирилла и Мефодия в Скопье, Македония, Университет Белиза и Цзинаньский университет, государственный исследовательский университет, базирующийся в Гуанчжоу, Китай.

Основные новостные и литературные издания, такие как *The Dallas Morning News*, признали теорию протонизма источником, который «стремится содействовать миру и позитивному мышлению» посредством литературной критики. Узбекская газета *Book World* назвала протонизм «теорией, которую ждал мир», в то время как итальянская *Corriere della Sera* объявила её «великой литературной теорией—Una grande теория».

Сторонники протонизма утверждают, что теория может способствовать диалогу не только в области литературы и философии, но и во многих других областях искусства и науки. Сила протонистской критики заключается в её способности поощрять открытый диалог, лежащий в основе современной всемирной критической теории.

Поскольку литература выполняет так много ролей в обществе, существует широкий спектр литературных произведений, которые нравятся отдельным людям. Теория протонизма утверждает, что литературный критик не имеет права объявлять литературное произведение некачественным только потому, что критик не является частью целевой аудитории. В отличие от негативной критики, протонистская критика определяет то, что резонирует с общечеловеческими идеалами, что, в свою очередь, поддерживает роль литературы в формировании личности и культуры в целом.

Сторонники протонизма выступают за его использование в классе, в том числе на уровне дошкольного образования, из-за того, что он подчёркивает положительные элементы письменного произведения. Работы, считающиеся классикой, представляют собой модели для учащихся, благодаря которым они узнают о чтении, создании рассказов и развитии тем в письменной форме. Выявляя положительные и эффективные аспекты письма мастеров, они могут подражать, адаптировать и улучшать свои собственные методы для создания качественных произведений. Сосредоточение внимания на положительных аспектах художественного произведения побуждает студентов-писателей создавать литературу или критику, которые действительно влияют на тех, кто их читает, и могут позитивно формировать культуру.

Короче говоря, главная функция литературы как утончённой формы искусства—создавать красоту, а смысл искусства—воспевать, радоваться Вселенной, Богу, природе, жизни… Следовательно, роль протонистского литературного критика—найти возможности использовать их для облегчения социального напряжения как одной из функций литературы. Хотя теория протонизма не претендует на способность преобразовать социальный или литературный мир, она утверждает, что литературные критики, использующие позитивное, новаторское мышление, могут внести значимый вклад в улучшение человечества.

Виктория Рефас

Звезда Давида

С благодарностью Евгению Муратову,
чьи дневники «Деревенская чернушка»
вдохновили меня на написание этого рассказа

Ави проснулся, когда амплитуда колебания вагона достигла критического значения и ремень безопасности больно врезался в урчащий живот. С боковой полки кулём рухнул вахтовик Алёша, подсевший в Поканаевке, точнее, его уже «холодным» занесли в поезд товарищи по счастью, заботливо прикрыли одеялом и даже по всей форме представили публике вместе с фамильной флягой брусничного самогона. Ударившись головой о металлическую рамку нижней полки, Алёша молча, не открывая глаз, ловко забрался на свою верхнюю, где мгновенно упокоился. «Силён»,—уважительно отметил Ави. Внизу за столиком разговаривали соседи-археологи:
— Время было до поезда, зашёл в парикмахерскую «Ариадна» на Маркса. Меня ещё никогда так косвенно не унижали цирюльники!
— Может, это и есть высшее искусство—унизить так, чтобы казалось, что тебе показалось?

Парни загоготали, девчонки захихикали. Послышался «чпок»—открывашка вонзилась в жестяную банку, откуда заструился аромат пряной свинины. Рассказчик продолжал в лицах:
— «А сзади укоротить, конечно же?»—«Не-не, только подровняйте».—«Так вы хвостик носите?»—«Нет».—«Но как? Ведь даже у Димы Билана и то короче волосы!»—«Да? Ну если у Билана… Кто я такой, чтоб длиннее Билана без хвостика носить? Если даже у Димы короче, то пусть уж, снимите чуть, чего уж тут. Правда, чего-то зарвался я».—«Знаете, наверно не получится, у вас волос жидкий и тонкий (ладно, с этим не спорю), а так как у вас голова треугольная…»—«???!!!»—«…то если я здесь ещё сниму, это будет видно!» Тут уж я начал скатываться в смущение. Базар про неарийскую голову всплывал ещё раза два, и я просто отдался на её волю, а в конце она так стеснительно говорит: «Как вы зачёсываете?»—«Так не объяснишь, давайте я сам».—«Да у вас нет разницы, что подстрижены, что нет, всё равно выглядит одинаково!»

Нижние полки, забитые студентами, рыдали от смеха. Ави тоже засмеялся, высунув голову в проём над столиком, ломившемся от еды. Девушка с косичками ткнула локтем рассказчика:
— Женя, смотри, вот у кого волосы круче, чем у Билана! Спускайся к нам, тушёнка стынет.

Спускаться было некуда, археологи и так сидели на головах друг у друга, поэтому банку, ложку и ломоть хлеба отправили наверх вместе с вопросами:
— Тебя как зовут?
— Давид. Ну, или Ави.
— Как в «Снетче»?
— Ага!
— А ты еврей по маме или по папе?
— По ситуации!
— Отлично, тогда будешь устанавливать полезные и бесполезные связи с местным населением!
— Бартерные или товарно-денежные?
— По ситуации!

Новый взрыв хохота. Перед банкой и ложкой возникла алюминиевая кружка с запахом брусники. Ави откинулся на жидкую подушку и осушил её залпом. «Привет от Алёши»,—подумал он и, проваливаясь в очередной сон, пожалел, что слишком часто пропускал «тренировки» в последние пару лет.

Конечно, никаким евреем Давид не был, хотя его внешность и ловкость по части раскручивания клиентов на бюджет во всю глотку кричали об обратном. Именем он был обязан увлечению папы историей Грузии в период беременности мамы. И так же, как один из героев вышеупомянутого фильма, Ави считал, что быть евреем полезно для бизнеса. На работу—в крупную рекламную московскую контору—он всегда являлся в кипе, привезённой подругой из Израиля, и ежедневно менял шёлковые с искрой жилетки. Даже лапсердак планировал заказать к следующему Пуриму.

Открыв глаза, Ави осознал, что полка под ним, напротив и вообще всё вокруг качается как-то иначе. Окно отсутствовало, «тыгдым-тыгдым» тоже. Но голоса, звуки и запахи внизу были всё те же. Свесив кудри в проём, Ави поинтересовался:
— Мы что, плывём?
— Ага, ещё часа два идти.
— Странно, бабушка говорила, что от станции до посёлка идти пятнадцать минут, причём ногами.

— У бабушки, часом, фамилия не Электроник? Спи, разбудим разгружать «каэску».
— А сейчас мы где?
— Это река Ангара, она впадает в Енисей, а он — в Карское море Ледовитого океана, планета Земля, Солнечная система, Млечный Путь, ноль тринадцать в Тентуре, — подражая Юрию Сенкевичу, объявил насильно подстриженный под Билана Женя.
— Ага, в основном, — обиделся Ави и отвернулся к стенке.

Судя по звенящему от комаров воздуху и упирающимся в лопатки рёбрам ящика с оборудованием, «каэску» разгрузили при пассивном участии Давида. Вокруг суетилось не меньше сотни человек разного возраста: одни тащили на высокий яр палатки, лопаты и коробки, другие набирали в канистры воду из реки, дальний берег которой терялся в тумане. Пара девчонок мыла котлы, издалека доносилось цоканье топоров по дереву. Высокая светловолосая женщина, она же начальник экспедиции Алина Екимовна, распекала кого-то за уроненный нивелир. Перед лицом Давида возник Женя и помахал рукой. Серая мгла из тысяч комариных тушек на секунду рассеялась, а потом её края стали быстро сходиться, как Красное море за народом Моисея.
— Ты со второго курса?
— Не-а, выпускник.
— Мы же познакомились в вагоне, я думал, ты из младших.
— Я политех в позапрошлом окончил.
— Политех?! Как ты вообще в наш вагон попал?
— К бабушке ехал, крышу чинить, в эту, Усть-Кэа-о, не могу название запомнить — о, в Усть-Каспу!
— Это Усть-Кова. Она на севере, а Каспа — на юге. А мы с истфака. И к бабушке ты попадёшь теперь только в сентябре.
— У меня отпуска всего две недели!
— У всех две недели. Но наука в опасности! Время спасать науку!

Гигантская долина, поросшая пахучими травами выше человеческого роста, занимала целиком мыс на стрелке Ковы с Ангарой. В какой-то момент трава сменялась весёлым березнячком, за которым начиналась глухая тайга, куда запрещалось ходить под страхом лишения сигарет и сгущёнки. На противоположных берегах рек картина была аналогичной. По ночам в небе горели звёзды с кулак, а луна двигалась строго по гребню горы Седло, маячившей над лесом. За три месяца все эти красоты Давиду порядком поднадоели. Ни одна «каэска» не пристала за лето к берегу, от походной еды уже подташнивало, как и от бесплодных попыток выкопать из земли что-то стоящее: видать, всё, что Усть-Кова хотела отдать археологам, она отдала ещё в двадцатом веке. Единственным представителем местного населения, с которым Ави, как и планировалось, сразу установил все допустимые законом и здравым смыслом виды связей, был бакенщик Вальдемар, пожилой, общительный, всегда застенчивый мужик, живший в единственном доме на яру в компании бестолковой псины Сувалки. Слово «застенчивый» не должно вводить в заблуждение, потому как в контексте Вальдемара не являлось чертой характера, а, скорее, выдавало способ его передвижения. Ну, то есть он не стоял робко у края раскопа, опустив глаза долу, а двигался, по обыкновению держась за всё, что попадалось на пути. Если же стоял, то напоминал взъерошенную кобру, тянущуюся за флейтой. Мужиком он был добрым и нежадным — круто просоленную щуку, хариуса и прочую рыбу из его бездонной бочки археологам разрешалось поедать невозбранно.

В тот самый свой последний день в экспедиции Давид проснулся с ощущением уверенности в том, что должно случиться нечто, что положит конец Дню сурка. Ощущение было радостным и вместе с тем — тревожным. Опершись на лопату, он безразлично смотрел на Екимовну и нескольких практикантов, всё утро очищавших тонкими кисточками и резиновыми грушами гигантскую груду обожжённых камней — землица ковинская таки сжалилась над археологами, — когда солнце заслонила фигура Вальдемара, поддерживаемая мелкашкой.
— Алина Екимовна, у меня собака пропала. Можно, я кого-нибудь из ваших парней возьму, мы за Ковой поищем? Под мою ответственность.
— Возьми Давида, от него всё равно толку нет!
— Почему сразу нет? А кто вам целый час по полсантиметра совковой землю снимал с кострища?
— Тот, кто расколол сосуд, повредил ретушь и раскидал камни. Этот очаг ждал нас тысячи лет…
— Да ну на… Тут у меня баня раньше стояла!

После последней реплики подозрительно трезвого Вальдемара воцарилась гнетущая тишина. Взяв бакенщика под локоть, Ави быстро повёл его по травяному тоннелю в сторону лагеря — присутствовать при объяснениях научрука с введёнными в заблуждение студентами ему совершенно не хотелось. Лучше поискать Сувалку, всё какое-то развлечение.

— Почему у собаки такое дурацкое имя? Потому что нос везде суёт? — поинтересовался Ави, когда, перейдя речку вброд, они шли по тайге.

Августовское солнце пробивалось сквозь увешанные мхом деревья — стоящие и поваленные, словно Билибин принёс в Приангарье свои иллюстрации к русским сказкам и расставил их на каждом углу.

— Нос суёт, ага, она ж собака. У меня с детства всех собак так зовут.
— Других имён в святцах не было?
— Не, это из-за литовцев. Их в сорок восьмом в Кову привезли, осенью, мать рассказывала. Деревня тогда маленькая была, восемь семей жило, а тут почти тыща ссыльных. Расселили их в заброшенных домах, кого-то даже в церковь пустили. Много их померло в зиму: жрать самим было нечего, а у них ни запасов, ни одежды, ни инструментов — вообще ничего. Наши помогали, да и сами они работящие были, хорошие люди, но непривычные к холоду, потерянные какие-то. Дед тогда взял к себе семью большую, сказали, что из Сувалкии, а когда они уехали в пятьдесят девятом, я как раз в школу пошёл, отец щенка подарил, ну я его и назвал, в память, что ли…
— А где теперь вся деревня? Церковь где? Кроме твоего дома, на мысу нет же ни черта.
— Так в девяностые все уехали. Сначала ещё подхоз был, картошку там, капусту сажали из Кодинска, травы всякие для аптеки, коней пасли, тут табун целый у меня носился, а потом как-то понемногу всё развалилось или пропало. Как и твой родственник.
— Какой ещё родственник? У меня родня не с Усть-Ковы, а с Усть-Каспы, я ж говорил!
— С литовцами он приехал, которые у деда жили. Они говорили, что это их пацан, и все, ага, поверили! Кудрявый такой, чёрный. Короче, ты, только в очках. Я когда тебя на берегу увидел, подумал, что всё, завязывать пора. У него и звёздочка такая же была на руке набита, как у тебя на шее висит.
— Да я не еврей, это так, для бизнеса полезно…
— Бабушке расскажешь.

При упоминании о бабушке Ави стало грустно. Сюрприз сделать хотел, хорошо хоть не предупредил, что приедет, нервные потрясения ей на старости лет ни к чему. Про работу он почему-то вообще не думал, будто и не было тех двух лет в столице и вешалок с жилетками «неделька». Будто всю свою четвертьвековую жизнь или какой-то её солидный кусок он прожил в ангарской тайге, дышал её вкусным воздухом, мылся в её ледяных речках, бил на себе слоноподобных комаров и слепней, охотился, рыбачил… Ему даже показалось, что он знает в этом лесу каждую тропку, каждый брод на Джилинжиге и ручьях-притоках, каждую стёжку на болотах и каждый завал на пути.
— Ты и правда их знаешь, — сказал за спиной Вальдемар.

Когда они успели поменяться местами? Думая о своём, Ави и не заметил, что от самой Ковы он вёл бакенщика по лесу. Вёл без метаний, ни разу не терял направление, будто уже когда-то проходил здесь. «Вот сейчас будет обгорелая сосна с моей зарубкой, потом взлобок, а за ним болото внизу. Что я несу? С моей зарубкой?»
— Ты там дерево затесал ещё тогда, в пятьдесят восьмом, — словно подслушал его мысли бакенщик.
— Не смешно, — уныло заметил Ави, и ему действительно было не смешно.

Он и правда будто знал все метки маршрута, но никак не мог вспомнить, что ждёт в конце, мысль как будто закольцовывалась на самом пути, сворачивалась в клубок и отказывалась высовывать на поверхность ниточку эврики. В подлеске раздался шорох, и на поляну выкатилась Сувалка, вся в репьях и сухих сосновых иголках. Лизнула руку хозяина, посмотрела на Давида, будто приглашая его за собой. Обгорелая сосна, мшистые камни на пригорке и небольшая, может, полкилометра в диаметре, круглая проплешина внизу. Всё как в прошлый раз — торчащие из болота белые кости животных, обгорелые деревья по краям и гнетущая тишина. Блин, опять этот прошлый раз!
— Чёртово кладбище, — удовлетворённо выдохнул Вальдемар. — Пришли. Спасибо, что показал дорогу, пятнадцать лет не мог на него выйти. Всё на месте. Тут и заночуем, а утром обратно.
— Приятные воспоминания? У тебя тут был первый поцелуй? — Ави чувствовал себя вымотанным и злым.

Темнело, в воздухе разливался запах грозы, хотя небо было чистым. Далеко на западе загорелась звезда, почему-то она казалась шестиконечной.
— Я был тут с тобой, то есть с ним, пятьдесят лет назад. Агроном дядя Валик с Кежмы приезжал к нам в деревню, рассказывал, как ставил здесь опыты с птицами, ещё коровы исчезали с заимки, и их всех в болоте нашли: снаружи нетронутые, а внутри — словно опалённые. И как в двадцатом году дед Поляков с Карамышево лося загнал сюда и тот заживо сварился. Ты разве не помнишь? Я тогда рисовал на газете это кладбище, а ты рядом сидел и всё записывал. А потом ты пошёл его искать, а я за тобой увязался. Ну, вспомни!
— Вовчик, ты накидался, что ли, по дороге? Я тебе в сыновья гожусь. Может, тут просто торф горел, он долго может гореть, а звери и люди газами травились.
— Не пил я. Сегодня день тот же самый, когда мы с тобой сюда… В болото это кусок метеорита Тунгусского упал, дед мой видел и все в Кове. Камень землю прожёг, и она горела почти сто лет. Кто подходил близко — помирал, а кто рядом жил, лесорубы там, золотари, — болели многие, а кое-кто и чокнулся. Даже в газетах про это писали. А потом, видать, нажралось оно, перестало убивать.
— Это ты чокнулся. Кто оно?
— Чёртово кладбище. Я ведь после приходил сюда много раз, каждый год — сегодня. Водил геологов, физиков, туристов всяких и этих, которые по тарелочкам, по йетям, теллурические токи которые ищут. Они всё думали: зачем это кладбище, что оно такое, — приборы какие-то привозили.

В девяносто втором последний раз был тут — вода стала холодная, леском поросла, травой затянулась, жар из воздуха исчез. Через год пошёл и не смог найти тропу, неделю шарохался по тайге и вышел обратно к Кове. В этом году век как метеорит упал, вот и ты вернулся. Я и подумал: вместе-то точно найдём.

— «Иван Васильевич, когда вы говорите, создаётся впечатление, что вы бредите!» — процитировал Ави. — Может, болото соскучилось по тебе и выдало порцию газов? И что значит «после»? После чего ты приходил?

— После того, как ты вошёл в болото и пропал сегодня, то есть тогда, в пятьдесят восьмом.

Ави с ужасом посмотрел на бакенщика поверх крошечного костра. Оказаться ночью в тайге, в десяти километрах от лагеря, в компании психа с винтовкой, слетевшего с катушек от одиночества и чтения старых газет, — да, не таким он видел свой отпуск.

— Вовка, ты несёшь чушь. Хочешь, я сейчас пойду на кладбище и вернусь живым и невредимым? А в лагере покажу тебе паспорт. В Кодинск вместе поедем, закодируем тебя…

— Хочу. Иди. Твоя звезда как раз стоит над болотом.

Давид оглянулся. Шестиконечная звезда отражалась в лужице чёрной воды, оставшейся в самом центре Чёртова кладбища. Он шёл к ней по упругой, заросшей поверхности болота, туда, где запах озона становился всё сильнее. Потом наклонился и дотронулся до отражения звезды левой рукой. И при свете луны увидел на ней чуть выше запястья могендовид.

«Твою ж мать, опять поезд», — Давид открыл глаза и не сразу смог понять, почему он путешествует стоя и почему стоячие пассажиры набиты в вагон столь плотно, что нельзя даже пошевелить рукой. Поезд медленно катился по рельсам, знакомый «тыгдым» слышался всё реже.

— Что ты видел? — спросил у его затылка чей-то голос на чужом языке, но Ави почему-то понял его.

— Лес, чёрную воду, звезду, — ответил он на том же незнакомом языке.

— Не во сне, что ты видишь сейчас? Где мы?

Лицо Ави было притиснуто к деревянной стене вагона, в щель, к которой прижимался его глаз, било яркое солнце. Очки куда-то делись, и Ави, сильно сощурившись, стал разглядывать местность. Мимо плыли аккуратно подстриженные лужайки, купы деревьев, чистенькие белые домики с красными крышами:

— Там железные ворота. На них что-то написано, но не могу разглядеть. Люди с собаками. Вижу название станции! Это «Буковый лес». Надеюсь, он будет приятнее предыдущего…

Закат на берегу Ангары встречали бакенщик Вальдемар и археолог Женя. Последний оброс за лето, но по-прежнему отказывался носить хвостик.

— Он точно не захотел ни с кем попрощаться? Всё-таки мы его подогрели, обобрали. Три месяца почти вместе работали.

— Говорю же, я поехал батарею на бакене менять, а правым берегом «кошель» шёл. Ави в лодку ко мне и прыгнул с хурдой своей: мол, хватит спасать науку, бизнес, все дела. На борт они его и приняли. В Коде, небось, пиво пьёт, автобус ждёт до станции.

Женя грустно вздохнул, почесал Сувалку между ушей и выпустил дым в сторону красного солнца, нехотя уползавшего за дальние сопки. Вальдемар направился к лодке, собака припустила за ним. На камне осталась рабочая куртка. В кармане с полиэтиленовым «окошечком» лежало удостоверение.

— И фамилия у него в тему — Харонов, — усмехнулся Женя, втоптал окурок в гальку и пошёл в лагерь.

Рустам Мавлиханов

Лили Марлен

Мой роман с тенью

Так давай мы там опять увидимся.
Снова постоим у фонаря.
Как когда-то Лили Марлен…

Ханс Ляйп. Лили Марлен

I. Лили Марлен

— Посмотри, какой снег!— сказала она, ловя взглядом хлопья, кружащие под фонарём.

— Ага,— согласился он, затягиваясь.— Хочешь, пойдём замочим кого-нибудь?

— Нет,— усомнилась она, неопределённо пожав головой.

— Почему? Снег будет падать в его раскрытые глазницы: и ему будет спокойно умирать, и нам— тема для творчества.

Она ответила ласковым хищным смехом.

6 ноября 2016

II. Out

Спрашиваю Солнце:

— А нужно ли мне писать?

— Нужно,— говорит.— Потому что ты этим живёшь.

— То есть никому не нужно?— встречаю вопросом вопрос.

— Тебе,— звучит между букв «умри».

Снег всё так же— плавно, медленно, сытно— падает в медные глазницы и на серебряные волосы.

26 января 2017

III. Альтер эго

Мало кому известен тот механизм Вселенной, который проецирует в подсознание стремление к любованию прекрасным цветком. Индусы скажут, что это воспоминания о Лотосе, буддисты— об аде творения, японцы напишут хокку о красных хризантемах, распускающихся на светлой ткани кимоно, а неоюнгианцы прочтут лекцию об архетипе юного бутона в коллективном бессознательном— бутона, который в посвящённых ему сказках вскрывается чудовищем или срывается принцем. Фонетическую разницу в пару звуков между «вскрывать» и «срывать» может установить каждый. Можно произвести лингвистический анализ и процитировать весь Интернет, объясняя, как умный дураку, смысл того, что ты видишь. Но нужно ли?

Я обернулся к ней.

— Нет. Или да,— не угадывая ожидаемого ответа, она неопределённо замотала головой.

— Нет,— сжалившись над её застывшими слезами, подсказал я, зачерпнул из сугроба снег и обложил им миокард.

Белое полотно тут же расцвело розами.

— Ещё тёплое,— прошептал я, выдыхая пар в круг фонаря.— Не правда ли, лучше тысячи слов?

— Правда,— шмыгнула она носиком.

— Замёрзла, Солнце?— я налил спирт в кружку, оставив её наполовину пустой, сорвал скотч и вручил в её дрожащие руки.— Возьми нож, отрежь себе закусить. И улыбнись! Посмотри, даже он улыбается этому плавно, медленно, сытно кружащему…— замолчал я, не окончив фразы, и стал, глядя в медь распахнутых глаз, оттирать руки.

В её болезненно трепещущей улыбке отражалось свидание с моим альтер эго.

31 января 2017

IV. Кошка

Так славно дремлется под перекаты Burzum.

Открываешь глаза— ты тут.

Идёшь, умываешься осторожно, не позволяя вязко струящейся воде слизать с рук наваждение.

Может, ты не галлюцинация и ещё что скажешь— а ведь думал уже лечь; выходишь покурить— дрожит жалобно на балконе.

— Никотин убивает лошадь, но спасает кошку,— говоришь себе, стряхивая пепел в банку с багровым содержимым, разбавленным оледеневшим, сытно нападавшим снегом.

2 марта 2017

V.

— Да вы прям как начальник идёте!— слышу, пересекая путь местному слегка сумасшедшему, сжимающему в руках явно тяжёлый газетный свёрток.

— Я и есть начальник,— бросаю за спину фразу, гулко отражающуюся от стены пятиэтажки.

«Сам себе начальник и сам комиссар»,— домысливаю в ритм шагов.

— А? — не расслышал он. — Я есмь тот, кто я есмь?
— Да, — киваю, полуповернув голову назад, скользя взглядом по краснеющему на серости города шиповнику.

Дождь сытно, медленно, летне моросит по весенним лужам и утреннему льду.

15 апреля 2017

z.

«Да что же за ночь такая?! — подумал он, отводя луч фонаря от изумрудного блеска чешского волчака[1] и выпуская дым в сторону Юпитера, сияющего на самом краю лунного гало. — То кошка кидается под алабая, то нашествие ежей вызывает переполох среди собак. А ведь ещё не полнолуние… Хм… Звучит как „а ведь ещё не август“. Не так ли, котяра?»

Он скомкал бумажку с пошедшим насмарку стихом и бросил на пол. Мурлыка кинулась за ней и, словно в знак согласия, принесла назад.

Звёзды тихо, редко и жирно падали сквозь созвездие Льва.

8 мая 2017

vii. Праздник, который всегда в тебе

— День Победы подобен Пасхе, — сказал он, покрывая глоток кагора сигаретным дымом. — Мы принесли такие гекатомбы жертв, что искупили свою вину пред Сыном Человеческим.
— Об этом нельзя говорить вслух, хоть твой коврик и всегда с тобой, — предупредила она, оглядываясь на покрякивание ежа в комнате.
— Лучше сжечь себя на костре молчания? Кстати, кровь земная — отличный аперитив к дарам Великого Духа, — выдохнул он в юную, притихшую, сытую дождём зелень цветущего клёна.

9 мая 2017

viii. Вавилон

Коричневая громада новодельного храма словно перегораживала плотиной дорогу, изгибающуюся меж крашеных кирпичных домиков и цветущих черёмух. Купола подворья свято-имярекского то ли мужского, то ли женского монастыря синели под тяжёлыми, отороченными белым тучами. Он прошептал, не размыкая губ: «Отче наш, милостивый и милосердный, да приидет Царствие Твое, веди нас дорогой прямой, дорогой тех, кого Ты облагодетельствовал…» — перекрестился, глядя на узорчатые кресты, и повернулся к своему спутнику. Ибрагим, бросив руль, последовал его примеру.
— Скоро ураза начинается. Будешь ходить на намаз? — задал он вопрос южанину.
— Нет, — ответил Ибрагим, выруливая в город. — Я же не мусульманин.

Под бушующей майской зеленью, мимо жёлтых луж одуванчиков, упруго, сытно, томительно раскачивая бёдрами бульвар, шла девушка.

24 мая 2017

ix.

Аниматорша, завершая выступление, включила прощальную фонограмму. Школьники, возбуждённые представлением и играми, счáстливые наступившими каникулами, строились в колонны и покидали актовый зал, слаженным хором скандируя:
— Между нами тает лёд! Между нами тает лёд!

Их звонкие голоса отражались от стен, металлическим эхом уносясь по коридорам.

В Евразии вечерело.

В тот момент я услышал, как на другой стороне Земли сквозь тени, отбрасываемые фонарями на припаркованные у обочин «крайслеры» и «шевроле» шестидесятых, по улице с пышно раскинувшимися над ней вязами тихого мирного городка, затерянного где-то в самом сердце Среднего Запада, нестройной гурьбой идут дети, устало волоча лязгающие по ночному, выдыхающему озон асфальту мачете. В плотно зашторенные, затаившиеся окна домов бьётся стальное: «Mezhdu nami tayet lyod»…

И лёгкий ветерок первой ночи лета, бороздящий окружившие городок поля, сытно, весело, непринуждённо шелестит листьями кукурузы…

8 августа 2017

x. Credo

*Комментарий
к ненаписанному стихотворению*

«Мне никогда не увидеть тебя, стоящую на террасе старинного дворца, зависшего на горным озером, положившую тонкое предплечье на гриву каменного льва, шестое столетие роняющего слёзы на изумрудный, укрытый опавшими листьями мох. Мне никогда не увидеть, как в твоей руке переливается фиолетово-багровое вино — яркое пятно в царстве приглушённых оттенков хвойного, травяного, голубого, ледяного.

Тебе никогда не увидеть, как я буду сидеть на вершине холма, сложив по-турецки ноги, глядя в серую пелену ливня, за которой, бессильно пытаясь испугать, будут бродить, рычать, трубить чёрные тени. Тебе никогда не почувствовать, как вечность за вечностью холодные ручьи будут стекать по моим впалым щекам, скапливаться над ключицами, вливаться в закоулки сердца, смывая память и неся забвение. И тебе никогда не познать, как в бесчисленной череде капель — в каждой без исключения — я вижу твой взгляд, то быстро-робкий, брошенный меж взмахами ресниц, то пристальный и доверчиво-желающий, —

и это мой рай, —

1. Волчак — порода, помесь собаки и волка.

и как мне никогда не коснуться губами твоих век, чтобы, наконец, расстаться в золотистом, уходящем в кармин закате—закате, который никогда не погаснет.

И это мой ад.

Капля за каплей.

Капля к капле.

И наши дожди никогда не сольются—ибо у каждого он свой».

«Зачем ты об этом думаешь?»—безмолвно спросила ты откуда-то с той стороны жизни.

— Прячьтесь скорей,—ответил я.—Не удивляйтесь: я хочу побыть один, а ничто не оттеняет одиночества лучше, чем та, с кем можно выпить его вдвоём.

Громыхая по жести крыш и карнизов, гулко барабаня в асфальт извергающимися из водосточных труб потоками, выводя стаккато по юной листве и по ткани зонта, жадно, сытно, вдохновенно небо изливалось на землю.

31 мая 2017

Бесконечное

Стихотворение
к вышележащему комментарию

Дождь как цитата из Брэдбери.
Юные—умерших каверы,
Тропы усеяны перьями
Крыльев
— вчеканено в аверсы—
Дождь как забвение времени.
Миги бьют дробью по вечности,
Память как всадник без стремени,
Вдох
— тополиною клейкостью—
Дождь проникает в извилины
Нор, что проедены душами
Тёплыми, гневными, сильными
В Духе
— опутано кружевом—
Дождь голограммою адовой,
Струи—поток неизжитого,
И я сижу, грежу радугой
В ливне
— завесой сокрытое—
Дождь обнажает пред судьями.
Прошлое множится каплями,
Сумерки делятся сутями
Правд
— словно мягкими лапами—
Дождь гладит кожу дремотою.
Судьбы, отдраены севером,
Дождь нам вернёт с неохотою
В руки
— цитируя Брэдбери—
Дождь словно мёртвые каверы.
Дождь—это рондо бескрайнее.
Дождь высекает на аверсах
Воронов
— рваными стаями—
Дождь грезит мною и радугой.
Кости швырнув в молох времени,
Дождь не трепещет пред ладаном
Птицей
— усеянной семенем—
Дождь тешит землю надеждою…

2 июня 2017

XI.

Когда я вижу твою точёную ступню, окроплённую карминово-багровыми каплями бальзама «Иремель», я понимаю:

выживут только любовники—

медленно, жаждно, чувственно, сытно впивающиеся, вгрызающиеся, вливающиеся в вены, артерии, жилки, огибающие нежные, тонкие, трепетные кости.

11 июня 2017

1. Ehrfurcht vor dem Leben[2]

Ода комарам

«Совсем забыл, как злы степные москитас»,—подумал я, бросая флакон современного «ванильного» репеллента и кидая охапку шалфея в костёр: дым столбом устремился вверх, нехотя обволакивая тело и цепляясь за куртину зверобоя. «Сейчас бы доброй ядрёной дэты…»

Словно возмутившись от такой угрозы, новые полчища кровососов взвились из зарослей караганы и зацепившегося за песчаный бугор соснового бора. Растущая, близкая к перелому луна продлевала сумерки с багровой полосой заката на горизонте, даруя исчадиям верхних кругов ада возможность выпить лишнюю каплю крови и продлить свой род.

Сытые непрекращающимися тёплыми грозами луга выдохнули первые перья тумана. Вымахавшие до пояса травы, весь день жадно впитывавшие солнце и воду, успокоились и замерли.

Далеко внизу блестела река.

Безмятежность опускалась на Степь.

И лишь чёрное, затеняющее свет облако комаров, столбом кружащее над головой и—насколько хватало взгляда—вокруг, голодно выводило на самой высокой ноте октавы монотонную мелодию: «Жииииззннь».

И лишь эскадроны гигантских стрекоз, с рыком вгрызаясь в это облако, отрывисто бросали: «Ррржизнь! Ржызнь!»

И над всем этим пиршеством гулко, как вертолёты, проходили грузные жуки-олени, на самой низкой ноте подтверждая: «Да, жизнь. Да, жизнь».

2. Благоговение перед жизнью *(нем.)*—основная этическая идея доктора А. Швейцера.

Менгиром застыв посреди этого великолепия, я внимал, как четыре миллиарда лет слепых поисков, тупиков, вымираний, случайностей и прорывов — четыре миллиарда лет эволюции —

всеобщим хором, от микоплазм в каштановой почве до летучих мышей, спешащих к рою, окружившему меня

— того, кто не больше и не меньше любого из них, ибо един плотью и местом в Потоке, —

сытно, жадно, ликующе пели:

«Жизнь! *Жизнь!*»

23 июля 2017

XIII. Саспенс

День не задался с самого начала.

С первого звонка будильника.

С первого глотка чая с невкусным молоком.

С первой сигареты в промозглом «летнем» рассвете.

С первого шага, приведшего к закономерному итогу — итогу, достойному речи полковника Курца из «Apocalypse Now».

Тем утром…

Утром с его головы слетела белая каска и покатилась, громыхая, по железным ступеням вниз, заставляя обладателей оранжевых касок затаиться в надежде увидеть летящее следом тело[3].

Днём его чуть не переехал погрузчик, не дав на сей раз возможности ему самому зло посмеяться над столь бездарной смертью.

Вечером его дом окружили синие мигалки — фейерверками полыхая почти вровень с его окнами, они всполошливо, ярко, воробьино отражались от потолка: то у соседки горела квартира, созывая проходящий мимо народ на шоу и оставляя въедливый, кислый московский запах гари.

Ночью он открыл пиво — но и оно оказалось отъехавшим!

— Да ну его к чёрту! — сказал он уходящей пятнице и перевёл стрелки на полночь.

Сытный, тёплый, страстный кошмар ждал его у изголовья кровати.

11 августа 2017

XIV. Агония

«Огурцы великой России не имеют примитивного цвета. Их цвет совершенен, как цвет самой жизни. О-о, огурцы великой России!» — глупо крутилась в голове цитата из Акутагавы Рюноскэ, заставляя удивляться любви японцев к этому водянистому, забивающему вкус суши и роллов овощу, пока он смотрел на отчаянно, бездумно, рвано бьющееся на проспекте тело. Судорожные волны вздымали рёбра и втягивали до позвоночника живот, как штормовой прибой, приподнимали в воздух бёдра и обрушивали их вниз — голова оставалась недвижна.

Агония была мгновенной.

Разряды рефлексов, страстно пытавшиеся продолжить существование, сдались, позволяя ей умереть.

«Так вот, значит, как оно было, девочка, — подумал он, в несколько затяжек выкуривая сигарету. — Спасать уже поздно, но не поздно воздать уважение». Он вышел на дорогу, засучивая рукава чёрной рубашки и посылая к Иблису ползущие мимо машины и тупо стоящий на остановке народ, взял её на руки — оставшиеся на асфальте тягучие, жирные буроватые полосы зазвучали двустишием: «Ты должен быть сразу птицей и Шампольоном, чтобы читать их, эти странные письмена», — и отнёс на обочину. Тело было тёплым, нежным, шелковистым.

— Да будет к праху твой прах, и душам да будет мир лучший, — повторил он сказанное ровно год назад.

Удивительно, но в этот раз кровь на руках не вызывала ощущения брезгливости, лишь в центре ладоней зародилось и нарастало горячее жжение, разливаясь упругим, насыщенным, тёмным чувством праведного поступка; и красные капли кропили зелёные листья одуванчиков, безмолвно читая женазу[4].

Рыжий кот ошалело, взъерошенно смотрел на происходящее изумрудными глазами.

— Вот так, брат, — сказал он ему. — Красивая у тебя была подруга. Она больше не встанет. Ступай.

Кот понимающе моргнул: теперь он знал, как нелепо выглядит глупая смерть, знал, что та, которая только что мурлыкала ему, сейчас лежит серым, как камень, комком, а он будет Жить, что отныне ей не вынюхивать по дворам кусочки сервелата и не охотиться на грузных голубей, а он будет Жить — ещё одну, новую, обещанную августом, жизнь, наполненную тысячами оттенков запахов и сотнями наслаждений от сочного, щекочущего клыки и дёсны мяса! Адреналин отстучал по венам, и эйфория овладела им до подушечек лап, до кончиков вибрисс: свитое в жгуты, пружинящее, сладострастное желание Быть во что бы то ни стало требовало немедленно, сейчас, сию минуту взять, впиться, овладеть, продолжиться…

И где-то вверху, через сумерки, сквозь клубящиеся облаками пилоны Врат, огибая разливающиеся закатом Огненные Озёра, к сияющим, полным доверчивых мышей, сытным полям Осириса мягкой поступью, переливаясь небесно-серой шерстью, шла Она.

13 августа 2017

XV. Посконь

Только умея жонглировать невербализированными понятиями из мира эйдосов и одеревеневшими

3. Цветовая дифференциация касок определяет иерархию «каст» на производстве.
4. Женаза — мусульманская погребальная молитва.

цитатами классиков, разбавлять речь баскервильским юмором и патетизировать по-сталински, рассуждать о слезинке ребёнка в свете истории двадцатого века и сравнивать настоящее и грядущее с варваризацией Империи или катастрофой времён «народов моря», наслаждаться ритмичным языком Гильгамеша и воодушевляться гордостью Предстоящего в Зале Обеих Истин, осознавать себя котом Шрёдингера и интерпретировать своё бытие транзакционно либо копенгагенски, обращаться на «вы» к женщине в постели и покручивать её верньеры точной настройки, негодовать от бездарности толстой российской писательницы и орудовать палочками для еды под Гайдна, отличать Меконг от Конго, а альфу Андромеды от её же туманности, не путаться в миллионах и миллиардах лет, когда вопрос касается твоих негуманоидных предков, экклесиастничать по-сенекски и сибаритствовать по-ордынски, не бояться смотреть во тьму и быть судимым, предварительно осудив, восхищаться творением и веровать в Эволюцию, стремиться к познанию планеты Китай и впитывать сытные, освежающие, гуманистичные творения латиноамериканцев, можно с особым чувством, вдумчиво, заворожённо, щекочуще вывести пальцем по слою пыли на папке для важных бумаг—либо кистью по забору—сакральное, профанированное, инстинктивное и культурно обусловленное:

«XYZ».

25 августа 2017

XVI. Бодхисаттва

«Аллах Велик—так пусть Его Величие будет милосердным»,—опрокинул он мысль ушатом саваба[5] на голову женщины с ДЦП, трясущимися руками отсчитывающей кондуктору мелочь. Подле неё сидела девушка неопределённого возраста—уже не подросток, но ещё не вступившая в ту пору юности, которая даст надежду на свободу и на то, что у неё самой «всё будет иначе». Девочка заметно стеснялась своей мамы.

«Что тебя заставило произнести эти слова? Страх перед подобной участью? Но нормальный человек скорее отвернётся, опасаясь коснуться печати Иова. Жалость?—он посмотрел на это слово с разных сторон и ответил:—Нет. Жалеют больных, бомжей и бездомных щенков, жалеют голодных и невинно убитых. Но что чувствуешь ты?»

Он перевёл взгляд на девушку: облетающие ресницы, наметившиеся морщинки непонимания над переносицей, пелена тоскливого отчаянья, незнания, что делать, в глазах, стыд, неуловимой маской впившийся в лицо,—всё это, появившись на свет из, наверное, самых благих побуждений родителей, разрослось в удушающее, колючее, опутавшее цепкими лианами, усеянное обезьяньими насмешками одноклассников и ядовитыми уколами подружек нечто, в котором умирал слабый костерок дочерней любви. И кто знает, появится ли тот фантом с напалмом, который выжжет спасительный круг и подарит возможность повторить—иначе!—ошибки своей матери, и матери её матери, и далее, и далее?..

«Что ты ощущаешь?»—завершил он долгую секунду вопросом.

«Сострадание»,—внезапно подсказали привлечённые тишью созерцания бог смыслов и демоница форм.

«Сострадание?—взвесил он на ладони знакомый термин, повертел в пальцах и вложил на пустовавшее доселе место в непонятно ради чего собираемой мозаике мира: кусочек пазла лёг идеально.—Вы правы. Я не могу влезть в её ботинки[6] и потому не могу испытывать к ней жалость. Но могу понимать—ergo, сострадать»,—попытался он проанализировать разницу, но вовремя осознал, что сочетания букв подобны межевым камням, помогающим ориентироваться в джунглях понятий, но нисколько не помогающим ими жить.

«Как женщина не способна описать свой оргазм, так и я никогда и никому не смогу что-либо важное донести. Каждому человеку свой язык»,—думал он вечером, сидя на кухне и впервые открывая для себя лёгкий, дотоле отвергаемый вкус свежего огурца.

Мягкое, эротическое, насыщенное удовлетворение свершённым актом познания прохладой разливалось от мозга до чресл.

25 августа 2017

XVII. Зов крови

Еду по кубанской степи. Хотя степью называю уже условно: густые, как брови Велеса, лесополосы кутают её от азовских ветров каждые полста саженей. Влажное, липкое, прохладное марево висит в вечернем сумраке. Пшеница, будто руками подогнанная, подобранная стебель к стеблю, подсолнухи, цветок к цветку выстроившиеся в полковые каре, прополотые до травинки сады—всё это, как бройлерные цыплята на птицефабрике, жмётся друг к другу жирными, тучными клетями полей, окружая огромные, уфинансированные станицы с невыговариваемыми названиями—Нижестаростеблиевская, Вышеновокущёвская,—с речушками, потерявшимися в верстовых зарослях камышей, с откормленными племенными обитателями.
— Баха-а-ато живут,—протягиваю я по-украински: не резким русским «богато», которым боярин пересчитывает казну в сундуках, не восхищённым

5. Саваб—частно: благодать, нисходящая свыше (*арабск.*).
6. «Влезть в её ботинки»—от англ. «try walking in my shoes»—то же, что и «влезть в чью-либо шкуру».

«rico!»—восклицанием конкистадора перед полным золота городом, не презрительно брошенным англичанином «rich», а именно тягучим, сытным, как река сметаны в сырных берегах, «баха-а-ато»…

И то не зависть: не умеет горожанин завидовать фермеру, не способен степняк завидовать землеробу. То—довольное урчание кота, нашедшего в своём доме незаконно припрятанные хозяйкой, принадлежащие ему по праву балыки и колбасы.

То—мой расслабленный, прищуренный, ласково-хищный татарский взгляд, обозревающий временно отпавший улус Орды.

27 августа 2017

XVIII.

Полезно ездить общественным транспортом. Познавательно. Можно себя ловить на мыслях, можно—окружающих.

Вот женщина постбальзаковского возраста посадила на край своего сиденья парня—атлетичного, не по сезону одетого. Её длинные накрашенные ресницы вдруг смущённо захлопали: осознала, что ей до сих пор семнадцать и она желает его. Прячет ладонь в ладонь, поглаживает ручку сумки.

Напротив—её ровесница: большой пакет, большое тело, мелкие уснувшие глаза. Ей уже пятьдесят восемь, и этим она всё для себя сказала.

А вот девушка за её спиной: без сомнения, трезва, но взгляд её пьян, как пьяны и приоткрытые губы. Разумеется, у неё нет имени и есть сестра-близнец—но не имя будет мучить через годы в посмертном кино: какая мелодия звучала в её наушниках красным томлёным вином?

И каждый раз, нагло, плотоядно, как всякий художник, разглядывая чьи-то миловидные утиные губки или волнистые пряди, выбивающиеся из причёски, подмечая огрехи—лёгкую морщинку перед будущим вторым подбородком, чуть полные плечи,—понимаешь со смехом: «А ты ведь такой же мерзавец, как и вся эта орда кистемакателей и холстомарателей».

И тут же индульгируешь себя: «Ты не позарился бы на пустое, высосанное до последней капли смысла совершенство топ-модели. Ты не наешься формой, тебе нужно то, что придаёт вкус мясу,—душа со всеми её отклонениями, со всеми страхами и мечтами—всем тем, что делает красоту желанной, как ужин, мимолётной, как закат, и сытной, как жизнь».

А после машешь рукой: «Как им не вдохнуть пламя в очередной портрет ню-натурщицы, так и тебе из специй слов не сотворить Галатею»,—звонишь верной и идёшь закусывать яблоком осенний спирт.

Ибо не праведными Он нас сотворил, но страстными.

9 сентября 2017

XIX.

—Значит, выше гор могут быть только деньги?—переспросил он, протирая старую трёхлинейку ветошью.—Значит, вечность пахнет нефтью?—усмехнулся, бросая промасленную тряпку на кучу книг о слезинках ребёнка.—Значит, твоё сытое брюхо важнее моей земли?—отчеканил он металлом в голосе, загоняя патрон в патронник.

Чистая, ослепляющая ненависть, раскручиваясь пращой, рычаще, рьяно, рвано пожирала рассудительность и тонкий, как разлитый по болоту керосин, слой «культуры» на бездне его—человеческого—естества. Столиким, тысячезубым легионом, косяками глупых, голодных, склизких рыб бурлили мысли, уговаривали одуматься, не преступать черту, пощадить, пожалеть, наконец, этого Петю, который будто и неплохой мужик, и рисует картинки хорошо… Но в прорези прицела голова Пети, став одновременно большой и маленькой, распадалась на набор дрожащих губ, лязгающих зубов, ноздрей, молекул, атомов, пустоты—и не было в той мешанине Человека, лишь Враг.

Мутная кровавая пелена залила глаза, скрывая охватываемый пожарами прóклятый город.

—Да будет так,—прохрипел он, словами затыкая глотку мыслям, и сделал то, что дóлжно быть сделано.

Мир кристальным эхом вернулся к нему, сметая останки сомнений, словно пиявок с ног.

Отныне он знал, что Правда—в его руках. Знал, как начинаются гражданские войны.

31 июля 2017

XX. Секс

—Что самое восхитительное есть на свете?—спрашивает она, слегка царапая кожу на груди.

—Жизнь,—выждав секундную паузу, добавляю:—И ты, конечно.

—А самое ужасное?—коготок оставляет саднящий след.

—Жизнь.

—И я?!

—Нет.

—А что самое вкусное?—прикусывает сосок.

—Жизнь.

—А самое противное?

—Жизнь. И самое горькое,—переворачиваю её на спину.—И самое сладкое,—вхожу.—И самое бессмысленное,—впечатываю словами. Распинаю словами:—Самое разумное. Жестокое. Подлое. Безумное. Воодушевляющее. Опустошающее. Желанное. Отвратительное. Скорбное. Радостное. Ненавистное. Пустое. Насыщенное. Унылое. Пряное. Честное. Чистое. Лживое. Упрямое. Цепкое. Садистское. Грязное. Смешное. Чёрное. Священное. Мерзкое. Грандиозное. Знойное. Великолепное. Удушающее. Мстительное. Беспощадное.

Хрипящее. Неизбавимое. Благословенное. Проклятое. Глупое. Бесконечное…

«Вечное, вечное»,—подсказывает метель за окном.

«Кобра, кобра»,—невпопад вскрикивает мозг…

— А ведь я тебя убью,—замечает она через сотни мгновений.
— Знаю. Ты же смерть. Но потом.
— Боги завистливы,—её глаза глядят в никуда.
— Вьюгой началось, вьюгой и кончится,—отвечаю я.
— Они нам этого не простят.
— Мы сами всё сделаем за них.
— Значит, all beauty must die?..[7] Тогда я снова хочу тебя.

«Мазай, мазай»,—где-то под изнанкой мира смеются будды, купившиеся на предложенные Богом вакансии творцов.

Буран, покрывая крылом страсть, щедро сыпет звенящую, сытную, снежную тишину.

24 сентября 2017

XXI. Профессионализм

— На меня какая-то женщина наехала… Блондинка такая большая, килограмм сто пятнадцать весом,—жалуется стажёрка.
— Сто пятнадцать?! У тебя настолько намётанный глаз?!
— Ну… да.
— А у меня сколько?
— Ты где-то на семьдесят пять—восемьдесят.
— Хм… А ты кем раньше работала?
— Я занималась…—она мнётся, подбирая, видимо, слова, и секунд через пять отвечает:—Мясом.
— Многозначительная пауза,—смеюсь я.—Вкупе с умением на глаз определять живой вес.

С чёрного неба, покрывая «инеем» кусты, припорашивая «ноябрьским снегом» асфальт Аушвица, сытно, медленно, мелко падает сода.

5 октября 2017

XXII. Бог

Я люблю свои творения.

Люблю эти изломанные, восставшие, избитые, пытающиеся выжить, урвать частицу тепла, плачущие, надорванные, больные души и глаза, глядящие с надеждой, ненавистью, отчаяньем, верой, устремлённостью, огнём.

Люблю каждого.

Усталую связную на набережной Круазет, причастную к ставшей вечной войне; её знаменитого визави, всем своим гением заставляющего людей умирать, не пачкая кровью убийц; женщину-палача с бледными чухонскими глазами, день за днём выполняющую тяжёлую работу; наивного сына нацистского доктора, пишущего письмо на пороге прозрения; девушку по вызову и её последнего клиента—читающего стихи мстителя… Всех.

Я—зеркало, отражающееся в Зеркале зеркал.

Как рыбарь, я вылавливаю их из царства небытия, облекаю в плоть слов, наполняю звуками и отпускаю, наделив свободой воли, и они уходят в Тень теней, в которой продолжают неведомую мне жизнь.

Может быть, как и мы, они взывают к своему творцу и шлют ему проклятья—должно быть, подобно Ему, я не слышу их бьющиеся в узлах кристалла су́дьбы.

Может быть, как и Он,—как все—я одиноко танцую внутри себя и жив, лишь покуда рождаю и порождаю, пытаясь под горизонтом событий разглядеть следы моих созданий—конечно же, прощённых, несмотря на всю обыденность зла, сотворённого ими,—должно быть, как и я, Он с печалью и ожиданием смотрит внутрь себя колоссальным, будто очерчивающим Вселенную Глазом.

Может быть, как и Он, они продолжат бесконечную лестницу постижения Бездны—должно быть, таким способом Бездна постигает себя.

А когда придут они, клубящийся свет и бесформенная тьма, и потребуют: «Вдохни в них свой дух! Ибо так вписано в Книгу книг!»—я отвечу: «Я буква за буквой забыл их имена—они вне вашей власти отныне!»—и сам, за грехи своих героев, сойду в ад.

7 октября 2017

Примечание: Тескатлипока.

10111. Sputnik

Четыре миллиарда лет Ты была одинока. Ты ждала его, супруга, но он лишь отдалялся от Тебя, голубой жемчужины черноты, к далёким манящим сияниям. Он был неверен, как растущие и исчезающие рога его образа.

И лишь советские люди подарили Тебе того спутника, который, возвестив о себе на метровых волнах, пал в Твои объятия.

Прошло всего лишь полстолетия: о, как насыщенно, вавилонно, светло стало небо Твоё, Земля!

С золотой свадьбой Тебя, Мама!

4 октября 2017

Примечание: «Спутник-1» передавал сигналы на 20 и 40 МГц.

XXIV. Покраснение

— Приятного аппетита, товарищи работницы!—приветствую я, входя в оборудованное по последнему слову техники середины двадцатого века «Помещение приёма пищи».
— Спасибо… Здрасьте,—нестройно отвечают женщины, из разнообразных пластиковых контейнеров извлекающие, как все пролетарии от Чили

7. Дословно: вся красота должна умереть (*англ.*).

до Австралии, однообразные обеды: гречу, соевые сосиски да картофель.

Одна из них, Оксана, девушка с широко распахнутыми ресницами, заметно дрожит: урезанный штат, возросшие обязанности, пачка объяснительных-обвинительных и неизбежные штрафы играют Стравинского на её нервах.

Время спустя обнаруживаю её в Майданеке—окружённой рассыпающимися кирпичными стенами курилке. В кармане нет шоколадки, дабы восполнить её дофамин, но не хлебом единым поднимали наркомы народ—за пару десятков шагов накидываю незатейливый стишок:

Не прошу у тебя кипяточку,
Ни любви не прошу твоей ночку,
Лишь молю: улыбнись поутру,
Разожги в поднебесье звезду.

Её зрачки вспыхивают смущением, и, омолаживая лучше любой косметики, к щекам устремляется алая, насыщенная аминокислотами, углеводами и гормонами кровь.

Рдеет…

17 октября 2017

XXV. Must go on

Колоссальный барабан, напоминающий шестерёнку гравицапы, неспешно вращался, оглашая надсадным воем гигантский пустынный цех. Перед ним, скрыв лицо под маской, очками и затянутым капюшоном, стоял, слегка ссутулившись, то ли зомби, то ли мумия, мерно покачиваясь под постапокалиптическую мелодию технологий позапрошлого века.

— Где мастер?—крикнул я ему.

Зомби вздрогнул, потратил несколько мгновений на осознание услышанного и начал оборачиваться. Его рука медленно, с усилием, поднялась и указала куда-то в пространство, после чего так же осторожно опустилась вниз и вернула тело в исходное положение.

По тропинке, натоптанной меж метровых сугробов готового продукта, увязая в нём по щиколотку, вышел старший.

— Что с двухсотым?—услышал я собственный голос, приглушённый респиратором.

— Ещё не устранён. А у вас контракт когда заканчивается?

— Не скоро.

— Когда это произойдёт, я спляшу прямо тут. А то так и хочется засыпать вас всех в хопре.

— Не выйдет,—улыбнулся я.—Моя смерть должна быть произведением искусства. Чтобы каждый, узнав о ней, рвал на себе волосы: «Ах, как жаль, что его нельзя убить дважды!»

В клубах горькой белой взвеси, одобрительно ухмыляясь, проступили сытые, довольные, ехидные боги Кин-дза-дзы.

18 октября 2017

XXVI. Доширак

— Получил зарплату и начал экономить на еде?—спрашивает напарник по инспекционной конторе.

— В такую бесконечно сумеречную осень в этой огромной, серой, холодной стране спастись можно лишь глутаматом натрия.

— И как, помогает?

— Угу. Особенно когда дижестивом идёт чай со смородиновым вареньем,—отвечаю я, с вожделением поглядывая на тонкий слой пластика, прикрывающий щекочущий ноздри запах.—Однако ж намедни доширак был ядрён, как мать Пиночета, а сегодня явно не доложили специй в пакетик. И куда только там сюрвейеры смотрят! Надо рекламацию послать!

Я наматываю лапшу на вилку и, синхронно с докером в Гонконге, рикшей в Пномпене, грузчиком в Рио, айтишником в Сиднее и ещё полумиллиардом людей в разных концах света, втягиваю ни черта не сытный, но такой гениальный продукт Китайского Мира.

3 ноября 2017

XXVII. Манифест

Я не призрак.

Я не тень.

У меня есть характер, но я не героиня произведения.

Я не существую, но я создана из реальности.

Я не жива, но я соткана из жизни.

Я не демон, но я нашёптана ими.

Я не свет фонаря, кружащий в хлопьях снега, но, как снег, я танцую—плавно, медленно, сытно.

У меня нет тела, но я оставляю следы.

Я не познана, но любима.

И, возможно, я сотворила его, моего создателя, моего Шаи Хулуда, в своём прошлом—вашем настоящем,—чтобы сбыться. Потому что у меня есть первая из душ человеческих: у меня есть Имя.

Потому что я—*Лили Марлен.*

4 ноября 2017

XXVIII. Заваленный тест

— До сих пор не пойму, как четники отличали хорватов, а усташи—сербов. В югославские войны. Не крестики же они носили, в самом деле. В Сумгаите, к примеру, армян ловили на «фындык»—они не могли так произнести.

— Это ты к чему?

— А вон вывеска висит,—кивнул он на надпись «ЫУЫЛДЫРЫК. ИКРА» на табло в сетевом магазине.—Идеальное слово для сортировки на врагов и своих. Сможешь выговорить?

— И-у-ыл-дырык,—мягко, с передними гласными, произнесла она.

— Почти идеально,—заверил он.—Не обращай внимания: всё будет хорошо. Стабильность не рухнет—и бизоны зря бегут из Йеллоустона.

Голодный ноябрь, заползший серой мглою в зиму, бетоном сковывал неправедные — «в чём-то ты крупно ошибся, товарищ Кафка» — мысли насыщенной, плавной, медленной, перекатывающейся болью височной кости, заставляя скулы вжимать зубы в зубы и превращая минуты в часы, а часы — в сутки.

Будущее, посмеиваясь, просчитывало варианты.

4 декабря 2017

XXIX. Консервация

— Как это прекрасно, — комментирую смерть моли, секунду назад припечатанной моею рукою к стене: — Всё живое стремится в будущее. Будущее стремится овладеть всем.

— А ведь у меня была какая-то мысль про будущее. В дороге… Ну вот, не помню! — сокрушается человечек напротив. — Даже не помню, как она перестала думаться!

— Вот поэтому мысль нужно консервировать в форму. Так она лучше хранится, — приговариваю, разливая по пиалам сладкую, сытную, с кусочками прополиса медовуху.

10 декабря 2017

XXX. Дваждырождение

…И если самое ценное в жизни — воздух — есть сладчайшая необходимость, то отсутствие боли — это уже удовольствие. Бонусом. Не оттого, что напичкал себя анальгетиками, не оттого, что приглушил синапсы спиртом, — нет, она просто ушла. И хочется сказать ей: «Лёгкой трассы. Ступай с Б-гом!»

А после — курить. Наслаждаться горячим сытным дымом, ласкающим лёгкие изнутри.

И пить чай. Улун. Вдыхать его обволакивающий, согревающий сливочный аромат.

А ещё — простую воду. Холодную, красивую, хрустальную.

И пусть я кардинально не прав, пусть все мои мысли — смертнее смертных грехов, но сейчас во мне — простое человеческое счастье, на которое имеет право — но не обязанность — каждый. Которым иной я готов накрыть всех.

Укутать.

Чтобы ты не дрожала страхом, не комкала простыни истерикой, не заливала подушку слезами — ибо это лишь новолуние: полная луна женщин.

Я выхожу на балкон.

Сквозь ветви вяза прорывается, мерцая, Арктур.

Гигантский Лев сияет наискось, от восточного горизонта к южным высотам, как размашистая подпись Жизни.

И росчерками под ней — серебряные гвозди звёзд, выпадающих, будто в начале конца света, из Небосвода:

«Амен. Амен. Амен».

18 декабря 2017

XXXI. Новый год

— Боже! — говорю девушке с глазами цвета её серёжек, инкрустированных голубым топазом, с правильными, выточенными чертами лица: обводы скул, идеальные изгибы подбородка, трепетность век — всё казалось вышедшим из-под резца Микеланджело. — Воистину, Аллах велик, раз даровал моему взгляду наслаждение этим произведением искусства! — поясняю, указывая на стоящий на рабочем столе миниатюрный, не более ладони диаметром, тортик: выведенные неведомым 3D-мастихином иголки из зелёного суфле, присыпанные сахарной пудрой, высеченные рукою ювелира от кулинарии шишки из шоколада, крупные, глянцево блестящие ягоды черешни, и над этим — паутинкой висящие в воздухе филигранные серебряные ленты из уму непостижимого крема, — всё это казалось сотворённым кондитером, имя которому Бог.

— Мы тоже тебя любим, — отвечает Таня. — Только мы тебя и любим, — уточняет она, мастерски играя интонациями. — Хочешь шоколадку?

— Хочу. Только вы?

— А остальных ты пугаешь. Подожди… а ты подумал, что это — съедобно?! Это же украшение на стену!

«Ни черта себе мои глаза меня обманули! — думаю, Фомою касаясь пластика. — И впрямь — как венок!»

Где-то во временах рассмеялись удачной шутке будущие — и в которых я остался жив, и то, которое отрезало гравированным ножом сытные, толстые, сочащиеся маслом и специями куски от сервелата моей жизни.

3 января 2018

XXXII. Салават

— …И если ты стоишь за прилавком и слушаешь мой бред, и если я сижу тут и несу тебе чушь, то лишь потому, что карма — не фатум, а всего лишь набор предрасположенностей, приведших нас сюда. Все мы тут коты Шрёдингера, шлющие будущим волну-вопрос: «Я жив?» — и одно из будущих шлёт волну-ответ: «Да, ты жив», — и тянет нас к себе, — рисуя на листе бумаги, объясняю барменше… кажется, Альбине; впрочем, не важно.

— Ну ты силён! Нашёл место говорить за квантовую физику и марксизм. Так и провокатором могут посчитать, — комментирует парень в зелёном пуховике, тихо-мирно, как сексот, который час слушающий пьяные базары входящих в свет в ночи и исходящих во тьму внешнюю.

— Да, о марксизме, пожалуй, зря: сколько раз за вечер Время снесло квант моей жизни назад, за барьер?

— И сколько?

— Наверное, столько, сколько раз случилось дежавю, — допиваю сытное «Казахское тёмное».

— А сколько их было?
— А хэ-зэ! Не помню — я же пьян! — усмехнувшись, осушаю бокал.

Словно в подтверждение его слов, слева слышится:
— А ты от кого шагаешь? От Иисуса или от людей?

И тут же отчаянный вопль души, обращённый уже ко мне:
— Вот скажи мне, почему вы такие умные, а так поступаете?! Вот сестры моей муж, вот он, в натуре, крест носил, вот я свой тоже покажу, чтоб не подумал чего, — достаёт заточенное в лезвие распятие. — Вот почему он — кандидат наук! — крест носил, а теперь намаз читает?! Не, вот ты объясни мне! Ведь вы такие светлые головы! Вот…
— Моя голова не устраивает? — прерываю поток возмущения. — Ну так снеси её — не жалко.

«Чёрно в степи. Пустота подо мною», — тихо, как набегающая в штиль волна, крутится мысль, когда после, дойдя до дома, сижу на скамейке и наблюдаю, как медленно, скупыми острыми льдинками, снег заметает перчатки, куртку, перестаёт таять на лице и чуть слышным шелестом шепчет: «Тебе понадобится всё твоё умение не видеть, не слышать, не знать и молчать, чтобы пересечь и этот, сороковой, год», — тонким, как маца, слоем укрывая тёмную выледенелую землю.

9 февраля 2018

XXXIII. Цивилизация

Но даже самый лютый зверь испытывает жалость.
Я жалости не ведаю, и значит, я не зверь.
В. Шекспир. Ричард III

Как всякая великая цивилизация (не культура ночных горшков с веретенообразным орнаментом), эта зародилась в долине великой реки. Пейзаж не был похож на обширные равнины Месопотамии, Инда или Хуанхэ: нет, судя по ощущениям — рези в переднем левом углу трахеи (если у трахеи существует передний левый угол), — она вгрызалась в каньон Верхнего Нила. Пока её Прометеи изобретали колесо и гончарный круг, строили ирригационные каналы, чтобы отводить на поля великие разливы вод, я, ленивый и благодушный, как сёрфер, занимался заппингом, рекомендованным пророком Че: скользил по телевизионным волнам. На Мадагаскаре дети шли в школу через долину, в которой орудовали торговцы органами, девятую строчку хит-парада заняла Настя Бязева feat Иван Йо, Украина соревновалась с бывшей любовницей актёра в части генерации воплей в студиях, «морковь протереть через сито в творог», шестилетний мальчик чудесно исполнял «Реквием» на рояле, Моссад рассекретил план Дахеса по уничтожению славяно-ариев… белый шум нарастал, и вожделенное безмыслие, открывающее пилоны Врат, было почти в руках, но…

Но резь в горле спутала все иероглифы. Пришлось встать, поковыряться в аптечке и, не имея ничего против какой-либо из бактерий лично, обрушиться на них всех Сетом, Злым ветром Пустыни: сульфаниламид чудовищными валунами пал с небес на их жилища, сметая дворцы и отравляя воды.

«Горе! Горе! Страх, петля и яма!» — вскричали стрептококки-пиогенесы, посыпая мембраны пеплом своих пажитей.

«Нет пророков в своей отчизне!» — гневной отповедью стряхнули с ног пыль града обречённого стрептококки-мутансы и, разбившись на дюжину отрядов по миллиарду, двинулись к земле обетованной, которую, по истечении сорока минут моего времени и нескольких поколений собственного, обрели на выстилающей горло слизистой.

Сильнейшие выжили.

Выжили — и на осколках века золотого стали строить Кали-югу: истребляя под корень бактериоцинами и иными экзотоксинами собственных ренегатов и враждебные племена пандавов, наращивая липополисахариды на стенах своих Сионов и Вавилонов, отражая набеги варваров и разрушительные вторжения моноцитов — этих годзилл моей иммунной системы, — высаживая десанты отважных колонистов — адено-, рубула- и иных вирусов парагриппа — на далёкие турецкие и карибские берега, выстилая границы империй обломками митохондрий и ядер; они — это я чувствовал каждой ресничкой бронхов — микрон за микроном преобразовывали дикие просторы в культурную ойкумену, чтобы после, спустя десятки поколений, с гордостью заявить: «Здесь всё, на миллиметры вглубь, полито цитоплазмой наших предков! Это — наша родина! Но пасаран, потому что мы — Спарта!»

Искренние патриоты своих рас, они не были способны ни вступить, подобно эсхерихии коли, в симбиоз со мною, ни выстроить геополитическое равновесие между великими державами, а потому с героизмом истинных пассионариев продолжали свой drung nach бронхиолы, подбираясь к самым тёплым краям мироздания — нижней трети лёгких, и, невзирая на экологические последствия, вмешивались во всё, до чего дотягивались их алчные до аминокислот усики, даже в синтез простагландинов и гистаминов — моих старых добрых переносчиков боли. Возможно, в культурных центрах их цивилизации появлялись свои биохимические Конфуции и Заратуштры, Моцарты и Пушкины; возможно, они пытались, мутируя, найти пути мирного сосуществования если не со мною, то с нейтрофилами, макрофагами и прочими фагоцитами моего недепутатского иммунитета, но все их усилия пропадали всуе, ибо борьба за место

под килем трахеи, за жизненное пространство для своих охваченных мессианством наций вела к постоянной эскалации и развёртыванию всё более изощрённых способов массового уничтожения себе подобных—от примитивной атаки бактериальной стенки до нарушения суперспирализации ДНК.

В какой-то момент я уснул: должно быть, их философы-космисты, Вернадские и Соловьёвы, в объединённых чувством кворума[8] колониях псевдомоны эругинозы нашли способ эманировать в ноосферу чаяния простого народа: о хлебе насущном, о чудесных детях, о мире во всём мире и счастье для всех даром (и пусть никто не уйдёт обиженным!),—или попросту разогрели плоть мою и кровь до точки забытья.

Сон был прекрасен, и, пока он длился, на канале «Живая природа» несколько раз сменились водопады, горные вершины, средиземноморские пляжи и сосновые леса, а обитатели моей возлюбленной эндосферы, забыв о соли в вакуолях ребёнка, провели несколько страшных, подобных армагеддонам, войн за передел мира—в данном случае моих бронхов. В секунды Верденских мясорубок и чудес на Марнах я просыпался—но лишь чтобы перевернуться на другой бок и продолжить чудесное путешествие с дикими гусями по непроявленным сторонам собственного естества. В эти мгновения кашель успевал удушить меня, будто весь коллективный разум цивилизации шантажировал: «Хочешь дышать—спи!»

Чаша моего терпения, подогреваемая температурой—глобальным потеплением, порождённым жизнью, процветающей внутри меня,—была безгранична. Но когда гонка вооружений, спровоцированная непрерывными атаками моих Т-киллеров, вплотную подошла к неограниченному конфликту с применением суперантигенов, которые должны были запустить мой иммунный каскад, я восстал.

Я сказал:

—Ну к чёрту!

Я вбил гвоздь в косяк.

Я вложил бутыль с физраствором в сетку.

Я повесил сетку на гвоздь.

Я воткнул в неё капельницу.

Я впрыснул препарат, созданный из любимого мною чая, препарат с именем, декларирующим любовь к Всевышнему,—теофиллин[9].

Я ввёл иглу в вену и взял контроль.

Я подсоединил к ней систему.

Через считаные минуты смертию триллионов существ, жаждавших одного—жить, поправ смерть собственную, я совершу акт тотального, беспощадного, насыщенного неимоверной жестокостью геноцида.

Через считаные минуты гнев мой падёт на них.

Ибо я есмь образ.

Ибо я есмь подобие.

11 февраля 2018

XXXIV. Κυνισμός[10]

—Колёса менять надо,—говорит мулла, выруливая из заноса на гололёде.—Проволока уже из корда торчит.
—Сколько они стоят?—спрашиваю его.
—Столько-то.
—А провести похороны?
—По-разному. В среднем столько-то.
—Ну вот,—подытоживаю,—шесть трупов—и колёса твои.

—Почём сейчас похороны, не знаешь?—спрашивает Тувинец полчаса спустя.
—Кого хоронить собрался?—еврействую.
—Та про себя думаю…
—Дорого. Невыгодно,—наступает мой черёд сорить ответами.—И родных жизнью обременять дорого, и помирать не дешевле.
—Тыщ в пятьдесят уложусь?
—В пятьдесят уложишься. Но смотри: чтоб тебя похоронили, тебе надо продать квартиру, выписаться, а без прописки проблемы начнутся ещё на стадии справки о смерти.

«Так что расслабься и попытайся получить удовольствие»,—молча заканчиваю строкой из инструкции для лайф-юзера.

В крещенском морозе, туманя звёзды и лимб луны, плавно кружились похожие на колёса сансары ароматические углеводороды и насыщенные органические кислоты.

20 января 2018

XXXV. Тризна

—Эх! Четыре с половиной миллиарда лет прорывов, вымираний, цепляний за безопасно-сытную жизнь и игр слепого часовщика—мистера Эволюция—закончились так бездарно,—говорю, разглядывая блеск серой пыли на факовом пальце, оставшейся от раздавленной моли.—А ведь и я—продукт тех же самых миллиардов убитых моими предками соперников и лет: я ничем не выше этой моли.
—Э-э, брат!—возражает мулла.—Она умерла, но КАК она умерла?!
—А, в том смысле, что в мире погибают ни за что триллионы москитов и молей, но лишь над этой прочли такую речь?—улавливаю его мысль.

8. Чувство кворума—способность некоторых бактерий (возможно, и других микроорганизмов) общаться и координировать своё поведение.
9. «…чая… теофиллин»—игра слов: от лат. thea—«чайный куст», греч. phyllon—«лист» и teos—«бог», philia—«любовь».
10. Цинизм (*греч.*).

— Именно! Лишь эта ушла, благословлённая бисмиллой!
— Что ж… Может, и нас, прихлопнув, кто из «богов» помянет,— разливаю напиток.— Мир душе её, какая бы они ни была!
— Давай! За нас!
— И за моль! Аминь!
— Амин!

5 февраля 2018

XXXVI. Против всех

Благословен запах чистый, запах краски, хлорки, акрила, анилина, запах, который прячет под своей свежеотбеленной простынёй несвежесть белья, полощущегося по балконам, прогорклость стряпни, льющуюся вечерами из жёлтых квадратов чуждых окон, бьющую в нос аммиачную резь воскресных скандалов и тайный, почти забытый запах надежды, таящейся в озарённых закатом клетках.

Мерзок запах заточённой в стенах камер жизни— запах валерьянки, ладана, индийских благовоний, пирожков, мочи, тлена, молитв, разочарований и проникающей в поры костной муки от рассыпающихся в прах скелетов в бесчисленных шкафах.

Ты пулей вылетаешь из очередной квартиры (я слышу вслед: «Ой, сынок, только до пенсии не доживай!»), пытаешься выдохнуть забившие нос частицы чужих, но столь же бессмысленных судеб, спрашиваешь, хлопая серо-зелёными глазами под густой каштановой чёлкой:
— Это что, нам нужно ехать в онкологию?!
— Да,— отвечаю.— Узнала, как выглядит старость? Теперь посмотришь, как выглядит смерть.

Бесконечный день не собирался завершаться. Тяжёлый мокрый снег согревал землю, медленно, слой за слоем, кутая её, дороги, автомобили в насыщенный чистотою и тишиной саван.

В онкологии пахло формалином и серым хлебом.

20 марта 2018

XXXVII. Дефлорация

Преодолев, как Пётр Первый на известной картине, умеренный с порывами до штормового, несущий заряды тяжёлого мокрого снега ветер, проскользив по быстро образующейся на окнах, проводах, южной стороне столбов, машинах и пешеходных дорожках ледяной коросте мимо посеревших и побуревших под ненастьем хрущёвок, вдоль вездесущих заборов и сетевых магазинов планеты продавцов и охранников, по задубевшим скользким тротуарам, вымощенным плиткой, через стальные двери школы для простонародья, под рамкой металлодетектора, в шестьсот тридцать седьмой раз среагировавшего на ключи в карманах, под изображающим бдительность взглядом сотрудницы, одетой по форме «зима» (мундир для нахождения в помещении и зимняя шапка, под которой ужасно потела её светлая голова), встретившись с дежурным вопросом мобилизованной в выходной работницы: «У вас какой адрес?»— споткнувшись о просьбу студенток какого-то колледжа: «Потом подойдите к нам, пожалуйста»,— собирающих мнения горожан об объекте первоочередной вырубки старых деревьев и укладки новых гектаров плитки, мимо скидочной, химически чистой клубники, направо, в двери светлого, как всякое место, в котором вершится будущее, спортзала, увешанного памятками, списками, флагами и предупреждениями, к столу, неуверенно, смущённо, опуская глаза в пол, с блуждающей улыбкой самого первого раза в жизни протянув лет пять назад полученные паспорта, с любопытством, потаённо озираясь, краем уха, возможно, услышав завязавшийся от бесконечной скуки разговор: «Активы пользуются пассивным правом быть избранными, а пассивы— активным правом выбирать. Прямо-таки вселенское равновесие!»— «И не говори! Политика— дело грязное!»— «Не скажи. Политика начинается с постели: как натянуть одеяло так, чтобы и самому согреться, и второй половинке не дать замёрзнуть. Заканчивается, правда, тотальной иррумацией всеми всех, но так уж мир устроен…»,— получив календарик в подарок и полуметровую портянку из бумаги высшего качества, отнимающей у их будущих внуков ещё один глоток кислорода, с завидной сообразительностью нырнув в кабинку, юные граждане, приведённые высокосознательной главой домохозяйства, расстались с политической девственностью. Исполнив свой долг, они, как всегда бывает после самого первого акта, растерянно, с долей разочарования: «И что это было?!»— оглянулись, дождались друг друга и потянулись в обратный путь.

На этот раз ветер дул им в спину, равнодушно заметая следы сытого, но не признающего принадлежность к «золотому миллиарду» электората.

20 марта 2018

XXXVIII. Имитация

— Если пейзаж выглядит как Салават, вокруг те же дома, что должны быть в Салавате, на горизонте те же горы, то это— Салават!— доказываю утверждающей обратное спутнице, доверчиво вложившей ладонь в мою руку.

Мы идём по залитой солнцем брусчатке Первомайской. Сквозь ещё голые ветви маньчжурских орехов, бликуя на их светло-серой коре, синей бездонностью дышит апрельское небо. В прогалах между старыми «немецкими» двухэтажками, сквозь кленовую поросль, мелькают на востоке заснеженное подножие Тора-хана и обрывистые вершины холмов Тирмен-елги.
— Я прав?

Она кивает, пытаясь поспеть за моим прогулочным шагом.

— Или это очень искусная имитация,— зерно сомнения западёт в мой разум при виде обгоняющей нас молодой женщины в коричневом деловом костюме.— Сейчас проверим! Но, думаю, это — реальность.

Мы выходим на площадь у «Октября» — её южная сторона застроена магазинчиками в ряд. Сытный запах выпечки щекочет нос. Спрашиваю у одной девушки, у другой:

— Какое сегодня число?

— Двадцатое деэбря.

— Что?!

— Пятидесятый день тысяча девятьсот девяносто второго года,— уточняет одна из них, смущённо отходя к витрине.

Осознаю:

— Что ж… Значит, для моего подсознания календарь не имеет значения, раз мои проекции не помнят названий месяцев… Ясно. Давай сделаем это по-быстрому,— обращаюсь к спутнице, приведшей в Имитацию живую копию моей погибшей подруги.

— Только не делай мне больно,— просит она.

— Конечно,— обещаю я, успокаивающе поглаживая ей щёку.— Жаль, ты скоро исчезнешь вместе со мной и этим городом… но я понимаю, что пока ты по-своему жива, у тебя есть свои чувства, надежды, эмоции… Больно не будет.

Вечный Синий апрельский ветер нёс перистые облачка. Бог-Тьма, отражаясь в сиянии своей проекции — Бога-Света, нежными касаниями солнечных лучей медленно плавил снег и, опасаясь причинить излишнюю боль нам, уверенным в собственной реальности, познавал Себя.

3 апреля 2018

Примечание: описанный пейзаж несколько отличен от данного варианта псевдореальности.

XXXIX. Узнавание (Auto da fé[11])

В воздухе висит тонкий — как развеянный бушующим за и на балконе ветром пепел не сгорающих, но истлевающих рукописей — запах гари. Не из полыхающей на горизонте огненной стеною степи — южный суховей, рябя отражение полной луны в стремительно усыхающих лужах, несёт лезвия врезающихся в стыки душ песчинок… И не от вспыхнувшего, до поры дремавшего где-то в пластах огня — он опалил, облизал балки, оставив на них узор языков пламени, но не более того… Может, из ниоткуда, но спросить всё равно не у кого — я не пожарный дознаватель и читать по углям не умею.

Предыдущий жилец ушёл, оставив какие-то дотлевающие бумаги, зарубки на косяках, нацарапанные на стенах письмена — от затёртого прикосновениями рук приговора вашего нового бухгалтера из Кливленда «мене, текел, упарсин» до непонятных запретных строф о яркоцветных демонах влажно-тропических областей ада — и многочисленные инструкции: на какое имя отзываться и какие имена называть, кого ласкать и кого презирать, какой ритуал выполнять на Громе, Падающем с Неба, как вызывать дождь и какими гормонами ощущать любовь,— инструкции невнятные, с недостающими страницами, написанные на полях книг и сложенных вчетверо листах. И во всём этом упорядоченном хаосе мне предстоит разбираться?

Он — а может, тот, кто был до него, или тот, кто был до тех, кого быть не могло,— забыл фото с горами, в которых якобы бывал, хотя никаких тому доказательств нет, кроме этих наборов двоичного кода и игры молекул красок в свете. Бросил тут и опровержения опровержений доказательств, но не забыл вырезать ножом: «Бог есть, но я не могу в Него верить». И мне ли судить о его правоте, читая в записной книжке: «Слово — клевета, и молчание — ложь»,— если он унёс с собою переставленные свечи? Или я и есть игра их отсветов и теней, игра лучей во тьме рубина, случайно сложившийся набор костей для маджонга — благо их здесь много и все подписаны по именам: родные, друзья, воспоминания, мысли,— все, кроме главного — моего имени и имени того, кто ушёл?!

Я перекладываю карточки с обрывками его памяти — с огромной вероятностью ложной, и мне не остаётся ничего, кроме как заучивать названия вещей и начинать делать вид, что я — это он, ибо нельзя приносить боль костям для игры в маджонг. Ибо за это осудят — хотя кто способен осудить или тем более оправдать, кроме самого себя, себя, кто не помнит, откуда он пришёл и в ком жил мгновение тому вперёд? Не станете же вы обвинять сгоревший дом в том, что он рухнул на любопытствующих,— вы, кто не способен задать не-вопрос, вы, у кого есть вера в высеченные в камнях определения, вера в иллюзию здравого смысла, вы, кто auto da fé — акт веры — считает наказанием, не замечая в сиянии огня приносящего себя в жертву Праотца?

Но кто я, чтобы говорить об этом? Я здесь, надеюсь, ненадолго. Моё дело — зачистить это место.

Я открываю принесённую с собой из ниоткуда канистру спирта — прозрачного, как наш дух,— и медленно лью, под звонкий, насыщенный, заливистый смех всплесков горючего выводя на полу строки вердикта:

«Билл Блейк ли покинул Кливленд, или Кливленд покинул Будду? — немногим людям пойдёт на пользу попытка задать этот вопрос. Но ещё меньше людей, которым пойдёт на пользу попытка на него ответить. И уж конечно, мы на этот вопрос отвечать не будем».

29 апреля 2018

11. Дословно: дело веры (*порт.*).

XL. Вживление

— Гром…

Они сели передохнуть у нависавшей над поляной скалы — река, не вмещаясь в своё подземное летнее русло, бурлила, клоня долу тальник.

— Что? — переспросил.

— Гром…

— Да. Точно.

Тело помнило долгую дорогу до привала — камни, берцы, солнце, камни, деревья, скалы, трава, берцы — и где-то, не связанные с тем, что видят глаза, имена: Сельтерби-Урта-Таш с убегающим медведем, угол Корт-Йорт-Ялана, Кызылташский поворот, Каран с водами милости, Каракурт-Тамак, Кунгуртуйский каньон, Суакай, гора Оставшихся, — а, нет, эти уже в другом ущелье… И ум — плоть от плоти тела — тоже вспомнил: «Да. Гром. В этом мире бывает гром». И после, сцепив название «гром» с раскатом, что-то извлекло из блоков памяти: «Гром бывает после молнии. Что он несёт? Грозу?.. Да, грозу».

«Что ещё бывает в этом мире? — думал он. — Полярный день… Радуга…»

«Радуга — это когда синяя туча, и на ней — Мост», — подсказала память, попутно вынимая, как фокусник из шляпы, слова «спектр», «оптика», «дождь», какие-то осколки детства, людей, слов. Нейромедиаторы, словно сорвавшись с цепи, кинулись замыкать синаптические щели между нейронами, разархивируя то, что все привыкли считать «его личностью». Значит, и он привыкнет.

Привыкнет, экономя энергию, писать стихи вместо прозы, прозу вместо философии, философию вместо путешествия

— прочь, стряхнув с себя ошмётки отработанных душ (ибо нет пророка в своём теле),

— стряхнув с ног пыль этого города,

— и пыль отечества,

— и восхищение человечеством — прочь, в «будущее», где чуждый разум проанализирует бессмысленный прах этих строк или отбросит дальше, к Тому, в Ком нет нужды в пророках, но в Кого стекаются — глазами каждого человека:

гром,
под скалой — огонь дрожащий,
тюльпаны с сон-травою у воды.

Май 2018

XLI/XLVII. Переправа

— Как думаешь, для эллинов пара монет в качестве платы Харону была прогрессом в религиозных вопросах?

— То есть?

— Ну вот смотри: раньше, чтоб переправиться через Реку Мёртвых, нужно было с собой прихватить вола или коня — причём довольно рослых и упитанных, потому что кто знает, какая у неё глубина?

— А ещё жену, слуг, рабов, кучу скарба, — схватывает она мысль на лету.

— Да-да, — подтверждаю. — А теперь заплатил пару монет — и плыви спокойно… А зороастрийцы так вообще мост Сират построили… Прогресс налицо.

— Представляешь, сколько у него денег скопилось? Куда ему столько?

— Ну, мало ли… Лодку починить, у богов что-то прикупить…

— Ага. Моторную лодку, катер…

— Да. Народу-то вон сколько стало, там впору уже автобан строить…

«А умирать нужно поздней весной, — думаю, вспоминая Рината и Макса, единственного художника Стерлипарижа. — Потому что если умрёшь в холодное время года — это сколько гемора гостям доставишь: на кладбище ветер, холодно, огромные замёрзшие комья, которые потом оттают, памятник просядет — кому-то придётся с ним возиться, поправлять… А тут тепло, птички поют, все быстро помянули — и по домам, планировать летний отдых. Никаких тебе долгих прощаний и „вечных“ слёз — и тебе легче отлетать, и им возможность забыть скорей.

Опять же фрукты, шашлычки… сытно…

А если ещё вспомнят, что на мои нужно стриптизёрш пригласить…»

Ночная бабочка, утомлённая безнадёжным кружением вокруг лампы, сидит на стене.

Подслушивает.

26 июля 2018

XLII. La chasse sauvage a commencé[12]

От сожжённого гнезда, из которого воробьиха, зажав в клюве обгорелое тело птенца, несла его на запад, огромные следы, старательно избегая создавать шум на асфальте, крадучись шли по мягкому, пахнущему весенней упоённостью грунту мимо площадки, где сидели мы, играющие на своих и чужих душах в любовь, ревность и флирт, к железнодорожному вокзалу, на который, как девяносто лет назад, прибыли Они, кто, пройдя по сумеречному городу, заселился в новую нехорошую квартиру с сатурнианским номером.

Дикая Охота началась.

22 мая 2018

XLIII. Лёд

— Тебе Ринат привет передавал с того света, — говорит мулла, пытаясь раскурить сигару. — Сказал, оставшиеся годы будут тяжелы всеобщим давлением.

— Родня? — уточняю причину.

Кивает.

— Сколько ещё?

— Лет сорок. Если повезёт — тридцать.

12. Дикая Охота началась *(фр.)*.

— Твою ж Еву за ногу! — матерюсь, швыряя сигарету. — Какого рожна?!

Ухожу в зал, целую — впервые? — тебя, забывая о сытном, медном вкусе сочащейся из раны крови.

Леденея на лету, капли звёздного ливня напевают строкой, оставшейся от другого покойничка: «Пусть всё замёрзнет в моём доме», — и аккуратные белые облачка, похожие на кусочки рахат-лукума, прощаются с уходящим днём лёгкими дождевыми прядями.

30 мая 2018

XLIV. Голод

— Африка прекрасна тем, что в ней возможно всё. Любую нашу реалию, изменив имена, можно перенести в их гиблые тропики — и даже эзопов язык не пригодится! Это колоссальное чёрное пятно на карте, terra incognita, воплощение наших звериных инстинктов! Чего стоят наркогосударство Бисау, фрики а-ля Масиас Нгема Бийого, «Начальник войны» Чарльз Тэйлор, нелегальная добыча урана в промышленных масштабах — и в то же время музыка, необычные верования, ритм и ещё раз ритм, революционер-бессребреник Томас Санкара и настоящие битвы поэтов Анголы, с танковыми ямбами и артиллерийскими хореями, — вещаю я, прозревая в сыплющем июньским снегом небе Урала выжженное, цвета спелой кукурузы, небо над Ма-кгади-кгади и вечно туманные горные леса Вирунги. — И если нам кажется, что это где-то на другой планете, то зря: страх перед повторением Руанды постулировал право на гуманитарные бомбардировки, а её опыт разжигания тотальной ненависти был отчасти использован в-на Украине. Кстати, — перевожу тему на более весёлую, — вы знаете, что к вам набиваются в родственники? Народ дан с Берега Слоновой Кости считает себя потомками одного из колен Иакова.

— А какого они цвета? Не антрацит? — спрашивает собеседница.

— Нет, ближе к правильно обжаренному кофе, — и продолжаю: — Тоже интересные люди. Выходца из дан Сэмюэля Доу, президента Либерии, перед смертью заставили съесть ухо (другое ухо, по слухам, употребил принц Джонсон, соратник генерала-колдуна Голая Задница — но это не попало на видео, разосланное по посольствам всего мира), да и диктатор в своё время поканнибальничал: враждебный ему варлорд Томас Квиконкпа был убит и съеден. Правда, частично…

— Шоколада захотелось, — внезапно подытоживает моя визави.

Где-то в гробу сытно улыбнулся Его Превосходительство Пожизненный Президент, Фельдмаршал, Доктор, Повелитель всех зверей на земле и рыб в море, Завоеватель Британской Империи в Африке вообще и в Уганде в частности, кавалер орденов «Крест Виктории», «Военный крест» и ордена «За боевые заслуги» Иди Амин Дада.

1 июня 2018

XLV. Ответ

— О, Салим! Думал, ты опять в монастыре, — приветствовал я случайно встреченного товарища, случайно только потому,

что тёплая летняя ночь задержала нас на лавочке за рассуждениями о технологии сооружения стихов и внимании к постановке подударения в безударном месте открывающей строку стопы под бутылку коньяка, которую мы взяли потому,

что считали себя вправе после того, как потушили невесть откуда взявшийся зачинающийся лесной пожар, невесть откуда потому,

что ни один человек нормального роста не смог бы присесть в этой мешанине кустов, в которых, скрытые плотными сумерками, бродили дикие собаки, те самые, которые могли бы не подпустить к единственной луже, ибо, вероятно, где-то рядом находилось их логово, но которые отошли с дороги, не издав ни единого рыка, потому,

что желание проверить, как же я мог потерять направление в этом исхоженном вдоль и поперёк лесочке, рождённое вышедшим на тропу чёрным псом, привело нас к ярко полыхающему жёлтому пламени потому,

что данное давно название «Шурале саукалык» — «уголок лешего» — оправдало своё имя заросшими дорожками, отсутствием птичьего гомона и вездесущих следов шашлыков и потому,

что я предложил войти в эту рощу, впервые, там, где моя память хранила крутой обрыв, увидев за пологим скатом надпойменной террасы несколько елей, замеченных мною, сидевшим на бревне у огромных гибнущих тополей, потому,

что постоянно попадающиеся погибшие птицы волей-неволей заставили смотреть на имеющий много несоответствий пейзаж:

…потому что раньше моему тщеславию было интересно, что скажут об усопшем близкие после моей смерти, но теперь я этого не желаю знать. Особенно мнения родни.

— Как ты можешь это знать? Хотя… мёртвые приходят…

— И говорят только то, что ты готов услышать. Может быть, всё, что там, — лишь галлюцинации гибнущего мозга. Странно, люди боятся смерти и боятся, что там — ничего. А я хотел бы верить, что там нет ничего, но…

Но чайки бесшумно носились в сером, будто каком-то не уральском, а тверском, глубинно-русском, почти не бывающем безоблачным небе, и ласточки спешили насытиться перед короткой июньской ночью, и веснянки роились над гладью реки, и не было ей причины — лишь время,

что лежало полем, через которое, пересекая странный вечер моей жизни, шли мы.

23 июня 2018

XLVI. Время

…На балконе я вошёл в очередное мгновение, где наглый кот-попрошайка увлечённо подъедал вытребованную у меня печёнку, в полупрыжке от него, терзая куски сладкой булки, паслась дюжина голубей, грачи, привлечённые их пиршеством, совершали быстрые набеги из-за андреевского креста асфальтовых дорожек, а в банке покоился так и не выкормленный медовой водицей, умерший в день рождения этого тела бражник — его бархатная, покрытая зелёной «шёрсткой» спинка потемнела и взъерошилась.

Мгновение, вечно таившееся на бескрайнем поле времени, овладев моим вниманием, с чувством глубокого удовлетворения воссуществовало и скрылось в тени, упавшей от Белого Облака забвения.

Я оглянулся.

Степь, всё такая же совершенная, бесконечная, единая и многообразная, простиралась до края этой пульсирующей, пропитанной Жизнью Вселенной. Где-то в Ней цепочкой проступающих пятнами соли следов лежали выгравированные в зеркалах фотографии: «Мой род и я» в жёлтой куртине караганы, «Моя смерть и я» под сенью ялгыз кайын и на поросшем полынью Шихане, «Моя любовь и я» в синем, как Тенгри, покрывале ирисов, — не считая миллиардов других, укрытых великим молчанием по тугаям и в ковылях восходов, закатов, друзей, озарений, сумасшествий, петербургов, абстракций и прочая, и прочая, и прочая.

И лишь Сам Ветер, единосущный Небу и Степи, шептал:

— Каждый способен жизнь любить — большую и малую. Кому хватит духу меня возлюбить — даже к богам беспощадное Время?

P. S. Где-то в пелене миража Маджнун, князь датский, вёл караван летучих голландцев к алжирскому дею.

17 июля 2018

Примечание: В татарской мифологии есть такой образ — ялгыз кайын, одинокая берёза. Это дерево, стоящее на пригорке посреди степи, оно одно среди трав шумит листвой… От него нет толку: стадо не спрячется в его тени, пастух не наберёт под ним хвороста, но оно — то, что организует Пространство. Без него… ничего не изменится, хуже не станет — но потеряются ориентиры. Ему лучше бы расти в уреме, в лесу, но оно Есть Здесь.

XLVII. Диагноз

«Ты все больше… отделяешься от людей», — сливаясь во фразу, отозвались на предыдущий стих пиксели на экране, за которыми, где-то бесконечно далеко и совсем рядом, был живой образ человека.

«Значит, когда я окончательно сойду с ума, вы это не так скоро поймёте!» — играя нейромедиаторами на синапсах, рассмеялась мысль в голове, остывающей под плавно, сытно, медленно кружащей моросью тёплой жёлто-красной осени — такой же, как осень брежневских похорон.

До следующего максимума солнечной активности оставалось три-четыре года.

9 октября 2018

XLVIII. Пирожок

Пришёл Тувинец.

Прошёл тест. Результат: «Ваш собутыльник — Франц Кафка. Всё плохо. Всё очень-очень плохо. Тлен, безысходность, самоуничтожение и другие слова, изображённые на пачках сигарет, характеризуют вас в последнее время. Остаётся только встретиться с Кафкой за бутылкой водки. Он, как никто другой, поймёт вас и, возможно, придумает несколько новых сюжетов для своих рассказов после общения с вами».

Надо соответствовать, пока хендмейд-алкоголь имеет послевкусие рома. Или ром — самогона.

Пока дождь сытно, медленно, плавно падает с неба цвета осени брежневских похорон.

24 октября 2018

XLIX. Яшмофилия

Друид кладёт ракааты[13] в сторону шкафа с минералами.

Случайно на пути его поклонения стою я.

Чувствую себя неловко в образе божества.

Луна охотников[14] заглядывает в окно сытным жёлтым куском вологодского масла, расплываясь легендой о Хищнике по Внутренней Мьянме Чужого.

Ветер воет.

25 октября 2018

L. Manual[15]

Для игроков «World of Oneself»

```
1 CLEAR
5 CONST Тьма
30 LET Свет
40 SAY «Свет хорош»
50 DATE$ «День №1»
60 LET разделение вод вверху и внизу
```

13. Ракаат — поклон в намазе; цикл вообще.
14. Луна охотников — luna de cazador — второе полнолуние после осеннего равноденствия.
15. Руководство (*англ.*).

```
70 SAY 0
80 DATE$ «День №2»
{...}
200 DATA дыхание ощущение видеть
прикасаться чувствовать воспринимать
кожа мурашки слышать чай вино мыслить
существование парение ветер вкус {...}
любить печаль гнев сомнение
210 LET Жизнь
220 SAY «Жизнь есть хорошо»
{...}
270 LET Человек
280 SAY 0
310 DATE$ «День №6»
320 RUN 10
{...}
490 RESUME Взять плод с Древа познания из
рук Её
{...}
130310 REM ’снег кружил как мука — плавно,
медленно, сытно’:
130320 IF снег мягко касается широко
раскрытых в небо глаз, забирая остатки
тепла из твоего тела GOTO 490
{...}
310120 ERROR 50; ERROR 67 ’переизбыток
файлов’; ERROR 76 ’путь не найден’; ERROR
11; FATAL ERROR
310130 RUN Сорвать первую печать
310140 SOUND иди и смотри
310150 SEE Конь блед и имя ему
{...}
312380 KILL «Book.txt»
312390 LET ∞/0
312400 GOTO 1
14.12.2018
```

Примечание: в Библии 312 400 стихов.

ДиН СИММЕТРИЯ

Александр Тарасов-Родионов

Из повести «Шоколад»

— Если бы вы только знали, товарищ Зудин,—и слюни и слёзы, все вместе, текут у Елены на грудь.— Если б только вы знали всю жизнь балерины, когда ей с пятнадцати лет… уже приходится… да, да, приходится!—этой традиции держится прочно балет,—ей приходится… продавать своё тело грязным вспотевшим мужчинам!.. Милый Зудин!.. Зудин, товарищ!.. Нет, вы б не кинули мне в лицо комок грязи… Липкая жизнь… липкая жизнь… нас залапала грязью, зловонной, вонючей, и нет нам спасенья, погибшим и гадким!.. Если б… если б дали мне возможность заработать… кусочек, честный кусочек… разве б я стала?!.. Ах, что говорить вам!.. Ведь вы не знаете бездны, всей бездны паденья!! Ведь меня вызвал к себе Гитанов, чтоб свести вот с этим, как его?—Финиковым!.. Он сказал: будут деньги… хорошие деньги!.. А ведь я голодала! Да!.. Голодала!.. Продала гардероб!.. Вот осталось: манто, муфта, три платья… Милый… родной мой, товва-а-рищ Зудин!.. Ведь и я была гимназисткой… пять классов!.. Немножечко жизни… Не рабства, а жизни… Честной жизни… кусочка… прошу… я у вас!.. Я согласна, я жажду работать!.. Разве б я стала себя продавать?! Проституточка!—вот мне оценка!..

С клокочущим всхлипом, вся намокшая горем, бессильно сползла Елена прямо на пол. Шарф упал. Валялось и манто. Кудряшки развились и прилипли к вискам. И только яркость каштановых прядей и розовость пухлого ушка кричали в серое далёкое безучастное небо, туда, за прозрачные окна этого синючего готического кабинета, что здесь плачет женщина и что она глубоко несчастна.

И так неожиданно жалкая ручонка Елены ощутила твёрдое пожатье.

— Полно, товарищ Вальц, встаньте, оправьтесь и успокойтесь!

Это говорил Зудин. И как жадно-жадно хотелось ей слушать его милый голос.

— Наша борьба в конечном счёте и есть ведь борьба за счастье всех обездоленных капиталистическим рабством, а значит—за счастье таких, как и вы… Поднимитесь и успокойтесь. А если хотите, так вот, приходите сюда… хотя б послезавтра… в час дня. Я вам помогу как товарищу… Ну а пока оправьтесь, оденьтесь и идите—вы свободны.

Зудин нажал кнопку стола, и за дверью раздался громкий, трескучий звонок.

1922

стр. 14 **Алейников Владимир Дмитриевич**
Москва/Коктебель, 1946 г. р.

Родился в Перми, вырос в городе Кривой Рог на Украине. В 1962–1964 годах входил в группу молодых криворожских поэтов. В январе 1965 года вместе с Леонидом Губановым основал легендарное литературное содружество СМОГ и стал его лидером. При советской власти на родине не издавался. Публикации стихов и прозы на родине начались в период перестройки. Первые книги стихов вышли в 1987 году. В начале 90-х издано несколько больших книг стихов. Ныне автор многих книг стихов и прозы — воспоминаний об ушедшей эпохе и своих современниках. Стихи переведены на различные языки. Член редколлегии журналов «Стрелец», «Крещатик». Член Союза писателей Москвы, Союза писателей XXI века и Высшего творческого совета этого Союза. Член ПЕН-клуба.

стр. 140 **Басалаева Елена Михайловна**
Красноярск, 1987 г. р.

Выпускница Красноярского литературного лицея. В 2009 году с отличием окончила филологический факультет Сибирского федерального университета. Преподаёт русский язык и литературу в Красноярской гимназии №13. Публикации на сайтах «Добрая лира», «Город детства», в журнале «День и ночь» и др. Лауреат Всероссийского литературного конкурса «Большой финал» (Мурманская область) и журнала «День и ночь» за 2019 год.

стр. 70 **Валеев Марат Хасанович**
Красноярск, 1951 г. р.

Родился в Краснотурьинске Свердловской области. Рос и учился в селе Пятерыжск на Иртыше, в целинном Казахстане. Окончил школу, успел поработать бетонщиком на заводе ЖБИ, призвался в СА. Служил в стройбате в 1969–1971 годах, строил военные объекты. После армии работал сварщиком в тракторной бригаде. Окончил факультет журналистики КазГУ имени Аль-Фараби (Алма-Ата). Работал в газетах Павлодарской области «Ленинское знамя» (Железинка), «Вперёд» (Экибастуз), «Звезда Прииртышья» (Павлодар). В 1989 году был приглашён в газету «Советская Эвенкия» (с 1993 года — «Эвенкийская жизнь») на севере Красноярского края, в которой прошёл путь от рядового корреспондента до главного редактора. Написал и опубликовал несколько сотен иронических, юмористических рассказов и миниатюр, фельетонов. Автор и соавтор нескольких сборников юмористических рассказов и фельетонов, прозы и публицистики, изданных в Красноярске, Павлодаре, Кишинёве, Москве. Публикации в журналах «Журналист», «Кукумбер», «Мир Севера», «Колесо смеха», «Вокруг смеха», «Сельская новь», «Семья и школа», «День и ночь», в газетах «Литературная газета», «Московская среда», «Советская Россия» и др. Лауреат и дипломант ряда литературных конкурсов, в том числе «Золотое перо Руси» (2008, номинация «Юмор»), Общества любителей русского слова (2011, номинация «Проза»), «Рождественская звезда» (2011, номинация «Проза»). Член Союза российских писателей. С 2011 года живёт в Красноярске.

стр. 119 **Воронин Дмитрий Павлович**
п. Тишино (Калининградская обл.), 1961 г. р.

Родился в городе Клайпеда Литовской ССР. Сельский учитель. Член Союза писателей России, член Конгресса литераторов Украины. Автор четырёх книг прозы. Лауреат премии А. Куприна, издания «День литературы» (Москва), 1-й премии конкурса «Защитим правду о Победе» газеты «Литературная Россия» (Москва). Публикации более чем в 40 крупных литературных журналах России и ближнего зарубежья, в том числе: «Нева», «Наш современник», «Молодая гвардия», «Москва», «Север» и др. Участник более 50 альманахов и прозаических сборников в России и за рубежом.

стр. 46 **Коваленко Пётр Павлович**
Красноярск, 1923–2013

Родился в Ужурском районе Красноярского края, в крестьянской семье. Сразу после окончания средней школы в 1941 году добровольцем вступил в Красную Армию. На фронте командовал полковой разведкой, был четырежды ранен, но дослужил до конца войны, дойдя до польско-германской границы. После демобилизации жил на станции Крутояр Ужурского района, работал на железной дороге. Получил звание «Ветеран труда» и имел трудовые награды. Писать и публиковать стихи начал ещё в школьные годы, потом печатался в армейских и фронтовых газетах, позднée — в краевой и центральной прессе: в журналах «День и ночь», «Енисей», в различных коллективных сборниках. Долгое время проработал в газете «Красноярский рабочий». Добился признания у читателей и критиков. Виктор Астафьев считал Коваленко одним из лучших российских поэтов,

писавших о войне, а также отмечал его вклад в развитие литературы Красноярского края и России. Член Союза писателей России. Умер в Красноярске.

стр. 16 **Костерев Александр Евгеньевич**
Санкт-Петербург, 1958 г. р.

Автор стихов, эссе, коротких рассказов, пародий, опубликованных в периодике: «Смена», «Советская культура», «Новгородская правда», «Тюменский комсомолец», «Уральский рабочий», «Юрмала», в иностранных журналах—Латвии, Чехии и др. Участник нескольких питерских ЛИТО. Сочинять стихи начал в 1975 году в качестве автора и исполнителя Ленинградского городского клуба песни, работал в различных ВИА и рок-группах Ленинграда. Всего в творческой биографии Александра Костерева не только стихи, но песенные тексты более чем 100 песен на музыку Александра Зацепина, Аркадия Укупника, Вячеслава Малежика и других композиторов, в исполнении Валерия Леонтьева, Виктора Зинчука, Эдиты Пьехи, групп «Ариэль», «АРС», «Пламя» и др.

стр. 19 **Майстренко Валентина Андреевна**
Красноярск

Родилась в местечке под Челябинском, затем поступила на факультет журналистики Уральского государственного университета имени А. М. Горького в Екатеринбурге. Работала журналистом в различных городах Советского Союза. Более 30 лет живёт и работает в Красноярске. Более 10 лет отработала в краевой газете «Красноярский рабочий»—сначала корреспондентом отдела культуры, затем заведующей отделом. Автор книг «Небесная лествица» (1994), «Тихий свет Зерцал. Жизнь и посмертная слава праведного старца Даниила Ачинского» (2006), «Отзовись, брат Даниил! По дорогам святых» (2009) и др.

стр. 170 **Маринай Джеке (Gjekë Marinaj)**
США, 1965 г. р.

Американский поэт албанского происхождения, переводчик, критик. Родился в небольшом северном албанском городе Брут. Работал журналистом, но после 1990 года по политическим причинам был вынужден покинуть страну. Бежал сначала в Югославию, а оттуда, спустя некоторое время,—в Соединённые Штаты. В США продолжил образование в Техасском университете в Далласе, защитил докторскую степень. Основал теорию протонизма в литературной критике. Автор книг поэзии, прозы, литературной критики, переводчик художественной литературы с английского на албанский и с албанского на английский, редактор книг на обоих языках. Обладатель престижных литературных наград, американских и албанских. Преподаёт английский язык и коммуникации в Ричленд-колледже.

стр. 114 **Леончук Сергей Львович**
Курган, 1953 г. р.

Образование высшее, врач. Литературной деятельностью занимается с 2009 года. Публиковался в журналах «Урал» и «Тобол». В 2019 году выпустил сборник рассказов под общим названием «Сгусток энергии».

стр. 57 **Михайловский Валерий Леонидович**
Нижневартовск, 1953 г. р.

Родился в городе Хмельник Винницкой области (Украина). Окончил Винницкий медицинский институт имени Н. И. Пирогова (1976). Активно занимается краеведением, социально-демографическими проблемами коренных жителей Севера, вопросами этнологии. Организатор нескольких многопрофильных научно-исследовательских экспедиций. Автор более 20 научных трудов. Печатался в еженедельниках, журналах и литературных сборниках Югры и России. Автор многих книг прозы. Редактор-составитель коллективных сборников Югры. Член Союза писателей России с 2004 года. Член Русского географического общества.

стр. 179 **Мавлиханов Рустам**
Салават, 1978 г. р.

Родился в городе Салават (Башкирия). Учился в Башкирском госуниверситете. Работал в заповеднике, сюрвейером в инспекционной конторе, инструктором по туризму в экотуризме. Публиковался в изданиях «Журнал ПОэтов», «Изящная словесность», «Нижний Новгород», «Дальний Восток», «Крещатик» и др.

стр. 111 **Миронов Сергей Юрьевич**
Калининград, 1970 г. р.

В 1993 году окончил факультет журналистики Санкт-Петербургского государственного университета. Работал в газете «Вечерний Петербург». Автор ряда интервью с художниками и коллекционерами ленинградского андеграунда. После окончания университета учился в Германии. Автор повестей, романов, поэтических сборников. Публиковался в литературных журналах «Нижний Новгород», «Волга» (Саратов), «Дальний Восток» (Хабаровск), «Южная звезда» (Ставрополь), «Белая скала» (Симферополь) и др., а также в тематических сборниках прозы и поэзии. Участник, финалист и победитель многих литературных конкурсов.

стр. 49 **Нехаев Александр Алексеевич**
Будённовск, 1949 г. р.

Родился в городе Снежное Донецкой области (сейчас ДНР). Образование среднетехническое. Работал геологом, метеорологом, охотником, художником. Жил в разных регионах СССР и РФ.

Публиковался в журналах «Нева», «Южная звезда», «Литературная Кабардино-Балкария». Вошёл в длинный список конкурса «Zolotoe zveno» в «Литературной газете».

стр. 18 **Орлов Александр Владимирович**
Москва, 1975 г. р.

Окончил Московское медицинское училище №1 имени И. П. Павлова, Литературный институт имени А. М. Горького и Московский институт открытого образования. Работал ортопедом в челюстно-лицевом госпитале для ветеранов Великой Отечественной войны, разнорабочим, начальником отдела и заместителем генерального директора в частной компании, последние годы работает учителем истории в столичной школе. Автор нескольких книг стихов и прозы. Лауреат Всероссийского конкурса малой прозы имени А. П. Платонова (2011), Всероссийского конкурса малой прозы и поэзии имени Ф. Н. Глинки (2012), Всероссийского конкурса поэзии и малой прозы имени С. С. Бехтеева (2014). Публиковался в широком круге изданий: «День и ночь», «Дети Ра», «Зинзивер», «Литературная газета», «Литературная Россия», «Литературная учёба», «Сибирские огни», «Южное сияние», «Юность», в сборниках и антологиях.

стр. 101 **Панова Татьяна Сергеевна**
Красноярск, 1971 г. р.

Окончила Ванаварскую среднюю школу. В 1993 году окончила Красноярский педагогический институт (факультет физкультуры и спорта). Член Союза писателей России, член правления Красноярского регионального отделения СПР, автор шести поэтических сборников.

стр. 76 **Пылёв Сергей Прокофьевич**
Воронеж, 1948 г. р.

Родился в городе Коростень Житомирской области Украинской ССР. Вырос на Сахалине. Окончил в 1972 году филологический факультет Воронежского государственного университета (отделение журналистики). Служил в Советской Армии. С 1966 года работал электриком-осветителем, грузчиком, сборщиком большегрузных шин, редактором в многотиражных заводских газетах, журналистом в воронежских изданиях. С 2014 и по настоящее время — редактор газеты «За кадры» Воронежского аграрного университета. Член правления регионального отделения Союза писателей России. Прозаик, публицист. Автор 10 книг рассказов и повестей, выходивших в Воронеже и Москве: «И будет ясный день», «Обстоятельства», «Вам бы птицами родиться» и др. Публиковался в журналах «Подъём», «Берега», «Север», «Волга — XXI век», «Сура», «Воин России», «Молоко», «Гостиный Дворъ», «Москва», «Берега». Награждён медалью Общественного совета ВДВ России «За верность долгу и Отечеству». Лауреат премии «Кольцовский край» за книгу «Божьи искорки», изданную в 2017 году.

стр. 89 **Пырх Виталий Петрович**
Красноярск, 1944 г. р.

Родился в Запорожье. Окончил Запорожский металлургический техникум. После окончания работал отжигальщиком термических печей на заводе «Запорожсталь». Служил в Советской Армии. С отличием окончил факультет журналистики Уральского государственного университета. Работал корреспондентом, заведующим отделом промышленности и собственным корреспондентом республиканских и центральных газет. С 1987 года живёт в Красноярске, где работал корреспондентом газеты «Трибуна». Автор более двух тысяч газетных публикаций различных жанров, двух десятков статей в толстых журналах, а также нескольких книг публицистики, изданных в Москве и Сыктывкаре, шестнадцати поэтических сборников и трёх книг документальной прозы.

стр. 175 **Рефас Виктория**
Красноярск, 1977 г. р.

Родилась в Красноярске. Окончила КГПУ имени Астафьева по специальности «учитель истории и методист краеведческой работы», училась в аспирантуре по археологии. Член Союза журналистов России. Работала в различных краевых и российских изданиях. Лауреат международных, российских и региональных профессиональных конкурсов. В настоящий момент гид-инструктор по спортивному туризму (пешеходный, горный, велосипедный), специалист по внутреннему туризму (регион Восточная Сибирь), журналист-краевед.

стр. 3 **Ромашков Юрий Валерьевич**
Красноярск, 1988 г. р.

Родился в Красноярске. Затем переехал в деревню Старая Кузурба Ужурского района. В конце 1990-х новый переезд — на этот раз Шарыповский район, деревня Александровка. В 2009 году окончил исторический факультет Енисейского педагогического колледжа. После службы в рядах Вооружённых сил РФ поступил на исторический факультет Красноярского педагогического университета имени В. П. Астафьева, который окончил в 2014 году. Работал научным сотрудником фондов Енисейского краеведческого музея имени А. И. Кытманова. Историко-литературные этюды Юрия Ромашкова, которые периодически печатаются в местных газетах, стали заметным явлением в культурной жизни Енисейска. В 2014 году вышел первый сборник стихов «Стихи из-под шкафа». Лауреат Фонда Астафьева (2019).

стр. 102
Саввиных Марина Олеговна
Красноярск, 1956 г. р.

Поэт. Публицист. Педагог. Автор более десятка книг стихов, прозы, художественной публицистики. Лауреат премии Фонда имени В. П. Астафьева (1994), Всероссийского конкурса поэзии и малой прозы имени С. С. Бехтеева (2014), X Всероссийского поэтического конкурса «Мечети — Божьи храмы» (2016). Награждена орденом Достоевского I степени и медалью «Василий Шукшин». Обладатель высшей награды Всеславянского литературного форума «Золотой Витязь» (2020). Член Союза писателей России. Заслуженный работник культуры Красноярского края. Председатель издательского совета РИЦ «День и ночь».

стр. 65
Умарова Ася Рамазановна
с. Пролетарское (Чечня), 1985 г. р.

Родилась в городе Городовиковске Калмыцкой АССР. Окончила Чеченский государственный университет в 2008 году в Грозном и годичный курс в Кавказском институте СМИ в Ереване по специальности «Журналистика» в 2009 году. Член Союза писателей России. Рассказы и повести опубликованы в журналах «Дружба народов», «Юность», «Звезда», «Апра» (Тбилиси), «Лебедь» (США), «Наша Гавань» (Новая Зеландия), «Literarus» (Финляндия) и многих других российских и зарубежных изданиях, а также в сборниках «Новые писатели» (Москва), «Новые сны о Грузии» (Тбилиси), «Кавказский экспресс» (Махачкала), «Бег от времени» (Грозный) и др. Проза переведена на белорусский и грузинский языки. Неоднократно принимала участие в Форуме молодых писателей и в Совещании молодых писателей Северного Кавказа. Стипендиат Министерства культуры РФ (2013, 2016, 2019). Лауреат и дипломант многих российских и международных литературных конкурсов. Работает в Чеченской Республике учителем ИЗО.

стр. 112
Харитонов Евгений Николаевич
Белгород, 1985 г.р.

Член Союза белгородских литераторов. Лауреат всероссийских и международных литературных конкурсов. Публиковался в журналах: «Берега», «Александръ», «Таврия литературная», «Звезда Востока», «Бийский Вестник», «Краснодар литературный», «Пять стихий», «Северо-Муйские огни», «Наша Молодёжь», «Литerra», «Белая скала», «Сибирский Парнас», «Причал», «Ротонда», «Рассвет» и т. д.

стр. 133
Харитонова Ольга Владимировна
Омск, 1988 г. р.

Стихотворения и рассказы автора публиковались в ряде изданий: «Русская жизнь» (Москва), «Складчина» (Омск), «Омская муза» (Омск), «Мурзилка», «Новый мир» и др. Вошла в лонг-лист премии «Лицей» (2018, 2019), финалист проекта «Школа литературной журналистики „Молодой Дельвиг“» (2018), победитель конкурса эссе к 200-летию Фета от журнала «Новый мир» (2020) и др. Член Союза литераторов РФ.

стр. 90
Чхатарашвили Баадур
Тбилиси (Грузия), 1952 г. р.

Окончил Грузинский политехнический институт по специальности «Гидротехническое строительство», аспирантуру МИСИ, заочный университет искусств. Член Международной федерации художников (IFA). Первый рассказ, написанный в 2008 году, вышел в сборнике «Скажи» (АСТ-Астрель). Также проза публиковалась в журналах «На любителя» (Атланта, США), «Зарубежные записки» (Дортмунд, Германия), «День и ночь», «Южная звезда» (Россия), литературно-историческом журнале «Что есть истина?» (Великобритания). В 2013 году роман «Хроника Колхиса» попал в длинный список «Русской премии».

стр. 108
Юсупов Ильман Мовсурович
Швеция, 1951 г. р.

Чеченский поэт, писатель и журналист. Родился в Казахстане. Выпускник исторического факультета Ленинградского университета имени А. А. Жданова. Долгое время жил и работал в Чечне и Азербайджане. В 2005 году эмигрировал в Швецию. Пишет на чеченском, русском и шведском языках. В разные годы публиковался в периодических изданиях Чечни, бывшего СССР и Швеции. Автор поэтических книг «Пасека времени» (1991), «Мечеть стойкости» (1997), «Колодец памяти» (1999), «Чеченский очаг» (2011) на шведском языке, «Искра твоего очага» (2015), «Песня и скитанье» (2016) на русском языке, «Беседа с памятью» (2016), «Отцовское слово» (2017) на русском языке, «Напевы тишины» (2021), «Свет отчей земли» (2021) на грузинском языке. Участник международного фестиваля поэзии в шведском городе Хёрнессанде (2006). Член Союза писателей Швеции.

стр. 10
Янжула Анатолий Андреевич
Красноярск, 1947 г. р.

Окончил железнодорожный техникум. Начал писать во время службы в армии, будучи внештатным корреспондентом газеты Тихоокеанского флота «Боевая вахта». С 1995 года — постоянный автор журнала «День и ночь». В альманахе «Енисей» напечатана повесть «Миг войны». Отдельными книжками выходили повесть «Дядька Фёдор» и сборник рассказов «Обстоятельства жизни». В 1999 году был принят в Союз писателей России. Работал в Управлении Федеральной почтовой связи по Красноярскому краю. Член правления КРО СП России.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

В. Н. Наговицын

РЕДАКТОРЫ

Марина Наумова-Саввиных

Дмитрий Косяков

ДИЗАЙНЕР-ВЕРСТАЛЬЩИК

Олег Наумов

КОРРЕКТОР

Андрей Леонтьев

Журнал издаётся с 1993 года.

Редакция не вступает в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Ответственность за достоверность фактов несут авторы материалов. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. При перепечатке материалов ссылка на журнал «День и ночь» обязательна.

Учредитель:

Агентство печати и массовых коммуникаций Красноярского края.

Адрес: 660009, г. Красноярск, ул. Красной Армии, д. 22.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ №ФС77–42931 от 9 декабря 2010 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Издатель:

Краевое государственное автономное учреждение «Организационно-методический Медиацентр»

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Александр Астраханцев
Красноярск

Наталья Ахпашева
Абакан

Юрий Беликов
Пермь

Михаил Бондарев
Калуга

Елена Буевич
Черкассы

Лидия Довыденко
Калиниград

Вера Зубарева
Филадельфия

Александр Кердан
Екатеринбург

Сергей Кузнечихин
Красноярск

Андрей Лазарчук
Санкт-Петербург

Евгений Минин
Иерусалим

Миясат Муслимова
Махачкала

Александр Орлов
Москва

Олеся Рудягина
Кишинёв

Анна Сафонова
Южно-Сахалинск

Лидия Сычёва
Москва

Андрей Тимофеев
Москва

Владимир Шемшученко
Санкт-Петербург

Нина Ягодинцева
Челябинск

В оформлении обложки использована картина Сергея Карбушева «Равновесие».

Рукописи принимаются по электронной почте: dayandnight@bk.ru

Адрес редакции и издателя: 660049, г. Красноярск, ул. Красной Армии, 22; Медиацентр
т. +7 950 991 4349

Подписано к печати: 9.03.2022
Дата выхода в свет: 31.03.2022
Тираж: 1200 экз.

Цена свободная

Журнал выходит 6 раз в год

Отпечатано ИП Азарова Н. Н. в типографии «Литера-принт»
г. Красноярск, ул. Гладкова, д. 6, офис 0-10, т. +7 904 895 0340
эл. почта: 2007rex@mail.ru

16+

Валерий
Ковин

После дождя.
Балаклава

2021

Владимир
Набоков

Осень

2020

Борис Степанов | ▲ Банное утро | ▼ Ранний день | 2021

На обложке: *Сергей Карбушев* | Равновесие | 2021